

Русская литература

№ 3

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1975

Год издания восемнадцатый

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. Н. Иезуитов. Составная часть организованной партийной работы (к 70-летию статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»)	3
А. А. Горелов. Народность художника	21
Г. Г. Марминова. О комическом в романе «Поднятая целина» (образ деда Щукаря)	38
А. М. Абрамов. Поэзия лирического максимализма (о теме России у Сергея Есенина)	52
В. И. Харчевников. Черты народной Руси в стихах раннего Есенина	63
А. И. Павловский. О философском характере поздней лирики А. Твардовского	78
В. С. Баевский, Л. И. Ибраев, С. И. Кормилов, В. А. Сапогов. К истории русского свободного стиха	89

ПОЛЕМИКА

Ф. Я. Прийма. Новые заплатки на старой концепции	103
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К. И. Ровда. Луначарский и Пушкинский дом	115
Е. В. Барсов. О записи и изданиях «Причитаний Северного края» (публикация О. Б. Алексеевой)	128
Л. М. Ариинштейн. «Демон» Лермонтова и «Преображенный урод» Байрона в обработке Р. Росса	140
С. С. Конкин. К биографии Н. П. Огарева (новые материалы)	146
В. Н. Сажин. Н. Г. Чернышевский в Литературном фонде (по архивным материалам)	154

(см. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАД

Р. Б. Заборова. Ф. М. Достоевский и Литературный фонд (по архивным документам)	158
М. В. Теплинский. Неоконченный роман А. М. Скабичевского «Было — отжило»	170
Д. П. Мороз. Об источниках рассказа Куприна «Тень Наполеона»	175
Н. М. Кучеровский. Еще об особенностях реализма И. А. Бунина (повесть «При дороге»)	178
Л. О. Пастернак. Письма к Р. И. Сементковскому (публикация Л. И. Кузьминой)	186
К. М. Азадовский. Раннее творчество Н. А. Клюева (новые материалы)	191
О. В. Миллер. Пометы Александра Блока на полном собрании сочинений М. Ю. Лермонтова	212
А. В. Прялков. Из переписки с С. Н. Сергеевым-Ценским	219

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

В. И. Малышев. О списках «Послания» старца Авраамия Петру I	222
М. Ф. Мурьянов. Об одном образе у Епифания Премудрого	223

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. Н. Баскаков. Литературоведческая русистика в журнале «Przegląd Humanistyczny» (1970—1974)	224
Ю. К. Бегунов. Американская антология древнерусской литературы	232
Г. М. Прохоров. Снова подозревается Карамзин (еще одна гипотеза об авторе «Слова о полку Игореве»)	235
П. Р. Заборов. Новые герценовские материалы	240
Р. Ю. Данилевский. Монография о «Жизни Клима Самгина», изданная в Западном Берлине	242
ХРОНИКА	246

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор)
 В. Г. БАЗАНОВ, А. С. БУШМИН, Л. Ф. ЕРШОВ, В. А. КОВАЛЕВ,
 К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА, Н. И. ПРУЦКОВ

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199164, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 18-46-01

Журнал выходит 4 раза в год

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

(К 70-ЛЕТИЮ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА «ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА»)

13 ноября 1905 года в большевистской газете «Новая жизнь» (№ 12) была опубликована статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», ставшая подлинным манифестом коммунистической партийности в литературе. В этой статье выражена сущность ленинского учения о партийности литературы, выдвинуты основополагающие принципы литературной политики партии пролетариата, охарактеризованы важнейшие особенности социалистической литературы и определены ее главные задачи и функции, выделены черты духовного склада и психологического своеобразия, отличающие писателя — сознательного и последовательного борца за интересы трудящихся масс.

Ленинское учение о партийности литературы все ярче и убедительнее доказывает свою правоту и силу. Им постоянно руководствуются в своей многообразной культурной деятельности Коммунистическая партия Советского Союза и братские коммунистические и рабочие партии, оно глубоко входит в сознание писателей социалистического лагеря и оказывает все большее влияние в различных странах мира на литераторов, субъективно далеких от коммунистической идеологии, по стремящихся честно выполнять свой творческий долг: быть выразителями идей гуманизма и социального прогресса.

Буржуазные идеологи и ревизионисты настойчиво пытаются извратить ленинское учение о партийности литературы, чтобы тем самым духовно дезориентировать передовых писателей и широкие читательские массы, изолировать их от благотворного воздействия коммунистической идеологии и подчинить идейному влиянию буржуазии. Они хотят в первую очередь доказать, что ленинское сопоставление «партийной организации» с литературой означает грубое насилие над художественным творчеством, его ликвидацию как специфического вида духовной деятельности.

Советское литературоведение много сделало, чтобы раскрыть выдающееся теоретическое и практическое значение ленинской работы.¹ Однако идейное наследие В. И. Ленина настолько богато и многогранно, что каждая новая историческая ступень в развитии нашего общества обнаруживает в этом наследии новые грани и выдвигает новые проблемы. Этим диктуется необходимость дальнейшего исследования ленинского учения о партийности литературы, которое получило особенно развернутое и целостное выражение в статье «Партийная организация и партийная литература».

¹ См. об этом: Ленин и наука о литературе. Библиографический указатель. 1955—1968 гг. Л., 1970; В. И. Ленин и вопросы литературы. Библиографический указатель (1920—1970). Киев, 1970 (на укр. яз.); В. Ф. Воробьев. В. И. Ленин о литературе. Семинарий. Киев, 1970.

1

Как известно, статья В. И. Ленина обращена и к собственно партийной литературе (публицистике и т. п.), и к литературе в целом, включая художественную. При этом все, что касается вопросов организации «литературного дела», как правило, относится исследователями к партийной публицистике, т. е. к собственно партийной литературе. Однако более внимательное прочтение статьи В. И. Ленина и ее анализ в контексте других ленинских работ показывают, что сопоставление В. И. Лениным «партийной организации» с «партийной литературой» являлось исторически закономерным и имело глубокий эстетический смысл, а рассматриваемые им вопросы, связанные с организацией «литературного дела», в полной мере относятся и к литературе в широком смысле слова, включая художественную, и к психологии литературного творчества.

Чтобы точнее и конкретнее раскрыть смысл ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература», обратимся к труду В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад» (1904), в котором обнаруживается определенная перекличка с идеями рассматриваемой статьи. Остановимся прежде всего на тех из них, которые имеют принципиальное значение для понимания литературы как духовно-эстетического явления.

В книге «Шаг вперед, два шага назад» В. И. Ленин решительно выступил против механического разграничения одним из меньшевистских лидеров П. Б. Аксельродом понятий «партия» и «организация». Излагая свой взгляд на этот вопрос, В. И. Ленин писал: «Слово „организация“ употребляется обыкновенно в двух смыслах, широком и узком. В узком смысле оно означает отдельную ячейку человеческого коллектива, хотя бы в минимальной степени оформленного. В широком смысле оно означает сумму таких ячеек, сплоченных в одно целое. Например, флот, армия, государство представляют из себя в одно и то же время сумму организаций (в узком смысле слова) и разновидность общественной организации (в широком смысле слова). Учебное ведомство есть организация (в широком смысле слова), учебное ведомство состоит из ряда организаций (в узком смысле слова). Точно так же и партия есть организация, *должна быть* организацией (в широком смысле слова); в то же время партия должна состоять из целого ряда разнообразных организаций (в узком смысле слова)».² Ленинская работа позволяет сделать вывод, что именно понятие «организации» в широком смысле слова непосредственно применимо к «партийной литературе» в широком смысле слова. Так же следует истолковывать и название статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», рассматривая его в эстетическом аспекте. В широком смысле слово «организация» означает внутреннее единство сложного по составу явления, необходимое для его существования и развития, а также успешного выполнения им своих основных функций.

В. И. Ленин резко осудил попытку П. Б. Аксельрода смешать «партию, как передовой отряд рабочего класса, со всем классом» (т. 8, стр. 244), что неизбежно вело к оправданию «организационной расплывчатости», к смешению «организации и дезорганизации» (т. 8, стр. 245). Он требовал, чтобы «партия, как передовой отряд класса, представляла собою нечто возможно более *организованное*, чтобы партия воспринимала в себя лишь такие элементы, которые *допускают хоть минимум организованности*» (т. 8, стр. 242). Партия как организация в широком смысле слова представляет собою внутренне мотивированное объединение людей («элементов», способных к организованности). Особенно важна поэтому человеческая основа такого объединения, которая придает всем областям

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 241—242 (в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте).

партийного дела, в том числе литературной, жизненную естественность, историческую перспективность и духовную прочность.

В. И. Ленин показал, что именно пролетариат по своей социально-психологической природе допускает максимум организованности. В связи с этим он приводит в книге «Шаг вперед, два шага назад» «блестящую», с его точки зрения, «социально-психологическую характеристику» буржуазной интеллигенции, которую дал в 1903 году К. Каутский, бывший тогда марксистом. Эта характеристика может быть отнесена и к психологии литературного творчества, ибо К. Каутский под интеллигентом имел в виду в первую очередь литератора.³ Он отмечал, что антагонизм между буржуазной интеллигенцией и пролетариатом выражается, в частности, в особенностях настроения и мышления, присущих пролетариату и буржуазной интеллигенции. Пролетарий « всю свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает... из организации, из планомерной совместной деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма... Пролетарий ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием, ... добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувство, все его мышление. Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом... Его оружие — это его личное знание, его личные способности, его личное убеждение. Он может получить известное значение только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления своей личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется он известному целому в качестве служебной части этого целого, подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам» (т. 8, стр. 310). Вместе с тем Каутский высоко ценил блестящих писателей из интеллигенции, которые всецело прониклись пролетарским настроением и утратили «специфически интеллигентские черты психики», полностью подчиняя себя великому делу борьбы пролетариата и отнюдь не видя в этом «подавления своей личности» (т. 8, стр. 311).

Присущие буржуазной интеллигенции индивидуализм, склонность к анархии и чисто платоническое признание организационных отношений (т. 8, стр. 189, 254, 356) — все это характеризовало и политический оппортунизм в организационных вопросах (П. Б. Аксельрод, Л. Мартов и др.), который, являясь естественным и неизбежным продуктом психологии буржуазной интеллигенции, неминуемо вел к полному разброду в партии, к ее фактическому распаду и распаду всего организованного партийного дела, в том числе литературного. При этом В. И. Ленин считал, что организация партии держится не на внешнем принуждении, а на силе объединяющих ее идей (т. 8, стр. 401).

Внутренняя потребность в организации своего дела по образцу всего партийного дела особенно сильно ощущается наиболее сознательной частью пролетариата и теми представителями других классов, которые открыто перешли на идейные позиции пролетариата и прониклись его психологией. В принципе это относится к литераторам в широком смысле слова, включая беллетристов. Тяготение к организации своей творческой деятельности и позволяет им наиболее полно выразить собственную индивидуальность и наиболее успешно служить делу пролетариата и его партии.

³ Предлагая свой перевод отрывка из статьи К. Каутского «Франц Меринг» (1903), В. И. Ленин писал, что он переводит «словом интеллигент, интеллигенция немецкие выражения Literat, Literatentum, обнимающие не только литераторов, а всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще» (т. 8, стр. 309).

2

В статье «Партийная организация и партийная литература» В. И. Лениным поднято множество самых различных проблем, при этом все они так или иначе группируются вокруг трех, наиболее существенных: 1) в чем заключается смысл принципа партийности литературы, что он утверждает и чему противостоит, каким критерием определяется; 2) какова внутренняя, человеческая основа принципа партийности литературы; 3) в каких соотношениях находятся партийность и свобода творчества.

Каждая из этих проблем оказывается связанной с проблемой партийной организации в широком смысле слова как идеологического и психологического единства людей. Чтобы конкретизировать и в известной мере «расшифровать» ряд опорных ленинских суждений из статьи «Партийная организация и партийная литература», мы вновь будем обращаться к отдельным страницам книги В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад».

В условиях, когда все отчетливее проявляет себя в духовной жизни общества «честная, прямая, последовательная партийность» (т. 12, стр. 100), необходим, как показал В. И. Ленин, особый критерий для ее правильного понимания и верной оценки. «Эпоха партийности» (т. 8, стр. 380), отмечал он в 1904 году, требует организационных связей между всеми областями партийного дела и в каждой из этих областей. Причем характер этих связей может быть весьма различным. «Нам нужны, — заявлял В. И. Ленин, — самые разнообразные организации всех видов, рангов и оттенков, начиная от чрезвычайно узких и конспиративных и кончая весьма широкими, свободными...» (т. 8, стр. 247). Именно такой, весьма широкой и свободной организацией является литературная часть партийного дела.

В. И. Ленин писал в работе «Партийная организация и партийная литература», что «в противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, „барскому анархизму“ и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме» (т. 12, стр. 100). Ленинский «принцип партийной литературы» предполагает прежде всего особую организацию литературного дела, которая опирается на специфическую психологию пролетариата. В 1904 году В. И. Ленин обращал внимание на то, что пролетарий как представитель класса ведет борьбу без «видов на личную выгоду, на личную славу» (т. 8, стр. 310). Говоря о необходимости проведения в жизнь «принципа партийной литературы» в «возможно более полной и цельной форме», В. И. Ленин имел в виду «формы организации», посредством которых воплощается в жизнь этот принцип. Ранее он подчеркивал, что успех идейной борьбы, которую ведет социалистический пролетариат, зависит от того, будет ли она «облекаться формами *более высокими*, формами обязательной для всех партийной организации» (т. 8, стр. 376).

Выражение «барский анархизм» В. И. Ленин употребил в книге «Шаг вперед, два шага назад», показав, что боязнь всякой организации, непонимание ее значения, присущи тому виду анархизма, «который немецкие социал-демократы называют *Edelanarchismus*, т. е. анархизм „благородного“ господина, барский анархизм, как я бы сказал. Русскому нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен» (т. 8, стр. 379). В. И. Ленин неоднократно пользовался выражением «барский анархизм» в своей книге (т. 8, стр. 380, 381 и т. д.), в том числе применительно к «литературным группам» (т. 8, стр. 382). Он считал в высшей степени

интересным, «что принципиальные черты оппортунизма в организационных вопросах (автономизм, барский или интеллигентский анархизм...) наблюдаются *mutatis mutandis* (с соответствующими изменениями) во всех социал-демократических партиях всего мира, где только есть деление на революционное и оппортунистическое крыло (а где его нет?)» (т. 8, стр. 385).

Итак, вопрос о «барском анархизме» оказывается у В. И. Ленина внутренне сопряженным с вопросом об организации (в широком смысле слова) литературного дела партии пролетариата и приобретает поистине международное звучание, как и ряд других вопросов, которые он затрагивает в своей книге и в своей статье.

В. И. Ленин исходил из того, что «для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, не может быть делом, «не зависимым от общего пролетарского дела» (т. 12, стр. 100). В связи с этим он выдвигал лозунг: «Долой литераторов сверхчеловеков!» (т. 12, стр. 100), в свою очередь соотносимый со словами Каутского из статьи «Франц Меринг», которые с полным одобрением цитируются в книге «Шаг вперед, два шага назад». Вот эти слова: «... Философия Ницше, с ее культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия есть настоящее мирозерцание интеллигента, она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата» (т. 8, стр. 310). Наряду с Ницше выразителем аналогичного мирозерцания был Ибсен (т. 8, стр. 310—311). Так ленинский лозунг из статьи «Партийная организация и партийная литература» наполняется живым и определенным эстетическим смыслом. Известно, что в начале XX века Ницше был философско-эстетическим знаменем для индивидуалистически настроенной русской художественной интеллигенции, выступающей от имени «литераторов сверхчеловеков» (Л. Шестов, Н. Минский и др.).

В. И. Ленин был убежден, что «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, „колесиком и винтиком“ одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса» (т. 12, стр. 100—101). «Найдутся... , пожалуй, истеричные интеллигенты, — писал далее В. И. Ленин, — которые поднимут вопль по поводу такого сравнения, приравнивающего, омертвляющего, „бюрократизирующего“ свободную идейную борьбу, свободу критики, свободу литературного творчества и т. д., и т. д. По существу дела, подобные вопли были бы только выражением буржуазно-интеллигентского индивидуализма. Споры нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Споры нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата» (т. 12, стр. 100—101). Однако «все это отнюдь не опровергает, — считал В. И. Ленин, — того чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии положения, что литературное дело должно непременно и обязательно стать неразрывно связанной с остальными частями частью социал-демократической партийной работы» (т. 12, стр. 101).

Сравнение В. И. Лениным литературного дела с «колесиком и винтиком» тоже имеет свои истоки в книге «Шаг вперед, два шага назад». Вождь партии писал в ней, что разделение труда под руководством

центра вызывает со стороны П. Б. Аксельрода⁴ «трагикомические вопли против превращения людей в „колесики и винтики“ (причем особенно убийственным видом этого превращения считается превращение редакторов в сотрудников)» (т. 8, стр. 379—380). В. И. Ленин установил, что в русском оппортунизме по организационному вопросу, который выражается в тех же тенденциях, а сплошь и рядом в тех же словечках, как и организационный оппортунизм во всех европейских социал-демократических партиях (т. 8, стр. 391), преобладают, на первый взгляд, «невинные патетические декламации о самодержавии и бюрократизме, о слепом повиновении, винтиках и колесиках» (т. 8, стр. 393), которые по существу представляют собою оправдание и узаконение анархизма во всех областях партийного дела, включая литературную.

Замечая, что найдутся «истеричные интеллигенты», которые поднимут вопль по поводу сравнения литературного дела с «колесиком и винтиком», «бюрократизирующего», по их мнению, свободное литературное творчество, В. И. Ленин также мог иметь в виду П. Б. Аксельрода, который усматривал в идее организации партии и всего разнообразного партийного дела «„бюрократическую“ идею» (т. 8, стр. 189). В книге «Шаг вперед, два шага назад» В. И. Ленин предлагал свое толкование бюрократизма и критиковал его извращенное понимание оппортунистами. «Бюрократизм означает подчинение интересов *дела* интересам *карьеры*, обращение сугубого внимания на *местечки* и игнорирование работы, свалку за *кооптацию* вместо борьбы за *идеи*. Такой бюрократизм, действительно, безусловно нежелателен и вреден для партии...» (т. 8, стр. 351). Оппортунисты же называли «бюрократизмом» всякую организацию и обязанность части подчиняться целому (т. 8, стр. 355), прикрывали фразой о «бюрократизме» свои анархические поползновения и интеллигентскую распущенность (т. 8, стр. 355, 381).

Таким образом, подробную характеристику «буржуазно-интеллигентского индивидуализма» В. И. Ленин дал в 1904 году, а в статье «Партийная организация и партийная литература» лишь кратко сослался на нее, полагая, что она уже известна читателю его статьи. В книге «Шаг вперед, два шага назад» он подчеркивал, что буржуазная интеллигенция психологически чуждается пролетарской дисциплины и организации, что она «характеризуется, в общем и целом, *именно индивидуализмом* и неспособностью к дисциплине и организации», «в этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату» (т. 8, стр. 254). По своей психологии буржуазный интеллигент не знаком «ни с практикой, ни с теорией пролетарской организации» (т. 8, стр. 379).

Еще в 1904 году В. И. Ленин писал, что П. Б. Аксельроду «партийная организация кажется... чудовищной „фабрикой“, подчинение части целому и меньшинства большинству представляется... „закрепощением“» (т. 8, стр. 379). С ленинской точки зрения, «действительно демократический принцип, так это тот, что большинство должно иметь перевес над меньшинством, а не наоборот» (т. 8, стр. 389). Наиболее успешно и полно, органично и безболезненно, без всякого внешнего принуждения этот принцип осуществляется при условии идеологической и психологической близости между людьми.

Выступая против буржуазно-анархического индивидуализма в литературе, В. И. Ленин отнюдь не отождествлял его с индивидуальным проявлением свойств и качеств той или иной личности в области литературного творчества. Сила и обаяние пролетарской индивидуальности опреде-

⁴ В. И. Ленин имел в виду «излюбленные словечки» П. Б. Аксельрода из двух его фельетонов, которые вошли в сборник «„Искра“ за два года» (ч. II. СПб., 1906, стр. 122 и сл.) (т. 8, стр. 366).

ляются ее тесной связью с общим делом пролетариата. Связь эта питает живительными соками индивидуальность и помогает ей проявить свои лучшие качества и свойства. С общим делом, объединяющим усилия и способности многих людей, психологически несовместим буржуазный индивидуализм. В. И. Ленин полемизировал в 1904 году с немецким социал-демократом В. Гейне, который утверждал, что «требование дисциплины в области идейного производства, где должна господствовать безусловная свобода», свидетельствует «о тенденции к бюрократизму и к подавлению индивидуальности» (т. 8, стр. 387). В 1905 году В. И. Ленин полемически акцентирует ту же мысль, прямо относя ее к области идейно-художественного производства.

В статье «Партийная организация и партийная литература» В. И. Ленин показал, что буржуазно-интеллигентская психология («барский анархизм», индивидуализм и т. д.) и психология пролетарская определяют специфическое отношение их выразителей к партийности как организационному принципу в широком смысле слова. Здесь находится источник антагонизма между буржуазно-интеллигентским и пролетарским пониманием смысла и характера литературного творчества и скрывается секрет глубокой органичности для пролетарских писателей и притягательности для писателей, идейно и психологически перешедших на позиции пролетариата, принципа партийности литературы.

В. И. Ленин подчеркивал в статье «Партийная организация и партийная литература», что «партия есть добровольный союз, который неминуемо бы распался, сначала идейно, а потом и материально, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды» (т. 12, стр. 103). Аналогичную мысль он уже высказывал в книге «Шаг вперед, два шага назад»: «... пролетариат может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому, что идейное объединение его принципами марксизма закрепляется материальным единством организации, сплавляющей миллионы трудящихся в армию рабочего класса» (т. 8, стр. 403—404). Партийность в организационном смысле как раз и представляет собою материальное оформление идейного и психологического единства людей, включая литераторов.

В. И. Ленин обращал внимание на то, что в деятельности всех европейских социал-демократических партий существует конфликт «психологии неустойчивого интеллигента и выдержанного пролетария, интеллигентского индивидуализма и пролетарской сплоченности» (т. 8, стр. 390), что если «обилие представителей радикальной интеллигенции в рядах наших марксистов и наших социал-демократов сделало и делает неизбежным наличие порождаемого ее психологией оппортунизма в самых различных областях и в самых различных формах» (т. 8, стр. 392), то пролетарий добровольно подчиняется «дисциплине, проникающей все его чувство, все его мышление» (т. 8, стр. 310). В 1905 году Ленин снова отмечал, что для определения грани между партийным и антипартийным служит «весь опыт международной социал-демократии, международных добровольных союзов пролетариата, постоянно включавшего в свои партии отдельные элементы или течения, не совсем последовательные, не совсем чисто марксистские, не совсем правильные, но также постоянно предпринимавшего периодические „очищения“ своей партии» (т. 12, стр. 103).

Своеобразие исторического момента заключалось в том, что «теперь, — как писал В. И. Ленин, — партия у нас сразу становится массовой, теперь мы переживаем крутой переход к открытой организации, теперь к нам войдут неминуемо многие непоследовательные (с марксистской точки зрения) люди, может быть, даже некоторые христиане, может быть, даже некоторые мистики... Мы переварим этих непоследовательных людей. Свобода мысли и свобода критики внутри партии никогда не заставят нас забыть о свободе группировки людей в вольные союзы, назы-

ваемые партиями» (т. 12, стр. 103). «Очищение» партии и всего партийного дела от нежелательных элементов является для В. И. Ленина самой крайней мерой. Главное в жизни партийной организации — это контроль и руководство, воспитание и перевоспитание людей, а не удаление их из партии и отлучение от партийного дела (т. 8, стр. 259).

На необходимость считаться с изменившейся обстановкой В. И. Ленин указывал в работе «О реорганизации партии»: ⁵ «Безусловно необходимо наряду с конспиративным аппаратом создавать новые и новые, открытые и полуоткрытые партийные (и примыкающие к партии) организации. Без этой последней работы приспособить нашу деятельность к новым условиям, оказаться в состоянии решить новые задачи, немислимо...» (т. 12, стр. 83). При этом он подчеркивал, что «воздействие идей социализма на массы пролетариата идет и будет идти такими путями, которых мы зачастую совершенно не в состоянии будем проследить» (т. 12, стр. 90). В. И. Ленин полагал, что «есть уже налицо возможность не только *убеждать* объединиться, не только добиваться *обещаний* объединиться, а *объединить* на деле... Тут не будет никакого „навязывания“, ибо в принципе необходимость единства признана всеми, и рабочим предстоит лишь практически вырешить принципиально вырешенный вопрос. Ведь отношение интеллигентской и пролетарской (рабочей) функции в социал-демократическом рабочем движении, пожалуй, довольно точно можно выразить такой общей формулой: интеллигенция хорошо решает вопросы „принципиально“, хорошо рисует схему, хорошо рассуждает о необходимости сделать... а рабочие делают, претворяют серую теорию в живую жизнь» (т. 12, стр. 92). В. И. Ленин был уверен, что такое явление «исторически необходимо и психологически понятно» (т. 12, стр. 93). Именно новые возможности существования и развития партии как организации в широком смысле слова, включая самые разные области и сферы ее материальной и духовной деятельности, В. И. Ленин постоянно учитывал в статье «Партийная организация и партийная литература».

В ней он показал, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (т. 12, стр. 104). Это в полной мере относится к деятелям искусства (писателям, художникам, артистам). Отсюда вывод Ленина, что все речи «буржуазных индивидуалистов» «об абсолютной свободе одно лицемерие» (т. 12, стр. 103). «Ведь эта абсолютная свобода, — писал В. И. Ленин, — есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как мирозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность)» (т. 12, стр. 104). В книге «Шаг вперед, два шага назад» В. И. Ленин едко высмеивал «анархическую фразу» (т. 8, стр. 380) и резко критиковал анархические рассуждения о том, что «права индивидуумов не ограничены; они могут прийти в столкновение; каждый индивидуум сам определяет пределы своих прав» (т. 8, стр. 353).

Единственный реальный и практически действенный способ борьбы с индивидуалистическим пониманием свободы творчества, которую изо всех сил отстаивают анархически настроенные буржуазные интеллигенты, заключался для В. И. Ленина в том, чтобы «лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно-свободную, *открыто* связанную с пролетариатом литературу... Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата» (т. 12, стр. 104).⁶ Это будет истинно свободная литература,

⁵ Эта работа печаталась почти одновременно со статьей «Партийная организация и партийная литература» в газете «Новая жизнь» (1905, №№ 9, 13 и 14, 10, 15 и 16 ноября — т. 12, стр. 93).

⁶ Последнее ленинское суждение непосредственно перекликается с высказыванием из работы «О реорганизации партии» (т. 12, стр. 92), уже приводившимся выше.

ибо она основана на принципе партийности, который по своей нравственно-психологической природе не совместим ни с корыстью, ни с карьерой.

В. И. Ленин решительным образом выступал против требования оппортунистов, согласно которому каждый литератор, если это ему вздумается, мог объявлять себя партийным, против того, чтобы литераторы произвольно самопричислялись к партийному делу (т. 8, стр. 249, 253, 257). Это неминуемо вело к безудержной анархии, к фактической ликвидации партийного руководства различными областями духовной деятельности пролетариата. Партийным может считаться лишь такой литератор, который идейно и психологически принадлежит к партийной организации в широком смысле слова и который реально, практически служит своим творчеством делу пролетариата и его партии.

В. И. Ленин подчеркивал, что «организовать обширное, разностороннее, разнообразное литературное дело в тесной и неразрывной связи с социал-демократическим рабочим движением» — это «трудная и новая, но великая и благодарная задача» (т. 12, стр. 104), и нельзя рассчитывать, «чтобы это преобразование литературного дела, испакощенного азиатской цензурой и европейской буржуазией, могло произойти сразу» (т. 12, стр. 102). Дело в том, что такое преобразование неразрывно связано с преобразованием самой психологии литературного творчества, с утверждением пролетарского образа мышления и чувствования в целой литературе, включающей в себя множество различных писательских индивидуальностей. А процесс этот очень сложный и весьма длительный. Психология в социально-историческом отношении сравнительно менее изменчива и подвижна, нежели идеология. Она с большим трудом поддается какой бы то ни было перестройке, но когда такая перестройка все же происходит благодаря активной и разносторонней деятельности партии, литературное творчество, основанное на пролетарской психологии, получает особенную внутреннюю устойчивость и целеустремленность, идейно-эстетическую и эмоционально-психологическую действенность и результативность.

3

Ленинское учение о партийности литературы и об организации как идейно-психологическом объединении людей, о специфических проявлениях в литературном деле, взятом в широком смысле слова, буржуазно-интеллигентской и пролетарской психологии нашло свое исторически обусловленное отражение в документах Коммунистической партии и советского правительства, связанных с вопросами культуры и искусства.

«В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала...»⁷ — гласила 14-я статья Советской Конституции, принятой 10 июля 1918 года. Впервые в истории человечества в условиях победившей пролетарской революции была провозглашена и узаконена реальная свобода творчества писателя. Подлинная свобода печати, гарантированная Советской Конституцией, означала свободу выражения трудящимися города и деревни своих взглядов и настроений, чувств и переживаний. Вместе с тем партия и правительство решительно выступали против ошибочного, буржуазно-анархического толкования лозунга «свободы печати». В Программе РКП(б), принятой VIII съездом партии (март 1919 года), говорилось,

⁷ О партийной и советской печати. Сб. документов. Изд. «Правда», М., 1954, стр. 179 (в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте).

что важнейшей задачей партии является неутомимая работа над действительным проведением во всех областях материальной и духовной жизни «высшего типа демократизма, требующего для своего правильного функционирования постоянного повышения уровня культурности, организованности и самодеятельности масс» (стр. 190).

В письме ЦК РКП(б) «О пролеткультах» (декабрь 1920 года), основу которого составлял проект резолюции о пролеткультах, написанный В. И. Лениным в октябре 1920 года, осуждались попытки руководителей пролеткульта объявить его организацией, независимой от советской власти и Коммунистической партии, подчеркивалось, что искусство и литература являются неразрывной частью общепролетарского дела.

ЦК осудил те «интеллигентские элементы», которые «навязывали передовым рабочим свои собственные полубуржуазные философские „системы“ и выдумки», «пытались контрабандно протащить свои реакционные взгляды под видом „пролетарской культуры“», «истолковать резолюцию ЦК как шаг, который будто бы должен стеснить рабочих в их художественном творчестве». В действительности, как отмечалось в письме, «ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества» (стр. 221). ЦК будет также следить, чтобы не было «мелочной опеки над реорганизуемыми пролеткультами» (стр. 222).

В письме ЦК отмечалась особая роль в создании социалистической культуры и литературы новой, «рабочей интеллигенции», ибо многие представители «старой» интеллигенции скомпрометировали себя пропагандой антимарксистских взглядов в пролеткультах и других организациях. Под видом «пролетарской культуры» они «преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм)», а в области искусства «прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм)» (стр. 221), насаждали буржуазно-анархическое отношение к литературному творчеству.

В. И. Ленин еще в 1919 году резко выступил против окопавшихся в пролеткультах представителей буржуазной интеллигенции, которая «сплошь и рядом образовательные учреждения крестьян и рабочих, создаваемые по-повому, рассматривала как самое удобное поприще для своих личных выдумок в области философии или в области культуры, когда сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное» (т. 38, стр. 330). Залог успешной реорганизации общекультурного дела ЦК видел в том, что, благодаря своей особой психологии, «лучшие пролетарские элементы, до сих пор объединявшиеся в рядах пролеткультов, теперь примут самое активное участие в этой работе и тем помогут партии придать всей работе Наркомпроса действительно пролетарский характер». «К возможно более тесному слиянию, к дружной работе в рядах наших просветительных организаций, которые все должны стать не на словах, а на деле органами настоящей, неподдельной пролетарской культуры» (стр. 222), призывал ЦК РКП(б).

Ленинская мысль о том, что партия должна планомерно руководить процессом художественного творчества и формировать его результаты, легла в основу важнейших партийных документов. В резолюции XII съезда партии (1923) специально отмечалось: «Ввиду того, что за последние два года художественная литература в Советской России выросла в крупную общественную силу, распространяющую свое влияние прежде всего на массы рабоче-крестьянской молодежи, необходимо, чтобы партия поставила в своей практической работе вопрос о руководстве этой формой общественного воздействия на очередь дня» (стр. 270).

В резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», существо которой составило решение XIII съезда РКП(б) «О печати» (пункт 19) (стр. 310—311), подчеркивалось, что «в классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах, бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике» (стр. 343—344). В этих словах резолюции ЦК от 18 июня 1925 года, по сути дела, в сжатом виде излагались главные положения, выдвинутые В. И. Лениным в статье «Партийная организация и партийная литература». Одновременно резолюция конкретизировала в новых исторических условиях ряд ленинских выводов, сформулированных в 1905 году. «...Было бы совершенно неправильно упускать из виду основной факт нашей общественной жизни, а именно факт завоевания власти рабочим классом, наличие пролетарской диктатуры в стране...» — говорилось в резолюции. «...Хотя классовая борьба не прекращается, но она изменяет свою форму, ибо пролетариат до захвата власти стремится к разрушению данного общества, а в период своей диктатуры на первый план выдвигает „мирно-организаторскую работу“». Пролетариат должен теперь, сохраняя, укрепляя и расширяя свое руководство, занимать ведущую позицию на всех участках идеологического фронта. Причем «завоевание позиций в области художественной литературы точно так же рано или поздно должно стать фактом». Однако следует помнить, что «эта задача — бесконечно более сложная, чем другие задачи, решаемые пролетариатом» (стр. 344), ибо она сопряжена с преобразованием самой психологии литературного творчества.

В письме ЦК «О пролеткультах» подчеркивалась определяющая роль «рабочей интеллигенции» в процессе выработки новой литературы. В 1925 году ситуация существенно изменилась по сравнению не только с 1905, но и с 1920 годом. К этому времени выросли и окрепли кадры пролетарских писателей, большие сдвиги произошли в сознании многих старых литераторов-интеллигентов. К середине 20-х годов появился ряд выдающихся произведений советской литературы: «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Мои университеты» М. Горького, «Чапаев» и «Мятеж» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Владимир Ильич Ленин» В. Маяковского, «Сами» Н. Тихонова и др.

«...Нужно иметь... в виду, — отмечалось в резолюции ЦК, — что руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом» (стр. 345), со всеми его материальными и идеологическими ресурсами, со всеми психологическими особенностями. Партия должна «искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела» (стр. 347). При этом в вопросах организации чрезвычайно сложного и разнообразного литературного дела пролетариата партия по-прежнему опиралась на внутреннее тяготение пролетарских художников к сплочению своих творческих усилий и к целенаправленной литературной деятельности.

Резолюция «О политике партии в области художественной литературы» получила горячую поддержку со стороны советских писателей. «...Резолюция эта, — подчеркивал М. Горький, — несомненно, будет иметь огромнейшее воспитательное значение для литераторов и сильно толкнет вперед русское художественное творчество».⁸ «...Резолюция ЦК РКП... дает простор для проявления талантов как пролетарских и крестьянских писателей, так и попутчиков»,⁹ — замечал А. Новиков-Прибой. «Политика наскока и полуправительственного нажима в ли-

⁸ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, Гослитиздат, М., 1955, стр. 432.

⁹ «Журналист», 1925, № 8—9, стр. 32.

тературе, а порой и просто подсиживания, осуждена партией так же, как и бесшабашная кружковская распря, истощавшая попусту наши общие силы»,¹⁰ — писал Л. Леонов.

Для литературы стран, вступивших на путь социалистического развития, сохраняют принципиальное значение положения резолюции 1925 года о необходимости завоевания пролетариатом гегемонии в области художественного творчества, о руководящей роли рабочего класса по отношению к писателям-«попутчикам», сочувствующим построению нового общества, о важности требовательного и одновременно бережного подхода к ним со стороны партии, что создает условия для их скорейшего перехода на позиции коммунистической идеологии.

В годы развернутого наступления социализма в центре внимания партии находились вопросы организации и управления всей материальной и духовной жизнью страны. В решениях XVI съезда партии (1930) отмечалось, что «коренное социалистическое переустройство страны требует общего подъема культурно-политического уровня рабочих масс»,¹¹ а на XVI партийной конференции говорилось, что развернутое движение масс за культуру предполагает и культуру управления ими.¹² В этих условиях партия подчеркивала особую роль литературы как мощного средства организации и воспитания масс. «Текущий период социалистического строительства, — отмечалось в постановлении ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1928 года «Об обслуживании книгой массового читателя», — чрезвычайно увеличивает значение массовой книги как орудия организации масс и коммунистического просвещения, повышения их культурного уровня» (стр. 380). Чтобы стать подлинным организатором масс, новая литература прежде всего сама должна была быть внутренне организована. В этом состояла ее существенная, причем именно эстетическая, особенность, которая совершенно игнорируется или грубо извращается современными духовными наследниками тех «литераторов сверхчеловеков» и «барских анархистов», которых высмеивал В. И. Ленин, ибо в любой организации литературного дела они также видят лишь «насилие» над художественным творчеством, его «бюрократизацию».

Партия стремилась к созданию наиболее благоприятной обстановки для дальнейшего развития литературы и усиления ее действительного влияния на массы. В связи с этим она уделяла постоянное внимание консолидации литературных сил. Правильное и соответствующее духу времени решение организационных вопросов составляло основу для успешного решения вопросов идейно-творческих. В докладе «Наши задачи в области художественной литературы» А. В. Луначарский говорил: «...цели, которые ставит партия, являются и нашими целями. Себя мы будем рассматривать как орган партии и будем безоговорочно принимать участие в постановке и сильном разрешении всех проблем, возникающих в процессе борьбы за социализм. Мы будем стараться выполнить нашу роль участника в предварительном обсуждении вопросов, которые партия ставит перед собой. Мы будем стараться поднять в массах четкое понимание этих проблем и основных линий политики партии».¹³ В Уставе, принятом Всероссийским Союзом советских писателей, точно определялось место ВССП в работе по строительству социалистического общества и в творчестве социалистической культуры. «Из аполитичной бесформенной организации ВССП становится активной общественно-политической силой, одним из отрядов борцов за культурную революцию».¹⁴

¹⁰ Там же, стр. 31.

¹¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. IV, 1927—1931. Изд. 8-е, Политиздат, М., 1970, стр. 469.

¹² См.: там же, стр. 248.

¹³ «Литературная газета», 1929, № 28, 28 октября.

¹⁴ Там же, 1930, № 1, 6 января.

Уже в резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года значительное внимание уделялось вопросам организационного характера, при этом партия высказалась за свободное соревнование различных группировок и течений в области художественного творчества. Но постепенно почти каждая из группировок стала в той или иной мере претендовать на идейно-организационную гегемонию в литературе. Особенно решительно действовала в этом направлении РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), руководителями которой были допущены серьезные ошибки. Так, вопреки принципиальным указаниям партии, содержащимся в решениях XVI партийной конференции и других документах,¹⁵ рапповцы сводили организационную работу к голому и мелочному администрированию, проявляли «комчанство». Они выдвинули в 1931 году неверный лозунг по отношению к так называемым «попутчикам» — «союзник или враг», искажая тем самым политику партии в вопросе о старых и новых кадрах. «Необходимо улучшить использование специалистов, — говорилось в резолюции Пленума ЦК ВКП(б) от 10—17 ноября 1929 года, — обеспечив выдвигание наиболее способных и выдающихся как из среды новых, так и старых специалистов...»¹⁶

Деятели РАПП вульгаризаторски истолковывали слова В. И. Ленина: «Долой литераторов беспартийных!» — и на этом основании всячески третировали и «изничтожали» писателей, не являющихся членами партии.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» по-ленински глубоко и отчетливо раскрывалось особое значение организационных вопросов для развития социалистической литературы и подчеркивалась их теснейшая внутренняя связь с художественно-творческими задачами. Когда успели вырасти кадры советской литературы, выдвинулись новые писатели с фабрик, заводов и колхозов, а многие старые писатели умом и сердцем приняли советскую власть, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и др.) стали узкими и начали тормозить развитие художественного творчества. «Это обстоятельство, — говорилось в постановлении ЦК ВКП(б), — создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству» (стр. 431). Исходя из необходимости соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы, ЦК ВКП(б) постановил ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП) и «объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем» (стр. 431).

Советские писатели с большим воодушевлением восприняли решение партии. «Нужно отчетливо понимать, что постановление ЦК говорит не только о ликвидации РАПП, — подчеркивал Л. Леонов, — но и о перестройке всех литературных организаций... Основа постановления ЦК — перестройка рядов, которая бы содействовала созданию большой литературы, достойной великих дел, происходящих в стране». «... Перестройка литорганизаций, — говорила Л. Сейфуллина, — должна обеспечить действительный учет индивидуальных особенностей каждого писателя, создать творческую атмосферу, помощь ошибающемуся, обеспечить руководство

¹⁵ См.: КПСС в резолюциях... т. IV, стр. 222—223.

¹⁶ Там же, стр. 342.

каждым писателем и т. д.». «Многие из нас, — отмечал Н. Тихонов, — долго сидели лицом к столу заседаний и спиной к творчеству. С этим недопустимым положением кончается постановление ЦК. Сейчас наступает момент, когда вокруг задач социалистического строительства будут соединены все творческие организации, будут выявлены и укреплены все писательские силы».¹⁷ «Переломным моментом моей работы несомненно является историческое решение ЦК партии о перестройке литературных организаций, — писал А. Толстой. — Это решение позволило мне взяться с новыми силами за литературную работу именно в той области, которая больше всего меня интересует. Решение ЦК партии дает нам, писателям, возможность полностью развернуть свои творческие силы».¹⁸ «Надо поставить дело так, — указывал А. Фадеев, — чтобы коммунисты руководили беспартийными, помогали им в деле их социалистического перевоспитания, не подлаживались бы к их слабостям и недостаткам (лица дешевой «популярности» во вред делу) и в то же время не командовали, не администрировали, не кичились партбилетом или пролетарским званием...»¹⁹ Таким образом, ленинское решение организационных проблем литературного движения, предполагающее идеологическое и психологическое объединение писателей, обеспечивало концентрацию творческих сил на главных задачах социалистического строительства, способствовало наиболее полному раскрытию индивидуальных особенностей и склонностей тех или иных авторов, означало партийное руководство литературой без какого бы то ни было администрирования и насилия над художественной деятельностью.

После апреля 1932 года организационно-творческие вопросы развития литературы по-прежнему находились в центре внимания партии. В редакционной статье «На уровень новых задач» «Правда» писала: «Перед Союзом советских писателей и его коммунистической фракцией стоит громадной важности задача — создание высокохудожественной, социалистической по своему содержанию литературы. Союз писателей должен будет обеспечить такие условия творчества, воспитать такие кадры, чтобы в недалеком будущем могла появиться литература, поистине достойная нашей великой эпохи, достойная класса, героически осуществляющего построение нового, бесклассового общества».²⁰

1934 год ознаменовался двумя выдающимися событиями: в январе — феврале проходил XVII съезд партии, а в августе состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей. В решениях XVII съезда партии отмечалось, что в условиях утверждения социализма в нашей стране возрастает значение идейно-политического руководства массами. Съезд выдвинул задачу — поднять организационное руководство до уровня политического, причем в организационной работе особое внимание обращалось на подбор людей и проверку исполнения порученного им дела. Выросли новые кадры, важно было теперь их правильно и максимально эффективно использовать. Эти указания партии имели принципиальное значение и для дальнейшего развития советской литературы.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей являл собою торжество ленинской политики в области литературы. «В чем вижу я победу большевизма на съезде писателей? — говорил М. Горький. — В том, что те из них, которые считались беспартийными, „колеблющимися“, признали — с искренностью, в полноте которой я не смею сомневаться, —

¹⁷ «Литературная газета», 1932, № 20, 5 мая.

¹⁸ Алексей Толстой, Полное собрание сочинений, т. XIII, Гослитиздат, М., 1949, стр. 572—573.

¹⁹ А. Фадеев. О недостатках работы литераторов-коммунистов с беспартийными. «Правда», 1933, № 197, 19 июля.

²⁰ «Правда», 1932, № 127, 9 мая.

признали большевизм единственной, боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом».²¹

«Партия и правительство дали советскому писателю решительно все, — заявил на съезде Л. Соболев. — Они отняли у него только одно — право плохо писать».²² «... Партия и правительство, — продолжил его мысль М. Горький, — отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить — значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого».²³ В октябре 1934 года, после окончания работы съезда, М. Шолохов выступил в Ростове-на-Дону с докладом «Литература — часть общепролетарского дела», в котором говорил о том, что одна из замечательных ленинских мыслей — «литература должна стать частью общепролетарского дела» — осуществляется в нашей действительности.²⁴

На съезде был принят Устав ССП, в котором подчеркивалось, что «решающим условием роста литературы, ее художественного мастерства, ее идейно-политической насыщенности и практической действенности является тесная и непосредственная связь литературного движения с актуальными вопросами политики партии и советской власти, включение писателей в активное социалистическое строительство, внимательное и глубокое изучение писателями конкретной действительности».²⁵

Период построения социализма в нашей стране характеризовали выдающиеся достижения советской литературы, разрабатывавшей актуальные темы индустриализации, коллективизации и становления нового человека: «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Танкер „Дербент“» Ю. Крымова, «Бруски» Ф. Панферова, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Страна Муравия» А. Твардовского, «Соть» и «Дорога на океан» Л. Леонова... Именно в 30-е годы завершились эпопеи М. Шолохова «Тихий Дон» и А. Толстого «Хождение по мукам». Художники старшего поколения и молодые талантливые писатели, которые вливались в литературу, создавали произведения, вошедшие в золотой фонд советского искусства.

В этих условиях партийное руководство было направлено на дальнейшее повышение идейно-художественного уровня советской литературы, усиление ее воспитательного влияния и базировалось на глубоком изучении и знании деталей и техники литературного дела, а знание деталей и техники всякого дела партия считала основой для улучшения работы в любой области жизни нового общества.²⁶

В марте 1936 года на общемосковском собрании писателей состоялась дискуссия о формализме и натурализме в литературе. Во вступительном слове В. Ставский говорил о партийной ответственности писателя перед читателем, о необходимости тесной связи с действительностью, о важности тщательной работы над содержанием и формой своих произведений. Союз писателей, подчеркивал он, опираясь на идеи, высказанные В. И. Лениным в статье «Партийная организация и партийная литература», — не сумма независимых творческих единиц, «а коллектив, организация, являющаяся огромной силой в современных условиях».²⁷

В период Великой Отечественной войны советская литература, вдохновляемая партией, верно служила десяткам миллионов трудящихся, со-

²¹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. Гослитиздат, М., стр. 675.

²² Там же, стр. 203—204.

²³ Там же, стр. 225.

²⁴ См.: Михаил Шолохов, Собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, изд. «Художественная литература», М., 1969, стр. 85.

²⁵ Первый Всесоюзный съезд советских писателей, стр. 716.

²⁶ См.: КПСС в резолюциях..., т. V, стр. 154.

²⁷ См.: «Литературная газета», 1936, № 16, 15 марта.

ставляющих цвет страны и ее силу, воодушевляла их на борьбу с фашизмом. Она с честью выдержала экзамен на творческую зрелость, на идеологическое и психологическое единство. Вспомним в связи с этим публицистику М. Шолохова, Л. Леонова, А. Толстого, И. Эренбурга, А. Фадеева, стихи А. Суркова и А. Твардовского, пьесы К. Симонова и А. Корнейчука, произведения Б. Горбатова, Л. Соболева, В. Василевской...

В послевоенные годы ленинское учение о партийности литературы нашло свое отражение в постановлениях ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам. В решениях 1946 года отмечалось, что в условиях острой идеологической борьбы нетерпима всякая пропаганда безыдейности и аполитичности, «искусства для искусства». ЦК подверг резкой критике ряд отрицательных явлений в нашем искусстве с точки зрения партийности как высшего идейно-эстетического критерия, осудил произведения, создающие искаженное представление о советской действительности. В литературе происходит расширение круга тем и углубление проблематики. Осмысление событий военных лет в исторической перспективе, изображение панорамы войны («Они сражались за родину» М. Шолохова, «Белая береза» М. Бубеннова, «Знаменосцы» О. Гончара, «Буря» И. Эренбурга) сочетаются со стремлением раскрыть индивидуально-конкретные мотивы и внутренние стимулы, которые определяли поведение человека на войне в сложных условиях борьбы двух систем («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Спутники» В. Пановой), показать психологические трудности перехода к мирной созидательной деятельности («Золотая карета» Л. Леонова, «Счастье» П. Павленко).

Вместе с тем дававшие себя знать в критике субъективизм и волюнтаризм в оценке некоторых произведений искусства и сложных художественных явлений свидетельствовали об отступлении в ряде случаев от ленинского принципа партийности. Восстановив ленинские формы партийной и государственной жизни, ЦК КПСС очистил учение В. И. Ленина о партийности литературы от догматических извращений и наслоений и обогатил его опытом коммунистического строительства.

В новой программе КПСС, в приветствиях ЦК КПСС II, III и IV Всесоюзным съездам писателей и в других современных партийных документах, связанных с вопросами искусства и литературы, развернута широкая идейно-эстетическая программа, имеющая своей целью повышение творческой активности советских писателей, совершенствование их художественных произведений. В литературе 50—60-х годов происходит углубление аналитического начала, возрастает интерес к наиболее сложным социальным и нравственно-психологическим проблемам и недавнего прошлого, и настоящего («Русский лес» Л. Леонова, «Судьба человека» М. Шолохова, «Битва в пути» Г. Николаевой, «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» К. Симонова и др.).

В решениях XXIII съезда КПСС указывалось, что «партия всегда будет поддерживать искусство и литературу, утверждающие веру в наши идеалы, будет вести непримиримую борьбу против всех проявлений чуждой нам идеологии».²⁸ Особое внимание обращалось на то, что партия, продолжая ленинскую линию, «выступает против администрирования и произвольных решений в вопросах искусства и литературы».²⁹

В тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина» подчеркивалось, что «партия всегда рассматривала духовное творчество в социалистическом обществе как неотъемлемую часть общепартийного, общепролетарского дела. Ленинские принципы партий-

²⁸ Материалы XXIII съезда КПСС. Политиздат, М., 1966, стр. 68.

²⁹ Там же.

ности и народности литературы и искусства явились основой сплочения лучших сил художественной интеллигенции на идейно-политической платформе Советской власти. Бережное отношение к таланту, творческому поиску соединяется в ленинском подходе к духовной деятельности с принципиальностью идейно-политических позиций, четкостью нравственно-эстетических требований. Ленин был непримирим к тому, что он называл „литературным прикрытием“ антисоциалистических идей, к протаскиванию с помощью модной фразы реакционных воззрений, к попыткам формалистическим трюкачеством прикрыть скудость содержания, выступал против упрощенчества и субъективизма в оценке художественных произведений». ³⁰ В этом историческом документе определены основные принципы подхода В. И. Ленина к искусству и намечена программа дальнейшего изучения ленинского идейного наследия.

Современная советская литература в таких произведениях, как «Прощай, Гюльсары!» Ч. Айтматова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Соленая падь» С. Залыгина, «Судьба» П. Проскурина, «Дума про тебя» М. Стельмаха, дилогия И. Мележа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы», «Потерянный кров» И. Авижюса и многих других, раскрывает многообразие духовных интересов нового человека, показывает его в процессе внутреннего развития и совершенствования, как стойкого, нравственно бескомпромиссного и сознательного строителя коммунистического общества, подлинного революционера-интернационалиста, нацеливает советских людей на решение важнейших задач, выдвигаемых партией.

Статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» уже в момент своего появления имела международное значение: в ней был проанализирован положительный и отрицательный опыт европейских социал-демократических партий в организации разнообразного и разностороннего литературного дела. Показательно и то, что ни в коей мере не устарела острая полемика, которую вел Ленин в своей статье с противниками партийности литературы и апологетами «абсолютной свободы творчества». Современная буржуазная и ревизионистская эстетика по-прежнему обвиняет ленинский принцип партийности литературы в «догматизме» и «нормативности». С такими заявлениями выступают и М. Хэйворд в предисловии к сборнику «Литература и революция в Советской России», и Б. Хансен в книге «Марксистская литературная критика», и Э. Фишер в работе «Искусство и сосуществование».

И в наши дни продолжается процесс организации обширного, разнообразного и разностороннего литературного дела в тесной и неразрывной связи с социалистическим движением. Теперь он охватывает многие страны, вступающие на путь социалистического развития.

В исторических решениях XXIV съезда КПСС говорится: «Политика партии в вопросах литературы и искусства исходит из ленинских принципов партийности и народности. Партия стоит за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе социалистического реализма. Она высоко ценит талант художника, идейную коммунистическую направленность его творчества, непримиримость ко всему, что мешает нашему продвижению вперед». ³¹ В постановлении ЦК КПСС от 21 января 1972 года «О литературно-художественной критике» подчеркивалось, что долг критики и литературоведения — «всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности,

³⁰ К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы ЦК КПСС. Политиздат, М., 1969, стр. 30.

³¹ Материалы XXIV съезда КПСС. Политиздат, М., 1971, стр. 207.

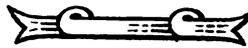
бороться за высокий идейно-эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии».³²

Ленинское партийное руководство развитием искусства не имеет ничего общего с мелочным администрированием и грубо директивным вмешательством в творческий процесс. В речи на предвыборном собрании трудящихся Бауманского избирательного округа Москвы тов. Л. И. Брежнев говорил: «Партия видит свою задачу в том, чтобы обеспечить самые благоприятные условия для развития социалистической культуры и науки». Генеральный секретарь ЦК КПСС подчеркнул: «Мы хотим, чтобы в демократической, взыскательной, товарищеской атмосфере приумножались духовные ценности, столь необходимые народу, строящему коммунизм».³³ В условиях научно-технической революции и постепенной разрядки международной напряженности понятие партийности литературы, обогащенное интернациональным опытом социалистического строительства, приобретает особую духовную ценность, а также особую идейную широту и емкость. Борьба за мир и социальный прогресс, справедливость и гуманизм, возглавляемая коммунистическими и рабочими партиями, имеет общечеловеческое значение, касается жизненных интересов всех людей на земле. В то же время истинная партийность в искусстве при всей своей широте сохраняет классовую направленность. Трудящиеся массы по-прежнему являются главной социальной силой в обществе, и в борьбе двух лагерей, когда речь идет о судьбе всего человечества, о его социальном и духовном развитии, нет и не может быть никаких идейных компромиссов.

Политика партии — залог дальнейшего расцвета многонационального социалистического искусства. Сущность этой политики с необыкновенной глубиной, четкостью и пронизательностью была выражена семь десятилетий тому назад в гениальной статье В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература».

³² «Правда», 1972, № 25, 25 января.

³³ Там же, 1974, № 166, 15 июня.



НАРОДНОСТЬ ХУДОЖНИКА

1

Вот уже полстолетия книги Михаила Шолохова живут в сердце нашего народа. Читая их, человечество приобщается к познанию социалистической нови и пытается заглянуть в собственное будущее.

Едва ли в какой-нибудь иной словесной стихии после Льва Толстого жизнь пульсирует и перекипает столь яростно, столь магматически-завораживающе, как в прозе Шолохова. Фабульные потоки, то и дело зарождающиеся в ее могущественном течении, уносимые в романную даль и растворяющиеся в волнах вечного движения мира — сколько бы они не несли типичности и самозначительности и какую бы ни играли роль в художественной организации целого, — выглядят частными моментами вселенского хода истории, в который вовлекается читатель. Этот ход истории вершится в донских степях, галицийских лесах, восточном Причерноморье, в станицах, хуторах, малых и стольных городах России, а всего более на земле, общей прародине нашей, в особенном телесном и духовном сродстве и соприкосновении с которой находится человек-земледелец, чувствующий «ее» чувствами, остро осязающий трепетную красоту жизни. Ощущение величия мира и человека — сердцевина шолоховского дара, а сам он — редчайшее, огненное явление даже в богатейшей русской литературе.

Казалось бы, невозможно в области пейзажа идти далее и открыть неведомую страницу после того, как уже были произнесены слово Гоголя и Тургенева, слово Аксакова и Льва Толстого, Чехова, Бунина. Но ничто литературно предшествующее не способно бросить отблеск вторичности на пейзаж Шолохова: он юн и простонародно полнокровен, от него веет неизбывностью чувственного здоровья, в нем философия приятия естественного круговорота жизни слилась с изощренной индивидуально-художнической остротой ощущения русской природы, — с остротой, беспрецедентной в нашем искусстве даже в годы творческого расцвета Михаила Пришвина и Ивана Соколова-Микитова.

Запахи, краски, линии, слышимые и не слышимые звуки — все слито в пейзажной увертюре к «Поднятой целине», что сродни разве что народно-песенным запевам:

«В конце января, овейанные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры понимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.

Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов...

А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по

чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, — как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней».¹

Зачины Шолохова и в самом деле достойны специального исследования: в них распаивается величие вечного жизнеотворения и открытость этого процесса мирообъемлющему восприятию человека, который в шолоховской прозе вмещает в себя движущееся содержание мира и многократно соизмеряется с этим движением.

Подобно песенным запевам, втекающим в огромную жизнь и выносящим туда певца и слушателей, шолоховские повествовательные начала создают у читающих ту же непосредственно осязаемую иллюзию безначальности и бесконечности Времени и Пространства — той «досюжетной» океанической глади, по которой ладья искусства проплывает только положенный ей путь, а громада океана пребудет вновь в своей «постсюжетной» нерушимости, простертой за черту финала, также открытого в беспредельность Пространства и Времени.

Самый знаменитый роман XX столетия «Тихий Дон» начинается с подключения нашего к тому, что словно бы присутствует в реальной действительности независимо от романиста и читателей, и только направленность авторского взгляда выхватывает из картины великого сущего непосредственно ближайшее: «Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона...» (II, 9).

Художник на мгновение задерживает стремление бытия и самое сверкание струистой вороненой ряби Дона, но задерживает словно для того, чтобы тут же прозвучал мотив обманчивости статики: мелеховский двор возникает не только в зрительной, а и во временной перспективе. Он стоит на берегу реки, но и на берегу Истории. Едва оживает в авторской передаче устная летопись хутора, как у порога мелеховского куреня воскресают гордая фигура казака Прокофия и загадочный профиль турчанки. Воскрешение давних событий и неусыпных человеческих страстей вводит в роман мотив движения от прошлого к настоящему, мотив взаимопроницаемости и неразделимости времен, который является одной из опорных координат прозы Шолохова.

Каждая деталь родословной Мелеховых изумляет в этом смысле сугубой выверенностью. «В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор...» — рассказывает автор как бы нечто хорошо известное. «В предпоследнюю...» — и поэтическая растушевка факта сливается воедино хроникальное и неосвязаемо-легендарное. И отсюда уже всего один шаг к дальнейшему, где очертания вчерашнего смыкаются с зыбкой глубиной времени, которая обозначается и вовсе неощутимыми в пределах короткой человеческой жизни понятиями «векá», «столетия»: «...вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского... кургана. Сажал ее там на макушке... спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря...» (II, 10).

Что за столетия «источили» камень? И что за «татары» насыпали курган, давший имя хутору?..

Большая равнодушно-беспредельная История расстилается за чертой видимости, а тускнеющие зори, в которые кутается горизонт, больше и беспредельнее самой Истории.

¹ Михаил Шолохов, Собрание сочинений в восьми томах, т. VI, Гослитиздат, М., 1958, стр. 7 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

Но там-то и зачинаются судьбы героев.

Чувство вечности и значительности материального мира — одно из сильнейших организующих начал шолоховской прозы. Оно тем более важно для авторской художественной системы, что человек и жизнь человеческая, столь малые на фоне Времени и Пространства, рисуются у Шолохова средствами перемежений социально-исторического, бытового, интимного и вечно-природного планов изображения. Между миром и личностью то и дело скользят взаимоокрашивающие блики-отражения. Каждый акт человеческого существования вообще и социального действия в частности дорастает и возвышается в этой соотносимости с извечным коловращением природы до небывалости и принципиальной значительности.

В непрерывном мерцательном ритме изменений освещения героев, в многократной переориентировке общих и личных отсчетов времени, в переплесках волн изображения от сферы крестьянского быта к панорамным разворотам звездного неба, от грохочущей баталии к глухой тишине девственных степей вырисовывается перед читателем индивидуально-шолоховское понимание человеческой личности как неисчерпаемого мира. Этот мир обладает абсолютной ценностью и лишь в силу стечения роковых социально-исторических обстоятельств может двинуться по ложной траектории. Оттого писатель свято дорожит человеком, ищущим пусть утопической, но желанной правды, «под крылом которой мог бы посогреться всякий» (IV, 198),² оттого сосредоточенно всматривается писатель в героев, которые, веруя в возможность создания русским народом наилучшего социального устройства, строят вместе с народом это лучшее общество и беззаветно отдают не просто мечте, а людям собственную жизнь.

В одной из самых драматических сцен «Поднятой целины» — в эпизоде расправы обманутой, разъяренной толпы над председателем гремеченского колхоза — Семен Давыдов, «с огромнейшим усилием» встав с земли, смыв «кровь с лица и шеи», присаживается на крыльцо. Взлом хлебных амбаров прервал избивание. Улица опустела.

И в эту минуту Шолохов дает возможность своему герою услышать наивную, безмятежную музыку вечной жизни: «Во дворе не было ни души. Где-то потревоженно кудахтала курица. На крыше скворешни выпцелкивал, запрокинув голову, вороной жаворонок. Со степи слышно было, как посвистывали суслики. Негустая ступенчатая грядина лиловых облачков застилала солнце, но, несмотря на это, в воздухе висела такая томящая духота, что даже воробьи, купавшиеся посреди двора в куче золы, лежали недвижно, выткнув шейки, изредка трепыхая крохотными веерками распушенных крылышек» (VI, 297).

Тишина будто приглашает к выходу из борьбы. Но голоса жизни прерывают оцепенение героя: «Хлеб увозят... — подумал Давыдов. — А действительно, что же с Макаром? Неужели убили?» И сразу же — как импульс совести — следует решение: «Пойду!» (VI, 298).

Чувство социального долга, ответственности перед людьми — ценностная суть шолоховских героев. Избитый, «словно подталкиваемый в спину порывистым ветром» (VI, 300), Давыдов, ощутив на мгновение всю притягательность тишины, но повинувшись только движению человечности, направляется туда, где ему грозит смерть, продолжать свою борьбу. Гуманизм Шолохова разъясняет всему миру новую Россию и теплую душу революции, битву революции за человека, который может быть счастлив на этой земле и может быть прекрасен.

² Как говорил Достоевский, «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится» (Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в десяти томах, т. X, Гослитиздат, М., 1958, стр. 443—444).

С очевидностью открывается это в реквиемах Шолохова.

Трагическая гибель Аксиньи, настигнутой пулей в последнем, отчаянном порыве к счастью, гасит все краски мира: «черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца» (V, 490) роняют в наше сознание тень невозместимой человеческой утраты, заставляя вспомнить пронизывающие мотивы древней литературы.³ Великая революция вершится во имя счастья простых людей, таких, как Аксинья, Мелеховы, и значит социальная практика реформаторов мира должна навсегда исключить из истории возможность трагедии *таких людей*. Самое возникновение этой мысли у Шолохова, впрочем, свидетельствует не только об умении писателя ставить самые сложные вопросы эпохи, и ставить их в самой острой форме, но и об органической мощи нового общества, о его способности извлекать уроки из наиболее трагедийных поворотов народных испытаний. И только в упомянутой способности и заключен источник движения к великому грядущему: никакие другие прежде существовавшие и существующие системы (как системы антагонистические) не способны к усвоению трагического опыта и преодолению его на собственных социальных основаниях, ибо таковой опыт означает бесповоротное отрицание антагонистических систем, порождающих трагические коллизии.

Но гибель шолоховских персонажей в клокочущем, не устоявшемся, не отвердевшем еще новом мире открывает читателю и всю широту и объективность художнического взгляда, видящего черты потенциальной красоты, красоты «нереализованной», даже там, где — с точки зрения вульгарных представлений о социалистическом искусстве, — казалось бы, искать ее вообще противопоказано. Не Шолохов ли уже в первой книге «Поднятой целины» очертил облик кулацкого сына Тимощки Рваного, соучастника убийства Хопровых?..

Но вот Рванный погиб, и не торжество и ликование, а сложное чувство овладевает победителем. Совсе не по рецептуре шаблонов и недомолвок, а в опровержение и отвержение их рисуется писателем смерть классового врага и соперника, над которым стоит коммунист, еще недавно распаленно кричавший: «Да я... тысячи станови зараз дедов, детिशков, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!» (VI, 69). Нет, совсем по-иному, оказывается, чувствует пылкая душа романтика мировой революции Нагульнова:

«Макар встал, подошел к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении любовались и гаснущими неясными звездами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребренным снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной, легчайшей дымкой тумана.

Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил:

— Ну что, отгулялся, вражина?

Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На нетронутый загаром, чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздернутая верхняя губа, опущенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах, всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших Лушку. „Однако отъелся ты, парены!“ — подумал Макар.

Ни недавней злобы, ни удовлетворения, ничего, кроме гнетущей уста-

³ «... Солнце во тму преложиися..., звезды в полудне на небеси явились черным видом» (А. Н. Робинсон. Жизнеописание Аввакума и Елифания. Исследование и тексты. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 140).

лости, не испытывал теперь Макар, спокойно разглядывая убитого» (VII, 165).

Необыкновенно мудро шолоховское понимание рыцаря чести Нагульнова. Взгляд Макара, сливающийся с авторским и читательским взглядом, чужд и тени сентиментальности, но в нем отчетливо сознание: какая цветущая молодость срезана оружием в непримиримой борьбе. Сколько же теряет общечеловеческий мир в неизбежных схватках с тем, что впитало в себя агрессивную приверженность старому, обреченному укладу жизни, как бы говорит писатель. Сколько вообще народной красоты опутано и загублено прошлым. Сколько могло бы ее развернуться даже в тех, кто встал с оружием против Бунчука, Котлярова, Давыдова...

Иногда, как в портрете Чумакова, Шолохов показывает чудовищное несоответствие, контраст внешнего и внутреннего лика человека: «Он был по-настоящему красив и скромен на вид, этот заслуженный палач фоминской банды...» (V, 454). Но чаще подобное расчленение зримого и сокровенного — средство раскрытия неубитой красоты человека, — как в финальном эпизоде «Тихого Дона»: «Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...» (V, 494). Оттого-то и неизбежно горе читателя: Григорий не опустошен и по-человечески не обесценен трагедией. С Чумаковыми ему не по пути. И никакая амнистия ему не нужна. Но солнце жизни его померкло. Он навсегда раздавлен утратой Аксиньи. Пусть «все еще судорожно» цепляется он «за землю» (V, 491), — даже мальчик с «розовыми, холодными ручонками» (его надежда и последнее прибежище любви его!) лишь «пока» роднит его «с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром» (V, 495).

Нет, в неоднозначности шолоховских оценок человека (применение толстовского принципа «текущести человека»),⁴ в симфонизме его величавых рекемиемов торжествует не «абстрактный гуманизм», а совесть нового общества. Ибо она есть развитие той человечности, что водила пером Гоголя, изображавшего патриота и отца Тараса Бульбу над телом Андрия,⁵ что сказала при описании Кирибеевича Лермонтовым, что не позволяла Льву Толстому в «Хаджи-Мурате» односторонне шаржировать горцев-мюридов или русских солдат, — той человечности, что, идя еще из эпохи новгородских былин и Андрея Рублева, наполнила сердечностью нашу национальную культуру XIX века, а у самого Шолохова с огромной силой прозвучала уже в «Донских рассказах»: и в «Чужой крови», и в «Семейном человеке», и в «Обиде», и в самом первом, опубликованном девятнадцатилетним писателем рассказе — «Родинка».

Это взгляд на прошлое и настоящее с высоты будущего.

Любовь к человеку, царящая в прозаической державе Шолохова, повелевает ему внимательнейше, не отводя очей от скверны и не торопясь (подобно некоторым его персонажам) с приговорами, взглядеться в каждого, кто вошел в поле его искусства. И, наверное, оттого зоркий — зорчайший! — глаз художника схватывает не только игру мускулов лица, движения рук, валкость походки героя, но проникает в тайну личности, сквозящую в этих мимике, жестах, интонации и тембре голоса, взглядах, бросаемых вокруг, в высказывании персонажа, то отвечающем ходу его мыслей, то не сливающимся с внутренним движением сознания...

⁴ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 53, Гослитиздат, М., 1953, стр. 187.

⁵ «Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты» (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. II, Изд. АН СССР, 1937, стр. 144).

Пожалуй, всего сильнее выразился шолоховский гуманизм в социально-этическом накале его романов, в пронизанности шолоховского искусства самым высоковольтным идейным напряжением эпохи, в небывало масштабной постановке проблем исторической реализации идеалов Октября и в выдвигании насущнейших проблем ответственности коммуниста за судьбы народные, за судьбы нового мира.

Атмосфера шолоховской прозы — атмосфера советской духовной, социально-политической жизни 20—70-х годов. Однако идейная сращенность произведений нашего великого современника с процессом интеллектуальной жизни общества времени создания его книг еще в очень слабой степени затронута исследованием. А между тем историзм романов Шолохова заключен не только в их исторической «опрокинутости» в сюжетную действительность 1912—1945 годов — действительность, изображенную с безусловной правдивостью:⁶ взор художника целеустремлен к тем процессам и конфликтам, которые не устаревают с оторванным листком календаря, завершение и разрешение которых укладывается лишь в целостное пространство эпохи.⁷

Намагничивание исторического материала актуальным нравственно-философским опытом наших дней было свойственно в 30-е годы даже историческому роману о несравненно более далеком времени: «Работа над „Петром“ прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски», — говорил Алексей Толстой.⁸ Но если «вхождением... через современность» в петровскую историю только допускалось ассоциативное осмысление прошлого сквозь призму текущего, то прошлое шолоховских романов стояло плечом к плечу с настоящим, вросло и переросло в это настоящее. 6 июня 1931 года, излагая мытарства с публикацией 6-й части «Тихого Дона», где изображалось Верхнедонское восстание 1919 года, М. А. Шолохов писал Горькому: «... вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции. Прошлогодня история с коллективизацией и перегибами, в какой-то мере аналогичными перегибам 1919 г., подтверждает это».⁹

Отправляясь от живой конкретности жизни, Шолохов не гнался за узко-хроникальной ее регистрацией: «... пожалуй, ни один писатель не в силах охватить во всей многогранности все события, все переломы, все видоизменения, которые происходят в нашей стране каждодневно, ежечасно... Всякий пишущий может оказаться в положении кинорежиссера Эйзенштейна, который взялся снимать картину под названием „Генеральная линия“. В то время (в 1928—1929 гг.) партия прилагала

⁶ См., например, наиболее развернутый и убедительный исторический комментарий к «Тихому Дону» М. Шолохова в трудах Ф. Г. Бирюкова: 1) Снова о Мелехове. «Новый мир», 1965, № 5, стр. 236—250; 2) «Тихий Дон» и его критики. «Русская литература», 1968, № 2, стр. 88—110; 3) Если опираться на принцип историзма... «Русская литература», 1971, № 2, стр. 76—93.

⁷ В литературоведении встречаем схожие мысли. П. Палиевский: «Шолохов показал противоречие между громадной революционной преобразующей точкой зрения и ее отдельными выражениями... Революционный сдвиг создал аппарат, рассчитанный, подобно клеткам человеческого мозга, на долгое заполнение вперед. Учиться его использовать, включать возможности стало исторической задачей, решаемой на протяжении эпохи» (П. П а л и е в с к и й. Мировое значение М. Шолохова. В кн.: Мастерская, вып. I. Изд. «Молодая гвардия», М., 1975, стр. 82—83). И. Борисова: «Годы уносят нас от событий, описанных в „Тихом Доне“. Но он не становится от этого книгой о прошлом, историческим романом. „Тихий Дон“ продолжает быть книгой о современности, потому что все происшедшее... остается нашим сегодняшним днем» (И. Б о р и с о в а. Эпопея революции. В кн.: Творчество М. А. Шолохова. Сб. статей. Сост. П. И. Павловский. Изд. «Просвещение», М., 1964, стр. 62).

⁸ Алексей Толстой, Собрание сочинений в десяти томах, т. X, Гослитиздат, М., 1961, стр. 203.

⁹ «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 697.

все усилия к тому, чтобы сколотить единоличные крестьянские хозяйства в карликовые колхозы... На определенном этапе это была „генеральная линия“. Но когда Эйзенштейн доснимал до 1930 года, то в 1930 году произошла сплошная коллективизация, — и из картины Эйзенштейна генеральной линии не получилось... События перерастают, перехлестывают людей, и в этом трудность нашей задачи» (VIII, 110—111).

Шолохов добивается концентрации аналитического внимания на тех ситуациях, в которых вскроются — тревожные или позитивные, но всегда длительно действующие — социальные закономерности. Писатель постигает жизнь не просто в движении, но в существеннейших противоречиях движения, которые и являются источником диалектики общества.

Романы Шолохова — не формулы желания, а формулы истины. «... Все мы движимы одним высоким желанием сказать высокую правду народу... Очень велика ответственность писателя перед народом... Мы все вместе и каждый из нас отдельно должны быть совестью народа» (VIII, 308), — так определял свое кредо художник в одном из выступлений.

И в романе о революции — «Тихом Доне», где показано трудное рождение новой государственности — диктатуры пролетариата, Шолоховым художественно поднята на высоту исторического значения мысль о возрастании общественной ценности человеческой личности, личности народной, в условиях народовластия. Писателем подчеркнута особая важность накопления революцией гуманистического опыта, движущего общество. Этот опыт не укладывается в прокрустово ложе представлений Михаила Кошевого, хотя бы люди последнего типа не только воевали за победу революции, но и в какой-то момент выступили в роли полномочных представителей революционной власти, решающих человеческие судьбы. Кошевые то и дело усложняют и без того сложный ход событий: то подталкивают его в направлении конфликта власти и народа, приведшего к Вешенскому восстанию, то требуют от Мелеховых расплаты в тот час, когда революционная законность и целесообразность диктовали иные нормы взаимоотношений с бывшими «потусторонниками». Но не только самоуверенные хуторяне, а еще более — те, кто осуществлял ближайшее руководство всей политической жизнью Дона, не отдавали часто отчета в том, что именно переход массы трудового крестьянства, хлеборобского казачества (а в их числе и Мелеховых) на сторону Советов решил в их пользу борьбу с Деникиным, Врангелем, Колчаком, т. е. победу в гражданской войне.¹⁰

¹⁰ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 168, 183. А. И. Микоян в 1925 году говорил в докладе «Партия и казачество»: «За последние годы советская власть простила многих казаков, которые были вовлечены в белогвардейское движение. Часть казачества, которую мы вернули из-за границы, получила права, некоторые из них проявили себя вполне лояльными, показали себя честными советскими гражданами. Между тем наблюдается такое явление, что тем гражданам, которым вернули права, ежечасно, ежеминутно тычут в нос: „Ты контр, ты белогвардеец“ и пр. Получается так: мы сами простили, права дали, а потом на каждом шагу портим кровь и себе и этому человеку» (см.: Литература советского Дона. Ростов н/Д., 1969, стр. 42—43). См. также работы Ф. Г. Бирюкова, статьи А. И. Мацая (Он весь в движении... (О судьбе Григория Мелехова). «Русская литература», 1971, № 2, стр. 94—107), М. Алпатовая (Истоки «Тихого Дона». «Огонек», 1975, № 8, стр. 20—22 и № 9, стр. 17—19). Правда, в последних очерках вызывает возражение тезис о том, что «историческая концепция гражданской войны на Дону, развернутая в эпопею М. А. Шолохова» и «полностью» совпадающая с концепцией В. И. Ленина, совершенно независима от ленинской концепции: «... Шолохов тогда не был знаком с ленинскими работами, в которых разбиралась позиция казачества. Но было другое... Гражданская война на Дону прошла у будущего писателя на глазах, он наблюдал ту самую историческую действительность, анализ которой дал Владимир Ильич. Являясь современным, а подчас и очевидцем этих

С историческими рецидивами позиции Кошевого шолоховский читатель столкнулся и в эпизодах «Поднятой целины», и в последних опубликованных главах романа «Они сражались за родину».¹¹ Поэтому вполне естественно, что образу Кошевого критика и литературоведение уделили столь большое внимание, постепенно отрешаясь от «номенклатурного» восприятия героя — по мере углубления понимания событий, отраженных писателем, — событий, всемирный смысл которых В. И. Ленин в 1921 году (дата разговора Григория Мелехова с Михаилом Кошевым) характеризовал следующими словами: «... значение переживаемой Россией эпохи состоит в том, чтобы практически испытать и проверить политику пролетариата, держащего государственную власть в своих руках, по отношению к мелкобуржуазной массе».¹²

Единство контрапунктной композиции «Тихого Дона» достигается художником в высокой степени путем последовательного развития единой гуманистической темы. «Я» автора и народное «мы» многократно отзываются взаимным эхом. В особенности явно это созвучие обнаруживается при сравнении народных лирических песен, ставших эпиграфами к книге, с авторскими отступлениями. Единство интонаций самобытной фольклорной и ориентирующейся на фольклор авторской формы — это единокровность лирических стихий, неразделимость их народного содержания.

Если песенный эпиграф к роману звучал «хоровым»¹³ мелосом:

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...

Распахана наша землюшка лошадиными копытами...

(II, 7)

— то ему и его разнообразным отзвукам, резонируя, развивая и усиливая тему, вторил страстный, — вначале будто прерывающийся и приглушенный нахлынувшим чувством, а затем достигающий пронзительной лирической высоты, — авторский голос: «Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жуёт шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью колитая степь!» (IV, 64).

событий, будущий автор „Тихого Дона“ глубоко и всесторонне знал, „как дело было“, знал вдоль и поперек участники народной драмы того сурового времени... Все повороты в судьбе Григория Мелехова обусловлены поворотами подлинных событий. Правильно понятая историческая действительность — не последняя причина убедительности и художественной силы шолоховских образов. Эта верность исторической правде неизбежно привела к естественному следствию: концепция „Тихого Дона“ совпала с ленинской концепцией гражданской войны» («Огонек», 1975, № 8, стр. 20). Думается, наличие в романе Шолохова «правильно понятой исторической действительности» коренится не только в эмпирическом житейском опыте мастера, не только в изучении мемуарной литературы, но и в обращении писателя к многократно опубликованным в 20—30-е годы и широко цитировавшимся в исторических работах ленинским трудам. Даже героине шолоховского рассказа 1925 года «Пастух» они были известны: «... Дунятка обочь дороги шагает, в город идет, где советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой. Так сказано в книжке Ленина» (I, 32).

¹¹ Михаил Шолохов. Они сражались за родину. (Главы из романа). Изд. «Правда», М., 1969.

¹² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 6.

¹³ Л. Ф. Киселева. О стиле Шолохова. В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стили. Произведение. Литературное развитие. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 176 и др.

Гуманистический опыт революции закрепляется в романе-эпопее Михаила Шолохова не узкой персонификацией, он аккумулируется всей емкостью «Тихого Дона», где мнение автора то воплощается в мнении наиболее ответственной, предвидящей будущее коммунистической силы, то рассредоточивается в широте общенародного отклика на события и их итоги. Традиционные демократические представления о чести и достоинстве человека, о добре и зле, обогащенные процессами революционной самодеятельности масс, обретают в великом произведении искусства новую остойчивость и новую жизнь.

В тот 1922 год, изображением которого завершается роман-эпопея Шолохова, В. И. Ленин указывал: «Нам надо взять правильное направление, нам надо, чтобы все было проверено, чтобы все массы и все население проверяли наш путь и сказали бы: „Да, это лучше, чем старый строй“. Вот задача, которую мы себе поставили». «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы. Насчет икон мы остались мнения старого, весьма плохого. Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи».¹⁴ Именно задачам общенародной проверки и выработки «правильного направления» движения общества служил и продолжает служить всеохватывающий, всепроникающий гуманизм автора «Тихого Дона».

2

В книгах Шолохова передано движение общественного сознания миллионов русского народа от той черты, на которой художественное исследование этого сознания было оставлено классиками дореволюционной литературы и Горьким, вплоть до наших дней. Это движение, выявляющее закономерности перехода наций от капитализма к социализму, имеет мировое значение и тем самым в огромной мере определяет мировой резонанс творчества нашего великого современника.¹⁵

Разумеется, писатель жил и творил вместе с советской литературой. Преемница русского классического реализма, выстрадавшая марксизм вместе со всей Россией, оцепеневшая пламенем революции, она-то и вознесла Шолохова на высоту нравственно-философского осмысления основных художественных задач нового века. Но мощь индивидуального дарования позволила художнику отразить путь великого народа через «реки огненные» с силой несравненной.

Как ни трудно это признавать, имея в виду сложность, а часто и жестокость первых жизненных впечатлений будущего писателя, ранняя биография его сложилась на редкость счастливо для того, чтобы одаренный жадностью к жизни и слову ребенок, юноша сформировался как художник огромного диапазона чувств и мысли.

Вероятно, прав был Иван Бунин, говоря о типе физической организации как предпосылке «обостренного ощущения Всебытия».¹⁶ Но чтобы это ощущение проснулось и бурно развилось, наверное нужно было с детства всей полнотой своей природы прильнуть к материнскому лону донской природы, надо было — начиная с наблюдений над собственной семьей, над

¹⁴ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 308, 309.

¹⁵ См. об этом: Константин Прийм а. «Тихий Дон» сражается. Ростовское книжное изд., 1972; А. И. Хватов. Вечно живое. «Русская литература», 1969, № 4, стр. 96—114; Олег Михайлов. Верность. Родина и литература. Изд. «Современник», М., 1974, стр. 51.

¹⁶ И. А. Бунин, Собрание сочинений в девяти томах, т. IX, изд. «Художественная литература», М., 1967, стр. 47.

службой родителей у разнокалиберной станичной знати — сызмала вкусить непростоту человеческих и социальных отношений, надо было взглядеться изнутри во все душлистые разветвления казачьего мира, а затем испытать потрясение от встречи с чудодейственным искусством Гоголя. Надо было увидеть неведомые города, возникающие за проселками в ореоле электрических огней, — шумную Москву, где он перешагнул порог 9-й мужской гимназии имени Григория Шелапутина, тихий Богучар, где продолжал учиться и изведать первый гимназический литературный успех...

А затем на родном Дону надо было стать свидетелем и участником железной — не на жизнь, а на смерть — схватки классов.

Законы формирования трагедийного искусства одинаковы для всех времен.

Только разыгравшаяся перед глазами Шекспира драма могла внушить лондонскому актеру образы Гамлета и Ричарда Глостера, Лиры и Фальстафа.

Только суровость раннего опыта, исключительность пережитого могла вложить в душу донского юноши органическую потребность «шекспиризации» действительности — «шекспиризации» сквозной, начиная с самых первых его рассказов. Борьба, заставлявшая до срока возмужать подростков его поколения, — борьба, не знавшая компромиссного исхода, раз и навсегда разбившая звенящую тишину степей, быт казачьего куреня и прежний строй человеческой души, — движет действие ранних произведений Шолохова. Грозные страсти владеют пахарями, заслоняющимися от солнца корявой ладонью. Эти страсти способны разрушить один и создать иной мир («...Народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился!» (V, 88), — говорит главный герой «Тихого Дона»). И они воистину руют старину и творят непривычную новь.

Степень серьезности шолоховского повествовательного искусства изначально соответствует серьезности революционного народного опыта, который явился школой для будущего писателя и дал смысл его существованию. Оттого ранняя литературная форма Шолохова «экстрактна», насыщена эмпирией и даже испытывает ее давление (что, впрочем, типично для многих литературных явлений молодого революционного общества). Но то, что с пуристских позиций кажется излишествами натурализма: изображение смерти красного комиссара Игната Бодягина в рассказе «Продкомиссар», сцены голода в рассказе «Алешкино сердце» и многое другое, — есть эстетика, отвечающая обжигающей непосредственности опыта и отнюдь не противостоящая художественной целесообразности (оттого в классических, более поздних формах шолоховской прозы, — по крайней мере, до второй книги «Поднятой целины» включительно, где читатель видит садистски изуродованного Хижняка (VII, 377), — действует тот же «рефлекс» художника, настаивающего на праве реалистического показа жизни).¹⁷

Давление материала сказывается у раннего Шолохова и в разливе просторечия, пронизывающего собственно-литературный язык повество-

¹⁷ «... Молодой Шолохов нет-нет и согрешит натуралистически сниженными описаниями», — говорит Л. Якименко, видя натуралистический криминал «даже в таком пронизанном поэзией детского видения мира рассказе, как „Нахаленок“» (Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова. Издание второе, исправленное и дополненное. «Советский писатель», М., 1970, стр. 62). Однако «Нахаленок» — рассказ о раннем жестоком опыте ребенка — далек от поэтизации безмятежного «детского видения мира». У Шолохова нет натурализма как смакования физиологически грязных и кровавых подробностей существования, противоречащего реалистическому художественному заданию произведений. Но нет у него и стыдливого уклонения от того, что входит в судьбы его героев горькой или «неэстетичной» правдой жизни. Солидаризируясь с Л. Г. Якименко, надо бы записать в натуралисты и авторов «Холстомера», «Четырех дней», «Убийства» и вообще основательно «почистить» русский реализм XIX, а тем более начала XX века.

вания и подчас отодвигающего последний на второй план. Образность же, которая выступает в произведениях не только как средство характеристики лиц и обстоятельств, но и как дополнительное средство насыщения рассказов жизненным материалом, столь избыточна, что неизбежно возник бы перевес внимания к средствам изображения, а не к изображаемому, если бы не рвущаяся вперед, увлекающая автора динамика сюжета.

Жизнь — жизнь подлинная, но еще не уравновешенная художнической строгостью ориентации на классику, — ходит круговертью в берегах первых шолоховских книг. Она вся — из раннего опыта, включавшего в том числе участие в гражданской войне и трудную работу продовольственным инспектором Верхне-Донского округа.¹⁸

А то, что тайла ранняя биографическая глубина, вновь углублялось наблюдениями с такого же короткого расстояния над социалистической перестройкой деревни, наблюдениями над жизнью Донщины и Москвы в предвоенные пятилетки, опытом пребывания на переднем крае в Великую Отечественную войну.

Только самые крупные таланты, одаренные «чувством пути», умеют так естественно направить свою жизнь по руслу, где нет дистанции и даже границы между «материалом искусства» и вседневным личным бытием. Жизнь на Дону, в кругу земляков, которым посвящаешь свое творчество, казалась Шолохову единственно возможной уже с тех самых дней, когда писались первые донские рассказы. Позже он многократно повторит слова о необходимости достижения кровной близости между писателем и «объектом» его творческих устремлений: «... На Алтае, или еще где-либо я буду „гостем“ — иной народ, иной язык...» — писал Шолохов в Федерацию объединения советских писателей в 1928 году.¹⁹ Шесть лет спустя он скажет, что «каждому писателю необходимо прикрепиться к определенному участку строительства и работать на нем, систематически изучать его, что облегчит возможность правдивого отображения нашей действительности».²⁰ И тот же мотив прозвучит на встрече с молодыми литераторами еще более чем через двадцать лет: «... хорошо драться... на одном и хорошо знакомом месте, и основательно, а не в порядке кратковременных наездов» (VIII, 316).²¹ Непрерывные штудии русской и мировой художественной классики, изучение русской и мировой философии, социологии служили формированию того, что давал живой опыт гражданина, коммуниста, патриота.²²

Как говорил Михаил Шолохов в своем прошлогоднем интервью, «писатель во все времена учился у народа, старался донести во всей полноте его мысли и чаяния, его сокровенное».²³

На этом, а не ином пути только и могли возникнуть монументальные фигуры Григория Мелехова, Семена Давыдова, Андрея Соколова.

¹⁸ Ф. А. Абрамов, В. В. Гура. М. А. Шолохов. Семинарий. Учпедгиз, Л., 1958, стр. 132; А. А. Палшков. На подступах к творчеству. (Страницы из биографии М. А. Шолохова. 1922 год). В кн.: Вопросы русской литературы XIX—XX вв. Смоленск, 1971, стр. 122 («Ученые записки Смоленского педагогического института им. К. Маркса», вып. XXVII).

¹⁹ См.: Виктор Гура. М. А. Шолохов в работе над «Тихим Доном». «Литературный Саратов», кн. 11, 1950, стр. 175.

²⁰ См.: Ф. А. Абрамов, В. В. Гура. М. А. Шолохов. Семинарий, стр. 151.

²¹ См. также: VIII, 112, 320—324, 327—330, 353.

²² Биографии ныне живущих советских писателей не написаны. В россыпях статей, книг по крупицам добываются и биографические сведения о Шолохове. Наиболее ценное собрано было в «Семинарии» Ф. А. Абрамова и В. В. Гуры, который следовало бы пополнить и переиздать. Важные сведения содержат: письмо М. А. Шолохова к И. В. Сталину («Правда», 1963, № 69, 10 марта, стр. 2), мемуары, опубликованные в сборнике «Михаил Александрович Шолохов» (изд. «Правда», М., 1966) и в книге Л. Якименко «Творчество М. А. Шолохова» (стр. 81, 94—95, 100—106).

²³ Прикосновение к подлинному. «Правда», 1974, № 212, 31 июля, стр. 3.

3

Первообраз татарского кургана, повитого зорями «Тихого Дона», появляется в творчестве Шолохова еще в рассказе «Коловерть» 1925 года: «За бураком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над Гетманским шляхом раскорячился. На кургане обглоданная столетиями ноздреватая каменная баба...» (I, 154).

И оттуда же — «волнами нацелованная галька» (I, 160). И из раннего цикла рассказов — немало других штрихов.

Авторские реминисценции, присущие творящему образному сознанию любого художника, конечно же, приобретают «всякий раз иные качества, становясь... частью» иной «эстетической системы, усваивая ее черты и свойства».²⁴ Но они выступают паглядным показателем того, что единоржды найденные детали, черты героев, характеристики и описания, сюжетные положения, став художнической памятью, в известные моменты подсказывают писателю литературные решения, всей своей стилиевой фактурой родственные прежним.²⁵

Однако гораздо более существенны не реминисценции как таковые, а внутреннее единство всего стилиевого строя произведений, влияние прежнего опыта на стремление творчества вглубь по руслу, проложенному или намеченному первым сочинениям.

Неотделимость писателя от среды, о которой он повествует, позволяет Михаилу Шолохову при освещении душевной жизни героев с последовательностью и тонкостью, небывалыми прежде в русской литературе, пронизать течение всех психических процессов человека-земледельца ассоциациями, возникающими на почве трудовой крестьянской деятельности, казачьего служивского и хлеборобского быта.

К этому Шолохов интуитивно приходит в первом же рассказе «Родника».

Степное, донское, казачье узорно цветет в метафорической системе произведения, с равной естественностью оформляя пейзажные и портретные зарисовки, описания действий и состояний, проникая в прямые оценки: «воропеная сталь воды» (I, 12), «ноздри, словно из суглинка вылепленные» (I, 15), банда бежит, «как набедившийся волк от овечьей отары» (I, 14), мысли мчатся, «как лошади по утопанному шляху» (I, 13) и т. д. Помимо того, огромный удельный вес приобретают разного рода олицетворения, передающие ощущение мира как живого, дышащего, антропоморфного в каждой своей детали организма: «желтая коса, обнимавшая Дон» (I, 12), «волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь... вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату» (I, 12).

Благодаря беспредельному многообразию образно-метафорических земледельческих ассоциаций (они преимущественно эпизодичны у его предшественников, а у современников либо не захватывают всего прост-

²⁴ Н. М. Фортунатов. Пути исканий. О мастерстве писателя. «Советский писатель», М., 1974, стр. 232.

²⁵ Впервые наиболее внимательно отнесся к текстовой переключке ранних произведений М. Шолохова и «Тихого Дона» В. Гура. К сожалению, он не провел исчерпывающего текстологического сопоставления. Еще досаднее, что исследование получило ложный креп: «Отдельные сюжетные положения, принимая последовательность, по-новому осмысливаясь, создавали сюжетное основание нового большого произведения» (В. В. Гура. Донские рассказы М. Шолохова — предыстория «Тихого Дона». «Ученые записки Вологодского педагогического института», т. 7, филологический, 1950, стр. 163). На такого рода утверждения протестующе реагировал М. А. Шолохов (I, 343), хотя сами по себе сопоставительные наблюдения четвертьвековой давности не утратили объективного значения (ср.: Анатолий Калинин. От «Донских рассказов» к «Тихому Дону». «Известия», 1973, № 293, 17 декабря).

ранства мысли и чувства народных героев, либо остаются локальным образом, либо не достигают шолоховской естественности и органичности включения в контекст) в прозе писателя предстает особенный тип народного мирозерцания — тип мирозерцания крестьянского, воссоздаваемый в его мирообъемлющей целостности, в общественно-историческом и художественном его значении.

Этот тип мировоззрения выявляется в непосредственности речевого «поведения» персонажей, отпечатлевается в их высказываниях и внутренней речи. Но он же формирует структуру авторских ассоциаций при описании казачье-крестьянской жизни. Он обволакивает мир героев присущей ему поэтической и нравственной атмосферой. Тематический и образный строй большинства произведений писателя замыкается в высокое единство, к которому шла, но которого еще не создавала дошолоховская проза из крестьянской жизни. «Молекулярное» воссоединение поэтики романов и рассказов Михаила Шолохова со всеми элементами демократического земледельческого мирозерцания, практически тождественного в течение ряда столетий русскому национальному мирозерцанию; внедрение выработавшихся в крестьянстве аграрных ассоциаций, образного просторечия, антропоморфизма, фольклорной символики и т. д., в свою очередь, во все элементы поэтики шолоховской прозы было художественным синтезом, увенчавшим длительную литературную традицию.

Русский реализм XIX столетия устами Глеба Успенского возвестил, что «творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных».²⁶ Поэтом, понявшим эту «тайну крестьянского мирозерцания», «поэтом земледельческого труда», возвышающимся тем самым даже над Пушкиным и Лермонтовым, Успенский считал Кольцова,²⁷ а позднее — «наискреннейшего выразителя сущности русской души», описателя «мужиков, баб, колодников, бурлаков» Некрасова.²⁸ Связь сознания русского крестьянина со всем укладом его жизни была понята Лесковым и Эргелем, Маминим-Сибиряком и Львом Толстым, Чеховым и Буниным, поэтами-суриковцами и Александром Неверовым. И однако же никогда освещение этой связи сознания крестьянского демоса с процессами трудовой жизни, а главное — ее поэзией и нравственностью, не заключало в себе той всесторонности, той глубинности отражения движущейся психики крестьянина, которые были достигнуты в прозе Михаила Шолохова благодаря концентрации его поэтикой предшествующего литературного и фольклорного опыта, благодаря качественному социальному переосмыслению этого опыта.²⁹

Советской литературой, и Михаилом Шолоховым с наибольшей силой, было осуществлено заветное мечтание Льва Толстого — отражены масштаб личности трудящегося человека и глубокая содержательность внешне заурядной его судьбы.

²⁶ Г. И. Успенский, Собрание сочинений в девяти томах, т. 5, Гослитиздат, М., 1956, стр. 37.

²⁷ Там же, стр. 35, 34.

²⁸ Там же, т. 9, стр. 77, 75.

²⁹ К тому времени, когда Шолохов выступил в литературе, сама творческая среда выдвинула теоретиков «крестьянской» поэтики, и принцип соотносительности вечно-космического и человеческого начал получил теоретическое осмысление. Сергей Есенин в «Ключах Марии» (1918) назвал этот принцип «ответным перевозом узловой завязи природы с сущностью человека» (Сергей Есенин, Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, изд. «Художественная литература», М., 1967, стр. 190). Среди примеров «крещения воздуха именами близких нам предметов» (там же, стр. 193) есть целый ряд метафор, встречающихся позднее у Шолохова.

«...Круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу, — утверждал Толстой в трактате «Что такое искусство?». — Люди пашего кружка, эстетики, обыкновенно думают и говорят противное».³⁰

Позиция «эстетиков» разительно напоминает восприятие южнорусских степей британским полковником — персонажем «Тихого Дона»: для него это не более, чем «однообразный степной пейзаж» (V, 117). Шолоховское чувство жизни и несравненная чувственная память, напротив, познаёт и воссоздают народный эмоциональный образ мира в его феноменальной многогранности (в словесном искусстве в этом смысле с щедростью Шолохова сравнима разве что неистощимо-наблюдательная, трепещущая чувством народная частушечная лирика, поэзия Есенина).

Палитра молодого Шолохова отликает радугой. Наперекор драматизму событий он ощущает и рисует мир цветным: «цветное море голов» (I, 107), «бороды цветастые» (I, 157), «цветная ватага ребятишек» (I, 84), «цветные коровы» (I, 99), «цветные шаровары» (I, 105), «разноцветные глаза» (I, 84), «разноцветные, как сюда, льдинки» (I, 15). В «Донских рассказах» в буквальном смысле слова «цветут... зеленым мхом» стены (I, 82) и метафорически — выражая радость — «цветут миндалем» глаза (I, 108). Художник не упускал возможности обратить внимание на контрасты «цветения»: «небо цвело шиповником» (I, 182), «румянец чахло зацвел на... скулах» (I, 87). И, наконец, цветным и расцветающим бывает само чувство: «как жито майское после дождя, цветет радость» (I, 97).³¹

Всего дороже молодому Шолохову были не слитно-радужные пятна красок, а неповторимо-конкретное запечатление окружающего. Он бестрепетно шел на состязание с лучшими колористами литературы, изумляя свежестью живописи: «побелел до пепельной синевы» (I, 230), «синим воском налитый» (I, 37), волосы — «витое, кавказское серебро с чернью» (I, 167). Для него оказалось возможно мимоходным мазком показать белое на белом же: «в млечной темноте покачивается белая рубаха» (I, 98). Цепко схватывались тона и дрожащие вспышки света над горизонтом: «а небо — как вянувший вишневый цвет» (I, 152), «ящерицей пробежала молния» (I, 298).

Когда писались «Донские рассказы», Шолохов будто вновь испытывал счастье узнавания мира и в каждом скрипе колодезного журавля, в каждом блистании звезды ощущал счастье сопрякосновения с жизнью. Он слышал, как «сочно зацокали по солончаку» лошадиные копыта (I, 157), как «переливчатые» голоса волков (I, 29).

³⁰ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 30, стр. 86.

³¹ Оттого и в «Тихом Доне» «дурнопьяном придорожным цветом поздняя бабья любовь» (II, 53), вызревает «в золотом цветенье чувство» (II, 98), «зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков» (II, 48), «майдан пышно цвел казачьими лампасами, фуражками» (III, 339), «лужинами и проталинами цвела оттепель» (III, 227), «цвели по всему округу красные флажки» (III, 327), «пышно цвел закат» (IV, 67), «зацвел улыбкой» (там же), «расцвел в улыбке» (IV, 258), «цвело, бродило чувство» (IV, 165), «зацвел тонкий румянец» (IV, 304), «вся в румянном цвету, Дуняшка» (II, 25), «разноцветными skutьями мелькали разрозненные сценки» (II, 143), фиалки «цветным узором стлались» (V, 459), «цветастое шелковое кавказское одеяло» (II, 338), «цветастый кушак радуги» (IV, 27), «цветистым поясом слободская молодежь» (III, 365), «толпа народа... цветистым полукругом» (III, 387). О южнорусском разговорно-фольклорном источнике слова-образа говорят примеры из речи героев «Тихого Дона»: «Деревцо-то — оно один раз в году цветет... — Думаешь и наше отцвело?» (IV, 326), «зацвел в отступление» (V, 246), «какой цветок у тебя в доме кохается» (V, 408), — а также фольклоризированные стилистические обороты: «была она, как молодая яблоня в цвету» (V, 166), «Дуняшка вспыхнула, как маков цвет» (V, 68).

Всякое утро представляло для него в разном звучании. Утро поздней осени — в ломкости «хрупкой тишины» первого мороза под «перезвоном подкованных сапог» (I, 13). Летняя рань, — «когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках», — «утром, сполоснутым росой» и звенящим «прозрачной тишиной» (I, 45—46).

Писатель различал мельничный «вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита» (I, 15), «запах пьяный листьев лежалых» (I, 165), ночные садовые ароматы «земляной сырости, крапивного цвета», «дурманное» веянье «собачьей бесилы» (I, 48), весенний «сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлых годов, на корню подопревших» (I, 159).

Переполненность богатой природы художника впечатлениями жизни степей, с их разнотравьем, плеском птичьих крыл, озаряемых рассветами, с шелестом лемеха в борозде и ароматами лугового майского сена, отозвалась мажорным чувственным звучанием «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Это и есть влекущий героев желанный мир труда. Это обещание раскрытия высших, прекрасных возможностей человека.

Поистине неколебима оценка шолоховского таланта, принадлежащая Александру Серафимовичу: «Разве широко размахнувшийся красочный и углубленный Шолохов не глянул из-за края, как молодой месяц из-за кургана, и [не] засветилась степь?»³²

Но это золотое свечение степи стало возможно лишь потому, что светоносно было шолоховское слово. В нем синтезировались энергия народного красноречия и пластика литературной формы. Писатель, обладавший универсальным чувством народной стихии, ориентировался на стилевые образцы национальной классики — в первую очередь Гоголя, Толстого, Чехова и Бунина — и смолоду с завидной легкостью осваивал разные повествовательные принципы.

Он ощущал подтекстные возможности фольклорной символики, и он пользовался ею. Он оценил силу сюжетной неожиданности, и у него нет банальных концовок. Он видел достоинство убедительности в тех авторских описаниях действующих лиц, где оно переключается на речевые ресурсы персонажа, и употреблял такие переключения. Он понял, что движение должно пронизывать весь рассказ, и развитие действия продолжается у него до последнего абзаца. И даже там, где большинство писателей ограничивается нейтрально-этикеточными терминами «сказал» — «спросил» (при введении прямой речи в повествование), он искал изобразительного эффекта: в рассказе «Жеребенок» на пятнадцать случаев включения прямой речи есть всего один повтор ремарочного глагола, но и он снабжен добавочным жестом.³³

«Для тех, кому дорог мир мысли большого писателя, его первые книги представляют особый интерес. Часто самой своей неискупенностью они полнее выявляют духовную сущность автора, нежели более зрелые его творения, где разум его всегда на страже», — справедливо полагал Ромен Роллан.³⁴

³² А. С. Серафимович, Собрание сочинений в семи томах, т. VII, Гослитиздат, М., 1960, стр. 279.

³³ Вот это свидетельство требовательности автора и его синонимических поисков в целях создания зримых картин: «обрел дар речи», «сухо спросил», «заговорил снова» (I, 224), «рассказывает», «поинтересовался», «процедил сквозь зубы» (I, 225), «похвалил», «смел с колен обрезки хвороста, спросил», «с жаром воскликнул» (I, 226), «поглядывая на меркнувшие звезды, сказал» (I, 227), «хмуриясь, буркнул», «заревел» (I, 228), «крикнул строго», «выдохнул», «гаркнул» (I, 230). Синонимический «коэффициент» очень высок (ср.: Ал. Горелов. Труд всей жизни... «Звезда», 1966, № 7, стр. 194—195).

³⁴ Ромен Роллан, Собрание сочинений в четырнадцати томах, т. XIV, Гослитиздат, М., 1958, стр. 269.

Но духовная сущность Шолохова сказалась в трех десятках сравнительно небольших произведений, объединяемых в цикл «Донские рассказы», с такой вызревшей яркостью, что писатель остался бы в истории новеллистики и в том случае, если бы им написан был только названный цикл.³⁵ Современное литературоведение пришло лишь сегодня, но пришло неизбежно к заключениям, отчетливо сформулированным тонким исследователем архитектоники русской классической прозы Н. М. Фортунатовым: «... это... такие первые опыты, в которых не только угадывается художественный гений автора „Тихого Дона“, но и даются совершеннейшие образцы законченной, тщательно отшлифованной формы, в самих особенностях которой мы узнаем, чувствуем руку оригинальнейшего, самобытного художника.

Это исключительно сложно организованная система, но такая, которая в восприятии неизменно оставляет впечатление простоты художественных приемов. А ведь это именно та высшая ступень мастерства, на какую и может только подняться искусство: такое мастерство, что мастерства и не видно, как любил в таких случаях говорить Л. Толстой». «Во всяком случае, внешней событийной линией, сюжетом... огромную силу воздействия, „заразительности“ шолоховских новелл невозможно объяснить: она кроется еще и в скрытом плане его произведений, в особенностях их построения, в своеобразии развития его художественных замыслов».³⁶

Эволюция Шолохова протекала не от простого к сложному, а от сложного к сложному же, что, однако, происходило при сохранении основных констант индивидуального стиля и при постепенном движении от «экстрактной» метафоричности 20-х годов к классической ясности, прозрачности эстетической системы.

* * *

Уже в наиболее ранних произведениях Шолохов утверждает непреходящую общественную ценность народного опыта и самой «изустной» формой произведений манифестирует идеологическое и художественное значение народной «молвы» о событиях.

В народе бьют вечно очищающие родники нравственного чувства. Важно уловить их потаенное биение. Но всего доступнее понимание сокровенных сторон народной жизни для тех, кто неотделим от нее, — для обыкновенных рыбаков, пахарей, пастухов — людей труда. Оттого столь поглощенно вникает им Михаил Шолохов.

Пастух Захар из рассказа «Лазоревая степь» не вершит ничего героического. Не он — герой произведения. Старик — всего лишь свидетель былой драмы, повествователь. Но этот хранитель памяти о событиях — тип вечного народного рапсода. Такие овчары издревле творили и несли в будущее эпос. Они одарены чисто народной, и это значит — высшей, способ-

³⁵ При всей дифференцированности оценки произведений цикла эта мысль утверждается ныне как самоочевидная истина. См.: В. Черников. В начале пути. (Заметки о творческой эволюции в «Донских рассказах» Шолохова). В кн.: Проблемы развития советской литературы. Сб. статей. Вып. 3. Изд. Саратовского университета, 1968, стр. 25.

³⁶ Н. Фортунатов. Пути исканий, стр. 210, 211. Из более ранних работ о «Донских рассказах» следует выделить работу К. М. Успенской «Путь к мастерству. (Рассказы М. Шолохова 20-х годов)» («Ученые записки ЛГУ», № 275, серия филологических наук, вып. 53, 1959), в которой доказано, что пресловутое инверсирование речи, особенно в рассказах «Коловерть», «Двухмужняя» — эксперимент 1925 года, дань литературной моде; придание слогу напевно-сказовых черт, увеличение круга «образных сопоставлений», а также диалектной лексики и вулгарно-просторечных элементов — результат подготовки к печати книги «Донские рассказы» (стр. 95—101) в специфическом литературном микроклимате.

постью глубоко сочувствовать тому, что достойно сочувствия, восхищаться тем, что достойно восхищения, ненавидеть низменное — мудро понимать происходящее. И не случайно морщинистому (словно бы и впрямь вечному!) человеку с «голубыми и юными» глазами, с «проворным и колючим» взглядом (I, 248) доверено повествование о гордости бойца революции, о его сокрытой, но неистребимой любви к земле: «Быльем поросло это. Остались одни окопы, в каких наши мужики землю себе завоевывали... Аникею ноги отняли, ходит он теперь на руках, туловищу по земле тягает. С виду — веселый, с Семеновым парнишкой кажин день возле придорожки меряются. Парнишка-то перерастает его... Один раз лишь заприметил я... Весной трактор нашей коммуны землю пахал за казачьей гранью, а он увязался, поехал туда. Я овец пас неподалеку. Гляжу, ползлит мой Аникей по пахоте. Думаю, что он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей кругом, видит, людей вблизи нету, так он припал к земле лицом, глыбу, лемешами отвернутую, обнял, к себе жмет, руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...» (I, 255).

Значительность «прозаических» людей земли — непреходящая тема шолоховской прозы. И потому не раз и не два на своем жизненном пути вслушивается в повести «безымянных» спутников автор «Науки ненависти», «Они сражались за Родину», «Судьбы человека».

И в первых и в последних рассказах «исповедальной» формы отчетливо стремление писателя подняться до символических обобщений, но лишь «Судьбу человека» справедливо называют романом, уложенным в рамки рассказа.

Характер и этапы пути Андрея Соколова являются воплощением русского национального характера и отражают важные моменты нашей национальной судьбы в советскую эпоху.

По Шолохову, призвание человека — подвиг преодоления трагедии. Писатель верит и знает, сколько силы таится в человеке.

И так же, как неодолимо достоинство искалеченного солдата революции Аникея, так неизбежны человечность и самоотвержение Андрея Соколова.

У мира есть вечный источник обновления — народ. В этом вера и надежда Михаила Шолохова, в этом основа его жизненной философии, и оттого вся его проза овеяна «извечно юным» (VIII, 33) ароматом весны.



О КОМИЧЕСКОМ В РОМАНЕ «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

(ОБРАЗ ДЕДА ЩУКАРЯ)

«... не только чудак „не всегда“ частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого...»

Ф. М. Достоевский

Щукаря любят все: и герои и читатели «Поднятой целины», в том числе и те из читателей, профессией которых стала литературная критика. «А ведь, не дай бог, подомрет старик, скучно без него в хуторе станет». «Ей-богу, наделает он нам горя! Привыкли к нему, к старому чудаку, и без него вроде пустое место в хуторе останется». Это говорят Антип Грач, Андрей Разметнов.¹

«... Какое, действительно, горе было бы для нашей литературы, как много бы она потеряла, если бы в „Поднятой целине“ (представим себе на минуту такую возможность) не возник этот образ»,² — вторит гремевшим литературный критик.

С одним только не соглашаются многие критики — с большим и как будто ничем не ограниченным регламентом, который дан Щукарю во второй книге «Поднятой целины». Это, дескать, противоречит законам реалистического искусства, законам художественности. Говорят, что во второй книге Щукарь существует силой художественной инерции, что новые комические приключения деда приобретают самодовлеющее значение, что они уже ничего не прибавляют к тому, что мы и раньше знали о характере героя, что, следовательно, тут есть определенный художественный просчет (Л. Якименко, В. Кирпотин и др.).

До сих пор, кажется, в литературно-критической среде такие мнения преобладают.

Правда, в последнее время начали раздаваться иные голоса. Авторы работ о «Поднятой целине» стали сочувственно цитировать высказывание французского литератора Жана Катала, который просит списхождения к Щукарю во имя поэзии. Сказанное о Щукаре Жаном Катала задержало на себе мысль некоторых наших литературных исследователей, но не всех заставило задуматься серьезно. В. Литвинов, например, процитировав Ж. Катала, бросил мимоходом, что-де тем самым Щукарю воздано должное, и пошел затем на Щукаря в атаку, обвинив многострадального деда еще и в том, что он своей щуплой фигурой умудрился заслонить всех

¹ М. Шолохов. Поднятая целина. Гослитиздат, М., 1963, стр. 609, 688 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

² Ю. Лукин. Новая сила романа. Две книги «Поднятой целины» Михаила Шолохова. В кн.: Творчество М. А. Шолохова. Изд. «Просвещение», М., 1964, стр. 120.

других комических героев в творчестве Шолохова и из-за этого-де литературоведы рассматривают проблему комического не так, как нужно.³

Наибольшее сочувствие Щукарю, кажется, вызвал у одного из самых проникновенных исследователей «Поднятой целины» — Ю. Лукина. Ю. Лукин не ограничивается заявлением о своей солидарности с французским автором. Оспаривая мнение тех, кто считает, что Щукарю во второй книге продолжает существовать по инерции, Ю. Лукин обращает наше внимание на такие факты, которые заставляют думать, что этот образ заслуживает особого отношения не только во имя поэзии, но и во имя той большой художественной правды, что несет в себе книга Шолохова.⁴ Прав Лукин, утверждая, что вторая книга открывает много нового в характере Щукаря. Показав, как склонность к философско-поэтическому восприятию жизни, тонкое чувство природы, природный оптимизм, известная пронизательность, душевный такт и деликатность с неожиданной силой раскрываются в Щукаре во второй книге, Лукин делает убедительный вывод: «Щукарю оказался гораздо зорче, а натура его — гораздо глубже, чем это можно было предполагать прежде».⁵ Находит Ю. Лукин подобающее место Щукарю и «во всей образной системе», в композиции романа, которая, по его мнению, определяется необходимым чередованием моментов напряжения и расслабления «мускулатуры» сюжета.

Но, думается, что и на этом еще рано ставить точку, говоря о Щукаре. Щукарю как литературный тип, его место в романе Шолохова и в современной литературе — все это требует серьезного и, быть может, длительного обсуждения. Попытаемся продолжить размышления над этим образом, начатые другими литераторами.

Да, действительно, читая вторую книгу «Поднятой целины», мы часто неожиданно для себя открываем много нового в герое, о котором, как нам казалось, мы знали все. Если в первой книге Щукарю выступал главным образом в роли бахвала и шута, то в целом ряде сцен второй книги открываются в высшей степени привлекательные свойства его натуры. Чрезвычайно характерна, например, поездка Щукаря за землемером, когда он, измученный очередными злоключениями, голодный, переволновавшийся из-за столкновения с ужом, принятым за гадюку, с вывихнутой ногой, подъезжает к полевому стану бригады Агафона Дубцова. Как только на гребне показался стан второй бригады, Щукарю мгновенно преображается: «Чертыхаясь и жалобно стоная, отпрукивая почуввавших ночлег жеребцов, старик стал на линейке во весь рост, широко расставил ноги, туго натянул вожжи и молодецки гикнул. Жеребцы с места пошли машистой рысью. Под изволок они все больше набирали резвости, и вскоре от встречного ветра неподпоясанная рубаха Щукаря вздулась на спине пузырем, а он все попрашивал у жеребцов скорости и, морщась от боли в ноге, весело помахивал кнутом, кричал тонким голоском: „Роденькие мои, не теряй форсу!“» (стр. 555).

«... Морщась от боли в ноге, весело помахивал кнутом», — не в этом ли весь Щукарю? И не в этом ли одно из самых драгоценных свойств народного национального характера? Согласитесь, что стоило писателю так долго рассказывать об этом очередном приключении Щукаря, подробно передавать его голодные мечтания, его размышления о неустроенной жизни, вести читателя в дом Щукаря, передавать перепалку деда со своей благоверной из-за того, что в кладовой их одни мыши и те от голода дохнут,

³ См.: Творчество М. А. Шолохова, стр. 231. Инерция недооценки образа Щукаря в целостной художественной системе «Поднятой целины» сохранилась и в последней статье В. Литвинова «Силовое поле романа» («Новый мир», 1974, № 12).

⁴ Сомнение у Лукина вызывает только то место, которое отведено Щукарю на партийном собрании.

⁵ Творчество М. А. Шолохова, стр. 122.

что, кроме кислого молока (которое принесла соседка) да огурчиков, старуха ничего не могла предложить своему «повелителю», отправляющемуся в «сурьезную командировку»; стоило рассказать о том, как укусил старика уж и как он сам себе вывихнул ногу... Стоило ради того, чтобы в конце этого рассказа фигура старого, много пережившего, но никогда не унывающего деда предстала в таком блеске неистребимого народного жизнелюбия.

В свете этой сцены по-иному начинаешь воспринимать поведение Щукаря и во всех других подобных случаях, в том числе и в тех, с которыми нас познакомила еще первая книга. Раньше, слушая, как Щукарь рассказывал Давыдову повесть своей горемычной жизни, можно было подумать, что жалуются, плачутся старик... Но посмотрите, *как* рассказывает Щукарь о тех больших и малых шишках, которые всю жизнь валились на его бедную голову. Прежде чем поведать о своей тяжелой доле человеку, к которому он проникся доверием и у которого ищет не жалости, а «восчувствия», Щукарь настраивает своего слушателя на веселый, шутливый лад. Он весело рассказывает о бедах, преследовавших его всю жизнь, скрывая боль свою в веселой и беззаботной с виду болтовне.

То же и во всех других случаях: и во время бабьего бунта, и тогда, когда возле Щукаря пропела пуля, пущенная кулацкой рукой в Нагульнова, и т. д. Щукарь, даже переживая смертельный ужас, способен, как только минует опасность (да и в момент самой опасности), мгновенно привести себя в шутливое расположение духа и представить все происшедшее в комическом плане, разыграть комическое представление. А разве это не похвальная привычка и разве не доставляют нам наслаждения оригинальные комические интерпретации тех драматических событий, которые заставили нас переволноваться не меньше Щукаря? Смехом борясь со своей болью, страхом и волнениями, Щукарь снимает тяжесть и с души читателя, дает и ему возможность вздохнуть облегченно после пережитой тревоги.

Да ведь так поступает не один Щукарь. У многих героев «Поднятой целины» та же манера поведения, когда речь идет о событиях торжественных, драматических или даже трагических. Послушайте только, как весело рассказывает Устин Рыкалин Давыдову о побоище на покосе с тубянциами, из которого он вышел едва живым: страшная картина жестокой драки из-за сена между соседями-колхозниками в изображении Рыкалина приобретает комическую окраску, во многом утрачивая для нас свой первоначальный отвратительный смысл. Это точь-в-точь манера Щукаря. А вспомните, как долго балагурит Агафон Дубцов перед тем, как начать очень важный для него разговор с Давыдовым о своем решении вступить в партию. Тут вполне уместной оказалась реплика Островнова: «А и здоров же ты брехать, Агафон!.. Ты в этом деле скоро деда Щукаря перескачешь» (стр. 503). Не так ли и Макар Нагульнов скрывает свою боль в длинных полусерьезных, полуплутливых доводах против Лущки и всего «женского сословия»? Сколько раз хвастался он, как легко ему дышится без Лущки. Но вот ушла Лущка навсегда из хутора, и говорит, говорит и никак не может выговориться Макар, рассказывая Давыдову о своей «предбывшей супруге», утешая себя и товарища рассуждениями о том, что не бросать же «за-ради нее и революцию и текущую советскую работу». И тут в рассуждениях Макара «о клятой богом и боженятами», по любимой им женщине возникают комические картины, достойные рассказов деда Щукаря.

Уже одно то, что в характере и поступках Щукаря чаще и, быть может, ярче, чем у других героев, проявляются общие свойства, присущие всему казачьему племени, — уже это дает ему право на то большое место, которое он занимает в истории Гремячего Лога. Но только ли в этом значение новых эпизодов со Щукарем во второй книге?

Если рассматривать некоторые эпизоды с точки зрения того, что они добавляют к характеру самого Щукаря, то действительно ряд рассказов и приключений деда покажутся лишними. Но если наблюдать, как своеобразно преломляются в щукаревских историях многие очень важные темы и проблемы романа, то «лишних», «непроизводительно затраченных» картин и сцен в романе не найдется.

Взять, например, эпизоды, в которых раскрываются отношения между Щукарем, Давыдовым и Нагульновым. Ведь они важны не только для характеристики деда Щукаря как такового. В них своеобразный поворот нашла большая тема нашей литературы — тема народа и партии; ярким светом освещаются здесь характеры Давыдова и Нагульнова, изменившееся положение трудовой бедноты, те новые отношения, которые в советском обществе складываются между руководителем и массой простых тружеников. Глубочайший смысл есть безусловно в следующих моментах композиции романа: Щукаря мы видим рядом с Давыдовым и в сцене самого первого появления посланца партии в Гремячем, и в сцене прощания гремяченцев со своим «любушкой»-председателем. Наверное, отнюдь не случайно у изголовья умирающего Давыдова художник поместил плачущего Щукаря, к которому обращены последние слова Давыдова. Такое композиционное обрамление истории взаимоотношений рабочего-коммуниста с казаками-хлеборобами сообщает необычайную художественную выпуклость идее революционного гуманизма. Слезы Щукаря делают физически ощутимым представление о том, как много значила жизнь и борьба таких, как Давыдов, в судьбе самых забытых и униженных, безжалостно перекошенных старым миром людей. На наших глазах происходит удивительный процесс, когда сама жизнь снимает кавычки со слова «друзья», которым дед Щукарь определил отношения, сложившиеся между ним и лучшими людьми, представляющими в Гремячем партию. Именно благодаря этому снимается комизм ряда положений в конце второй книги «Поднятой целины». Случаи, аналогичные тем, которые раньше вызывали у нас смех, теперь не кажутся смешными. Раньше комизм многих положений, в которых оказывался Щукарь, определялся противоречием между действительной его ролью в обществе и собственным представлением об этом. Постепенно эти две крайние точки (раньше они далеко отстояли друг от друга) сближаются. В некоторых случаях расстояние между ними совсем исчезает — и тогда исчезает основа для комического в ряде эпизодов, героем которых является дед Щукарь. Когда, например, Щукарь раньше с важным видом убеждал всех в том, что Давыдов и Нагульнов якобы шагу без него ступить не могут, советуясь с ним о плане строительства колхоза в Гремячем, то это вызывало только смех. Но когда во второй книге романа мы являемся свидетелями того, как Давыдов и Нагульнов действительно становятся самыми близкими людьми для старика, — это вызывает у нас уже совсем иные чувства.

История дружбы Щукаря и Нагульнова снимает всякое сомнение в человечности Макара. Именно на огонек человечности потянуло к Нагульнову Щукаря, ставшего к старости особенно податливым на ласку.

Но дело не только в Нагульнове и Давыдове, не только в отношениях между руководителями и рядовыми колхозниками. Отношение к Щукарю со стороны всех гремяченцев стало тем своеобразным фокусом, в котором нашли преломление сдвиги, происшедшие в настроении и взаимоотношениях внутри самой массы казачества. История отношений между Щукарем и всеми гремяченцами дает возможность увидеть воочию, как рушатся перегородки между людьми, воздвигнутые собственничеством, как шел процесс, в результате которого «народ добрее, с самим собою мягче стал» (А. Твардовский). От легкой, бездумной, пренебрежительной насмешливости до настоящего человеческого «восчувствия», до родствен-

ной близости — вот какой путь прошли отношения гремьяченцев к деду-чудаку, бескорыстно развлекавшему своих однохуторян (в этом процессе, думается, очень и очень немаловажная роль принадлежит партсобранию, описанному во второй книге «Поднятой целины»).

Рассказанное во второй книге позволяет пересмотреть и поспешные выводы некоторых авторов о том, что Щукарь якобы лишь в прошлом был драматической фигурой, а в колхозную эпоху стал чисто юмористическим персонажем.⁶ Заставив читателя (и критика) заглянуть в его дом, поведав о его дорожно-гастрономических мечтаниях, рассказав о непереносимом горе, подкосившем и неузнаваемо состарившем Щукаря, писатель с большой силой дал почувствовать, что эпоха начавшегося строительства новой жизни драматична не только для Давыдовых, Нагульновых, Разметновых, Майданниковых. Она драматична и для Щукарей. И Щукарю приходится многое претерпевать в трудное время, когда закладываются фундамент нового общества. И он по-своему старается понять и осмыслить трудности и противоречия, о которых делает свое весьма образное умозаключение: «Все идет по-новому да все с какой-то непонятной, с вывертами, как у хорошего плясуна» (стр. 545).

И вот когда мы доходим до критики явлений, препятствующих осуществлению идеалов, за которые сложили головы Давыдов и Нагульнов, то обнаруживаем, что в этом важном деле Щукарь играет в книге далеко не последнюю роль (разумеется, сам об этом не подозревая). А роль эта определяется тем свойством щукаревской природы, которое снискало старику самую большую любовь и у гремьяченцев, и у читателей «Поднятой целины».

* * *

О характере Щукаря можно сказать немало хорошего. Вряд ли нужно доказывать, что при всех своих странностях и чудачествах он весьма добродушный и сердечный человек, с открытой душой идущий к людям. Эти замечательные черты щукаревской природы выразительно определены им самим, когда он с гордостью заявляет о себе как о «компанейском» человеке. (В хвастливых самохарактеристиках Щукаря есть ведь и очень правдивые и точные определения некоторых свойств его природы). Но мало того, что Щукарь — человек «компанейский». Это его свойство делается особенно ценным благодаря тому, что он одарен талантом комика.

Дед Щукарь не так прост, как это может показаться на первый взгляд, не так наивен, хотя много в нем того и другого. Он весьма наблюдателен и любознателен, очень хорошо чувствует и передает комическое. Все это в сочетании с мастерством рассказчика, с его богатой фантазией свидетельствует о незаурядном артистическом даровании нашего героя. Вот почему, когда Антип Грач в шутку предлагает Щукарю податься в артисты, то для нас в этой шутке есть большая доля правды. Фактически дед Щукарь и является не только комическим сочинителем, но и природным комическим актером, нередко добивающимся своими «баснями» и «представлениями» куда большего комического эффекта, чем некоторые профессиональные юмористы. Именно за это мы рады

⁶ Ф. А. Абрамов пишет: «Отныне (т. е. став колхозником, — Г. М.) из фигуры трагикомической Щукарь превращается в просто юмористическую... в колхозе его приключения носят веселый, развлекательный характер» (в кн.: Михаил Шолохов. Сборник статей. Изд. ЛГУ, 1956, стр. 95). Еще более категорически утверждает это Е. П. Дрягин: «... жизнь Щукаря драматична только в дореволюционную пору, все приключения, которые происходят с ним в наше время, только комичны». «В годы советской власти положение Щукаря коренным образом изменилось... Ничего драматического теперь в его судьбе нет» (Е. П. Дрягин. Вдохновенное мастерство. Ростовское книжное изд., Ростов н/Д., 1958, стр. 94, 95).

простить ему все его слабости: и болтливость, и хвастовство, и суеверие, и вранье, и другие дурные привычки. Прощают все это Щукарю за его простосердечие и комический талант и герои «Поднятой целины». Недаром же так любят послушать басни старика даже такие серьезные и занятые люди, как Разметнов и Давыдов, да и (чего греха таить) порою сам Нагульнов не очень строго пресекает щукаревскую болтовню. О прочих гремяченцах и говорить не приходится, особенно о таких, как Агафон Дубцов, в котором при всей глубине его характера много и такого, что мы находим в Щукаре. Дубцову тоже свойственны и острословие, и насмешливость. Недаром у него «шельмоватые» глаза. А в умении подурочить и посмешить публику он временами не уступает самому Щукарю. Такие гремяченцы, как Дубцов, любят и послушать остроумную речь, и сами умеют сказать бьющее не в бровь, а в глаз острое, насмешливое слово. От Дубцова не отстают и Разметнов, Демка Ушаков, Устин Рыкалин. Даже Макар Нагульнов при всем его презрении к «хаханькам» не раз сам вызывает эти самые «хаханьки» весьма меткими и насмешливыми репликами. Острый язык — одно из важных достоинств и Лупки Нагульновой. Даже Островнов временами заставляет нас забыть о его хищничестве и жестокости благодаря тому, что и в нем еще сохранилось в какой-то степени это замечательное свойство, присущее всем гремяченцам.

Любят остроты и насмешки гремяченцы. Вот почему даже на серьезных собраниях деда Щукаря не очень-то ограничивают регламентом, хотя он, как правило, далеко отклоняется от главной темы собрания. Вот почему с такой радостью встречают Щукаря и на полевом стане бригады Агафона Дубцова, куда завернул он на ночь, едучи в станицу по важному поручению Давыдова. («С незавершенного прикладка сена Прянишников весело прокричал:

— Агитбригада едет: дедушка Щукарь.

— К делу, — довольно улыбаясь, сказал Дубцов. — А то мы тут прокисли от скуки. Вечерять старик будет с нами, и такой уговор, братцы: в ночь его никуда не пущать...» — стр. 555).

Очевидно, что сами гремяченцы, богато наделенные чувством юмора, признают в этом отношении первенство за Щукарем. В нем как-то по-особому ярко преломилось то причудливое порой сочетание отрицательных и положительных свойств пародного характера, которое явилось следствием определенных исторических и социальных условий. Гремяченцы в Щукаре любят то лучшее, что есть в них самих, а смеясь над шутками и выходками Щукаря, смеются и над собственными недостатками. Щукарь для них — своеобразное зеркало, в которое они любят смотреться.

* * *

В простодушии Щукаря много лукавства. Его наивность — нередко притворная, специальный прием комического художника и актера. В этом отношении к Щукарю подходит та очень меткая характеристика, которую однажды дал Демьян Бедный, раскрывая природу народного юмора, его исторические корни: «Мужик прикинуться умеет дурачком, Когда над сильным он захочет посмеяться».⁷ Справедливо поэтому встречающееся в критической литературе сравнение Щукаря со сказочными дураками и неудачниками. С подобными героями народных сказок его роднит не только незадачливость и постоянное невезение, но и острый, лукавый ум, прячущийся под маской простодушия, неведения, наивности. Такая позиция диктовалась не только необходимостью маскировать свою

⁷ Демьян Бедный, Собрание сочинений в пяти томах, т. III, Гослитиздат, М., 1954, стр. 232.

насмешку, но и стремлением сделать ее еще более язвительной. Положение «умника» во сто крат комичнее, когда он разоблачен и осмеян человеком, которого он презирает как «дурака». Вот почему ум и лукавство нередко надевают на себя маску напускного простодушия и наивности, чтобы лучше посмеяться над глупостью, кичливостью, зазнайством, жадностью, самонадеянностью... Это стало традиционной чертой народного комизма, которую заимствовали у народа и наши лучшие писатели-сатирики.

Однако необходимо учесть, что высказывания и поступки Щукаря не всегда определяются притворным простодушием и наивностью. В ряде случаев наивность его не притворна. Мы наблюдаем у него удивительное сочетание острого, наблюдательного ума, лукавства, обостренного чувства юмора с детской доверчивостью, порою с глубоким невежеством, суевением.

Доверчивость Щукаря становится тем сильнее, чем старше и дряхлее становится дед. Но дело здесь, конечно, не только в старости и не только в индивидуальных особенностях характера Щукаря. Есть, пожалуй, в этом странном сочетании и более общие причины. Странное это сочетание ума и невежества, пронизательности и наивности объясняется, по-видимому, условиями жизни, в которых складывались подобные характеры. Темнота и невежество не давали таким людям проникнуть в сущность того, что находилось за пределами их непосредственного жизненного опыта, непосредственных наблюдений. В новое, советское время Щукарь, слушающий радио, «изучающий» толковый словарь, жадно стремится постичь смысл того, что происходит вокруг него. Но старость, прошлое дают себя знать. Как в словаре, так, вероятно, и в жизни старые глаза Щукаря хорошо видят то, что напечатано крупным шрифтом, и не могут разобрать мелкий шрифт «просясняющих» слов. Следствием этого и является тот факт, что нам порою не легко бывает отдать себе отчет, над чем же мы смеемся, когда встречаемся в романе со Щукарем: над самим ли Щукарем, над его наивностью и доверчивостью, или над тем, над чем заставляет нас смеяться лукавый дед, притворившийся наивным, непонимающим. А порою мы смеемся одновременно и над самим Щукарем, и над тем, над чем смеются сам Щукарь и Шолохов. Своеобразие роли Щукаря в художественной структуре «Поднятой целины» определяется тем, что он выступает не только как *объект*, но и как *субъект комического*.

* * *

Вдумаемся в смысл некоторых комических эпизодов, героем которых выступает дед Щукарь. Очень смешной кажется нам описанная в конце первой книги его попытка «поступить в партию». Ф. А. Абрамов считает, что эта попытка продиктована «наивно-корыстными интересами».⁸ Следовательно, надо полагать, что комизм создавшейся в этом эпизоде ситуации основан только на противоположности между действительной общественной сущностью Щукаря и его претензиями, между подлинным значением «должности» коммуниста и щукаревским представлением о ней. Но если учесть, что почти во всем, что говорит, делает и даже думает про себя Щукарь, есть немалая доля игры, притворства и лукавства, то станет ясно, что вывод Ф. А. Абрамова верен лишь в очень небольшой степени. Вовсе не так наивен Щукарь, чтобы всерьез думать, что все вступают в партию ради хорошей должности и «кожаной портфели». Да и корыстолюбие его не так уж велико. Основа комизма здесь более сложная, чем кажется на первый взгляд.

⁸ Михаил Шолохов, стр. 96—97.

В этом, как и в других подобных эпизодах, в поведении Щукаря не столько наивной корысти, сколько наигранной наивности, остроумной шутливости. Главная цель Щукаря — не удовлетворение своих «наивно-корыстных интересов», а стремление добиться комического эффекта, разыграть комическую сцену. Толчком для него в этом случае послужила шутка одного из казаков. Когда в Гремячем широко распространился слух о готовящемся приеме в партию Любешкина, Ушакова и Лоцилина, кто-то из казаков в шутку сказал деду Щукарю: «Ну, а ты чего в партию не подаешь? Ты же в активе состоишь, — и подавай! Дадут тебе должность, купишь кожаную портфельку, возьмешь ее под мышку и будешь ходить» (стр. 309). Щукарь подхватил шутку и, так сказать, реализовал ее, разыграл ее в целое комическое представление.

Разумеется, Щукарь видел, что далеко не все вступающие в партию таковы, как тот, кого он изображает в этой сцене. Щукарь близко наблюдал деятельность настоящих коммунистов, таких, как Давыдов, Разметнов, Нагульнов. Но пришлось ему, как и другим гремяченцам, познакомиться и с «руководителями» совсем иного типа, с представителями районного начальства, что, приезжая в Гремячий, важно проходили в сельсовет «мимо людей», прижав к себе ту самую «кожаную портфельку», о которой с насмешкой говорят гремяченцы. Разницу между теми и другими Щукарь сумел почувствовать довольно быстро. Об этом свидетельствует уже самая первая в романе сцена с его участием — сцена приезда Давыдова в Гремячий Лог. Это первая встреча со Щукарем и читателя, и Давыдова. И уже эта короткая сцена очень многое открыла нам и в Давыдове, и в Щукаре. В этой сцене несколько небольших, но выразительных штрихов рисуют деда человеком наблюдательным, любопытным, лукавым и насмешливым. Уже здесь, в сущности, определяется развитие дальнейших отношений между ним и коммунистом Давыдовым. Щукарь, как и все собравшиеся в тот час во дворе сельсовета гремяченцы, сразу же почувствовал в Давыдове не обычного городского «начальника». Нелегко было сломить у гремяченцев недоверие к городскому человеку. Когда Давыдов направился распрягать лошадь, «старый, в белой бабьей шубе дед, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился: „Гляди, брыкнет, товарищ!“» (стр. 16). Это первый раз в романе подал голос дед Щукарь. Сколько язвительности и насмешливости в этом вежливом и доброжелательном с виду предупреждении! Но поведение Давыдова: его непритворная простота, его умение ответить шуткой на шутку, обнаруженное им «давнишнее умение и соровка в обращении с конем», — все это быстро расположило к нему присутствующих. И вот уже дед Щукарь, «неотступно следуя за Давыдовым», старается лучше рассмотреть этого не похожего на ранее виденных городских служащих человека. Именно Щукарь говорит здесь Давыдову: «Это нам дюже чудно» (стр. 17), — объясняя удивление казаков простотой Давыдова, отсутствием у него «начальнического» высокомерия. Разумеется, в этой первой короткой встрече еще не могло установиться полного доверия и взаимопонимания между Щукарем и Давыдовым. Старик «прояжно и огорченно свистнул, первый повернул от крыльца» (стр. 17), когда узнал, зачем приехал на хутор Давыдов. Но уже здесь в душу Щукаря было брошено первое семя, из которого впоследствии вырастет и подлинное уважение, и большая человеческая привязанность старого, прожившего тяжелую жизнь казака к настоящему коммунисту Семену Давыдову. Постепенно Щукарю все больше открывалось, что за люди Нагульнов и Давыдов, что они значат для таких бедняков, как он, в чем состоит их «должность» и как трудна эта «должность» коммуниста. К тому времени, как прийти к Нагульнову с вопросом, как написать заявление в партию, Щукарь успел повидать не только таких «коммунистов», у которых, кроме «кожаной портфельки»,

ничего за душой не было, но и таких, кто на самых трудных участках борьбы за народное счастье не щадил ни сил, ни здоровья, ни жизни. Ведь этот случай происходит уже после покушения на Давыдова, после бабьего бунта и других событий, очевидцем которых был дед Щукарь с его зоркой наблюдательностью не мог не понять, в чем истинная «должность» коммуниста. Вот почему становится очевидным, что в простодушно-откровенном вопросе Щукаря к Нагульнову, какая ему «выйдет должность», если он «поступит в партию», не столько действительного неведения и непонимания, сколько лукавой, хитроумной игры. Ясно, что и наивность, и корыстолюбие деда здесь в очень большой степени напускные. Играя, Щукарь (сам, вероятно, не сознавая того) с притворным простодушием и откровенностью обнажает здесь противоречие между сущностью и претензиями тех, кто норовит пролезть в партию в своекорыстных целях. Нагульнов недалек от истины, когда с возмущением говорит деду Щукарю: «Ты что это смешки строишь?» (стр. 310). Только напрасно возмущается Нагульнов, ибо «смешки» Щукаря относятся не к священному для Нагульнова понятию партии, а к тем, кто «хочет ее загрязнить». Получается, что сцена эта существует в романе не только для того, чтобы повеселить читателя смешной выходкой, не для очередного расслабления «мускулатуры» сюжета. Не отдавая себе в этом отчета, мы, читая это место в романе, смеемся не столько над Щукарем, сколько над теми, кого он играет.

Тема Щукаря в «Поднятой целине», как видим, оказывается своеобразно связанной с темой критики и осмеяния отрицательных явлений. И как ни парадоксально это на первый взгляд, дед Щукарь выступает не столько как комический носитель различных человеческих пороков и слабостей, сколько как художественный образ, способный быть своеобразным проявителем комического несоответствия ряда явлений основным принципам социалистического общежития.

Интересно, что в произведении Шолохова по-настоящему опасные носители бытующих еще в нашем обществе пороков и пережитков почти не подвергаются непосредственному осмеянию; герои, подобные Корчжинскому, не даются в комическом плане. Как уже отмечалось, несоответствие «деятельности» подобных героев основным принципам общества, строящего коммунизм, раскрывается в романе через посредство того же деда Щукаря. Это, конечно, не значит, что сам Щукарь до конца понимает глубину и значение той критики, которая объективно содержится в его смешных выходках. Возможно, его комические подражания в значительной мере бессознательны. Думается, что, избрав Щукаря своим посредником и помощником, Шолохов усиливает эффективность критики, получает возможность выразить народный взгляд на вещи. Эффект комического осмеяния типов, подобных Корчжинскому, усиливается благодаря тому, что критиком в романе выступает не писатель, а люди, подобные Щукарю, этому чудаковатому, но совсем не глупому человеку из массы. Объективно в сцене, о которой идет речь, Щукарь помогает Шолохову высмеять тех чинуш с «кожаными портфелями», которые идут не с народом, а «мимо людей».

Есть в этом эпизоде и еще один комический план. Он связан со вторым действующим здесь лицом — Макаром Нагульновым. Интересно, что со своими прожекторскими планами достижения почестей и богатства дед Щукарь всегда приходит к Нагульнову. Пожалуй, это не случайно. Дед Щукарь, как явствует из многих фактов, умеет тонко подмечать слабости, комические черточки в характере и поведении людей, ему дорогих и симпатичных, и играть на этом. Питая к своему Макарушке чувство глубокого уважения и даже восхищения, Щукарь вместе с тем любит подшутить над ним. В данном случае он играет на известной прямолинейности Нагульнова, на его неумении отличить шутку от серьезных

намерений человека. Из-за того, что Макар воспринимает все, что говорит в этой сцене Щукарь, совершенно всерьез, забывая, с кем имеет дело, комизм сцены усугубляется. Пожалуй, Нагульнов здесь еще более смешон, чем дед Щукарь. Лукавый Щукарь, довольно хорошо изучивший Нагульнова, мог заранее предугадать, во что выльется его затея. Но, видно, нравилось ему так шутить с Нагульновым. Свидетельство — тот факт, что, потерпев поражение с попыткой «поступить в партию», выдержав взрыв негодования Макара, Щукарь успокоился ненадолго. Спустя некоторое время дед представляет на утверждение своему другу новый план — совместного достижения славы и богатства посредством выделки шкур бродячих псов. И опять повторяется то же самое. «Эх, как вскочит со стулы!» (стр. 524), — с удовольствием рассказывает он потом Давыдову о реакции Нагульнова на его, Щукаря, очередной «план». Дед Щукарь вполне наслаждался произведенным эффектом: ему удалось не на шутку рассердить Нагульнова и насмешить своим рассказом Давыдова. Таким образом, Щукарь помогает автору не только высмеивать враждебное, чуждое нашей жизни, но и, любя, вышучивать слабости и недостатки даже тех героев, которым отдаются самые горячие симпатии. В рассказе Щукаря об использовании собачьих шкур есть одна невинно-ядовитая фраза, содержащая весьма существенный намек на скрытые цели и мотивы действий людей, выдающих себя за бескорыстных ревнителей государственных интересов, а на деле пекущихся в первую очередь о собственной пользе. Рассказывая, как его осенила «великая мысль насчет выделки собачьих шкур», старик простодушно признается: «...я двое суток не спал, все обмозговывал: какая денежная польза от этой моей мысли государству, и, главное дело, мне получится?» (стр. 523). Разумеется, Коржжинский так никогда не скажет. Щукарь смеется. Но меньше всего он смеется над собой, хотя речь все время идет о его планах и мечтах, хотя есть здесь известная доля иронии по своему собственному адресу.

Или вот еще один намек, тоже, в сущности, очень серьезный, хотя сделан как будто вскользь, с таким видом, что якобы он, Щукарь, не придает ему особо важного значения. Этот намек касается конкретного лица, врага, притаившегося и вредящего исподтишка в гремяченском колхозе. Щукарь вдохновенно сочиняет басни о собаках, жалуется Давыдову на козла Трофима. И вдруг просит Давыдова: «Но вот ты растолкуй мне один вопрос, товарищ Давыдов: почему это всякая предбывшая кулацкая животиная, вся, как есть, — характером в своих хозяев, то есть ужасная зловердная и хитрая до последних возможностей? Взять хотя бы этого супостата Трофима: почему он ни разу не поддал под кобчик, ну, скажем, Якову Лукичу, а все больше на мне упражняется? Да потому, что он в нем свою кулацкую родню унюхал, вот он его и не трогает, а на мне всю злобу вымещает» (стр. 522). Дальше еще долго Щукарь распространяется насчет «классовой борьбы» с «кулацкой животиной». Намек на Островнова, замаскировавшегося кулака, как будто тонет в этом многословном потоке щукаревских разглагольствований. Но если разобраться, намек этот не случаен. Он должен предостеречь Давыдова в отношении Островнова, так же как и высказанные ему предупреждения и соображения других колхозников.

Не падит Щукарь и своих друзей, когда замечает их промахи, шутя и им преподает иногда небесполезные уроки. И здесь он то прячет свой намек в побасенке, то прямо, хотя тоже в шутливой форме, высказывает упрек адресату. Вот, например, отрывок из длинного рассуждения Щукаря о «кулацкой животине»: «Или возьмем любую кулацкую корову: сроду она колхозной доярке столько молока не даст, как своей любезной раскулаченной хозяйке давала. Ну, это, сказать, и правильно: хозяйка ее кормила и свеклой, и помоями, и протчими фруктами, а доярка кинет

ей шматок сухого, прошлогоднего сена и сидит, дремлет под выменем, молока дожидается» (стр. 522). Щукарь делает вид, что главная цель его рассуждений — выяснить причину антагонизма между кулацкими кобелями, козлами, коровой и прочей «предбывшей кулацкой животной» и беднотой. Но подлинно серьезное содержание его рассуждений нужно искать не там, где он развивает эту якобы главную тему, а в его попутных, коротких замечаниях. Быть может, ради именно этих коротких замечаний и затеян весь длинный разговор. Именно *между прочим* Щукарь высказывает здесь справедливую мысль о том, что корова не станет давать больше молока только от того, что она из кулацкой превратилась в колхозную, что ей нужен хороший корм, не хуже, чем в кулацком хозяйстве. Дед Щукарь не случайно высказывает эту мысль своему председателю. Несомненно, он и сам считает этот вопрос важным. Но такая уж *манера у Щукаря: говорить о главном между прочим*, пересыпая дельными и важными замечаниями свои шуточные и длинные разглагольствования о незначительных вещах.

Не стесняется Щукарь отпускать критические замечания и в адрес тех, кто его слушает. Даже Нагульнову и Давыдову достается от Щукаря. Как будто нехотя, отвлекаясь от главной темы своего рассказа, он посылает в их адрес простодушно-вежливые, шуточные по форме, но по существу весьма колкие, довольно ехидные замечания. Так, например, когда Давыдов рассердил Щукаря, прервав его рассказ о столкновении с Нагульновым, лукавый дед, мешая шутку с правдой, дал довольно-таки строгий и справедливый «отлуп» своему дорогому председателю. Вот этот «отлуп» Щукаря, очень ярко характеризующий манеру щукаревской критики: «И что у тебя за вредная привычка перебивать человека? Ты, Давыдов, хуже Макарушки становишься, ей-богу! Ну, Нагульнов хоть Тимошку застрелил, он геройский казак, он и пушай меня перебивает, а я его все одно уважаю. А ты что такого геройского сотворил? За что я тебя должен уважать? То есть окончательно не за что! Застрели ты из ливольверта вот этого черта, козла, какой мне всю жизнь испоганил, и я за тебя до смерти буду богу молиться и уважать тебя буду не хуже, чем Макара. А Макар — герой! Он все науки превзошел и зараз английский язык на зубок изучает; он во всем разбирается не хуже меня, даже в кочетинном пении он первый знахарь. Он и Лушку прогнал от себя, а ты ее сдуру приголубил, и Тимошку, вражину, с одной пули приласкал...» (стр. 527). Безусловно, и уважает, и любит Давыдова дед Щукарь, и болеет за него душой, потому и решил задеть больное место Давыдова, упрекнул его любя. Кстати, такой же доброжелательной и строгой критике Давыдов был подвергнут и со стороны нового секретаря райкома Нестеренко, и со стороны многих гремаченцев, которые, жалея и огорчаясь, осуждали Давыдова за его связь с Лушкой. Но если Нестеренко, Шалый прямо говорят обо всем с Давыдовым, дед Щукарь остается верен своей манере: он деликатно смягчает шуткой упрек дорогому человеку. Шуткой привык Щукарь защищать себя от возможного гнева тех, кого он высмеивает.

* * *

Лукавая ирония, остроумно-шутливое расположение духа почти никогда не покидают деда Щукаря, даже когда он остается наедине со своими мыслями. Особенно выразительны в этом отношении, на наш взгляд, его размышления о своем житье-бытье перед поездкой в «командировку» за землером, в той их части, где старик рассуждает о своем имущественном положении. Как много оттенков в этих думах Щукаря! Здесь и наивное непритворное хвастовство деда, не на шутку воображающего себя хозяином и благодетелем своей старухи; и грусть и досада по поводу своей бедности; и попытка утешиться тем, что отсутствие почти

всякой собственности позволяет ему жить без больших забот и к тому же называться почетным именем пролетария; и ироническая усмешка по поводу такого утешения. Ирония, окрашивающая раздумья Щукаря, относится в большой мере и к тому, кто подсказал деду такое неудачное утешение в бедности. Объективно насмешка Щукаря имеет самое прямое отношение к Нагульнову и вообще ко всем тем, кто надеялся строить социализм в деревне, опираясь на один лишь энтузиазм колхозников, забывая о важном факторе материальной заинтересованности. Щукарь, добровольно освободивший себя от всякой живности, конечно, горд похвалой Нагульнова. В глазах таких людей, как Нагульнов, который одобрил «чисто пролетарское» положение Щукаря, ему «приятно числиться пролетарьятом». Но дед Щукарь понимает и то, чего порой не учитывает охваченный одной пламенной страстью Макар Нагульнов. Насмешливо-тревожные суждения деда насчет необходимости материальных преимуществ для колхозника по сравнению с «мелким собственником» должны охлаждаяще подействовать на «не в меру горячих» Нагульновых, помочь им усвоить более реалистический взгляд на пути и средства нового хозяйствования, чтобы, «поспешая к мировой революции», не перескакивать через необходимые этапы ее развития. Таков объективный урок, содержащийся в ответе Щукаря на похвалу уважаемого им Макара Нагульнова. «Во что трудодень выиграет», — вот что для Щукаря является самым сильным аргументом в пользу колхозного строя. И этого не могут не учитывать организаторы и руководители колхозного дела. Над теми же, кто это положение недостаточно усвоил, Шолохов иронизирует вместе со своим героем.

Как видим, не только «басни» и «спектакли» Щукаря, но и его многочисленные реплики и замечания, кажушиеся при первом чтении иногда только забавными, заслуживают того, чтобы к ним прислушаться. Похвальба Щукаря насчет того, что он никогда «слова мимо не пустит», а «непреренно влепит в точку», — не такое уж большое преувеличение. Меткость и образность щукаревских характеристик восхищает, язык доставляет истинное наслаждение. Чего стоят, например, его неологизмы, особенно в истолковании их самим Щукарем. Взять хотя бы щукаревскую «интерпретацию» критики и самокритики, которые он обозначает одним придуманным им же словечком «отлуп». Шутит, конечно, дед Щукарь, делая вид, что он не понимает, что такое самокритика, с деланным возмущением отвечая на предложение Нагульнова обратиться к самокритике: «С какого же это пятерика я сам на себя буду всякую всячину переть? И чего ради я сам на себя буду наговаривать?» (стр. 594). Но разве не делается здесь лукавый кивок в сторону тех, кто, признавая на словах великую роль критики и самокритики в развитии нашего общества, практически предпочитает критиковать других, превращая подчас эту критику в настоящий «отлуп»?

Или вот еще интересное замечание Щукаря из его выступления на открытом партийном собрании: «Терпеть пенавижу я разных сурьезных людей, а в партии и вовсе! Ну, на кой хрен они там нужны, такие мрачности? Тоску наводить на добрых людей, партийный устав своим видом псказать и портить? В таком разе спрошу я вас: почему вы Демида Молчуна в партию не берете? Вот уж кто бы смертной скуки в ваши ряды нагнал! Сурьезнее его человека я в жизни не видывал! А по-моему, в партию надо принимать людей веселых, живительных, таких, как я, а то набирают туда одних сурьезных, толмачей каких-то, а что от них толку? Вот взять хучь бы Макарушку. Он с восемнадцатого года как выпрямился, будто железный аршин проглотил, так и до нынче ходит сурьезный, прямой, важный, как журавль на болоте. Ни шутки от него не услышишь, ни веселого словца, одна гольная скука в штанах, а не человек!» (стр. 599).

Шутит или серьезно говорит все это Щукарь? Шутит, когда выдает себя за образец человека, «удстойного» быть в партии, сильно преувеличивает, заостряя свою мысль, когда проводит аналогию между Нагульновым и Демидом Молчуном. Но разве не достойна внимания спрятанная в шутке Щукаря серьезная мысль о необходимости человеку партии быть не мрачным «толмачом», а человеком «живительным», простым, доступным, общительным? Да и критическое замечание в адрес Нагульнова и справедливо, и остроумно. Вообще на долю Нагульнова, вероятно по дружбе, дед Щукарь отпускает особенно много колкостей. И замечания Щукаря, исключая, конечно, те, в которых дед смеха ради приписывает Макару качества, прямо противоположные тем, которыми он обладал в действительности, бьют в точку. В точку попадает и замечание Щукаря насчет пристрастия Нагульнова к длинным речам о мировой революции. В точку попал Щукарь, с притворным простодушием задавая Нагульнову вопрос об отношении петухов к политике. В робком вопросе Щукаря: «Макарушка, но ить петухов политика не затрагивает?» (стр. 366) — явно чувствуется насмешка над другим пристрастием Нагульнова: во всем, даже в «кочетином пении», «разбираться с политической точки зрения».

Щукарь сумел каким-то природным чутьем почувствовать перегибы в суждениях и поступках своего учителя и довольно остроумно подшучивает над ним.

Щукарь строг не только к чужим слабостям. Иронически умеет оценить он и свои собственные. Это так, несмотря на то, что больше всего мы слышим от него самовосхваляющих речей. Но хвастаясь, Щукарь нередко усмешается над самим собой. Иронизирует он не раз и над своей трусостью, и не только наедине с собой (речь при встрече с ужом), но и выступая перед людьми на собрании, когда, например, говорит: «Я страсть какой отчаянный, когда разойдусь, и тут мне на дороге не становись никто! Либо насмерть стопчу, либо так шархну мимо, что и моргнуть никто не успеет!» (стр. 603). Мы-то знаем, что правда содержится только во втором «либо». Ставя их в один ряд как равнозначные, Щукарь явно посмеивается над своей «храбростью». Иронизирует дед и над своей приверженностью к «анафемской леригии». Он не очень-то почтительно говорит о разных там «святителях» и запахах, смущенно хихикает, когда, забывшись, чуть было не перекрестился при всем народе на собрании, но еще не может не «сотворить крестное знамение», когда «резко гром вдарит» над головой. Иронизирует Щукарь не раз и над своей манерой говорить, перескакивая беспрестанно с одной темы на другую. Агафону Дубцову на просьбу рассказать все по порядку он отвечает: «Ежели ипо раз перебеешь — я окончательно собьюсь с мысли, а тогда понесу такое, что вы всем скопом не разберетесь в моем рассказе» (стр. 564). А Разметнова, заметившего выступавшему на собрании деду, что он «опять... вильнул в сторону», Щукарь предупреждает: «Ты только не сбивай меня своими глупыми возгласами, а то я вовсе ни к какому краю не прибьюсь» (стр. 602). При этом можно заметить, что самокритичность Щукаря возрастает по мере того, как все более прочным становится его положение в обществе, как растет его уверенность в своем праве на внимание и заботу коллектива, как растет «восчувствие» к нему со стороны гремяченцев. Если раньше в высказываниях Щукаря о своей персоне слышалось одно бахвальство, то теперь все чаще дед иронизирует над своими личными достоинствами. Любопытно сравнить, например, тот эпизод из первой книги, где он хвастается своей незаменимостью, своей якобы первой ролью в планировании колхозного строительства в Гремячем, и то место из выступления на партсобрании, где он шутливо говорит о своей пригодности быть в партии. В первом случае, когда Щукарь каждому встречному рассказывал, как в гости к нему приходили Давыдов и Нагульнов,

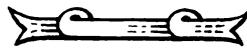
как они спрашивали его советов «насчет ремонта к посевной инвентаря и прочих колхозных дел», как якобы при этом говорили: «Лечись, дедушка, а то не дай бог греха, помрешь, и мы пропадем без тебя!» (стр. 127) — мы знали, что все сказанное Щукарем — пустое бахвальство, за исключением самого факта посещения его Давыдовым и Нагульновым. Во втором случае, когда Щукарь перечисляет свои достоинства, позволяющие ему якобы претендовать на звание члена партии («Грамотный я? Вполне! Читаю что хошь и свободно расписываюсь. Разделяю устав партии? Очень даже разделяю! С программой согласный? Согласный и ничего супротив нее не имею. От социализма до коммунизма могу не токмо шагом, но даже наметом мчаться, конечно, по моим стариковским возможностям, не дюже спешно, чтобы не задохнуться» (стр. 601) и т. д.), — ясно видно, что он шутит, хорошо понимая недостаточность перечисленных им собственных достижений для того, чтобы быть в партии, хотя все сказанное о себе здесь Щукарем — истинная правда.

Щукарю незачем теперь набивать себе цену легкомысленным бахвальством: теперь он и так имеет от всех «восчувствие». И за это восчувствие он платит людям доброй шуткой.

Итак, стремясь уяснить многообразные истоки комического в характере и поведении Щукаря, мы убедились, что его образ — не просто деталь целостной художественной системы романа, а один из ее фокусов, в котором находят преломление все важнейшие мотивы и проблемы «Поднятой целины».

Глубочайшие жизненные процессы, связанные с гибелью старого и рождением нового мира, сошлись в этом художественном фокусе. Такая структура художественного обобщения открыла перед писателем новые, дополнительные возможности многомерного и глубокого исследования революционного преобразования жизни. Она усиливает и общепhilософский аспект, и современное звучание поставленных вопросов.

Нам представляется, что именно это обстоятельство является главной причиной того, что по мере развития содержания романа роль образа Щукаря в нем все время возрастает, вопреки представлениям тех критиков, которые советовали Шолохову дать Щукарю «прикорот» во второй книге «Поднятой целины».



ПОЭЗИЯ ЛИРИЧЕСКОГО МАКСИМАЛИЗМА

(О ТЕМЕ РОССИИ У СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА)

Самое важное качество поэта — ощущение собственной необходимости для людей, убеждение в том, что его произведений не могло не быть. Именно такова поэзия Есенина. Это доказано всей ее судьбой — и радостным в ней, и огорчительным, и тем, как огорчительное преодолевалось миллионами ее защитников.

Но при всей известности и абсолютной необходимости поэта многое в его связях с эпохой, в самом составе его поэтического «голоса», его слова остается неясным.

Может быть, главная черта Есенина, внешне человека легкого, необременительного, не только не ступающего по жизни командорским шагом, а скорее, как бы небрежно скользящего по ней, — интенсивность его бытия, интенсивность дня, часа, минуты.

Вокруг Есенина «война» идет непрерывная, даже в самых, казалось бы, спокойных мемуарах о нем: одни, рисуя поэта, дают фигуру буйную, другие — созерцательную, делают явный нажим на задумчивость, сосредоточенность; одни прямо-таки из кожи лезут в стремлении показать Есенина-собутыльника, другие — предельно ограничивают эту «сферу» есенинского существования и рассказывают любопытные и, что важно, правдоподобные случаи, когда Есенин инсценировал похмелье, «разыгрывая» близких людей, после чего, естественно, многие оставались с убеждением, что он-де и в этот раз был «не в форме»; одни авторы дают фигуру, так сказать, «нутряного» поэта, врага всяких теорий, писавшего импульсивно, интуитивно, всегда неожиданно, другие, не забывая и эту его особенность, находят, однако, в его работе немало и теоретических начал.

Словом, спорят, воюют. И можно видеть в этой «тихой» или «громкой» войне самые разные пристрастия, преувеличения, приуменьшения и т. д. Но одно — и, как видно, вполне произвольно со стороны пишущих о Есенине, — одно передают все: Есенин ураганом прошел по многим человеческим жизням. Его задевало многое — люди, природа, события и прежде всего мир чувств, мир красоты. Но и сам он задел многих — конечно, прежде всего поэзией. Как известно, нередко ничем другим писатель никого и не затрагивает. Есть даже теория, которая утверждает, что ничего другого от художника и не требуется. Есенин задел и как человек. Особенно близких, друзей, задел сильно, глубоко. Затронул и более или менее дальних — и тоже нешуточно. Чем это можно доказать? Хотя бы свидетельствами о нем таких разных и таких крупных людей, как Горький, Маяковский, Алексей Толстой, Леонов, Пастернак. Каждый из них оставил о Есенине строки глубоко личные, глубоко конкретные и подлинно неравнодушные. За их строками — решительно у всех — стоит не только автор стихов, но совершенно конкретный живой человек.

Мне кажется, такие качества самой личности Есенина непосредственно отразились и в его поэзии. Ее могучая особенность — брать за душу других, брать в плен, целительно или раняще касаться сердца другого, оставлять в нем глубокий след — идет от этого свойства Есенина,

благодаря которому он, проживший такую короткую жизнь, оставил по себе неизгладимую память даже в сравнительно далеких сердцах, по многим же и многим жизням, — здесь придется повториться, иначе не скажешь, — прошел ураганом.

В этой черте Есенина — человека и поэта — сказалось, думается, и само время, породившее его, накаленность социальной атмосферы, неотложность вопросов, вставших со всей остротой перед человеком в дни революции.

Почти во всех работах о Есенине говорится о загадочности его таланта. Тайна таланта Есенина, секрет его дарования интересует всех, не исключая и самых близких ему людей. Сын Есенина, Константин Сергеевич, даже рассказал, как он однажды «решил разобраться в этом не давшем» ему «покоя вопросе».¹

Некоторыми наблюдениями о таланте Есенина хочется поделиться и мне.

Пушкин говорил: каждый талант неизъясним.

И все-таки с тех пор, как существует искусство, люди пытаются проникнуть в тайны таланта. Занимался этим и Пушкин. И его слова о неизъяснимости таланта, по-видимому, надо понимать в том смысле, что талант неизъясним до конца, раз и навсегда, потому что приходят новое время, новые люди, которые открывают в большом художнике новое, — и вот берись за изъяснение таланта снова.

Так, по-видимому, десятки раз будет разъясняться и талант Есенина и прежде всего его пронзительная, не сравнимая ни с чем любовь к родине, к полевой России, к ее людям, ко всему живому в ней. Более того, представляется с несомненностью, что именно в этой «точке» — сердцевина его поэзии, ее проникновенности, ее особого «зова», обращенного к людям. Зов этот не однозначный, но давно надо сказать, что есть в нем один очень важный мотив.

Когда вчитываешься в стихи Есенина, вбираешь в себя их свежие, чистые, пронизывающие ноты, кажется — это поразительное предчувствие того, что Русь — такая, какой она была столетия, — доживает свои последние дни, и одному из ее сынов хочется сказать, что в ней было, какая в ней жила красота; и если ей больше не быть такой, если родится другая Русь, помните и об этой, говорит поэт, не забывайте ее.

Вот откуда это:

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.²

Сейчас такая Русь живет, завтра — нет. Завтра она потребует другого поэта (и она действительно требовала его, вызывала его из народного сердца, и он уже поднимался, *был*). И, кстати, мысль о другом поэте не привнесена нами сюда произвольно. Это мысль самого Есенина, который говорил:

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами

Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

(III, 126)

¹ К. С. Есенин. Об отце. В кн.: Есенин и русская поэзия. Л., 1967, стр. 314.

² Сергей Есенин, Собрание сочинений в пяти томах, т. III, изд. «Художественная литература», М., 1967, стр. 40. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

Но пока та Россия, та ее красота, тот «низкий дом с голубыми ставнями», те ее годы были еще «слишком недавними», и поэт, оказавшийся на стыке двух эпох, говорит той России: «Не забыть мне тебя никогда». А то обстоятельство, что Есенин говорил это «не забуду» в дни, когда многие литераторы совсем отучились произносить слова «родина», «русский», делало его тему и особенно острой и поэтически смелой, более того, по-своему новаторской, потому что о давно известной теме он говорил тогда, когда она была по существу «потерянной».

Есенин, конечно, находил эту «потерянную» тему во многом на старой почве (по-новому она будет открыта в поэзии через два года после его смерти — в поэме «Хорошо!»), со всем старым поэтическим инвентарем. Но сквозь старые элегические мотивы у него видна тяга к новому, тяга сильная, искренняя, порой безудержная. Есенин уже пишет, что он не только «гражданин села», но что он хочет быть «певцом и гражданином в великих штатах СССР», т. е. он, как и Маяковский, уже хотел бы сказать о себе: «Я — гражданин Советского Союза». Более того, Есенин восклицает:

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

(III, 157)

И даже:

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гоюсь,
Но и все же хочу я стальную
Видеть бедную, нищую Русь.

(III, 157)

Руками Есенина поэзия еще не ухватила за руль трактора и тем более за штурвал самолета, но она уже потянулась к ним, почувствовала рождение новой России, бескомпромиссно сказала ей: «Я твоя».

С такой поэтической мощью, как Есенин, о России, о полноте бытия в слиянии с родной природой, неотъемлемом у него, как мы видим, от понимания истинного пути родины, тогда не говорил никто. Более того, в силу отмеченных выше личных качеств поэта и его редчайшего лирического дара произошло так, что этот его голос в известной степени остался непревзойденным и сегодня.³

Несомненно, устами Есенина говорила эпоха. Но для того чтобы его слово оказалось таким проникновенным, таким поэтически сильным, надо было сложиться воедино многим обстоятельствам, в том числе и сугубо личным. Есенину необходимо было родиться в русской деревне, жить ее жизнью, впитать дух ее, ее красоту, запомнить на всю жизнь не только «низкий дом с голубыми ставнями», но и то, как

Пахнет рыхлыми драчанами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеным
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

(I, 112)

³ Мне кажется, это существо поэзии Есенина долгое время осознавалось весьма смутно. Внешним, но, правда, очень значительным актом признания как раз указанной сути лирики поэта была публикация его произведений в массовом издании «Русские поэты о Родине» в пору Великой Отечественной войны. Не публиковавшиеся до того с 1934 года, его стихотворения в буквальном смысле прорвались к читателю. Они были нужны людям, в годы испытаний с особой силой ощутившим

Надо было подсмотреть, как это «говорят... коровы на кивливом языке»; все это воспринять сердцем и однажды как бы выдохнуть:

Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

(I, 116)

Но самого факта рождения в рязанской деревне было еще недостаточно. — Надо было еще хорошо узнать город, низы и верхи литературной жизни России тех лет, узнать модернистские течения, в том числе и собратьев-имажинистов, узнать и сказать о них, досконально разобравшись в их творчестве, сказать с горечью — ведь не о чужих людях он это говорит, а о друзьях! — но как давно выношенное и выстраданное: «У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния» (IV, 208). Но Есенину надо было узнать и Западную Европу (Берлин, Брюссель, Париж, Рим, Венецию) и сказать о ней: «Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать — самое высшее мюзик-холл» (V, 108).

А затем надо было повидать и Америку, ее небоскребы (из Нью-Йорка он писал, что его съедает тоска «в этом отвратительнейшем Нью-Йорке», там никому не нужна душа, «которую... в России на пуды меряют» (V, 118—119)). И общий вывод, пронизавший все, что писал Есенин о буржуазном Западе: «Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод... зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину» (V, 109).

Читающий проникновенные стихи Есенина о России, о родине, о ее полях и березах — стихи, в частности, второй половины 23-го года и последних двух лет его жизни, — разумеется, не видит поэта на улицах Нью-Йорка, около каменных громад, не знает, что там думал Есенин (а он писал оттуда: «Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь» (V, 120)). Все это и многое другое в моменты чтения есенинских стихов нам не видится. Но в действительности поэт пишет всеми своими чувствами и всеми знаниями. Его стихи рождаются под давлением опыта всей его жизни. И поэтому, когда думаешь о поэзии Есенина, хочешь объяснить себе эту единственную, такую покоряющую ноту любви к родине, которая живет в стихах Есенина, — все сказанное выше о судьбе поэта и, в частности, о знании им заграницы приходит в голову с неизбежностью.

Вот некоторые из этих строк, приводимые здесь исключительно как ориентиры того строя мыслей, которые выражал Есенин, в частности и под влиянием контрастных обстоятельств своего человеческого существования.

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинповой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не волеет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

(III, 167)

любовь к родной земле. Они были нужны и нашей литературе, никогда не забывавшей Есенина. В годы войны его традиция с новой силой ожили в талантливой поэме Прокофьева «Россия», явившейся объяснением в любви к Родине, гимном ее красоте и одновременно словом гнева и призывом к битве за ее честь и свободу.

Еще:

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь —
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою —
Вижу вновь дорогие черты

Ты мне пой. Ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.

(III, 184)

И еще:

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

(III, 186)

Почти каждая строка поэта убеждает, что его стихи — исповедь сердца, исповедь безоглядная, может быть иногда отчаянная, рискованная, но и абсолютно правдивая и, при всем высоком артистизме, а вернее, благодаря ему, действительно простая, человеческая. В одном стихотворении Есенин сказал: «Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий», но это обращение к людям живет во всей его поэзии. И потому его свидетельства о жизни, о человеке так впечатляющи.

Поэт изо всех сил хотел отстоять привязанность к патриархальному миру, ему было больно видеть наступление на него «города», «железного гостя» и других сил, которые он связывал с надвигающейся новью. В этом важном пункте своих отношений с действительностью поэт поступал неисторично. Он не сразу понял, что новая жизнь рождает дружескую смычку его любимого мира с «железным гостем». Но близость к людям, умение быть «своим» им срывало шоры с его глаз. И поэт признавался: «Мне теперь по душе иное... И в чахоточном свете луны через каменное и стальное вижу мощь я родной стороны». И пусть телега еще поет для него «песни», а мотор откликается «лаем», его новое желание непреложно:

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

(III, 157)

Что это — измена самому себе, поэту «деревянной России», «последнему поэту деревни», как он сам называл себя?

И поэт хочет объяснить такой поворот любовью к родине, любовью к матери-родине, всегда единственной и дорогой, что бы с ней ни происходило и какие бы испытания на ее земле ни выпадали на долю человека. Объяснение затягивается на многие и многие стихотворения. И понятно почему: поэт должен был объяснить отказ от излюбленной мысли, которой он посвятил проникновеннейшие произведения и такие волнующие душу строки, как эти: «Что-то всеми навеки утрачено. Май мой сиюний! Июнь голубой!», «Мир таинственный, мир мой древний...»

Объяснение оказалось, как всегда у Есенина, и горячим, и запальчивым, и полным своеобразного, высокого смирения перед новой правдой

жизни, и потому удивительно просветленным. Он еще будет снова настаивать: «Все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы». Снова разжигать в себе свою старую любовь, видя, «как чужая юность брызжет новью» на его «поляны и луга». Снова и снова вглядываться в каждое движение своего врага, не забывая о нем и «по ночам, прижавшись к пзголовью». Но врага своего поэт называет «сильным». Он признает его превосходство над прошлым, над самим собой и своей любовью. И, может быть, единственное, что еще оставляет Есенин за собой в капштуляции перед новым, — некоторый расчет на то, что его извинят за «измену» прежнему (участь, мол, такая). Впрочем, конкретно это выражено с подлинной психологической глубиной. Поэт говорит:

Знать, у всех у нас такая участь —
(III, 167)

признание чисто есенинское, человеческое и милое, без педалирования, без нажима, однако переходящее в слова, внутренне драматические, но вполне ясные и определенные (выше они уже приводились):

И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.
(III, 167)

А главное, и здесь на есенинскую Русь падает «свет» новой жизни, которым она «коснулась... судьбы» и его самого. И в этом все дело.

Стихи Есенина не фотография жизни, но именно жизнь наложила свой отпечаток на всю их структуру. Ведь и в самой жизни тоже самые разные тенденции, настроения, «краски» живут в сложном сплаве; редко, только при особых обстоятельствах, ключевые слова попадают в «концовку» (как, например, призыв к победе в устах погибающего в атаке). Тем более это так, когда человек *становится, выбирает*. В таких ситуациях главные по структуре произведения слова могут возникнуть не в самом ударном месте, а в противоположном. И зачин произведения может показаться крайне случайным, и само повествование — лишенным логики. Структура зачина, повествования, концовки у Есенина — не схема, не обнаружение хотя бы и становых жил действительности, а скорее «слепок» с жизни, в которой господствуют сложные, нередко алогичные сплавы, сложные притяжения и отталкивания.

Почему «у осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой». когда этим словам предшествует: «В этом мире я только прохожий, ты махни мне веселой рукой»? Таких вопросов можно в обилии задать Есенину. Кто-то в недоумении остановится перед строками: «В первый раз я от месяца греюсь, в первый раз от прохлады согрет...» И хотя следующее признание: «И опять и живу и надеюсь на любовь, которой уж нет» — с объяснением его причины («Это сделала наша равниность, посоленная белью песка...») — вполне ясно, оно, кажется, появляется только затем, чтобы здесь же поставить читателя втупик: «И измятая чья-то невинность, и кому-то родная тоска». Неужели и «измятая чья-то невинность» помогла человеку жить опять и опять «надеяться на любовь, которой уж нет»?

Но в том-то и существо повествовательной структуры Есенина, что его стихи не рожают таких любовых вопросов. Они действуют на душу всем своим живым организмом в целом. И хотя, по-видимому, можно и средствами обычной речи, с ее «прозаической» логикой, найти точное объяснение странным связям слов в стихах Есенина, в таких уточнениях, как правило, никто не нуждается, потому что видят большее: это — жизнь, это — подлинный мир человеческих переживаний. Мир, в котором

может и месяц греть (а ведь кто же не знает, «как луна теплом бедна»!), и прохлада не остужать, и даже измятая чья-то невинность по очень прихотливой, но и очень человеческой логике рождать надежды на любовь. А все потому, что человек живет связями с миром, с людьми, с матерью, с сестрой: ей он и говорит о своей радости: «любить не отдельно, не врозь — нам одною любовью с тобою эту родину довелось» (III, 186).

С пронзительной силой Есенин обращается все к одной и той же мысли в целом ряде стихотворений. Нередко он говорит о мелочах, может быть, о самых банальных вещах, как бы намеренно не заботится о композиции, в которой бы чувствовалась иерархия образов. Но только стоит возникнуть словам: «Ты мне пой. Ведь моя отрада — что вовек я любил не один...» — как сразу понимаешь: вот сердце стихотворения, вот откуда идет его пульс, его нерв, его жизнь.

В поэзии Есенина нас привлекает искренность человека, который на одном из самых крутых поворотов истории страстно думает о жизни. Он «человек не новый», он потому и мучится, что не поймет, «куда несет нас рок событий», он «винит» советскую власть, он «в обиде» на нее.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин...»

(III, 22)

И этот «голос мысли» тоже его голос. И прорывается он в самых разных местах и имеет не только такую четко выраженную форму признания нового. Чаще это признание выражается в тяге к родному дому, где, однако, «жизнь сестер, сестер, а не моя», к людям (почему ему и дорого то, что любит он «не отдельно, не врозь») и, наконец, в мотиве, который давался Есенину особенно трудно: «Приемлю все».

Та же проникновенность, искренность отличает у Есенина и образ Ленина. В «Анне Снегиной» о Ленине сказано почти одной строкой, но настолько емкой, что она прочно вошла в мировую Лениниану. Человеком, выразившим чаяния народа, мысли и чувства «наинизших низов» человечества, поднимающихся к творчеству жизни, дан Ленин в этой поэме. Это ставшее знаменитым место, в котором автор рассказывает о своем приходе в Кривушу, где мужики спорят о новых законах. Спорящие задают вопросы и пришедшему на их сходку «беззаботнику». Есенин, «отягченный думой, не мог ничего сказать».

Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

(III, 284)

В стихотворении «Капитан земли» (январь 1925 года), написанном примерно в то же время, что и «Анна Снегина» (она публиковалась в марте 1925 года), Есенин так подступает к образу Ленина, что сразу подчеркивает не только значительность того, о ком он будет говорить, но и делает упор на нравственной стороне своей данной работы, на единственности высоты и чистоты чувств, которые диктуют ему стихи о Ленине. Вот эти широко известные строки:

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.

Лишь только он.
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.

Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

(III, 124)

Разумеется, сказанное не объясняет еще «тайны» поэзии Есенина — его особой восприимчивости ко всему живому (особенно такому, что связано с его родиной), его умения найти всему этому единственное по своей силе словесное выражение. Но это последнее — талант, и талант как раз такой, который говорит о себе:

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.

(III, 11)

Без такой души и без редкой по своей глубине и преданности любви ко всему, что облекает ее в плоть, никогда не было бы поэзии, отличающейся лирическим максимализмом, безмерностью лирического самовыражения, именно безмерностью. Разве не потому даже сама гибель поэта, имеющая свое социальное объяснение, воспринимается, однако, и как явление психологии творчества Есенина⁴ — как выход из безудержного взлета его поэзии. Без этого лирического максимализма не было бы и поэта, у которого чуть ли не на каждой странице мы встречаем такие строки:

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,

Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость,
Все любя, ничего не желать?

(II, 73—74)

Желание — «хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой месяца сено жевать» — конечно, необычное, и выражено оно редкостными образами, но мы прекрасно понимаем, что оно воплощает безграничную любовь вот к этому куску «полевой России», когда хочется слиться со всем сущим в ней и, «как ветками ива, опрокинуться в розовость вод». И главное, странные, лишённые обычной логики образы подготовлены в стихотворении состоянием человека, настолько близким к родной природе, что он, с абсолютной естественностью сливая себя с ней, говорит:

И в душе и в долине прохлада.

Вообще когда я вижу на обложках есенинских сборников изображение березок — а это непременно эмблема едва ли не всех его книг, — мне это представляется наивным. Конечно, душу поэта трудно передать, потому и появляются на обложке березки, но в действительности именно она, душа, — героиня всей его поэзии. Оттого, по-видимому, так не пейзажны, так драматичны, а иногда и полны трагизма знаменитые пейзажи Есенина. И по той же причине так глубоко уходят в мысль-чувство все его яркие, а иногда и удивительно необычные метафоры. Они — не образительные средства, они — сама суть, само чувство, сама драма его произведений.

⁴ Здесь невольно вспоминаются слова Горького о Есенине: «И жизнь и смерть его — крупнейшее художественное произведение...» (приведены в кн.: Е. Наумов. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Л., 1960, стр. 265).

Вот одно из его самых характерных для двадцатого года стихотворений, когда поэт видел себя поэтом «деревянной России» и был в конфликте с городом, со всем «железным», «стальным».

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.

Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

(II, 95—96)

Здесь каждая деталь пейзажа находится под знаком мысли поэта, что он — последний поэт деревни и что все живое — это природа, поля, березы, а мертвое, страшное — идет от «железного гостя» и его наступления на дорогие поэту поля. Когда Есенин говорит о «злаке», т. е. о том, что, по Есенину, человечно, то называет его: «злак овсяный, зарею пролитый». И лучшей, т. е. наиболее гуманной, характеристикой того или иного явления поэзия Есенина той поры не знает: ведь заря — это тоже природа, и вот ею-то и «пролит» на землю «злак овсяный». Никаких таких хороших качеств поэт не видит в «железном госте». Упомянув о его «черной горсти», он тут же кричит: «Не живые, чужие ладони, этим песням при вас не жить!» Кричит, как видим, не только затем, чтоб до конца сказать, как лишен всего живого этот незванный «гость», но еще и затем, чтоб прямо бросить ему в лицо, что его собственным стихам, ему самому, Есенину, с ним не по пути.

И следом, сразу же — о живом, о родном, с чем именно и дружит есенинская поэзия. Контраст этот особенно выразителен, когда строфа прочитывается сразу, одновременно вбирая в себя оба основных, притом резко противоположных мотива:

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Колосья не только «кони», они еще и способны «тужить», помнить «хозяина старого». Сколько замечательных, подлинно человеческих качеств обнаружил в них поэт «полевой России»!

«Свеча», «луна» — сами по себе тоже, конечно, явления, довольно частые в пейзажной лирике. Но у Есенина догорающая «золотистым пламенем из телесного воска свеча» — человек, а луна входит в сложный и совсем не лунный образ времени — в образ «деревянных часов», которые «прохрипят» последний час этому человеку. «Луны часы деревянные» — образ, конечно, насквозь психологический, возникающий на пересечении многих эмоциональных импульсов «последнего поэта деревни», сторонника всего природного, деревянного и не доверяющего ничему «железному».

Сходное надо сказать и о «березах». Они здесь совсем не те героини пейзажа, которых мы видим на обложках есенинских книг. Березы в стихотворении вовлечены в очень многозначительный для Есенина обряд расставания со всем ему дорогим. Они «кадят листвой» на «прощальной обедне» по всему растущему и благоухающему.

Таков Есенин-пейзажист.

И неудивительно, что нельзя согласиться с отлучением Есенина от философской лирики, что весьма нередко встречается в нашей критике. Да, в поэзии Есенина нет спекуляции на рифмах «вещество-существо», которые в глазах иных литераторов являются неперемненными признаками философской лирики. Но лучшие стихотворения его — это и образцы большой философской поэзии.

Раздумья о жизни и смерти, о человеке и природе — постоянные темы его лирики.

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

(III, 26)

Картина осени — фон для раздумий человека или сами раздумья — своеобразный аккомпанемент осенней картины? Для Есенина здесь нет проблемы. Краски «золотой рощи» и зрелый цвет его раздумий слиты здесь воедино. Их объединяет, как бы сказал Маяковский, чувствуемая мысль — о людях, об их жизни, о том, что каждый из них в пути. Душа поэта обрела завидное равновесие, он думает не о легком, но думает светло и потому не гонится за славой, спокойно и мудро принимает даже суровый приговор своей поэзии, собственно, всей своей жизни:

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю тихие слова.

Не жаль мне лет, растрченных
напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

(III, 26—27)

Обретенная зрелость отношений к жизни и смерти и глубокая чело- вечность — вот сердцевина этого подлинно философского стихотворения.

Близко по философской тональности к этим стихам стихотворение Есенина «Цветы мне говорят — прощай...». Даже предчувствуя «гробовую дрожь», поэт находит мудрость и утешение в том, «что все на свете повторимо». Он не выпячивает себя, не считает, что со смертью его умрет и мир. Он думает:

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

(III, 206—207)

Подлинно человеческое содружество «ушедшего» и «пришедшего», единство «повторимого» и «неповторимого» составляют зерно глубоко гуманной мысли этого стихотворения. Это — поэзия, но это — и философия. И философия человека большой души, широкого и ясного взгляда на жизнь.

Понятно, все сказанное и не сказанное здесь о Есенине не существует отдельно друг от друга, оно находится вместе, имея свой стержень. Им является личность поэта. Ее нелегко очертить, но мы ее хорошо чувствуем в его многочисленных произведениях. Она над нами имеет особую власть. В произведениях Есенина она дает значение самым, казалось бы, скромным словам, движение и глубокий смысл самым вроде бы обычным выражениям. Снова обратимся к этому же стихотворению, в ко-

тором цветы прощаются с человеком, чувствующим приближение своего конца и расставание со всем любимым:

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

(III, 206)

«Любимая, ну что ж! Ну что ж!» За этими, такими обычными словами в сущности все, что хочет сказать человек и, главное, что он действительно говорит в ответ на горькое прощание цветов — говорит о своей душе, о готовности встретить достойно, по-человечески даже и расставание с самой жизнью. Более того, он и нас убеждает, что имеет право и душевные силы на такой ответ.

«Я видел их и видел землю» — вот его утешение и его тихая радость, позволяющие ему не опускать голову и в такой миг. Казалось бы, как это скупо, как просто! Но только не у Есенина. В его произведении это и не скупо и не бедно, а благородно-просто и почти величаво. «Отчий край», «земля», возникающие в этом стихотворении предельно сжато, вне каких бы то ни было описаний и эпитетов (тема такая!), и здесь спасают Есенина, наполняют его силой и мужеством. И понятно почему: они и в этом случае связаны с преданностью красоте родины и всему живому.

Разумеется, может быть, и не каждый читающий Есенина обнаруживал именно такой общий смысл в его поэзии (довольно часто читателю вполне достаточно, если поэзия «обеспечивает» его в те или иные моменты душевного состояния). Но смысл этот, конечно, был в ней. Долгое время могло казаться, что он исчерпывается выражением того очень характерного чувства, о котором хорошо сказал Вадим Шефнер: «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим». Но с годами становилось ясно, что сказанным сила поэзии Есенина, а точнее ее необходимость и даже неизбежность не исчерпываются.

Неустанное слово Есенина о красоте родины, ее природы, понятно во всем своем конкретном существе, — это слово о том, без чего нет человека, без чего человек оскудевает и физически и нравственно. Следовательно, его стихи — это стихи о самом фундаменте человечности, о богатстве духовного мира в людях. Они стоят у начала той темы, которая сейчас все значительнее выступает в нашем искусстве (в самом различном ее выражении, от «Белого парохода» Чингиза Айтматова до поэтической книги Сергея Викулова «От крылечка» с характерным циклом стихов в ней «Природа—мать»). И потому временное в них живет в нерасторжимом единстве с вечным.



ЧЕРТЫ НАРОДНОЙ РУСИ В СТИХАХ РАННЕГО ЕСЕНИНА

Образ родины, созданный в стихах раннего Есенина, отличается особой сложностью. Он впитал в себя лирические, эпически-пейзажные и символические элементы, а также некоторые черты песенного и календарно-обрядового фольклора.

Интересно в этом отношении стихотворение «Тебе одной плету венки...» (1915). В его первой строке звучит мотив любовной лирической песни, а в строке о росе «целительной» получили отражение народно-поэтические верования. Но особенно важны последние две строки, посвященные родине:

Но вся ты — смирна и ливан
Волхвов, потайственно волхвующих.¹

Е. Наумов в своей книге «Сергей Есенин» писал: «Что могло быть милее для салонных слушателей, чем такое представление о покорной и убогой сермяжной России. То же самое видим и в стихотворении „Русь“. „Но вся ты Смирна и Ливан Волхвов, потайственно волхвующих“, — говорится в нем о России, совершенно в духе символистско-мистических откровений».² Этот пример приводится в доказательство тезиса, что «в 1915—1916 гг. поэт создает немало произведений, в которых религиозная тема берется, так сказать, всерьез».³ Однако с подобным толкованием есенинских образов трудно согласиться.

Известно, что волхвами назывались в дохристианской Руси кудесники: «Названия, какие усвоивались волхам в старину (*ведуны, колдуны, кудесники, ведьмы, веющие жены, колдуньи, бабы-кудесницы, волхвитки*), показывают, что это были люди, обладавшие, по народному верованию, высшей, сверхъестественной мудростью, предвидением, знанием священных заклятий, жертвенных и очистительных обрядов, умением совершать гаданья, давать предвещения и врачевать болезни».⁴

Внедрение христианства на Руси проходило трудно и медленно и только в самых общих чертах завершилось к XV веку. Пережитки язычества в виде поэтических воззрений на природу сохранялись в крестьянской среде очень долго, и роль волхвов здесь нельзя недооценивать. Кроме того, в «Повести временных лет» есть сведения о том, что во главе крестьянских оппозиционных выступлений, носивших религиозную окраску, становились волхвы. Об этом, в частности, повествуется в Начальной летописи под 1071 годом (о бунте двух волхвов).

О том, насколько огромен был авторитет волхвов в период начального христианства на Руси, свидетельствует и другой случай, который приводит летописец под тем же годом. В Новгороде в нравственном

¹ Сергей Есенин, Собрание сочинений в пяти томах, т. I, изд. «Художественная литература», М., 1966, стр. 156 (далее ссылки на этот том приводятся в тексте).

² Е. Наумов. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Учпедгиз, Л., 1960, стр. 46.

³ Там же, стр. 45.

⁴ М. Никифоровский. Русское язычество. СПб., 1875, стр. 98.

поединке с волхвом как выразителем народных настроений епископ, а следовательно и его церковь, потерпели сокрушительное поражение: «И люди разделились надвое: князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли и стали за волхвом. И начался мятеж великий в людях».⁵

В Начальной летописи волхвы, во-первых, это носители антицерковного, бунтарского начала, демократического по своим общественным корням; во-вторых, поэты, чародеи, кудесники, способные предсказывать судьбу, превращаться в животных, птиц, в деревья и растения; в-третьих, выразители древних наивно-материалистических верований славян. Учитывая все это, можно иначе прочесть есенинские строки о «волхвах, потайственно волхвующих». Нет, не кроткая, покорная Русь нарисована Есениным, а Русь разбойничья, безбожная, бесовская и поэтическая.

Поэт видит над своей родиной незримый дым, который возносится от громадного тайного жертвенника. Остается определить, какова жертва и кому она. Комментаторы первого тома переводят слова «смирна» и «ливан» соответственно как «благовонная смола» и «ладан». Думается, что Есенин с его удивительным чувством слова не мог поставить рядом волхва и ладан, потому что ладан — это атрибут христианского богослужения. Очевидно, слово «ливан» следует объяснить иначе. В «Азбуковнике» XVI века «ливан» обозначался как «жертва».⁶ В «Новгородском словаре» XIII века о ливане сказано: «жертва бесам, или темьян».⁷ Что же касается слова «смирна», то в «Лексиконе славяно-росском» Памвы Берынды говорится: «неистление, трвалость, або олеек пахучий, есть и древо в Аравии, с него сок речен».⁸ Памва Берында объясняет и «ливан» по-своему: «белый, або кадило, або сръца приспособень».⁹ Среди этих значений особенно интересно «белый». Таким образом, употребленные поэтом слова «смирна» и «ливан» в применении к Руси имеют в контексте примерно следующее значение: нетленная, благовонная, белая,¹⁰ предавшая своим богам — природе, солнцу, животному миру и сама — волхв, бесконечно превращающийся и могучий.

В стихотворении «Покраснела рябина...» (1916) поэт вновь создает щемяще-чарующий, величественный и нежный образ Руси-волхва:

Край ты, край мой родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Вольга под ивой,
Ты поник головой.

(стр. 240)

Есенин, конечно, знал, что Вольга в русском былинном эпосе не относится с крестьянским трудом, с землепашеством. Например, в догосударственных былинах князь Вольга — это охотник и кудесник. Характеризуя эти былины, В. Я. Пропп пишет: «Рассказ о рождении Волха (или, как он также иногда именуется, Вольги Всеславьевича или Святославьевича), каким оно описывается в былинне, сохраняет древнейшие тотемистические представления о животных как о предках человека и

⁵ Повесть временных лет, ч. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 321.

⁶ Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым, т. II, кн. 5. СПб., 1849, стр. 168.

⁷ Там же, стр. 201.

⁸ Там же, стр. 95.

⁹ Там же, стр. 54.

¹⁰ В подобных контекстах слово «белый» у С. Есенина (может быть, под влиянием А. Блока) означает «святой» в метафорическом смысле. Например: «Он закован в белом плаче Разгадавших новый свет» (стр. 165), «Пойду по белым кудрям дня...» (стр. 193), «Не омрачен твой белый рок...» (стр. 208). Косвенным употреблением слова «белый» в этом значении можно считать строки: «И на известку колокол Невольно крестится рука» (стр. 216).

В стихотворении «Покраснела рябина...» поэт рисует образ богатыря, властителя природного царства, щедрого кормильца и защитника, грустно поникшего головой под ивой плакучей. Этот образ скорбящего труженика-воина очень выразителен. Он демонстрирует развитие в поэзии С. Есенина демократических традиций русской классической литературы, которая всегда была сильна идеями борьбы за счастье народа, глубокой верой в его историческую миссию.

П. Юшин абсолютно прав, когда говорит о нарастании в ранней поэзии Есенина мотивов «обновления Руси, переделки ее насильственным путем на мужицкий лад». Автор справедливо указывает в качестве примера на стихотворение «Покраснела рябина...».¹⁷

С. Есенин, разумеется, был не одинок в своем ощущении близких социальных потрясений, в своих стихотворных призывах, обращенных к поникшей родине. Этими настроениями была проникнута вся духовная и политическая атмосфера передового русского общества предреволюционных лет.

Поэт отнюдь не склонен был пессимистически смотреть на тихую, как будто покорно склонившуюся Русь. Правда, он не раз отмечает убогую бедность ее затерявшихся деревенок, однако в стихах Есенина о родине и, в частности, в рассматриваемом стихотворении звучит и оптимистический, жизнеутверждающий мотив:

Но незримые дрожжи
Все теплей и теплей...

(стр. 241)

Символика хлеба и дождя как животворных начал, подсказанная русским фольклором, завершает развитие образа Руси-волхва в этом стихотворении.

В непосредственно предреволюционные годы Есенин проявляет живой интерес к историческому прошлому своего народа, стремясь найти в его уроках объяснение современности. При этом художник подходит к прошлому с точки зрения былинного времени: он оставляет пока без внимания Пугачева, Разина, эпоху Петра I как собственно исторические темы. Его привлекают сюжеты, сама древность которых является гарантией их поэтичности. Кроме того, характерные для них концентрация обобщений и символизация близки есенинскому видению мира. Поэта волнует лирический образ Руси—витязя на распутье, т. е. образ обобщенный, эпический. И если прав П. Юшин, который считает, что «Сказание о Евпатии Коловрате...» написано Есениным не в 1912 году, как это утверждал сам поэт, а относится «к более позднему времени, а именно к концу 1915 года»,¹⁸ то циклизация произведений С. Есенина на «былинно»-историческую тему становится еще более определенной.¹⁹

¹⁷ П. Ф. Юшин. Сергей Есенин. Идеино-творческая эволюция. Изд. МГУ, 1969, стр. 193.

¹⁸ Там же, стр. 172.

¹⁹ Думается, что в этом предположении П. Юшин прав. Его аргументация позволяет считать неправомерным включение «Песни о Евпатии Коловрате», написанной почти целиком заново С. Есениным для собрания сочинений, в наборный текст под 1912 годом. П. Юшин относит «Сказание о Евпатии Коловрате...» к концу 1915 года не без оснований. К целому ряду его соображений можно добавить следующие. Стиль «Сказания...» при всей его необычности находит некоторые параллели в стихотворениях именно 1914—1916 годов. Например, в «Сказании...» бог обращается к идолищу:

У какой ты злюки-матери
Титьку-вишенья высасывал?

(стр. 402)

В «Сказании о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете троеручице, о черном идолище и Спасе нашем Иисусе Христе», как полностью называется поэма, С. Есенин в духе былин о богатырях рисует образ своего знаменитого земляка, о котором нам известно по «Повести о разорении Батыем Рязани в 1237 г.». Евпатий любит свою рязанскую землю, ради нее он живет, сражается с лютым врагом и погибает. Поэма С. Есенина, в отличие от «Повести...», заканчивается сценой, в которой враг, «лютый ханище», глумится над телом храброго воина. Он говорит:

А всего ты, сила русская,
На тыновье загодилася.

(стр. 403)

Кончая свою поэму высокомерными словами хана, Есенин как будто ждет ответа на вопрос: когда же проявится сила народа?

Стихотворения «Тебе одной плету венки...», «Покраснела рябина...», поэма «Сказание о Евпатии Коловрате...» и некоторые другие как бы образуют цикл, в котором тема родины рассматривается в героико-историческом аспекте, преломляется через призму исторического прошлого, воспринимаемого в духе фольклорного, былинного времени.

К произведениям с этой проблематикой вплотную примыкает также «Марфа Посадница» (конец 1914 года). В поэме мало сказано о самой Марфе. Во всяком случае поэт не выделяет таких ее черт, как мужество, волевые качества руководительницы народного сопротивления и т. п. Героиня нарисована как женщина нежной красоты, сказочного очарования. С помощью испытанного приема — отрицательного сравнения — Есенин воссоздает прекрасный облик Марфы:

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула, —
Ой, как выходила Марфа за ворота...

(стр. 310)

Говорит Марфа «голосом серебряно», «кротко», на ее ножках сапожки сафьяновые, брови у нее черные, а глаза — «не ручьи — брызгатели выцветням росяновым». Изображенная в ореоле прелести и чистоты, Марфа ассоциируется с божьей птицей — голубем и в одной из сцен поэмы запечатлевается, как на иконе, рядом с этим символом святости:

В зарукавнике Марфа богу молилась,
Рукавом горячи слезы утирала;
За окошко она наклонилась,
Голубей к себе на колени сзывала.

(стр. 312)

Она символизирует все самое лучшее, самое прекрасное в народе своего города-республики.

Резко изменяются краски художника, когда он рисует антипода Марфы — московского царя. Великолепна гротескная образность, демонстрирующая острое чувство иронии и вообще сатирические способности поэта, абсолютно не проявленные в его лирике. В дальнейшем — в «Ска-

П. Юшин правильно замечает в своей книге: «Подобные выражения отсутствуют... в юношеской поэзии Есенина» (стр. 166). Зато в стихотворении «Синее небо, цветная дуга...» (1916) есть подобное выражение:

Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

(стр. 235)

Образ месяца-ягнечка (ср. в «Сказании...»: «Щебетнул звезды месяцу: — Ай ты, божие ягнятище...»), имеющий фольклорную основу, употреблен также в стихотворении «За темной прядью перелесиц...» (стр. 183).

зани о Евпатии Коловрате...», в «Яре» и пореволюционном творчестве эти особенности будут продемонстрированы Есениным не раз.

Царь торгуется с антихристом, задает ему «хитрые» бессмысленные вопросы, употребляет смешные просторечные выражения. Подстать царю, который изображен в стиле сатирических сказок и анекдотов, антихрист. Этот вылезает «из запечья» «гадюкой», «бельмы» у него «пучеглазые», в них — «исчаведье ада». Антихрист рычит, говорит «зыком черных згит» и т. п. Сам будучи врагом бога, он предлагает царю: «Побожися душу выдать мне порукой...» (стр. 311). Царь, чиркнув «кинжалищем», растворяет кровь на «локотке» своем и ставит размашисто подпись. Так решилась судьба Новгорода. Кровожадный царь радуется, что будет скоро бойня:

Послал я сватать неучтивых семей,
 Всем подушки голов расстелю в овраге.

(стр. 312)

В. Коржан правильно отмечает, что мотив продажи души дьяволу часто встречается в древней русской литературе. «Вообще всякое бедствие, — пишет он, — христианская идеология трактовала как божеское наказание за грехи».²⁰ Необходимо добавить, что соответственно и художественные произведения с подобными сюжетами, отражая воззрения народа, трактуют бедствия так же.

Для того чтобы соблюсти достоверность в изображении мышления человека XV века, Есенин строит первые четыре главки поэмы как объективированный рассказ современника событий. Мотивация основного действия, объективированность повествования, сюжетная стилизованность этих частей дают некоторые основания думать, что С. Есенин воспроизводит «экспрессивно-эмоциональный» стиль.

Характеризуя этот стиль, Д. С. Лихачев отмечает отсутствие в литературе XIV—XV веков реалистических мотивировок поступков и психологических состояний человека, которые определяются лишь божьим промыслом. При этом нужно иметь в виду, что, согласно церковному учению, человек свободен в выборе между добром и злом. «Раз все зависит от решения человека выбрать добро или зло, — пишет Д. С. Лихачев, — он до конца последователен в этом. Он либо до конца свят, либо до конца зол. В первом случае он свят до полной абстрактности, во втором — всегда может резко измениться, стать добрым»,²¹ ибо всегда открыты грешнику пути для раскаяния. Но при этом опять-таки психологическая мотивировка подобной перемены отсутствует, ее заменяет простая ссылка на провидение. «Вот почему чудо в житийной, христианской литературе — сюжетная необходимость».²² Можно предположить, что эти стиливые особенности, характерные в определенной степени для «Задонщины», «Русского хронографа», различных житий, были почувствованы Есениным, тем более, что в этих особенностях обнаруживается и влияние фольклора, о чем также пишет Д. С. Лихачев.

В поэме «Марфа Посадница» такое же противопоставление добра и зла, причем носитель добра — главная героиня — «до конца святая», даже канонизирована, и если бы не портретная детализация да многозначительные ее слова о Василии Буслаеве и Микуле Селяниновиче, то эта канонизация стала бы абстрактной. С другой стороны, и носитель зла — московский царь — нарисован сугубо отрицательно.

²⁰ В. В. Коржан. Есенин и народная поэзия. Изд. «Наука», Л., 1969, стр. 90.

²¹ Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. Изд. «Наука», М., 1970, стр. 73.

²² Там же, стр. 74.

Движущая сила событий в поэме — козни антихриста, а затем божий приказ, продиктованный новгородцам через Марфу:

Не гони метлой тучу вихристу,
Как московский царь на кровавой гульбе
Продал душу свою антихристу...

(стр. 313)

Так воссоздается эмоционально-экспрессивный стиль наивного рассказа о событиях седой древности, имитируется как бы вновь открытый древний текст. Совсем в духе всевозможных пророчеств и откровений, которыми исполнена житийная и апокрифическая литература, автор произведения вводит в сюжет следующее пророчество:

А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!
Как пойдет на Москву заморский Иуда,
Тут тебе с Новгородом и сладу нет!

(стр. 311)

Эта деталь, столь органичная в произведении, одновременно рассчитана Есениным, подставлена для самой, быть может, важной в поэме пятой части:

А и минуло теперь четыреста лет.
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин завет:
Заглушить удалю московский шум?

(стр. 313)

Эта часть является своеобразным лирическим комментарием к первым четырем частям, словно бы отдельным произведением, навеянным текстом «неизвестного автора». Если рассказ о падении Новгорода был написан в объективированной манере и представлял как бы документ, то пятая часть отличается ярким, подчеркнутым лиризмом, резким выделением субъекта повествования, композиционно оформляется как монолог поэта-рассказчика; этот образ органично вплетается в основной, «новгородский» стиль всей поэмы: новый рассказчик — такой же новгородец, как и тот, что рассказывал о своем времени четыреста лет назад. В лирическом монологе пятой части сохраняются элементы архаического стиля предшествующих главок («дикомыть», «сеча», «на-торгаш», «быльница», «попонча» и др.), и этим подчеркивается преемственность древнего и современного Новгорода, прежней борьбы с царем и сегодняшней. Нет, мало сказать об этой поэме, что в ней есть «отчетливо выраженные демократические настроения». Эти настроения гораздо глубже, политически острее:

Ой ли вы, с Кремля колокола,
А пора небось и честь вам знать!

Пропоем мы богу с ветрами тропарь,
Вспеним белую попопчу,
Загудит нам с веча колокол, как встарь,
Тут я, ребята, и покончу.

(стр. 314)

Это умолчание в конце поэмы весьма красноречиво. Автор «Марфы Посадницы» прямо призывает к возмездию, к восстанию против самодержавия, и не удивительно, что это произведение не увидело света вплоть до 1917 года. Для нас оно особенно ценно как выражение антицаристских настроений Есенина, пусть даже и выраженных в форме легендарно-исторических ретроспекций.

Анализ стихов Есенина с точки зрения его мировоззрения позволяет установить глубокий демократизм поэта, враждебность самодержавию,

органическое неприятие христианской религии, которой противопоставляется поэтическое отношение к миру, опирающееся на устное народное творчество.

Исследователи единогласно отмечают отсутствие в творчестве Есенина 1910—1912 годов религиозных мотивов, объясняя это его равнодушием к религии. И это верно. Отдельные приметы религиозного быта, встречающиеся в есенинских натюрмортах и пейзажных зарисовках, имеют характер нейтральных, объективных реалистических деталей и не должны рассматриваться иначе, как живописные подробности, избежать которых поэт, стремившийся воссоздать образ деревенской Руси, не мог. Так, в «Подражанье песне» упоминаются плач панихид и кадильный канон, сопровождающие похороны красавицы; «венчальный переклик» колоколов в стихотворении «Хороша была Танюша...» — необходимая деталь свадебного торжества, и т. п. В исключительно редких случаях поэт прибегает в описании вещного мира к сравнениям с предметами религиозного культа. Так, например, в стихотворении «Вот уж вечер...» березы сравниваются со свечками:

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

(стр. 63)

По этому поводу Е. Наумов замечает: «В стихах такого типа даже природа окрашена в религиозно-христианские тона: березы — „большие свечки“...»²³ Иначе рассматривает это сравнение П. Юшин: «... „большие свечки“ в этом стихотворении — один из типичных случаев нередкого и самого светского использования поэтом религиозных слов».²⁴ Вполне допустимо считать, что Есенин в данном случае вообще не употребляет религиозных слов: «свечка» здесь — предмет интерьера, остальные части которого помечены тут же («печка», возле которой зимой «хорошо и тепло»).

В стихотворении «Поет зима — аукает...» также едва приметна метафора «Мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка», где шум деревьев уподобляется перезвону множества колоколов.

Гораздо определеннее тяготение Есенина к метафоре, построенной на такого рода сближениях, выражено, например, в стихотворении «Дымом половодье...». Здесь стога сена уподобляются церквям, крики глухарки в лесу — однообразным звукам колокола, сзывающего ко всенощной:

Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.

(стр. 69)

Теперь, пожалуй, можно обратить внимание на одну особенность таких метафорических сближений: Есенин стремится придать явлениям природы сокровенный и вместе с тем возвышенный характер. Природа трактуется как некий грандиозный храм, но в этом храме поэт не находит места собственно религии и тем более религии христианской. Ведь «березы-свечки» стоят в храме природы, и не к настоящим церквям зовет лесной заунывный крик глухарки, а «в тишину болот».

Лирическая концовка стихотворения «Дымом половодье...» («Помо-

²³ Е. Наумов. Сергей Есенин, стр. 43.

²⁴ П. Ф. Юшин. Сергей Есенин, стр. 77.

люсь украдкой»), весьма неопределенная вне контекста, имеет свой логический смысл. Тут у Есенина впервые появляется мотив внерелигиозного, немистического поклонения родной природе, мотив, который впоследствии прозвучит не один раз и четко обозначится в стихах, на которые мы уже обращали внимание: «Но вся ты — смирна и ливан Волхвов, потайственно волхвующих». Вплотную к этому образу Руси-волхва поэт подошел уже в стихотворении «Задымился вечер, дремлет кот на брус» (1912):

Закадили дымом под росую рощи...
В сердце почивают тишина и мощи...

(стр. 77)

т. е. святыня, нечто дорогое и сокровенное.

В стихотворениях, написанных между 1910 и 1916 годами, мы видим поразительную устойчивость поэтического мышления Есенина, повторяющего мотивы немистического одухотворения природы. А оно, в свою очередь, является совершенно естественным выражением мирозерцания крестьянства, живущего дарами природы и постоянно взаимодействующего с нею. Однако корни поэтических образов в стихах с отмеченными мотивами уходят еще глубже, в дохристианские, языческие верования и поэтические воззрения народа. Можно увидеть это на следующем примере. Одно из стихотворений 1914 года (в своем первоначальном варианте) начинается так:

Край родной! Поля как святцы,
Рощи в венчиках иконных.

(стр. 362)

Как могло возникнуть сравнение земли с поминальной книгой, почему имена святых как бы написаны на грешной земле? Ответ следует искать во всем контексте есенинской стихотворно-лирической аполгии природы и неразрывно связанной с нею жизни крестьянина. В частности, Есенин поэтизирует, вероятно, мотив предков, умерших и преданных земле, но тем не менее продолжающих жить своей особой жизнью и определенным образом влиять на судьбу живущих на земле людей. По поводу этих древних верований В. Я. Пропп писал: «Вот почему забота о посевах сочетается с заботой о покойниках и носит двоякий характер: усопших надо умилостивить, надо выразить им свою любовь, почитание. Но этого мало. Их надо поддерживать пищей, питьем и теплом, надо с ними трапезовать, надо оставлять им еду на могилах, совершать возлияния из вина и масла».²⁵ В. Пропп ставил перед собою лишь одну задачу: рационально объяснить календарные обряды крестьян. Его не интересовала их поэтическая сторона, хотя он и сделал краткое замечание о том, что древние верования забылись на поздних этапах развития общества и аграрные праздники существуют лишь по традиции. К этому следует добавить выводы В. Гусева о поэтической функции традиционных обрядов.²⁶

Нас интересует и то, и другое, т. е. и этическая, и эстетическая сторона поверья, отраженного Есениным. Поэт основывает, по-видимому, свое сравнение полей со святцами на древнеславянской поэтизации неумирающих предков: это их бесчисленные имена вписаны в страницы русских полей. Это герои, богатыри, сражавшиеся за независимость родины; это также мирные пахари, возделывавшие эту землю. Они-то и есть «святые». Но в поэтическом образе стихотворения есть другой, главный мотив: художник подчеркивает вечность родины, неразрывную связь ее прошлого, настоящего и будущего; ведь далее идут стихи: «Я хотел бы

²⁵ В. Я. Пропп. Русские аграрные праздники. Изд. ЛГУ, 1963, стр. 23.

²⁶ См.: В. Е. Гусев. Эстетика фольклора. Изд. «Наука», Л., 1967.

затеряться В зеленях твоих стозвонных» (стр. 106). Обратим внимание на эпитет «стозвонных». И тут он включается в общий образ природы-храма, но, обогащенный поэтической идеей святости человеческой жизни, человеческого труда, оказывается гораздо более глубоким.

Мотив единения исторического прошлого страны и ее настоящего, преломленный через народно-поэтический образ неумирающих предков, настойчиво разрабатывается в ранней лирике Есенина. Мы, однако, не найдем у него развернутых деклараций на эту тему; поэт чувствует себя гораздо увереннее в стихии органического словесного образа.

Есенин — тончайший мастер передачи неуловимых настроений, интуитивных вчувствований. Поэтому исследователи его раннего творчества испытывают немалые трудности, определяя общественно-политические взгляды поэта, грани его мировоззрения. Обычная методика анализа лирики здесь зачастую оказывается бессильной.

Путь к познанию этой лирики лежит через расшифровку словесных образов, — это необходимый путь постижения характера поэтического мышления С. Есенина. Расшифровка словесного образа «поля, как святцы» позволяет установить немистическую направленность взглядов поэта, тогда как восприятие этого образа только по внешнему признаку (церковная лексика) создает впечатление прямо противоположное.

Во всем своем творчестве С. Есенин абсолютно последователен в принципах поэтического отношения к природе, к материальному миру. При этом он неизменно опирается на народные песенные и мировоззренческие традиции. С точки зрения христианских религиозных канонов лирика Есенина — возмутительное идолопоклонство, откровенное язычество: поэт никогда не испытывает желания исповедаться богу, помолиться на его икону в церковном храме, но зато с превеликим удовольствием и охотой молится на стога и копны, слушает «проповеди» воробьев и глухарей, причащается чистой водой родника, благоговейно внимает «молитвословному ковылю», прутнику, который излагает поэту сказы и были родины. Чуткое сердце Есенина различает «солончаковую тоску» ровных ковыльных просторов России, зовы «невозвратных и далеких» людей, ушедших в дымящуюся землю. С ним разговаривает природа («Духовитые дубровы Кличут ветками к реке»), шепчет ковыль, сосняк — все это голоса одного целого, родины. Это ее бесконечность, ее жизненный круговорот. Поэтому-то и вырвались из самого сердца поэта знаменитые стихи:

Если крикнет рать святая:
«Жинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

(стр. 116)

Вместе с тем нужно заметить, что идейный смысл стихов вряд ли четко осознавался самим Есениным. Его тенденциозность объективно вытекала из всего его творчества, густо настоенного на фольклоре и несущего мотивы, восходящие к дохристианскому, языческому народному мировосприятию. Несовместимость этих мотивов с христианской идеологией составляет устойчивый элемент поэзии С. Есенина, который невозможно не почувствовать, если воспринимать его стихи как единую стилевую систему. Поэтому исследователи совершенно напрасно пытаются усмотреть иронию в таких произведениях, как «Калики», «Шел господь пытать людей в любви...» (Л. Юдкевич прибавляет к ним также «Запели тесанные дроги...», «Голубень», «Тучи с ожереба...»).²⁷ Вряд ли есть основания трактовать как иронические стихотворения «Поминки», «Заглушила

²⁷ См.: Л. Г. Юдкевич. Лирический герой Есенина. Изд. Казанского университета, 1971, стр. 50.

засуха засевки» и тем более «По дороге идут богомолки...». С. Есенин активно вводит в подобные стихотворения церковную атрибутику, постоянно придерживаясь при этом своей основной и едва ли не единственной темы — красоты родины. В возвышенном разговоре о ней он не находит места для сатиры, — этот стиль для него не характерен.

Нет ничего иронического в том, что поп изображен в «худой епитрахили», подбирающим черные копейки («Поминки»). Вовсе не иронические цели ставит Есенин, упоминая рядом монахов, богомолку и брех собак («По дороге идут богомолки...»). То же самое можно сказать и о стихотворении «Заглушила засуха засевки...», где критическое отношение к церкви выражено через глубинное противопоставление христианской веры и поэтических народных воззрений.

Поэтому вряд ли плодотворно искать в стихах С. Есенина открытую публицистичность, вообще не характерную для раннего периода его творчества.

С этой точки зрения следует подходить и к стихотворению «Калики». «Калики» рассматриваются обычно как образец публицистической иронии, прямого богохульства молодого поэта. П. Юшин, например, пишет: «В стихотворении „Калики“ Есенин в резкой, иронической форме выразил свое отношение к религии. Странствующих святош, „поклоняющихся пречистому спасу“ и поющих стихи „о сладчайшем Иисусе“, он называет скоморохами, вкладывая в это слово отрицательный смысл. Их песню о Христе слушают клячи и вторят ей горластые гуси. А убогие святоши ковыляют мимо коров и говорят им свои „страдальные речи“, над которыми смеются пастушки».

«Нет, — продолжает автор, — это не озорство, как выразился один известный критик, имея в виду стихотворение „Калики“, а четкая неприязнь к слугителям культа и отрицание тех заповедей, которые усиленно вдалбливали спас-клепиковские церковники своим ученикам».²⁸

Этот комментарий в одной из лучших книг о С. Есенине является важной частью всей концепции исследователя. Надо заметить, что в самых общих чертах подход П. Юшина к проблеме «Есенин и религия» совпадает с позицией К. Зелинского,²⁹ Е. Наумова, Л. Юдкевича.³⁰

В «Заметках собирателя» П. Н. Рыбников характеризовал калик так: «Главные хранители былин здесь (т. е. в Заонежье и Пудожском побережье, — В. Х.) *сказители*, а в Каргопольской стороне *калики*. . . калики живут милостынею».³¹

В репертуаре калик были произведения различных фольклорных жанров, но центральное место занимали в нем духовные стихи. А. В. Оксенов писал: «Духовные стихи пелись и ныне поются слепыми старцами, странниками по святым местам, видимыми обыкновенно мальчиками. Певцы эти называются „каликами“ (или калеками) переходжими».³²

Духовный стих как область устного народного творчества изучен гораздо слабее, чем былевая поэзия, лирическая песня, сказка и другие жанры.³³ На сильный дохристианский элемент в духовном стихе указывал М. Горький: «„Духовный стих“ для нас может быть интересен настолько,

²⁸ П. Ф. Юшин. Сергей Есенин, стр. 79.

²⁹ См. вступительную статью к первому тому собрания сочинений С. Есенина.

³⁰ См. указанные выше работы.

³¹ Цит. по: С. И. Минц, Э. Б. Померанцева. Русская фольклористика. Хрестоматия для вузов. Изд. «Высшая школа», 1965, стр. 118.

³² А. В. Оксенов. Народная поэзия. СПб., 1909, стр. 283.

³³ См.: Русский фольклор. Библиографический указатель. 1917—1944. Сост. М. Я. Мельц. Л., 1966, стр. 118. Дается менее тридцати названий. В советской фольклористике мало работ по духовному стиху, а фундаментальных нет вообще. Это обстоятельство создает большие трудности в исследовании традиций духовного стиха как особого фольклорного жанра в авторской литературе, в частности в поэзии Есенина.

насколько в него просочились старинные влияния языческого фольклора, насколько он отражает влияния этого фольклора. Они — есть, точно так же, как в „житиях святых“ христианской церкви есть чудеса, заимствованные из языческих сказок. Это свидетельствует о живучести древнего фольклора, но очень мало о религиозном творчестве трудового народа христианской эпохи». ³⁴ В своих суждениях о фольклоре и, в частности, духовном стихе, который отразил «языческое — совершенно лишенное мистики — представление трудмасс о боге», М. Горький исходил из глубокого знания устно-поэтического творчества народных масс и выводов передовой русской фольклористики прошлого века. Например, Ф. И. Буслаев, описывая миниатюры из рукописи Лицевой Библии начала XVII века на сюжеты божьего суда над богатым Лазарем, цитирует следующий духовный стих:

Сослал к нему господь грозных ангелов,
 Страшных, грозных, немилостивых,
 По его душу по богачеву;
 Вынули его душевню не честно и не хвальнó,
 Нечестно, нехвально, сквозь ребер его;
 Да вознесли же душу вельми высокó,
 Да ввергнули душу во тьму глубокó,
 В тое злую муку, в геенский огонь.

Ф. Буслаев называет его «прекрасным», ³⁵ и в самом деле — в нем с большой силой выражены социальный протест против власть имущих, идея возмездия, неизбежного наказания за тяжкий грех социального насилия. Совершенно ясно, что этот духовный стих имеет мало общего с официальной христианской идеологией, пропагандирующей классовый мир и всепрощение. В стихе о двух Лазарях отразилось то самое языческое, немистическое представление «трудмасс» о боге, о котором говорит М. Горький: бог трактуется в духе народного представления о справедливости. Именно поэтому генеральным сюжетом духовных стихов является Последний день, Страшный суд. Объясняя немаловажную роль исполнителей духовных стихов, калик, в массовой пропаганде идей конечной социальной справедливости, Ф. Буслаев писал: «Слепая нищая братья, стоя при вратах монастыря или храма, воспевала для входящих и выходящих те великие события Последнего дня, которые, по обычаю, писались на вратах или стенах. Мало понятные, полузагадочные и таинственные изображения становились всякому доступны и вразумительны, перелитые в звуки родного слова, согретые чувством и как бы оживленные присутствием слепого певца». ³⁶

Поскольку калики — это «народные рапсоды», профессиональные сказители, зарабатывающие на хлеб исполнением былин, исторических и разбойничьих песен, духовных стихов, и поскольку этим определяется их полезная в прошлом роль носителей и распространителей фольклора, принципиальным становится вопрос об отношении к ним Есенина. Вряд ли поэт иронически, резко отрицательно относится к каликам в своем стихотворении. Если бы это было так, тогда весь органичный, глубокий фольклоризм поэта, искренний, горячий и любовный интерес его к народной поэзии трудно было бы объяснить.

Четыре строфы стихотворения фиксируют соответственно четыре отдельные ситуации, в которых действуют калики. Сначала сказано, что они проходят по деревням, пьют там квас, молятся у церквей. Затем они оказываются в поле, где поют стих об Иисусе. Далее калики входят

³⁴ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, Гослитиздат, М., 1953, стр. 496.

³⁵ Ф. Буслаев. Древнерусская народная литература и искусство. СПб., 1861, стр. 153.

³⁶ Там же, стр. 154.

в стадо, где опять вспоминают господ. И, наконец, калики отдают коровам последние крохи, а пастушки над ними смеются. Таким образом, движение калик в стихотворении — от дальнего и общего плана к ближайшему и конкретному. По мере приближения калик к глазам наблюдателя все более проясняется их внешний облик. Поэт дает возможность хорошо рассмотреть усталость калик, их жалкий вид, немощь и увечность. А самое главное — их кротость, забитость, что так поразительно согласуется со щедростью нищих странников, отдающих последние крохи хлеба коровам.

Главной в стихотворении является последняя строфа; в ней сосредоточен основной для Есенина идейный смысл. В ответ на жалкий, но доброжелательный жест калик пастушки глумятся над ними. Даже убогий вид странников не останавливает веселых девок. Именно эту строфу и следует детально рассмотреть. Поэт подводит нас к нужному ее пониманию, упоминая о «речах» калик, причем необходимо сразу же отметить мысль о «святости» странников, которые «поклонялись пречистому Спасу», «пели стих о сладчайшем Иисусе» и говорили «страдальные речи» о служении «единому господу». Есенин просто обозначает хорошо ему известный песенный репертуар калик. Что же касается образа Христа в духовном стихе, то это не что иное, как эквивалент фольклорно-романтического положительного идеала, воплощение веры в счастливую, справедливую судьбу. Описанные поэтом калики поют стих именно о таком Иисусе. Такому Спасу они поклоняются, такому «единому господу» служат.

Кроме того, само появление странников сопровождалось обычно пением стихов об Иисусе, которые являлись так называемым входным стихом, своеобразным паролем, произносимым прежде всего. Вот входной стих, записанный в Рязанской губернии:

Воскреснет наш Господи,
Вознесется рука яво,
Спымянет нас господи
Вы царствии вы небесным!..³⁷

Далее — обычный сюжет суда над богачами и воздаяние бедным праведникам.

Однако, кроме духовных стихов такого содержания, калики исполняли и другие, связанные с календарными праздниками — Юрьевым днем, Егорием Весенним, при запашке и засеве яровых. По-видимому, заключительная строфа стихотворения Есенина, где говорится о крохах, отдаваемых каликами коровам, содержит намек на те песни, которые странники пытаются петь соответственно обстановке (может быть, в стихотворении отражен момент выгона скота весной или какой-то другой календарный день), но, увы, деревенские девки отвечают каликам насмешками.

Чем же объяснить это непочтительное отношение деревенской молодежи к странникам, к убогим каликам? Думается, в стихотворении Есенина отражены те глубокие перемены, которые происходили в то время во всех сферах жизни русской деревни, начиная от коренных изменений в старом патриархальном экономическом укладе и кончая разрушением основ патриархальной духовной культуры, главной частью которой был крестьянский фольклор.

Еще П. Рыбников в 60-е годы прошлого века констатировал отмирание традиционного фольклора в Заонежье. С его выводами соглашался А. Гильфердинг, наблюдавший подобные же признаки умирания тради-

³⁷ Калеки переходные. Сборник стихов и исследование П. Бессонова. Вып. 5. М., 1863, № 487.

ционного фольклора. Данные фольклористики подтверждались свидетельствами таких прогрессивных деятелей, как Гл. Успенский, В. И. Немирович-Данченко, Ф. Решетников, Д. Мамин-Сибиряк, А. Толстой, М. Горький, Д. Фурманов и др.

Вместе с отмиранием традиционного фольклора уходили со сцены и его носители, в первую очередь, конечно, профессиональные исполнители произведений фольклора, калики перехожие. А. Коринфский писал в 1901 году: «Калики перехожие разносят по святой Руси переходящие из уст в уста старинные песни, былины и „стихи“... Много стихов поют бедные носители народного песнотворчества, мало-помалу исчезающие с лица родной земли под шум и гул иных — новых, имеющих мало общего с творчеством — песен. Недалеки те дни, когда от этих „птиц божиих“ останется в народе только одно предание о их странствиях».³⁸

В стихотворении молодого Есенина пока не ощущается глубокой скорби по поводу гибели традиционной крестьянской поэзии. В нем нет драматизма. Быть может, это потому, что и сам автор не осознает до конца всего значения наблюдаемой сцены. Зато несколькими годами спустя он будет писать о том же с отчаянием, с болью — и в стихах о красногривом жеребенке, и еще раньше в «Ключах Марии»: «Звериные крикуны, абсолютно безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской массы подменили эту завязь (т. е. народные истоки поэтического образа, — В. Х.) безмозглым лязгом железа Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным расточительным и неяршим, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и, словно гвозди, разрывал ему кровеносные сосуды».³⁹

Таким образом, есть определенные основания считать, что в стихотворении «Калики» полемика с христианской религией может быть понята лишь как противопоставление официальному богу народного немистического представления о нем, выраженного в духовном стихе. И поскольку носителями такого мифологического, сказочного, в основе своей языческого представления являются калики, отношение поэта к ним такое же сочувственное, как и к родному фольклору вообще.

С. Есенин в дальнейшем продолжил тему калик в стихотворении «Я странник убогий...» (1915). Как известно, в первом издании сборника «Радуница» это стихотворение имело название «Улогий». Из «Сборника рязанских областных слов», составленного Диттелем, узнаем, что «улогий» означает «убогий, безногий, лишенный движения».⁴⁰ Следовательно, героем стихотворения Есенина является калика перехожий, убогий странник, и поэтому нам понятны его песни о боге, как понятна и последняя строфа стихотворения:

Покоюся сладко
Меж росновых бус.
На сердце лампадка,
А в сердце Исус.

(стр. 149)

В свете того, что нам известно о каликах, об их репертуаре и, главное, о немистической трактовке бога, неправомерно относить это стихо-

³⁸ А. Коринфский. Народная Русь. М., 1901, стр. 370.

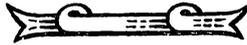
³⁹ Сергей Есенин, Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, стр. 189.

⁴⁰ См.: «Живая старина», вып. II, 1898, стр. 224.

творение к числу религиозных или с религиозными мотивами, как это делают многие исследователи. Стихи последней строфы, на первый взгляд как будто недвусмысленно выражающие приверженность поэта к христианской религии, на самом деле являются неотъемлемой частью есенинской концепции мира как гармонии человека и природы.

В 1916 году опубликовано стихотворение С. Есенина «Без шапки, с лыковой котомкой...», в котором также развивается тема калик. Калика здесь — нищий («с лыковой котомкой», в дырявой поддевке, подпоясанной веревкой), убогий («поводырь мой — подожок», «Цепляюсь в клейкие сережки Обвисших до земли берез»). Он поет те же песни о боге («стих о светлом рае»). В стихотворении в противоположность «Каликам» звучат оптимистические ноты. Заметно отойдя от портретного документализма и этнографизма, поэт в этом лирическом стихотворении прямо выражает свою концепцию гармонии человека и природы.

Сюжет странничества, очень распространенный в поэзии С. Есенина, является отражением неумемного желания «концы земли измерить», увидеть все, что ни есть на родной земле, чтобы «в счастье ближнего поверить». Этот сюжет в разработке Есенина охватил весь диапазон подобных настроений — от пассивной мечты о высшей справедливости в духе крестьянского богостроительства до грозного бунтарства, он выразил общую атмосферу напряженных дум о жизни, ожиданий глубоких перемен, упований на будущее счастье, которыми жило крестьянство перед Октябрьской революцией.



О ФИЛОСОФСКОМ ХАРАКТЕРЕ ПОЗДНЕЙ ЛИРИКИ А. ТВАРДОВСКОГО

В современной советской поэзии философская лирика заняла, как известно, одно из наиболее заметных мест.

Многие объясняют это обстоятельство главным образом так называемой научно-технической революцией, действительно значительно стимулировавшей поэтическое воображение, быстро и властно захваченное грандиозной картиной принципиально по-новому открывающейся Вселенной.

Ведь именно в наши годы человечеству впервые удалось, как сказал А. Твардовский,

Ступить за тот порог Вселенной,
Что вечность глухо стережет...¹

Неиссякаемый поток информации, касающейся, как правило, не частностей, а самых, по выражению академика А. Александрова, «горизонтов нашего понимания мира и нашей собственной жизни»,² т. е. основ человеческого и вселенского бытия, не только постоянно приближает поэзию к приграничным территориям собственно науки, но, что самое главное, органически и достаточно явственно пронизывает ее научно-философскими идеями современного мирознания.³

В распространенных сейчас наблюдениях и объяснениях относительно связей, существующих между научно-технической революцией и интенсивным развитием философской лирики, есть безусловно большая доля истины.

Вместе с тем одна из самых больших трудностей, которую постоянно приходится преодолевать сегодняшней поэзии, заключается в том, чтобы сохранить свое высокое достоинство и художественную суверенность перед строгой, бесстрастной, но потрясающей разум и чувство формулой науки, иными словами, чтобы не оказаться в роли восторженного популяризатора, а брать мир крупно, по-своему, т. е. поэтически.

Советская философская лирика, при всей новизне ее содержания, а подчас и формы, является в лучших своих образцах внимательной последовательницей широко разветвленных поэтических традиций, идущих от Ломоносова, Державина, Батюшкова, Веневитинова, Пушкина, Боратынского, Тютчева, Некрасова, Блока. Основной признак этого родства виден прежде всего в признании высокого предназначения поэзии, в утверждении бесстрашия поэтической мысли, не только дерзающей

¹ А. Твардовский. Стихотворения. Поэмы. Изд. «Художественная литература», М., 1971, стр. 174. В дальнейшем ссылки на произведения А. Твардовского (кроме прозы) даются в тексте по этому изданию.

² Акад. А. Александров. Поэзия науки. «Известия», 1964, № 59, 10 марта.

³ Эта особенность современного поэтического развития наиболее подробно рассматривается в работах В. Г. Ларцева «Наука и современная советская поэзия (1957—1964)» (Самаркандский государственный университет им. А. Навои. Ташкент, 1965), Ал. Михайлова «Лирика сердца и разума. О творческой индивидуальности поэта» (М., 1965), Б. С. Мейлаха «На рубеже науки и искусства. Спор о двух сферах познания и творчества» (Л., 1971).

идти наравне с достижениями философской культуры своего времени, но подчас и опережающей иные прозрения науки. Один из современных исследователей справедливо пишет по этому поводу, что «демократическая по своей сущности и доступная по своей форме поэзия раздумий — авангард и разведчик всей отечественной литературы в целом»,⁴ что «русскую философскую лирику всегда отличала не только глубина раздумий о человеке и природе, но и душевная щедрость, необыкновенная человечность».⁵

Традиция душевной щедрости и человечности, соединенная с мыслью о высокой общественной, гражданской предназначенности поэзии, оказалась живой в творчестве современных советских поэтов — очевидцев величайших достижений научно-технической революции. Научные достижения, так много значащие для судеб человечества, как правило, осмысливаются нынче поэзией с большой вдумчивостью, осторожностью и даже тревогой. Так или иначе, но можно сказать, что взгляд философской лирики все чаще обращается сегодня к земле, — может быть, отчасти и потому, что планета наша впервые в истории цивилизации стала представляться людскому глазу нуждающейся в особой защите. Ученый-космонавт К. Феоктистов, делаясь своими впечатлениями о пребывании в космосе, сказал характерные слова: «После полета я почти физически ощутил, насколько, в сущности, невелика наша Земля, насколько она хрупка и уязвима. . .»⁶

У А. Твардовского есть стихотворение, близкое по своему мироощущению к тому, о чем написал К. Феоктистов. Он говорит в нем, что земля представляется ему маленькой, нуждающейся в защите и охране:

Полночь в мое городское окно
Входит с ночными дарами:
Позднее небо полным-полно
Скученных звезд мирами.

Сладкой бессонницей юность мою
Звездное небо томило:
Где бы я ни был, казалось, стою
В центре вселенского мира.

Мне еще в детстве, бывало, в ночном,
Где-нибудь в дедовском поле
Скопища эти холодным огнем
Точно бы в темя кололи.

В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.

(стр. 227—228)

Да, манипуляции человечества с чудесами техники бывают порою, к сожалению, странно похожи на опасную игру со смертоубийственным огнем — без полного и ясного понимания ее возможных страшных последствий глобального характера.

В этом стихотворении характерно и, по-видимому, наиболее отчетливо выразилось общее для нашей современной философской лирики стремление решать вечные проблемы бытия на уровне «молекулярной», как сказал бы Толстой, жизни человечества, включая и быт отдельного человека, его повседневное существование. Условно говоря, от «неба» философская поэзия все чаще обращается к «земле», не теряя при этом из виду всеобщей взаимосвязанности всех явлений современной динамичной жизни. И, возможно, основное своеобразие теперешней философской лирики, наиболее последовательно выразившееся, на наш взгляд, в поздней поэзии А. Твардовского, заключается в способности обобщать, отталкиваясь от частных, вбирая в себя повседневную жизнь людей со всею массой подробностей, штрихов, деталей. Эта особенность, характерная не только для А. Твардовского, но и для позднего Н. Заболоцкого и сегодняшнего творчества Л. Мартынова, для позднего Н. Ушакова,

⁴ Евгений Осетров. *Познание России*. М., 1962, стр. 28.

⁵ Там же, стр. 27.

⁶ «Вопросы литературы», 1973, № 1, стр. 92.

Н. Асеева, для Л. Вышеславского и других, обусловлена гражданским пафосом, унаследованным как от всего опыта русской классической поэзии, так и от опыта советской поэзии. С этой точки зрения следует сказать, что хотя развитие современных научно-технических и философских знаний безусловно оказало и оказывает большое влияние на все современное искусство, в том числе и на философскую лирику последних лет, все же искать здесь обязательную прямую связь или непосредственные соотношения, как часто делается, было бы неправильно. Своеобразие и движение современной философской лирики свидетельствует о том, что она имеет более глубокие корни, чем одно лишь влияние научно-технической революции, как бы значительно само по себе оно ни было.

В частности, обращает на себя внимание хотя бы тот факт, что конец 50-х и, в особенности, 60-е годы вообще характеризуются многочисленными произведениями (главным образом, принадлежащими старшему поколению поэтов), которые можно было бы назвать лирикой раздумий, обычно с большим или меньшим мемуарным уклоном. Раздумья о смысле жизни, о пройденном пути, размышления о роли искусства, — все эти мотивы можно встретить в стихах и поэмах А. Прокофьева, Н. Ушакова, Яр. Смелякова, А. Яшина и многих других поэтов.

Советская философская лирика развивалась и развивается различными путями — в зависимости от индивидуальности таланта, субъективных пристрастий к тем или иным традициям, наконец, в зависимости от целей, которые ставит в своем творчестве тот или иной поэт. Н. Заболоцкого, например, интересовали преимущественно общие проблемы бытия, тайны мироздания, загадки вечности, проблемы природы и человека. Картинность его философско-поэтического мышления резко отлична от силлогизированной поэтической структуры Л. Мартынова, который к тому же редко касается общих проблем бытия, а направляет свой взор на быструю современность, стремясь уловить и своеобразно смоделировать ее сегодняшние характерные тенденции. Сугубо философский характер произведений Н. Заболоцкого и Л. Мартынова, при всей разности их подходов к обработке слова и художественного преобразования действительности, ни у кого не вызывает сомнений.

Интересно, однако, что к А. Твардовскому никогда не относятся как к лирику-философу; более того, лирическая сторона его творчества, будучи заслоненной эпосом, вообще редко исследуется, и лишь в последние годы, в особенности после выхода книги «Из лирики этих лет», лирическая поэзия автора «Страны Муравии», «Василия Теркина» и «За далью — даль» стала привлекать более пристальное внимание.

Возможно, это обстоятельство объясняется также и особым характером поздней лирики поэта, тем, что она, так сказать, не выглядит философской в привычном понимании этого слова: мы не найдем в ней, к примеру, столь распространенных в философской поэзии силлогизированных тропов, более или менее отчетливых посылок и резюме, его стихи почти всегда представляют собою непринужденно-естественное размышление, разговор со своим «другом-читателем», вполне серьезный, доверительный, но в то же время без какого-либо особого философического оттенка.

Вместе с тем его размышления всегда касаются коренных проблем бытия и общественной жизни.

В статье о Пушкине А. Твардовский писал, что «весь Пушкин, вся необъятность его исторического развития и возрастания неотрывно связаны с крупнейшими историческими моментами жизни народа».⁷

⁷ А. Твардовский. Статьи и заметки о литературе. «Советский писатель», М., 1972, стр. 8.

В известной мере это можно сказать и о А. Твардовском.

Что же касается более или менее отчетливо выразившейся философской тенденции в его творчестве, то, пожалуй, впервые она крупно вышла наружу в годы Великой Отечественной войны. Мысль как своего рода сердцевина произведения и его структурообразующий момент стала с большей отчетливостью организовывать многие произведения поэта именно в ту пору. Нравственно-философский, эстетический, гражданский опыт Великой Отечественной войны имел большое значение для развития всей советской философской лирики — не только для А. Твардовского. Будучи явлением грандиозного, всемирно-исторического масштаба, эта война приучала и приучила художественное сознание поэтически мыслить крупными социально-философскими категориями. Военная действительность постоянно заостряла писательское внимание на таких понятийных соотношениях, какие были традиционны именно для философской лирики: жизнь — смерть — бессмертие, личная воля и общественный долг, человек и мироздание, добро и зло (в их гражданско-политической интерпретации), любовь и ненависть.

Главной особенностью всего послевоенного периода творчества А. Твардовского стала исключительная обостренность историзма его поэтического мышления, чуткость к основным закономерностям и нюансам общественного движения, живая реакция на них.

Его философско-эстетическое и гражданское кредо (все эти понятия всегда неразрывны у А. Твардовского) хорошо выражено в стихотворении «Жить бы мне век соловьем-одиночкой...», вошедшем в книгу «Лирика этих лет». Поэт говорит в нем о посещающем его соблазне отвернуться от ежедневного шума ради душевной тишины:

Жить бы мне век соловьем-одиночкой
В этом краю травянистых дорог,
Звонко выщелкивать строчку за строчкой,
Циклы стихов заготавливать впрок.

О разнотравье лугов непримятых.
Звездах пастушьих, угодах грибных.
О лесниках-добряках бородатых.
О родниках и вечерних закатах.
Девичьих косах и росах ночных...

Жить бы да петь в заповеднике этом,
От многолюдных дорог в стороне,
Малым, недалеким довольствуясь эхом...

(стр. 191)

А. Твардовский отвергает «заповедники поэзии», как когда-то презрительно отвергал их Вл. Маяковский, как не признавала их гражданская некрасовская муза, как бежал их Пушкин.

Однако А. Твардовский разворачивает свое стихотворение дальше:

Да! Но скажу я: без этой тропинки,
Где оставляю сегодняшней след,
И без росы на лесной паутинке —
Памяти нежной ребяческих лет, —
И без иной — хоть ничтожной — травинки
Жить мне и петь мне? Опять-таки — нет...

(стр. 192)

В нем чрезвычайно обострено и живо ощущение слитности и неразрывности бытия: большое и великое не существует без малого. Поэт пишет в этом стихотворении — так можно его истолковать — о неоскудевающих и драгоценных родниках «малой родины», но это — первый слой его рассуждения, глубинный же слой заключен в мысли о равномерности

исторического бытия, о всепронизывающем характере исторических ритмов. Не умеющий оценить и понять «подробность», краткую прелесть мгновенной жизни, не поймет и великого. В этом отношении А. Твардовский заметно отличен от Н. Заболоцкого, который — в принципе — не признавал этой равномерности и прорывался к ней в поздних стихах лишь стихийно. В представлении автора «Метаморфоз» природа (в общепhilosophическом понимании этого слова) живет иными ритмами, дисгармоничными и чуждыми человеку. У А. Твардовского любое противопоставление «малого» «великому» отсутствует. Он пишет, например, о море, столь далеко от его смоленских речушек, что в нем

Распознавалась та же мера
И тоны музыки земной...

(стр. 203)

Естественно, что ощущение соразмерности и равновеликости (оно, может быть, больше всего роднит А. Твардовского с Пушкиным) распространяется им и на человеческую жизнь. Для А. Твардовского не только не существует неинтересных людей (или неинтересных событий), но неприемлема даже самая мысль о подобном подходе к человеческому существованию. Поэт распространяет этот взгляд и на собственную жизнь, справедливо считая, что его «личная» биография, например его смоленское детство, участие в войне и другие вехи и меты, неизбежно заключающая в себе всеобщее, могут быть (и должны быть) предметом постоянного художественного интереса. Здесь нет, разумеется, никакого «ячества»: наоборот, все дело заключается в понимании социальной типичности своей судьбы.

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы,
И счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы...

(стр. 535)

Это — кредо А. Твардовского, эстетическое и гражданское, высказанное, как и всегда у него, просто и ненавязчиво.

Так же изображает он и своих героев, причем даже в тех случаях, когда они — люди действительно «особой, избранной судьбы». Он стремится раскрыть в них ту обыкновенность, которая свидетельствует о безмерном таланте народа, умеющем выражать себя многолико и разнообразно.

Характерно в этом отношении стихотворение «Космонавту», посвященное Юрию Гагарину. Речь идет в нем о полете Гагарина, но в то же время и о народе, об истории и, конечно же, о войне.

Когда аэродромы отступленья
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой
Впервые новичкам из пополненья
Давали старт на вылет боевой, —

И пусть они взлетали не в ракете
И не сравнить с твоею высотой,
Но и в своем фаерном драудулете
За ту же вырывались черту.

Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век, —
Там тоже, отправляясь на задание,
В свой космос хлопцы делали разбег.

За ту черту земного притяженья,
Что ведает солдат перед броском,
За грань того особого мгновенья,
Что жизнь и смерть вмещает целиком...

(стр. 195—196)

Поэт воздаст должное подвигу «необыкновенного» героя, но трактует подвиг как индивидуальное выражение коллективного таланта, а также — еще шире: как результат хода истории своего народа и государства.

В соответствии с этими взглядами относится он и к проблемам Времени, Вечности, Жизни и Смерти.

Время, в представлении А. Твардовского, мерится человеком, без него оно не мыслится, а потому как бы и не существует. Здесь нет никакого оттенка идеализма — в смысле: «мир — мое сознание», но мир без чело-вечества, т. е. без разума и творческой деятельности, без ноосферы, на его взгляд, и впрямь как бы не существует. А. Твардовский в какой-то степени приближается здесь к Н. Заболоцкому, но в отличие от него Твардовскому, во-первых, чуждо учительство по отношению к «неразумной» природе, а во-вторых, и непреодоленная Н. Заболоцким боязнь индивидуального исчезновения в косной материи, т. е. обостренный страх перед смертью. А. Твардовский здесь опять-таки близок к А. Пушкину. Он говорил по этому поводу: «Лирика Пушкина — высшее выражение благороднейших человеческих чувств, возвышенной дружбы и любви, понятий бесконечной ценности жизни и мужественного взгляда на ее быстротечность, на горечь любых утрат и испытаний. Для Пушкина мир не кончается вместе с уходом из него отдельной „моей“ личности. . . Его душа не менее, чем настоящему, принадлежала будущему, порывалась к нему; он жил в своем времени, со своими современниками, своей средой, но как бы и с другими поколениями, и живет с нашим и будет жить с теми, что придут нам на смену».⁸

Отсюда и проистекает убеждение А. Твардовского: «Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса» (стр. 172). Но даже и от Пушкина Твардовского отличает один существенный оттенок: его восприятие извечной проблемы «жизнь—смерть—жизнь» ближе к народному, а в смысле литературных традиций — к толстовскому. Старик-крестьянин говорит у него однажды:

Есть завет на случай сей:
Ты хоть завтра собирайся
Помирать, а жито сей!

(стр. 168)

Жизнь представляет собой череду многообразных судеб, с разумной необходимостью сменяющих друг друга. А. Твардовский бестрепетно входит в этот извечный круговорот.

Ты не в восторге?
Сроки наши кратки?
Ты что иное мог бы предложить?

(стр. 203)

О молодых деревьях-саженцах у него написано:

Им три-четыре наших жизни жить.
А там другие сменят их посадки.
И дальше связь пойдет в таком порядке.

(стр. 203)

Да, конечно, пушкинская жизнелюбивая мудрость осеняет эти строчки.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,

⁸ Там же, стр. 264.

Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.⁹

Но ощутима и разница: интонация А. Твардовского («и дальше связь пойдет в таком порядке»), очень спокойная, по-крестьянски рассудительная и даже добродушная, едва ли не ироничная, почти исключает какую-либо особую, хотя бы и мимолетную память о «себе». А. Твардовский не мог бы написать ни «Памятника», ни, как Н. Заболоцкий, патетического «Завещания». Человек, посадивший деревцо, — так по крайней мере можно прочесть его стихотворение — должен заботиться о самом деревце, но не о себе, не об имени, в конце концов оно все равно исчезнет. Что же останется? Останутся, как писал Маяковский в стихотворении о Нетте, «долгие дела». И потому каждый должен делать свое дело как можно лучше. Надо сеять жито даже в день своей смерти. В этом и заключается, с точки зрения Твардовского, «порядок»: связь времен, переключки голосов и деяний.

Знай и в работе примерной:
Как бы ты ни был хорош,
Ты по дороге не первый
И не последний идешь.

(стр. 195)

Поэтому ко Времени А. Твардовский относится по-хозяйски, расчетливо и экономно, всегда имея в виду день сегодняшний, ибо «другого нам не дано».

Некогда. Времени нет для мороки, —
В самый обрез для работы оно.
Жесткие сроки — отличные сроки,
Если иных нам уже не дано.

(стр. 192)

Время дано человеку для работы — ни для чего больше. Поэт мерит его «походными нормами», «делами», «большими и малыми стройками», дорогами и новыми городами. Оно для него всегда «крутое, рабочее», не знающее перерывов и отдыха. Так же относится поэт и к своему делу — писательскому. Сквозь всю его лирику последних лет проходит тема «бессрочной работы», «задолженности», тревожное ощущение краткости сроков, которых нельзя «транжирить зря».

Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока:
Моя задолженность меня
Преследует жестоко.

У столькох душ людских в долгу,
Живу, бедой объятый:
А вдруг сквитаться не смогу
За все, что было взято! ..

(стр. 169)

Этот мотив присущ, разумеется, не только А. Твардовскому, но у него он выражен особенно остро и, кроме того, при всей исповедальности интонации, насыщен глубоким общественным пафосом.

А. Твардовский особенно настаивает в своих стихах на приверженности к сегодняшнему дню, его заботам, волнениям и тревогам — ведь других дней нам, как сказано, не дано, и то, что от нас останется, это именно наше сегодня. Время для него всегда настолько живо, телесно и сиюминутно, что делает живым и телесно ощутимым вечный ход безмерной реки жизни. Время в роли зловещего вершителя безжалостной судьбы глубоко противно всему его существу.

⁹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. III, Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 346.

Ты дура, смерть: грозисься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твою жить чертой.

И за твою мглой безгласной,
Мы — здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны, —
Ипого смерти не дано.

И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чуда:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.

И как бы ни был провод тонок —
Между своими связь жива.
Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..

(стр. 171—172)

В поэзии А. Твардовского, как это ни парадоксально, день, при всей своей краткости и мимолетности, по существу, оказывается равным вечности, потому что, с точки зрения поэта, данная минута (или жизнь, или даже эпоха) есть как бы воплощение единого временного потока. Вечность сзади нас и — впереди нас, поэтому внутри нашей сегодняшней жизни одновременно текут разнонаправленные струи. Они-то и образуют то Большое Время, по выражению Ольги Берггольц, которое в разные минуты исторического бытия принимает различный облик. Для А. Твардовского важнее всего именно день.

День мой вечности дороже,
Бесконечности любой, —

(стр. 535)

говорит он.

Поскольку день (или конкретная человеческая жизнь) является сам по себе мгновенным выражением «вечно живущей» и изменяющейся действительности, то все происходящее сегодня надо осмысливать как бы в середине этого бесконечного процесса. Для А. Твардовского подобное миропонимание означало обостренную чуткость по отношению к вечности, находящейся «сзади», а также и к той, что простирается впереди нас: его разговор с «другом-потомком» прямо свидетельствует об этом.

Ощущение времени как некоей реки, где нам не дано видеть ни истоков, ни конца, где, двигаясь вместе с потоком и даже формируя его по мере наших человеческих сил, мы постоянно находимся в середине, — это философско-поэтическое ощущение наложило особый отпечаток на характер художественного выражения историзма у А. Твардовского. Нетрудно, например, заметить, что он постоянно избегал какой-либо фабульной завершенности (или, по его выражению, «закругленности»), что сказалось не только в крупных вещах (в «Василии Теркине» и поэме «За далью — даль»), но и в лирических стихотворениях, обычно очень свободных в своих внешних контурах и почти всегда вызывающих впечатление произвольного высказывания.

А. Македонов верно пишет об этой стороне творческого мироощущения и творчества поэта, что у него постоянно господствует «незавершенное настоящее»¹⁰ и что в этой черте можно видеть «особый историзм, продолжающий и вместе с тем видоизменяющий поэтический историзм Пушкина и Некрасова. Воспоминание не только сопоставлено с настоящим, как в поэзии XIX века, но и как бы перетекает в него...»¹¹ В конечном счете это историзм социалистического реализма, т. е. способность видеть действительность в ее революционном развитии. Как у всякого истинного художника, эта общая особенность метода советской литературы выразилась в творчестве А. Твардовского с большим художественным своеобразием и неповторимостью.

¹⁰ А. Македонов. О Твардовском. В кн.: А. Твардовский. Стихотворения. Поэмы, стр. 9.

¹¹ Там же.

Взгляд на эпоху как на сегодня творимую историю, чрезвычайно характерный для А. Твардовского, пронизывает всю его образную систему. Продолжая ключевые образы своих поэм — образы памяти и дороги, — он и в лирике поздних лет широко разрабатывает мотивы путешествий памяти.

В поэме «За далью—даль» А. Твардовский писал:

Есть два разряда путешествий:	На этот раз резоп особый
Один — пускаться с места вдаль;	Их сочетать позволит мне.
Другой — сидеть себе на месте,	И тот и тот — мне кстати оба,
Листать обратно календарь.	И путь мой выгоден вдвойне...

(стр. 523)

Его лирика послевоенных лет, и чем более поздняя, тем чаще, — это лирика путешествий памяти. Даже стихотворение «Дорога дорог», представляющее собою как бы собственно путешествие, потому что в нем мгновенно, но с заметной последовательностью, от Москвы до Дальнего Востока, проступает вся страна, — даже и это стихотворение движется и живет напряженной памятью. Оно было написано в год окончания поэмы «За далью—даль», в которой именно память двигала внутренний сюжет повествования.

Характерно, что, будучи написанным вскоре после стихотворения Н. Заболоцкого о «творцах дорог», оно оказалось во многом близким ему — по своему внутреннему патетическому строю, по жизнерадостному пафосу строительства и восстановления жизни, по торжественной эмблематичности своих широко развернутых, почти гимнических строф. Эта приподнятая торжественность выделяет «Дорогу дорог» из творчества А. Твардовского, обычно чуждавшегося открытых приемов ораторского красноречия.

На большинстве поздних произведений Твардовского лежит отпечаток мемуарности: он вспоминает об «истоках дней», о детстве и юности; но память пронизывает и те его лирические вещи, которые непосредственно не относятся к прошлому: его пейзажные стихи, стихи-размышления о писательском долге и т. д. Незавершенность настоящего, т. е. постоянное переплетение различных временных струй, перетекание прошедшего в настоящее и будущее, нисколько не противоречит, однако, впечатлению целостности и внутреннего, душевного здоровья, свойственного поэту.

В соответствии с этими взглядами А. Твардовский относится и к Вечности, образ которой в его поздних стихах появляется чаще, чем прежде. Он склонен дифференцировать понятия Времени и Вечности, охотнее имея дело с первым, так как оно, в его представлении, будучи непосредственно связанным с «днем», с «эпохой», излучает больше человеческого тепла и необходимой для поэтического слова конкретности, но и тогда, когда речь у А. Твардовского все же идет о Вечности, он опять-таки склонен очеловечивать ее, приближать к свойственным человеку представлениям о более или менее знакомых и привычных масштабах жизни.

Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса, —

(стр. 172)

писал он, расходясь в этом отношении, например, с С. Маршаком, категорично заявлявшим иное:

Не знает Вечность ни родства, ни племени...¹²

¹² С. Маршак, Сочинения в четырех томах, т. II, М., 1958, стр. 66.

Далек он в этом же отношении и от философских медитаций П. Антокольского, склонного релятивизировать как понятие времени, так и связи индивидуальной человеческой судьбы с историческим бытием.

Кто Я? Пряжа, Прялка или Пряха...¹³

Словом, А. Твардовский, не забывая о Вечности, предпочитает как поэт иметь дело со Временем, причем это понятие он неизменно и очень тесно связывает с историей своей страны и со своей собственной судьбой. Естественно, что здесь огромную роль приобретает мотив памяти. В поздней лирике наиболее интенсивно и многообразно тема памяти связывается у него с войной. Правда, А. Твардовский никогда не реконструирует своего военного прошлого. Память о войне живет и кровотоцит в его стихах, даже если об этом прямо не говорится, но иногда выходит наружу с огромной, пронзительной силой боли, страдания и даже какой-то собственной вины перед теми, кто навсегда остался на далеком берегу смерти.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

(стр. 216)

Можно сказать, что память о войне стала частью мироощущения Твардовского. Например, его многочисленные философские пейзажные миниатюры, пронизанные солнцем, радостью бытия, всегда, однако, таят в себе некую тень, боль и тревогу. В стихотворении «Жестокая память» он пишет:

Тружусь, и живу, и старею,
И жизнь до конца дорога,
Но с радостью прежней не смею
Смотреть на поля и луга...

(стр. 159)

А в стихотворении «В чем хочешь человечество вины...» читаем:

...Безветренны, теплы — почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

(стр. 228)

Здесь память о прошлом стоит на страже будущего дня. День сегодняшний, в философской концепции мира у А. Твардовского, есть средоточие прошлого и будущего, он текуч, диалектичен, противоречив, именно поэтому в формуле «жизнь—смерть—жизнь» решающее слово принадлежит, по мысли А. Твардовского, жизни.

Советская философская лирика наших дней — явление сложное и многообразное, она представлена различными интересными именами. Творчество А. Твардовского занимает в ней важное и своеобразное место. Это прежде всего лирика гражданских раздумий. Ей присуща отчетливая

¹³ Павел Антокольский. Четвертое измерение. М., 1964, стр. 13.

общественная позиция, активность политического мышления, масштабность в осмыслении актуальных проблем современности. Философская поэзия А. Твардовского, будучи глубоко лирической по своей природе, включает в себя интенсивное публицистическое начало, и в этом смысле, типологически, она продолжает традиции Вл. Маяковского. Ведущим мотивом поздней лирики поэта является память — ее путешествия во времени. А. Твардовский диалектически сопрягает индивидуальную жизнь и биографию своей страны в поэтическом понятии Большого Времени, которое, в его представлении, синонимично социальной истории государства, социалистического общества. Личность, с точки зрения А. Твардовского, лишь тогда полностью выражает себя и оправдывает свое земное существование, когда она непосредственно, активно и сознательно участвует в формировании исторического потока. Он дифференцирует традиционные для философской лирики понятия Времени и Вечности, отодвигая вторую на периферию своего поэтического сознания как понятие практически недоступное чувственному опыту, предпочитая иметь дело со временем, как бы велико оно ни было. Его время всегда социально, густо населено людьми, наполнено событиями, это обычно конкретно-историческое время. Вместе с тем, хотя А. Твардовский всегда внимателен к конкретности времени, в частности к векам, датам и деталям, он подчеркивает безначальность и бесконечность времени: в реке времени, по его мнению, постоянно живут и движутся как элементы прежних исторических эпох, так и начатки весьма отдаленного будущего.

Эта особенность взгляда на мир как на вечно движущийся поток, не знающий ни начал, ни концов, бесконечно разомкнутый в обе стороны от переживаемого нами мгновения, наложила известный отпечаток и на поэтику его философской лирики, на ее общий облик, характер и колорит. Его лирика, в частности, не знает фабульности (что, впрочем, свойственно и эпосу А. Твардовского), она как бы сознательно ориентирована на фрагментарность высказывания, его произвольность. Отсюда проистекает и всегда присущая А. Твардовскому естественность поэтической речи, насыщенность обычно не свойственной философской лирике других поэтов бытовой лексикой и многочисленными конкретными реалиями текущего дня.

Ощущая себя частицей великого потока народной жизни, поэт никогда не выделяет свою личность из «молекулярной» жизни нации, однако сквозь события и факты его биографии, запечатленной в стихах, всегда течет и движется эпоха. «Только человечество в целом есть человек», — писал А. Твардовский.¹⁴ Это убеждение, проходящее сквозь всю философскую лирику поэта последних лет, придает его произведениям, в том числе даже лирико-философским миниатюрам, отблеск эпичности, пронизанной страстным гражданским началом, пафосом общественного служения и глубочайшей, поистине пушкинской верой в жизнь. «... На месте выпавшего звена, — говорил он, размышляя о краткости человеческого существования, — цепь жизни смыкается»,¹⁵ ибо жизнь вечна и в непрестанном самовозобновлении и творчестве своем прекрасна.

Философская лирика А. Твардовского последних лет постоянно раздвигала традиционные пределы жанра, чтобы объять мир по возможности шире и многостороннее — на всех его крутых переправах, с его невиданными прежде битвами, совершенно новыми трудностями и опасностями, с решающей ролью народных масс и коллективного разума.

¹⁴ А. Твардовский. Статьи и заметки о литературе, стр. 193.

¹⁵ Там же.



В. С. БАЕВСКИЙ, Л. И. ИБРАЕВ,
С. И. КОРМЦЛОВ, В. А. САПОГОВ

К ИСТОРИИ РУССКОГО СВОБОДНОГО СТИХА

1

Проблема верлибра по мере распространения его в мировой и русской поэзии пробуждает все более острый интерес.¹ Свидетельством этого, в частности, являются представительные дискуссии с участием поэтов и ученых.² Накоплен довольно значительный фонд фактов и мнений, однако исторического рассмотрения русского свободного стиха до сих пор предпринято не было. Настоящий очерк представляет опыт историко-типологической характеристики данной стиховой формы.³

Первые явления, имеющие отношение к нашей теме, восходят к концу XVIII века. Среди более чем полутораста сумароковских переложений псалмов (некоторые переложены целиком, из некоторых по одному—два отрывка) 25 выполнены вольным безрифменным ямбом и 10 — безрифменным акцентным стихом неравного размера. Помета «Точно как на еврейском» при стихотворениях, в которых поэт хотел дать представление о библейском стихе, как он понимал его по немецкому переводу,⁴ свидетельствует об источнике метрического новшества Сумарокова — вообще смелого экспериментатора.

Границы метрических рядов и синтаксических конструкций здесь совпадают. Собственно стиховое членение текста еще не обособилось от синтаксического и выглядит как производное от него:

Сотворил ты суд и вступился за меня;
Сел еси на престоле яко судия праведный;
Изобличал ты народы и казнил беззаконных,
И истребил на веки имя их;
Развалины обителей вражиих вечно не устроятся;
Память их исчезла.⁵

Ни количество слогов, ни расположение ударений, ни их количество в стихах не совпадают: не соблюдены ни силлабический, ни тонический, ни акцентный принципы;⁶ рифма отсутствует. Единственный признак стихотворной речи, который здесь налицо, — метрические паузы между стихами; о них сигнализирует графическое членение текста. Эту структуру с некоторой оглядкой можно назвать свободным стихом XVIII века.

Отдельные опыты Державина, вроде перевода древнегреческого гимна «Богине здравия» (с немецкого) или дифирамба из оригинального гимна «Сретение Орфеем солнца», как и некоторых его современников, приходится на конец XVIII—начало XIX века и связаны с усвоением античной метрической традиции.⁷

В середине XVIII—начале XIX века усилиями Клопштока, Гердера, Гете, Гельдерлина, Гейне происходит становление freier Rhythmen в немецкой поэзии.

¹ См.: А. Л. Жовтис. О критериях типологической характеристики свободного стиха. (Обзор проблемы). «Вопросы языкознания», 1970, № 2; В. С. Баевский. Стих русской советской поэзии. Смоленск, 1972, стр. 57—69; Г. К. Сидоренко. Свободный стих в его отношении к системам стихосложения. «Zagadnienia rodzajów literackich», XVII, № 2 (33), 1974.

² Например, «От чего не свободен свободный стих?» («Вопросы литературы», 1972, № 2), «Поэзия и перевод» («Иностранная литература», 1972, № 2).

³ В статье использованы материалы о стихе Полонского, предоставленные О. А. Орловой; Рериха, предоставленные Н. А. Константиновой; Гете, Гейне, частично Фета и Михайлова, предоставленные Ж. М. Пальман. Всем им авторы приносят глубокую благодарность.

⁴ А. П. Сумароков. Дополнение к духовным стихотворениям. СПб., 1774.

⁵ А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений, ч. I, М., 1781, стр. 9.

⁶ Б. Я. Бухштаб. Об основах и типах русского стиха. «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», XVI, 1973.

⁷ Державин, Сочинения, т. I, СПб., 1868, стр. 463; т. III, 1870, стр. 61.

По-видимому, они складывались под влиянием библейского стиха, с одной стороны, гекзаметра — с другой (причем гекзаметр использовался и для переложения псалмов), книттельферса — с третьей.⁸ Отмечаем это специально ради того исключительного значения, которое имел свободный стих Гете (в частности, вся история переводов «Фауста») и Гейне для русской поэтической культуры.

Ранее других попытку воссоздать гетевские *freie Rhythmen* предпринял Жуковский, еще в 1819 году перевода «Der Wanderer» («Путешественник и поселенка»)⁹ Одновременно или почти одновременно (по положению белого автографа среди рукописей датируется 1819—1820 годами)¹⁰ и, конечно, независимо от Жуковского Дельвиг пишет «Хор из Колиновой трагедии „Поликсена“» — перевод из Г.-И. Коллина. В основном состоящее из безрифменных двух- и трехударных стихов, с постоянной нулевой анакрузой, но с переменной — то мужской, то женской, то дактилической — клаузулой, стихотворение Дельвига включает в себя на редкость смелые по метру и образам строки, как, например, следующие, выражающие скорбь по разрушенной Трое:

Ныне — пустыня, уголь, прах,
Ныне — гроб!¹¹

Одна из первых в XIX веке попыток «освобождения» стиха оказалась одной из самых радикальных.

Первое, насколько нам известно, оригинальное русское стихотворение, написанное безрифменным стихом неравного размера, принадлежит Ф. Н. Глинке и опубликовано в 1830 году в альманахе Дельвига. Приводим его полностью:

К СИНЕМУ НЕБУ

Синее небо! синее небо!
Алмазные звезды!
Залягьте, утоньте,
В раскрытую душу,
Как тонете вы величаво
В хрустальном, глубоком потоке!..
Ах! как бы я весел, ах! как бы я счастлив
И радостен был,
Когда б я мог слышать, когда б я мог верить,
Что небо в душе я ношу!¹²

Стихи двух-, трех- и четырехстопного амфибрахия, без рифмы, с женскими и мужскими клаузулами; смена стопности и клаузул явно не упорядочена. Начальный стих имеет более сложный облик — то ли дактиль с усеченным на цезуре слогом, то ли дольник; он опережает новаторские строки Некрасова:

Что твой Россини! Что твой Бетховен!
Здесь он не струсит, здесь не уступит...
Много травили, много скакали...¹³

В отличие от стиха Сумарокова, первые же произведения поэтов XIX века отмечены несовпадением границ метрических рядов и синтаксических конструкций. Так, в приведенной миниатюре Ф. Н. Глинки между 3-м и 4-м, 7-м и 8-м стихами два синтаксических переноса типа *contre-rejet*, между 5-м и 6-м стихами

⁸ E. Arndt. Deutsche Verslehre. Berlin, 1960, S. 103—104; F. G. Jünger. Rhythmus und Sprache in deutschen Gedicht. Stuttgart, 1966, S. 130—151.

⁹ См.: С. А. М а т я ш. Стих В. А. Жуковского. Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1974, стр. 18. А. Л. Жовтис ошибочно считал первыми попытками переводы М. Дмитриева 1827-го и 1829 годов и Жуковского 1833 года (см. его статью «У истоков русского верлибра» в кн.: Мастерство перевода. Сборник 7-й. 1970. «Советский писатель», М., 1970, стр. 389—390). Зачатки верлибра Ю. Н. Тынянов справедливо указывал и в «Рустеме и Зорабе» Жуковского, отмечая «отсутствие рифмы и неправильное чередование четырех-, трех- и пятистопного ямба» (Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. Статьи. «Советский писатель», М., 1965, стр. 58). Все эти произведения написаны, при отсутствии рифмы, либо разностопным ямбом, либо сочетанием ямбического стиха с трехсложниками.

¹⁰ См. комментарий Б. В. Томашевского в кн.: А. А. Дельви г. Полное собрание стихотворений. «Советский писатель», Л., 1959, стр. 299 (Библиотека поэта, большая серия).

¹¹ А. А. Дельви г. Полное собрание стихотворений, стр. 136.

¹² «Северные цветы на 1831 год», отд. «Поэзия». СПб., 1830, стр. 52.

¹³ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. I, Гослитиздат, М., 1948, стр. 35, 36.

перенос типа *rejet*. Противопоставление метрического членения синтаксическому — важнейший шаг в становлении системы свободного стиха.¹⁴ Деление текста на метрические ряды (стихи, строки) осуществляется уже не как следствие его синтаксической структуры, а независимо от нее и даже «вопреки» ей. Близкие метрические конструкции встречаются у Ф. Н. Глипки и позже.

2

Существенная страница истории свободного стиха в России написана Фетом. «Вакханка» («Зачем как газель...»), «Когда петух...», «Художник к деве» были включены уже в «Лирический Пантеон», изданный в 1840 году, так что Фет вступил в литературу, в числе прочего, и опытами свободного стиха. Они несомненно отражают влияние *freier Rhythmen* Гете. Первое стихотворение написано трехсложниками с переменной анакрузой, с неупорядоченным чередованием мужских и женских клаузул, без рифмы. Два других стихотворения состоят из коротких, преимущественно пяти-, шестисложных стихов с двумя ударениями, с междударными промежутками в 1—2 слога. Синтаксическое членение последовательно противопоставлено метрическому: синтаксические конструкции нередко охватывают 2—3 стиха, встречаются *enjambements*.

Опубликованный в 1842 году перевод стихотворения «Poseidon» из первого цикла «Die Nordsee» Гейне знаменовал новый шаг в формировании верлибра. Для стиха немецкого поэта, представляющего собой безрифменный неурегулированный дольник (непривычного для русского стихосложения облика — в частности, с несоразмерно большим числом односложных промежутков между соседними иктами), Фет нашел эквивалент в переходной метрической форме от трехсложника к дольнику: из 51 стиха 40 имеют трехсложниковый импульс (между соседними иктами неизменно по два слабых слога), 11 стихов — дольниковый (между соседними иктами то 1, то 2 слога). Синтаксическое и метрическое членения противопоставлены: стих перевода сразу же начинается синтаксическим переносом. В оригинале, заметим, всего два переноса, и оба они в конце стихотворения. Так что Фет словно бы намеренно подчеркивает «антисинтаксичность» своего стиха.

Такой же ритмический облик имеет оригинальное стихотворение «Я люблю многое, близкое сердцу...», написанное приблизительно одновременно с «Посейдоном». Два других хронологически близких произведения — «Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!» и «Ночью как-то вольнее дышать мне...» — при отсутствии рифмы, при неравном размере написаны трехсложниками без срывов в дольник. В первом из них все метрические границы совпадают с синтаксическими; в другом метрическое членение иногда расходится с синтаксическим. Типологически это более ранняя форма, чем стих «Посейдона» и «Я люблю многое, близкое сердцу...».

Дальше всего по пути создания свободного стиха продвинулся Фет в стихотворении «Нептуну Леверрье» (создано не позже 1847 года). Оно написано безрифменным дольником неравного размера (от 1 до 5 иктов в стихе), метрическое членение резко противопоставлено синтаксическому. На 24 стиха — 9 *enjambements* всех трех разновидностей: *rejet*, *contre-rejet*, *rejet-contre-rejet*:

Ныне, крылья раскинув над бездной (г—г)
Тверди, — ныне над высью я...
На половинном пути (г)
К вечности, здравствуй, Нептун! Над собою (с—г)
Слышишь ли шумные крылья и ветер...¹⁵

Свобода метрико-синтаксических отношений, тонического и силлабического строя, смелый для 1840-х годов отказ от постоянства слогового состава междуйктовых интервалов (т. е. переход к дольнику) сочетаются здесь с почти постоянной нулевой анакрузой и женской (редко — дактилической) клаузулой. Таким образом, даже Фет, прирожденный экспериментатор, ощущает еще необходимость компенсировать свободу метрико-синтаксического строения ритмическими ограничениями. Нелегко давался каждый шаг на пути к верлибру!

¹⁴ При обсуждении проблемы свободного стиха в Институте мировой литературы им. А. М. Горького 13 апреля 1972 года это обстоятельство настойчиво подчеркивал С. И. Гиндин. Переходу от «синтаксического» к «асинтаксическому» метрическому членению стихотворной речи приписывает важную роль в становлении немецкого свободного стиха Ф. Юнгер в упоминавшейся выше книге «Rhythmus und Sprache im deutschen Gedicht» (S. 137, 145 u. a.).

¹⁵ А. А. Фет. Полное собрание стихотворений. «Советский писатель», Л., 1959, стр. 229 (Библиотека поэта, большая серия).

Остальные четыре его стихотворения, воспроизводящие или имитирующие немецкие свободные формы, к метрическому опыту ничего не прибавили. «Мой ангел», хотя и создано приблизительно одновременно с «Нептуну Леверрье», близко к «гетевскому верлибру». По-видимому, произведение не удовлетворило и самого поэта; оно не включено им в плац собрания сочинений 1892 года. Таким же стихом значительно позже осуществлен перевод из Гете «Границы человечества» (около 1877). Другой перевод из Гете «Зимняя поездка на Гарц» (около 1885) представляет собой переходную метрическую форму от трехсложника к дольщику. «Чистыми» трехсложниками выполнен перевод «Эпилога» к «Die Nordsee» Гейне, хотя оригинал, как и весь цикл, значительно более сложен по метрическому строению.

В целом в стихах, написанных с учетом опыта Гейне, строки длиннее, чем в интерпретациях *freier Rhythmen* Гете. Длина колеблется в широких пределах, от 2 до 15 слогов, при средней длине 8 слогов. В строке обычно 2, 3 или 4 ударения (икта). Сопоставление акцентуации фетовских переводов и немецких оригиналов наглядно демонстрирует влияние немецких *freier Rhythmen* на становление русского свободного стиха (таблицы 1 и 2):

Т а б л и ц а 1

	Количество ударений в стихе			
	1	2	3	4
Goethe. «Harzreise im Winter» . . .	4	41	40	3
Фет. «Зимняя поездка на Гарц» . . .	2	36	48	2

Т а б л и ц а 2

	Количество ударений в стихе				
	1	2	3	4	5
Heine. «Epilog», «Poseidon» .	2	10	28	30	3
Фет. «Эпилог», «Посейдон» . .	1	14	21	29	7

Фет не был одинок в своих смелых экспериментах: Лермонтов создает «Слышу ли голос твой...» (1838), несколько позже Полонский — «Ночь в горах Шотландии» (1844). Если Полонский по обстоятельствам творческим и биографическим несомненно учитывал достижения Фета, то Лермонтов и Фет столь же несомненно не зависят один от другого. Зато они оба вдохновлялись Гете.¹⁶

Учтя еще переводы Огарева и Струговщикова,¹⁷ приходим к выводу, что круг русских отражений гетевских *freier Rhythmen* достаточно широк. С точки зрения метрической, это либо разностопный безрифменный ямб, либо разностопный безрифменный трехсложник (чаще всего с переменной анакрузой), либо сочетание обеих этих форм. Как правило, чередование клаузул разного слогового состава не упорядочено. Метрическое членение четко противопоставлено синтаксическому.

Еще ярче судьба «гейневской» традиции. Переводы Михайлова из Гейне («Северное море»), впервые собранные вместе в 1859 году в «Русском слове», метрически близки к «Нептуну Леверрье».¹⁸ Господствуют строки с 2—3—4 ударениями, средняя и наиболее частая длина стиха 8 слогов. Как и у немецкого поэта, метрическое членение не зависит от синтаксического. Стих безрифменный, между-

¹⁶ «За городом» Полонского, относящееся к 60-м годам, по метрике весьма близко к «Ночи в горах Шотландии», хотя разделяют их полтора-два десятилетия. Несмотря на единичный характер экспериментов, «образ метра» гетевской традиции у Лермонтова, Фета, Полонского оказывается весьма устойчивым.

¹⁷ А. Жовтис. 1) У истоков русского верлибра, стр. 390—391; 2) Немецкие *freie Rhythmen* в ранних русских интерпретациях (20-е—начало 40-х годов XIX века). В кн.: Русское языкознание, вып. I, ч. 2. Алма-Ата, 1970, стр. 89—100.

¹⁸ Аналогичное по ритму стихотворение «Горный поток» (1847), во всех изданиях Михайлова печатающееся среди оригинальных его произведений, в действительности является переводом из Ф.-Л. Штольберга. Укажем, что значительно ранее перевел это стихотворение безрифменным вольным ямбом М. П. Загорский (ум. в 1824 году). См., например: Немецкие поэты в биографиях и образцах, под ред. Н. В. Гербеля. СПб., 1877, стр. 140.

ударные промежутки одно- и двухсложны (в единичных случаях больше). Отличия касаются более смелого варьирования слогового строения анакруз и клаузул: Михайлов уже, по-видимому, не ощущает необходимости компенсировать метрическую свободу стиха такими сильными ритмическими ограничениями, как Фет. Дж. Бейли прямо называет стих Михайлова вольным дольником.¹⁹ Метрическую близость стихосложения русского поэта к оригиналу отчасти иллюстрирует таблица 3:

Таблица 3

	Количество ударений в стихе					
	1	2	3	4	5	6
Heine. «Nordsee»	11	190	334	274	31	1
Михайлов. «Северное море»	12	233	360	244	72	15

Ретроанализ распределения ударений по слоговым позициям вместе с тем убеждает, что этот «вольный дольник» имеет прочную трехсложниковую основу. По предложению Л. И. Тимофеева, ритмика свободного стиха исследована здесь способом, аналогичным тому, который был применен при изучении ритмики вольного ямба.²⁰ Отмечалось наличие (отсутствие) ударения на каждой слоговой позиции; счет велся начиная с последнего ударения влево. Таким образом, в ретроанализе 1-я позиция — это позиция последнего ударного слога строки, 2-я позиция — слоговая позиция непосредственно перед нею и т. д. Каждая слоговая позиция, кроме 1-й, может быть занята как безударным, так и ударным слогом.

Распределение ударений по слоговым позициям даже в разных стихотворениях одного автора настолько индивидуально, что вопрос о возможности объединения данных в общем подсчете всякий раз приходится решать заново. В таблице 4 разнообразие распределения ударений в стихе Михайлова иллюстрируется двумя стихотворениями. Однако общая тенденция этих и всех других произведений цикла настолько выразительна, что допускает обобщение данных.

Таблица 4

	Слоговые позиции												
	...13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
«Коронование»				14	3	5	51	0	3	84	11	0	100%
«Сумерки» 8	21	4	29	17	4	87	12	0	96	4	0	100%
«Северное море»	. . . 7	4	2	38	9	5	69	11	5	78	14	0	100%

Легко заметить, что пиковые процентные значения (на 4, 7, 10 позициях) убывают не потому, что изменяется характер распределения ударений, а потому, что чем длиннее строки, тем их доля меньше, а следовательно, меньше и процент ударений на дальних слоговых позициях. Так, 6-й слог отсутствует уже приблизительно в 7% строк, 7-й — в 15%, 8-й — в 22% и т. д. Поэтому таблицу 4 мы ограничили 13-ю слоговыми позициями.²¹

¹⁹ J. Bailey, Blok and Heine: An Episode from the History of Russian dol'niki. «The Slav and East European Journal», vol. XIII, № 1, 1969, p. 17.

²⁰ М. П. Штокмар. Вольный стих XIX века. В кн.: Ars poetica, II. М., 1928, стр. 131 и 150.

²¹ Можно предположить, что в самой общей форме ритмическая организация свободного стиха основана на том, что при всем разнообразии его строк по числу слогов и по месту ударений строки эти сохраняют все же ритмическую соизмеримость благодаря выравниванию по их окончаниям: наличие константы (т. е. последнего ударения перед паузой и клаузулой) и ударений на 4—5 и 7-м (от конца) слогах. В этом смысле здесь можно провести известную аналогию между свободным стихом и стихом вольным, где строки при различном количестве слогов в начальной части выравниваются по концам.

Степень неурегулированности числа и расположения слогов и ударений в строке и синтаксического ее строя, естественно, в свободном стихе гораздо выше, чем в вольном, что позволяет свободному стиху легко вбирать в себя прозаические

Переводы Михайлова именно благодаря тому, что поэт вышел далеко за пределы единичных образцов (22 стихотворения, около 1000 строк), стали важным эпизодом развития русской метрики.

Поиски русского свободного стиха в первой половине XIX века не были ни слишком многосторонними, ни слишком разнообразными, но они были. Труд Михайлова достойно их увенчал. Позднейшие многочисленные переводы «Северного моря»²² были далеко не так удачны. И хотя во второй половине столетия переводный верлибр распространился довольно заметно, оригинальный свободный стих в XIX веке не утвердился.²³

3

Поиски в области свободного стиха возобновились на рубеже XIX—XX веков поэтами разных постреалистических течений. Эта форма оказалась пригодна для выражения и религиозно-философских, и социально-критических, и самодовлеющих эстетических идей, для стихов по преимуществу динамичных и для пластических картин в духе антологической лирики.

А. М. Добролюбов создавал свои верлибры на базе библейского молитвословного стиха и его модификаций в фольклорных духовных стихах:

Господи, где сила твоя и весна твоя?
Где на земле обитает торжество твое?
Возврати меня, Жизнь моя, в сердце твое,
Возврати мне сердце дней древних...

Одновременно имело место влияние народного стихосложения:

Только степи кругом растилалися,
Только птицы кругом раскликалися,
Только крылья кругом развевалися,
Только песни кругом раздавалися...²⁴

Эти построения, основанные на параллелизме тематическом, синтаксическом, фоническом, с началами и концами стихов, маркированными обращениями и глаголами, сильно архаизированы. Дополнительную архаическую черту сообщает им совпадение метрических конструкций с синтаксическими — особенность, равно присущая как библейскому, так и русскому фольклорному стиху. Таким образом, у А. М. Добролюбова, в соответствии с его мировоззрением, сочетающим религиозность, стремление заглянуть в душу народа, тягу к опрощению, мы встречаем типологически раннюю стадию верлибра, внешним образом возвращающую нас к опытам Сумарокова.

Таким же сочетанием особенностей фольклорной и молитвословной метрики будет позже отмечен своеобразный стих «Сельского часослова» Есенина. Как и у А. М. Добролюбова, это двойное влияние объясняется идеологическими причинами (хотя во многом другими, чем у него) и тематикой вещи — поэт изображает народное революционное движение как космическое явление, данное ему в мистическом опыте.²⁵

Если для А. М. Добролюбова эта система стала основной, то другие символисты как первого, так и второго поколения применяли ее лишь спорадически. Особняком стоит проблема русского Верхарна, требующая специального изучения.

конструкции, интонации и обороты речи, подчиняя их, благодаря выравниванию концов строк, в конечном счете стихотворному ритму с характерными для него конечной паузой, постоянным (100%) предшагнтым ударением и относительной симметрией завершающих строку ударений (4—5, 7).

Очевидно, что при широте диапазона неурегулированности в организации начальных частей строк свободного стиха можно предположить наличие большого числа его видовых вариаций, восходящих к этому наиболее общему типу.

²² См.: Генрих Гейне. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. Изд. Всесоюзной книжной палаты, М., 1958, стр. 267—285, 298—299.

²³ Р. Якобсон видит причину этого в четком чередовании стихотворных и прозаических периодов в истории русской литературы XIX века, из-за чего не было стимула к возникновению промежуточных форм (R. Jakobson. Notes préliminaires sur les voies de la poésie russe. In: La Poésie Russe. Paris, 1965, p. 22).

²⁴ См.: К. Тарановский. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI—XIII вв. В кн.: American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists. Prague, 1968. The Hague, 1968, p. 381.

²⁵ Ср.: П. Юшин. Поэзия Сергея Есенина 1910—1923 годов. Изд. МГУ, 1966, стр. 218—219.

Наибольшее значение для истории свободного стиха имеет, очевидно, работа Блока. С середины 1900-х годов, создавая произведения в большей или меньшей мере «освобожденные» по метрической организации, он приходит к переходным метрическим формам от вольного тактовика к свободному рифменному стиху и, наконец, к верлибру.²⁶

5 мая 1904 года написан первый фрагмент цикла «Пузыри земли» — «На перекрестке...». Весь лирический цикл построен на семантических диссонансах; во всех аспектах тенденции к аритмии, к асимметрии выражены так ясно, как никогда прежде. Стих фрагмента «На перекрестке...» — безрифменный неурегулированный дольник, в строке от 1 до 4 иктов, анакрузы самые разнообразные, от нулевой до трехсложной, клаузулы женские и мужские. На лексику, синтаксис сильно влияют разговорные интонации. Выше мы видели, как Фет считал себя обязанным возместить свободу метрико-синтаксического строения «Нептуну Леверрье» строгими ритмическими ограничениями. Блок тоже ощущает необходимость поставить некоторые пределы разнообразию стиховой структуры, но, в противоположность Фету, пестрота ритмического строения уравнивается у него почти повсеместным совпадением метрических рядов и синтаксических конструкций. Последнее свойство, как мы видели, характеризует исторически и типологически ранние стадии свободного стиха. Так что Блок, как и А. М. Добролюбов, в данном случае проходит мимо ритмического опыта русской лирики XIX века. Не случайно через год поэт с присущей ему прямотой напишет Брюсову: «... я не имею понятия о законах свободного стиха...»²⁷ Поэту было суждено самостоятельно, в собственном творческом опыте проделать путь от изначальных до усложненных образцов верлибра. Уже в октябре 1906 года он слагает «К вечеру вышло тихое солнце...», где стих упорядочен совсем иным образом. Блок разрывает обязательные метрико-синтаксические связи: почти половина метрических разделов обособлена от синтаксических, в одном случае наблюдается enjambement. Одновременно усложняется метрическое строение: безударные промежутки между ударениями часто достигают трех слогов, что свойственно тактовика. Однажды безударный промежуток охватывает целых четыре слога — это позволяет квалифицировать произведение как переходную метрическую форму от тактовика к акцентному стиху — неурегулированному по числу ударений, безрифменному, со значительными колебаниями слогового состава анакруз и клаузул.

Написанное одновременно «Ночь. Город угомонился...» метрически близко к только что рассмотренному: это тоже переходная метрическая форма от неурегулированного тактовика к акцентному стиху, но смелого противопоставления метрических делений синтаксическим, свойственного предыдущему стихотворению, здесь нет. Сказывается влияние стихотворения Гейне «Fragen», вариацией на темы которого является «Ночь. Город угомонился...». Ein Jungling-Mann спрашивает у волн:

«O löst mir das Rätsel des Lebens,
Das qualvoll uralte Rätsel...
Sagt mir, was bedeutet der Mensch?
Woher ist er kommen? Wo geht er hin?
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?»²⁸

У Блока:

Но там стоит просто грустный,
Расстроенный неудачей,
С открытым воротом,
И смотрит на звезды.

«Звезды, звезды,
Расскажите причину грусти!»

И на звезды смотрит.

«Звезды, звезды,
Откуда такая тоска?»²⁹

Концовка у Гейне остро иронична:

Und ein Narr wartet auf Antwort.

²⁶ П. А. Руднев. Метрический репертуар А. Блока. В кн.: Блоковский сборник, II. Тарту, 1972, стр. 265.

²⁷ Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. VIII, Гослитиздат, М.—Л., 1963, стр. 155.

²⁸ Heines Werke in fünf Bänden. I. Band. Gedichte. Volksverlag Weimar, 1961, S. 111.

²⁹ Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. II, стр. 196.

У Блока ирония глубоко спрятана:

И звезды рассказывают.
Все рассказывают звезды.

Связь русского стихотворения с немецким оказывается многосторонней: не только по линии идейно-тематической, но и в области ритмико-синтаксических конструкций, метрического строения, интонационных особенностей.

6 февраля 1908 года датированы «Когда вы стоите на моем пути...» и «Она пришла с мороза...». Метрика обоих произведений весьма свободна: между ударными слогами от 1 до 6 безударных в первом, от 1 до 5 — во втором. Количество ударений не урегулировано и колеблется от 1 до 4, силлабический принцип столь же демонстративно нарушен. Ретроанализ распределения ударений, в отличие от стиха XIX века (о верлибре Михайлова мы говорили выше; сходные тенденции характеризуют стих большинства его предшественников, особенно Фета), не выявляет сколько-нибудь ясной закономерности в чередовании «нагруженных» и «не нагруженных» ударениями слоговых позиций. Важно отметить, что это общее свойство верлибра с диапазоном безударных промежутков большим, чем у дольника. Оно присуще и рассматриваемым далее подобным стихам Хлебникова, Рериха, Рыленкова, Винокурова. Если первое стихотворение продолжает линию «синтаксических» верлибров Блока (только трижды конец стиха не приходится на границу синтаксической конструкции), то текст второго систематически подвержен двойному членению: метрические паузы приходятся на промежутки между синтаксическими и наоборот. Таким образом, «Она пришла с мороза...» мы должны квалифицировать как первый в русской поэзии образец акцентного асинтаксического верлибра. Повторив в творчестве Блока весь путь от типологически изначальных форм, свободный стих приходит к высшей фазе развития.

Поэт оставил нам поразительное по наглядности свидетельство описанного процесса:

Вот девушка, едва развившись,
Еще не потупляясь, не краснея,
Непостижимо черным взглядом
Смотрит мне навстречу.
Была бы на то моя воля,
Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно,
У выветрившегося камня Септимия Севера.
Смотрел бы я на камни, залитые солнцем,
На красивую загорелую шею и спину
Некрасивой женщины под дрожжами тополями.

15 мая 1909
Settignano

Стихотворение образует чрезвычайно сложную метрическую композицию. Первые четыре стиха строго соблюдают альтернативу сильных и слабых позиций; в пятом, как в системе трехсложных стоп, между сильными слогами по два слабых; в шестом первый междуиктовый промежуток возрастает до трех слогов, что переводит стих из силлабо-тоники в тонику; наконец, в заключительных строках междуударные промежутки доходят до 4 и 5 слогов, создавая систему акцентного стиха. В пределах десяти строк стих «соскальзывает» от ямбического импульса через ряд промежуточных явлений в исторически и типологически конечную акцентную систему.

Хотя Блок размышлял об этой системе и писал о переводах Михайлова из Гейне, сам он больше к верлибру не обращался и среди стихотворений Гейне, которые переводил как раз в начале 1909 года, избрал более традиционные по метрике.

Отчетливые следы влияния его верлибров 1908 года носит фрагмент М. Цветаевой «Я бы хотела жить с Вами...», датированный 10 декабря 1916 года.

4

Один из самых важных эпизодов истории свободного стиха связан с именем М. Кузмина. Первый его сборник «Сети» включает 31 стихотворение, написанное верлибром. И в дальнейшем поэт неоднократно обращался к этой системе стиха. Если первоначально он отгалкивался преимущественно от французской традиции, в частности от Пьера Луиса,³⁰ то со временем начал воспринимать влияние и молитво-

³⁰ На это есть указания самого автора в тексте сборника. Ср.: И. С. Поступальский. Жозе-Мариа де Эредиа — поэт знаменитый и неведомый. В кн.: Ж.-М. де Эредиа. Трофеи. Изд. «Наука», М., 1973, стр. 196.

словного, и фольклорного стиха. Высокое художественное достоинство многих из его сочинений не вызывает сомнения. Внимательный современник, выдающийся критик и литературовед утверждал: «Кузмин — один из самых больших поэтов наших дней...» Он отмечал сознательное противостояние М. Кузмина эстетике символизма и указывал на ряд особенностей его художественного мировоззрения и поэтики, которые обусловили господство системы свободного стиха как одной из основных форм его лирики: «С исчезновением лирической напевности, песенного лада, как непосредственного выражения эмоционального волнения, с проникновением в стихийность душевной жизни раздельности и сознательности, рациональный элемент в словах и сочетаниях слов приобретает вновь большое значение; но теперь он рассматривается с художественной точки зрения, как составная часть художественного впечатления, и выступает уже в художественной форме, не как маловыразительное, прозаическое рассуждение, а заостренным в виде законченной и выразительной эпиграммы».³¹

Произведения М. Кузмина различны по метрической и синтаксической организации. Чаще всего господствуют строки с 2—3—4 ударениями, с 8—9 слогами; но есть стихотворения, состоящие из более коротких и из более длинных строк. Количество слогов в междуударных интервалах доходит до трех и лишь в единичных случаях возрастает до четырех. Поэтому мы склонны характеризовать верлибр М. Кузмина как тактовиковый по преимуществу:

При взгляде на весенние цветы,
желтые и белые,
милые своею простотой,
я вспоминаю Ваши щеки,
горящие румянцем зари
смутной и страстно тревожащей.³²

Отличительной особенностью верлибров М. Кузмина как в «Александрийских песнях», так и за их пределами, является деление текстов на «строфемы» — разновеликие группы чаще всего по 5—8 строк, редко длиннее или короче, объединенные по смыслу, синтаксически и ритмически. Видимо, поэт полагал необходимым компенсировать таким образом метрико-ритмическое многообразие. Возможно и влияние французской поэзии, где подобное деление верлибров на строфемы (*laisses*) — обычное явление.³³

Надо полагать, мимо опыта Кузмина не прошли Гумилев («Мои читатели» и др.), Ахматова («Он любил три вещи на свете...», «Думали: нищие мы...» и др.), Мандельштам («Нашедший подкову» и др.).

Рядом с Кузминым и под его влиянием³⁴ складывалось творчество другого выдающегося верлибриста — Хлебникова. Его поэзия тоже формировалась в преодолении символизма, хотя совершенно иначе, чем у акмеистов. В представлении его и его друзей верлибр — это «поэтический размер живого разговорного слова».³⁵ Многие «творения» — это переходные метрические или полиметрические формы. Возможно, с динамикой авторской позиции связано усложнение метрической композиции таких верлибров, как «Боевая» или «Черный царь плясал перед народом...». В других случаях это более обычный акцентный свободный стих, напоминающий Блока и Кузмина (важнейшее отличие — спорадически возникающая замаскированная рифма):

ЧИСЛА

Я всматриваюсь в вас, о числа,
И вы мне видите одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете — единство между змееобразным
движением

³¹ В. М. Жирмунский. Преодолевшие символизм. В кн.: В. Жирмунский. Вопросы теории литературы. «Academia», Л., 1928, стр. 280, 285.

³² М. Кузмин. Сети. Первая книга стихов. Книгоиздательство «Скорпион», М., МСМVIII, стр. 59.

³³ Z. Czerny. Le vers libre français et son art structural. In: Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1961, p. 249. В печати находится статья Г. С. Васюточкина «Ритмика „Александрийских песен“», в которой стих М. Кузмина рассмотрен подробно и дифференцированно.

³⁴ В. Хлебников, Собрание произведений, т. II, Творения 1906—1916, Изд-во писателей в Ленинграде, 1930, стр. 305.

³⁵ Цит. по: Н. Харджиев, В. Тренин. Поэтическая культура Маяковского. Изд. «Искусство», М., 1970, стр. 104.

Хребта вселенной и пляской коромысла,
 Вы позволяете понимать века, как быстро
 хохота зубы.
 Мои сейчас вещеобразно разверзлись зеницы.
 Узнать, что будет Я, когда делимое его — единица.³⁶

«Числа» показательны и своей философской тематикой, и метрикой (строки Хлебникова, как правило, длиннее, чем строки других поэтов), и наложенным метрических пауз на синтаксические при том, что один или несколько случаев отсутствия такого совпадения демонстрируют потенциальную независимость собственно стихового членения от собственно синтаксического. По сравнению с другими верлибристами, Хлебников дает стих эмоционально более напряженный, более насыщенный экспрессией, более разнообразный интонационно. Это отражается в двойном по сравнению со стихами других поэтов преобладании строк, в которых интонационное единство нарушено обязательными синтаксическими паузами (см. 1-й, 4-й, 6-й и заключительный стихи «Чисел»), и строк, оканчивающихся сигналом повышенной экспрессии (восклицательный знак, вопросительный, их комбинация, многоточие, тире).

Ретроанализ распределения ударений показывает величайшее разнообразие стиха Хлебникова и в этом отношении. «Заклятие смехом», например, приближается к логоэдической форме с преобладанием ударений на 1, 5 и 7 слоговых позиций (с конца!); «Боевая» и «Люди, когда они любят...» представляют трехсложниковую тенденцию; «В руках забытое письмо коснело...» — альтернирующую; «Крымское» (с подзаголовком «Вольный размер») вовсе не демонстрирует определенной закономерности распределения ударений, подобно верлибрам Блока.

Опыт Хлебникова отразился в стихах Маяковского, в частности в стихотворении 1923 года «1-е Мая» («Поэты...»), в «Подсолнухе» и некоторых других вещах Л. Мартынова, в третьей части «Деревьев» Н. Заболоцкого.

Несколько позже Кузмина и Хлебникова, преимущественно в 1916—1920 годах, создал свыше тридцати верлибров Н. К. Рерих. В этот период художник увлекался символизмом — его миросозерцанием, поэтикой — и три лирических цикла, или «сюиты», и поэму «Наставление ловцу, входящему в лес» он облек в формы свободного стиха. Если некоторые фрагменты с точки зрения типологии выглядят довольно архаично, так как метрическое членение следует за синтаксическим, а количество слогов в междуударных промежутках, количество ударений и слогов в стихе приблизительно урегулировано, то другие дают образцы акцентного верлибра «блоковского» типа, с подчеркнутым при помощи enjambements «антисинтаксическим» строением:

Я вижу след величавый,
 сопровождаемый широким посохом
 мирным. Это наверно
 наш Царь. Догоним и спросим.
 Толкнули и обогнули людей. Поспешили,
 Но с посохом шел слепой
 нищий.³⁷

5

По мере смены стихотворного периода прозаическим фонд метрических форм сокращается. Свободный стих почти отсутствует в обиходе с начала 1930-х до конца 1950-х годов. Пожалуй, единственное яркое явление в области верлибра за это время — совершенно еще не изученное творчество Ксении Некрасовой. Сейчас можно отметить только разнообразие видов ее свободного стиха — и «синтаксического», и «асинтаксического», и выдерживающего альтернацию сильных (слабых) слоговых позиций, и акцентного, с широкой амплитудой колебаний числа ударений в строке и числа безударных слогов между ударными. Лексика и синтаксис отражают разговорную речь, — конечно, преобразенную стихом — с включением более высоких, ораторских, патетических выражений, конструкций, интонаций. Мироззрение поэтессы устойчиво оптимистично, взгляд на жизнь светел.

³⁶ В. Хлебников, Собрание произведений, т. II, стр. 98.

³⁷ Н. К. Рерих. Цветы моря. Берлин, 1921, стр. 19. «Морией» в психиатрии называется синдром дурашливости. Напрасно поэтому во вступительной статье к новому изданию (Н. Рерих. Письмена. Изд. «Современник», М., 1974) это слово дано с прописной буквы.

Народно-поэтические корни ее образности, отчасти и метрики, не вызывают сомнений.

И вот,
 моложе дубовой рошцы,
 И вот,
 стариннее дубовой сохи,
 Ксюша голосом
 сельской пророчицы
 Запричитала свои стихи.³⁸

В 1958 году, казалось бы, совершенно неожиданно появляется верлибр Н. Рыленкова, в следующем — Е. Винокурова. Неожиданно вдвойне, так как оба поэта принадлежат к числу мастеров, сдержанных в своих изобразительных средствах, в частности и в метрическом спектре. Но поднималась новая волна поэтической активности, поэты напряженно искали новые возможности выражения, дающие впечатление предельной простоты, искренности, даже исповедничества, прямого, открытого разговора с читателем, и среди других форм обратились к свободному стиху.

На вопрос одного из авторов этой статьи: «Как Н. Рыленков написал свой единственный верлибр „Думая о матери“?» — вдова поэта Евгения Антоновна рассказала следующее. До этого (в 1957 году) было написано стихотворение «Я помню руки матери моей...». Однако оно не до конца удовлетворило автора, так как получилось, по его мнению, несколько отвлеченным, о матери вообще, а ему нужно было рассказать именно о своей матери и о своих чувствах к ней. Он долго бился, пробовал разные размеры, но оставался неудовлетворен, так как получалось обобщенно, недостаточно интимно. Наконец, очень обрадовался, когда обратился к верлибру — стиховой форме, из-за внешней близости к прозе лишенной малейшего налета ложной поэтичности. Конечно, справедливо подчеркнула Евгения Антоновна, все поиски и окончательная находка Н. Рыленкова были возможны лишь благодаря исчерпывающему знанию им родной поэзии. Стихотворение «Думая о матери...» написано акцентным верлибром, допускающим многосложные безударные цепочки, с преобладанием 3—4 ударений и 11 слогов в строке. Со стороны метрико-синтаксических отношений стих характеризуется совпадением границ метрических рядов и самостоятельных синтаксических единиц: новый период жизни свободного стиха начинался одним из типологически простейших явлений.

Ансамбль верлибров Е. Винокурова 1959—1966 годов включает 22 произведения, 895 строк — больше, чем у кого бы то ни было в современной лирике.³⁹ Вот хронология их создания: 1959 — два, 1960 — одно, 1961 — пять, 1962 — пять, 1963 — три, 1964 — три, не позже 1964 — одно, 1965 — одно, 1966 — одно; большая часть относится к 1961—1963 годам. Но уже с самого начала определились главные метрико-ритмические, синтаксические, тематические и иные их особенности. Это акцентный «асинтаксический» верлибр, с преобладанием строк из 8 слогов, с 2—3—4 ударениями, с односложной анакрузой и односложной клаузулой (при наличии значительных отступлений в отдельных строчках). В некоторых стихотворениях метрическое членение при помощи enjambements настолько резко противопоставлено синтаксическому, что надо говорить о подчеркнутом «антисинтаксизме» стиха:

Я не помню его. Я не видел его
 в московской квартире,
 как он пытался поймать подтяжку
 на спине, чтобы прикрепить ее
 сзади на брюках.⁴⁰

Перед нами форма, открытая в 1908 году Блоком. Тематика стихотворений Е. Винокурова может быть определена как преимущественно философская: она отражает отношения человека к природе, к другим людям и обществу, к самому себе. Абстрактные идеи выражаются либо в конкретных образах повседневной жизни, либо (реже) в отвлеченных рассуждениях.

В 60-е годы публикуют отдельные произведения и небольшие ансамбли сво-

³⁸ Б. Слуцкий. Сегодня и вчера. Книга стихов. Изд. «Молодая гвардия», М., 1963, стр. 57.

³⁹ Отчет о подробном исследовании этого материала см.: В. С. Баевский. Стих русской советской поэзии, стр. 69—91. Надо подчеркнуть, что исследование проведено по источникам, указанным на стр. 69, так как позже поэт некоторые вещи переработал, изменив, в частности, деление на строки. Дополнительно учтены стихотворения «Марс», «Я ощущаю небом кислый вкус...», «Хор в полях» и «Опоздал» (Е. Винокуров. Избранное. Из девяти книг. Изд. «Художественная литература», М., 1968, стр. 142, 253, 281, 370).

⁴⁰ Е. Винокуров. Музыка. Новые стихи. «Советский писатель», М., 1964, стр. 40.

бодных стихов А. Яшин, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Вл. Солоухин, О. Сулейменов, ряд других поэтов. Часто оригинальные труды сочетаются с переводами. Если в XVIII—XIX веках русские верлибристы учитывали в основном достижения немецких собратьев по перу, а в начале XX века приобрела значение и французская, и англоязычная (в первую очередь Уитмен) традиция, то в середине XX века русские советские поэты в области свободного стиха учитывают опыт и других европейских, и северо- и латиноамериканских, и восточных литератур, и, конечно, разноразличных литератур народов СССР — опыт всей мировой поэзии, потому что стихия свободного стиха бушует сейчас во всем мире. Весь этот огромный, большой важности материал, отражающий творческое взаимообогащение литератур, едва затронут описанием и изучением.

6

Подводя итог историческому рассмотрению вопроса о свободном стихе в России, мы выделяем следующие факторы, под воздействием которых он возникал и развивался.

1. Потребности в обновлении и расширении гаммы стихотворных систем и метров, в приискании адекватной формы для нового содержания. Более или менее явно данный фактор прослеживается постоянно, начиная с экспериментов Сумарокова. Маяковский открыто выдвигает его на первый план.

Поэты —
 народ допльи.
Стих?
 Изволь.
 Только рифмы дай им.
Не говорилось пошлостей
больше,
 чем о мае.

Далее Маяковский заявляет о стремлении сказать о 1-м Мая по-новому, по-своему:

Хотя б без размеров.
 Хотя б без рифм.⁴¹

Таков же смысл свидетельства Е. А. Рыленковой о работе поэта над свободным стихом в 1958 году.

2. Библиейский стих непосредственно и через всякие опосредования — через русский молитвословный стих, через духовные стихи, через иноязычную поэзию: сумароковские переложения псалмов, «Собрание стихов» и «Из книги невидимой» А. М. Добролюбова, «Сельский часослов» Есенина.

3. Учет опыта (переводы, подражания, поиски метрико-ритмических эквивалентов) иноязычных литератур на всем протяжении истории русского свободного стиха.

4. Русская народная поэзия разных песенных жанров — похоронный плач, духовный стих, былина, протяжная лирическая песня (А. М. Добролюбов, Хлебников, К. Некрасова).

5. Традиция русского свободного стиха: с определенного момента поэты начинают учитывать опыт своих предшественников. Кажется, первым, чьи достижения были сознательно использованы (Полонским и Михайловым), оказался Фет.

Указанные факторы переплетаются, иногда выступают в качестве независимых, иногда — как функция других. Свободный стих поэта или эпохи обычно формируется под воздействием не одного, а ряда или даже всех факторов.

Рассматривая верлибр в целом как периферийную систему русской стихотворной речи, обнаруживаем ряд особенностей, объединяющих его с более органичными системами.

Строка свободного стиха чаще всего содержит 3 ударения, 8—9 слогов, нулевую, одно- или двухсложную анакрузу, нулевую или односложную клаузулу. Все эти параметры соответствуют привычным характеристикам самых распространенных силлабо-тонических и тонических размеров — четырехстопного хорей и ямба, трехстопных трехсложников, трехиктного дольника, трех-, четырехударного тактовика и акцентного стиха. В качестве примера приводим данные о количестве строк с различным числом ударений (таблица 5).

⁴¹ Владимир Маяковский, Полное собрание сочинений в тринадцати томах, т. V, Гослитиздат, М., 1957, стр. 42, 43.

Т а б л и ц а 5

	Количество ударений							
	1	2	3	4	5	6	7	Больше
Фет	6	60	58	51	19			
Михайлов	12	233	360	244	72	15		
Полонский	9	44	9	2				
Блок	2	20	24	20	3			
Кузмин	82	256	355	227	57	17	7	
Хлебников	17	34	72	51	37	15	14	9
Цветаева	1	6	9	6	2	1		
Рерих	19	33	175	116	30	4		
Маяковский	11	14	9	2				
Рыленков		7	20	19	11	5	3	
Винокуров	39	285	353	167	42	6	3	
Всего	198	992	1444	905	273	63	27	9

О том же говорит преобладание стихов, выдерживающих интонационное единство (без синтаксической паузы посередине), нейтральных по интонации (отсутствуют пунктуационные знаки экспрессии и синтаксические переносы). Перечисленные особенности свидетельствуют о том, что исследуемая система прочно входит в круг более традиционных форм русской стихотворной речи.

Не менее, чем сходства, важны отличия.

Свободным стихом обычно пишутся длинные стихотворения. Таблица 6 представляет данные о средней длине стихотворения (количество строк), написанного свободным стихом, в сравнении со средней длиной лирического стихотворения вообще (для поэтов, о которых мы располагаем данными):⁴²

Т а б л и ц а 6

Блок	20.7	17
Рыленков	65	14.4
Самойлов	29.3	21.7
Винокуров	40.9	18.8

Обычно длина стихотворения возрастает за счет вторжения эпического или рационалистического, рассудочного начала. Эпический сюжет, один или даже несколько эпизодов, обычно требует для своего изложения значительного текста. Точно так же требуется немало места для того, чтобы последовательно провести мысль по законам логического развития. И то и другое удлинняет стихотворение по сравнению с теми, которые содержат образ как отображение мира, преломленное авторским сознанием, без эпического или рационалистического движения: необыкновенная емкость образа часто делает такие стихотворения миниатюрами.

В свободном стихе почти никогда не встретим одномоментного выражения переживания в образе. Его в большинстве случаев насыщает мысль: философские обобщения, воспоминания, размышления о природе творчества.

Иногда в ущерб лиризму господствует изобразительная пластика. Не говорим об антологических стихотворениях Фета, таких, как «Вакханка», «Художник к девице», но даже у Блока («Вот девушка, едва развившись...») и в новейшей поэзии можно указать примеры изобразительности, заставляющие вспомнить антологическую лирику XIX века:

Моют окна. Идет весенняя
Стирка и мойка,
Весенние поломойни!
Они как греческие празднества
В пору сбора винограда!

Оголяются руки,
Защипливаются узлом волосы.
Подтыкаются подошлы.
Сверкают локти и колена.⁴³

⁴² Средняя длина стихотворения Блока указана в труде: П. А. Руднев. Метрический репертуар А. Блока. В кн.: Блокковский сборник, II, стр. 258.

⁴³ Е. Винокуров. Музыка. Новые стихи, стр. 37.

Часто верлибром пишутся лирические в самом точном смысле слова стихотворения, выражающие чувства и только чувства в их изгибах и оттенках. Но в свободном стихе они обыкновенно логицируются:

Разве неправда,
что жемчужина в уксусе тает,
что вербена освежает воздух,
что нежно голубей воркованье?

— так начинается один из фрагментов «Александрийских песен» Кузмина. Затем следуют другие вопросы от лица влюбленной женщины, передающие ее страстное чувство и холодность возлюбленного. В завершение вопросы подытоживаются и из них делается неопровержимый вывод:

Но пусть правда,
что жемчужина в уксусе тает,
что вербена освежает воздух,
что нежно голубей воркованье —
будет правдой,
будет правдой
и то,
что ты меня полюбишь! ⁴⁴

Конечно, убедительность вывода субъективна, коренится в глубинах чувств героини стихотворения, а не вытекает из построенного силлогизма. Она себя уверяет, что будет счастлива, речь ее организована стилистическими фигурами (анафора, градация, повтор, синтаксический параллелизм) и имеет внешние черты логического вывода по аналогии. Но одновременно нарушены, кажется, все четыре закона мышления. Перед читателем разворачивается борьба между любовной страстью и рассудком, обнажается сильное чувство, которое безуспешно пытается себя организовать.

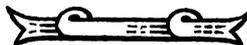
Наконец, свободный стих легко принимает в себя черты эпоса. Для него вполне органичен, например, сюжет поисков Царя и священных знаков из первой сюиты Рериха.

В диахроническом плане свободный стих XVIII века — самый разнообразный по тонической организации, от альтернирующего до акцентного, но всегда «синтаксический»; свободный стих XIX века — «асинтаксический» и даже иногда «антисинтаксический» безрифменный неурегулированный дольник («Нептуну Леверрье» Фета, «Северное море» Гейне в переводе Михайлова). Наряду с этими явлениями и до них мы встречали в XIX веке и другие, типологически более ранние формы, более или менее тяготеющие к стиху предыдущего столетия. Но дальше всего по пути обособления системы свободного стиха XIX век пошел в трудах Фета и Михайлова.

Свободный стих XX века — «асинтаксический» и «антисинтаксический» тонический стих с неурегулированной тоникой, силлабикой и акцентным составом, нашедший наиболее законченное выражение в произведениях Блока 1908 года, Кузмина, Хлебникова, Рериха, а из поэтов новейшего времени — Н. Рыленкова, А. Яшина, Е. Винокурова.⁴⁵

⁴⁴ М. Кузмин. Сети. Первая книга стихов, стр. 172.

⁴⁵ Работа задумана и осуществлена в Группе по истории и теории русского стиха ИМЛИ им. А. М. Горького по инициативе чл.-корреспондента АН СССР Л. И. Тимофеева. Авторы постоянно пользовались его советами и приносят ему свою глубокую благодарность.



ПОЛЕМИКА

Ф. Я. ПРИЙМА

НОВЫЕ ЗАПЛАТЫ НА СТАРОЙ КОНЦЕПЦИИ

В статье «Некоторые проблемы изучения Белинского» («Вопросы литературы», 1974, № 11, стр. 151—183) Н. К. Гей поставил перед собой задачу подвести итоги спору, не так давно возникшему у меня с Б. Ф. Егоровым.¹ В статье Н. К. Гея содержится немало критических замечаний в адрес обеих спорящих сторон. И в то же время, несмотря на стремление автора сохранить видимость беспристрастного судьи, изображенная им картина спора, образно выражаясь, страдает неравномерным распределением красок.

По мнению Н. К. Гея, «мысль, которую развивает в своей статье Б. Егоров, может стать поводом для привлечения новых фактов и их осмысления...» (стр. 157) и «Б. Егоров прав, когда подтверждает документально, с ссылками на тексты, факт „отмежевания“ Белинского от былых увлечений утопическим социализмом» (стр. 166).

Есть у Н. К. Гея и возражения Б. Ф. Егорову, но сила их всякий раз ослабляется оговорками, вроде следующей: «В статье Б. Егорова есть спорные положения, но его мысль о переломе, который начинался у Белинского в последние годы жизни, не лишена оснований и требует внимательного рассмотрения» (стр. 157). Илл: «Здесь мы не во всем можем согласиться с предположениями, сделанными Б. Егоровым, хотя, повторяем, ему принадлежит несомненно резонная постановка вопроса о необходимости рассматривать эстетическую систему взглядов революционных демократов в их реальной сложности и противоречивости» (стр. 166).

Н. К. Гей признает, что в результате ознакомления со статьей Б. Ф. Егорова «у читателя может возникнуть неверное представление о дальнейшем движении мысли Белинского, ощущение тупика или попятного движения критика» (стр. 168). Но высказав это замечание, автор употребляет затем немало усилий для обоснования мнения, что представление, которое «может возникнуть» от чтения статьи, по существу ложное, не соответствующее подлинному смыслу последней.

В ином освещении дана Н. К. Гею статья Ф. Я. Приймы. В ней обнаруживаются и «спорные постулаты», и «субъективные догадки и бесосновательные предположения» (стр. 156), и «априорность», и попытки «исключить какую-либо возможность вдумчивого рассмотрения вопроса» (стр. 157), и прочие несообразности.

«Ф. Прийма на деле считает, что лучше не касаться острых вопросов» (стр. 156); «Ф. Прийма решительно высказывается за неизменность его (Белинского, — Ф. П.) взглядов» (стр. 157); «У Ф. Приймы не только снята сложность идейного развития критика, но отсутствует рассмотрение исканий русской общественной мысли...» (стр. 170). И т. д. и т. п.

Ни одного правомерного критического замечания, ни одного малейшего даже рационального зерна в моих суждениях Н. К. Гей не обнаружил. Чем же объясняется это? Неузависимостью концепции Б. Ф. Егорова, которую я подвергаю критике? Вряд ли. Ведь если ее сласто не удалось выявить мне, то они были отмечены самим Н. К. Гею. По-видимому, статья моя была написана без должной глубины и основательности. Учитывая это, я и попытаюсь ниже обстоятельнее изложить свою точку зрения. Но прежде чем приступить к этому, позволю себе сразу же отвести один упрек, предъявленный мне автором статьи «Некоторые проблемы изучения Белинского». Он видит тактическую особенность моей статьи в том, чтобы «против новых концепций вроде бы не выступать, но выдвинутые отвергнуть, не утруждая себя убедительными доводами и не предлагая других решений затрагиваемых вопросов» (стр. 156—157). Насколько убедительны выдвинутые мною

¹ Б. Ф. Егоров. Перспективы, открытые временем. «Вопросы литературы», 1973, № 3, стр. 114—136; Ф. Я. Прийма. «Большая дорога» Белинского и перепутья его исследователей. «Русская литература», 1974, № 1, стр. 74—93. Далее ссылки на эти статьи и на статью Н. К. Гея приводятся в тексте.

доводы, судить я не вправе, но упрек в том, будто я не предлагаю собственного решения затронутых в споре с Б. Ф. Егоровым вопросов, не имеет под собой никаких оснований. В высшей степени странным является также утверждение, будто я отказываюсь от открытого выступления против «новых концепций». Концепции Б. Ф. Егорова в моей статье «Большая дорога...» дана отнюдь не уклончивая отрицательная оценка. Более того, я привел в своей статье документальные данные, подтверждающие весьма почтенный возраст новоявленной «новой» концепции, поскольку ее основные положения и ее аргументация были обнародованы еще в до-революционную эпоху.

В чем же состоит, однако, существо того «переворота» в сознании Белинского, который был «открыт» Б. Ф. Егоровым и приурочен к 1846 году, к тому времени, когда критик совместно с М. С. Щепкиным совершил поездку на Украину и в Крым, длившуюся около шести месяцев (с 26 апреля по 18 октября). «Фактически, — пишет Б. Ф. Егоров, — впервые в своей жизни Белинский совершил такую длительную поездку по России, и Россия потрясла его. Он не только увидел воочию все те вопиющие факты крепостнического рабства и несправия, о которых с такой силой сказал через год в письме к Гоголю, — может быть, самое потрясающее впечатление от поездки заключалось в почти окончательном развеивании утопических идей о скорой революции, о возможном широком народном движении, ибо критик увидел русское крестьянство слишком невежественным и забытым. И чем дальше, тем более решительно отмежевывался Белинский от своих былых увлечений (в начале 40-х годов) утопическим социализмом: см., например, чрезвычайно резкие даже для „неистового“ Виссарiona характеристики французских утопистов в письме к П. Анненкову от 15 февраля 1848 года: „ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану. Из Руссо я только читал его „Исповедь“ и, судя по ней, да и по причине религиозного обожания ослов, возымел сильное омерзение к этому господину“» (стр. 121).²

Каковы же, по мнению Б. Ф. Егорова, были последствия «развеивания утопических идей» великого критика?

«Углубление антиутопического мышления, правда, приводило Белинского в социально-политической сфере к парадоксальному же росту другого утопизма: к отчаянной вере в то, что если в настоящее время в правительственных кругах обсуждается вопрос об отмене крепостного права (Белинский знал о проектах освобождения крестьян, о планах графа П. Киселева), то законодательные меры „сверху“ могут быть единственной в данный момент реальной возможностью освобождения крестьянства. Этим и объясняются жестокое и скептическое реплики Белинского типа: „Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности“ (XII, 467—468) или „Развитие всегда и везде совершалось через личности, и потому-то история всякого рода так похожа на ряд биографий нескольких лиц. История показывает, как часто случалось, что один человек видел дальше и понимал лучше всего народа то, что нужно было народу, один боролся с ним и побеждал его сопротивление, и самим народом причислялся потом за это к числу его героев“ (X, 368—369)» (стр. 122).

В приведенных двух отрывках из статьи Б. Ф. Егорова изложены основные положения его концепции. Послушаем же теперь, как еще в начале нашего века поздравил утрату Белинским «веры в социализм» Р. В. Иванов-Разумник: «Вряд ли мы ошибемся, — рассуждал он, — если предположим, что одной из главных причин этого разочарования в общеприменимости и всеспасительности принципов утопического социализма и коммунизма — могло быть продолжительное путешествие Белинского по всей России летом 1846 года».³ В другой работе сущность своей концепции Иванов-Разумник сформулировал в следующих словах: «Вообще надо сказать, что от бывшего воинствующего социализма Белинский несомненно перешел в 1847—48 гг. к некоторому оппортунизму».⁴

Основным опорным документом как для Иванова-Разумника, так и для Б. Ф. Егорова служило письмо Белинского к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 года. Таким образом, сходство двух концепций разительное, хотя Б. Ф. Егоров из деликатности не назвал имени своего далекого предшественника и не поднимал вопроса об «оппортунизме» великого критика. «Белинский в 1846 году пережил переворот, — утверждал автор статьи «Перспективы, открытые временем», — по своим масштабам (курсив мой, — Ф. П.) почти не уступающий отказу от „примирения с действительностью“...» (стр. 121). Согласимся на минуту, что «по масштабам» «переворот» был почти равен отказу от «примирения с действительностью», но чему же он был подобен по своему содержанию? В своей статье «Большая дорога...» я отметил: «Ведь если бы такой переворот действительно был, то он обладал бы всеми признаками нового примирения» (стр. 75).

² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 467. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

³ Иванов-Разумник. Великие искания, т. III, [СПб., б. г.], стр. 106.

⁴ Иванов-Разумник, Сочинения, т. 5, [СПб.], 1916, стр. 370.

Мое понимание «новой концепции» возмущает Н. К. Гея. «Как легко все-таки бывает иной раз, — говорит он, кивая на меня, — подпасть под гипнотическое воздействие слов, и прежде всего своих собственных...» (стр. 169). Идея нового «примирения» Белинского с действительностью, оказывается, лишь «приписана» (стр. 169) мною Б. Ф. Егорову. Но ведь и сам Н. К. Гей, далекий от мысли «приписать» что-либо Б. Ф. Егорову, признает, как было сказано, что у читателя статьи «Перспективы, открытые временем» «может возникнуть... ощущение тушица или попятного движения критика» (стр. 168). Мне трудно поэтому понять упорство, с которым Н. К. Гей отстаивает полную несовместимость «новой концепции» с идеей нового «примирения» Белинского с действительностью. Мне непонятно также, зачем мой оппонент отводит в статье целых семь страниц (стр. 170—176) характеристике позитивных моментов *первого* «примирения» критика с действительностью (1838—1839 годы), когда тема эта не имеет отношения к предмету моего спора с Б. Ф. Егоровым. Общеизвестно, что после кризиса 1838—1839 годов Белинский «снова вышел на „большую дорогу“» (XII, 35), дав обещание никогда больше не сворачивать с нее в сторону. Конкретный анализ «большой дороги» Белинского (1841—1848 годы) Н. К. Гея не занимает. Обильные цитаты из статей, написанных критиком в 1836—1840 годах (стр. 171, 172, 173, 179, 181), для суждений о мнимом его «идеином кризисе» 1846—1848 годов ничего не дают. Факты, противоречащие «новой концепции», частично приведенные в моей статье (анализ спора В. П. Боткина с Белинским о буржуазии, отношение его к Руссо, Вольтеру, Робеспьеру, отказ от переписки с И. С. Тургеневым, свидетельства В. А. Панаева, А. М. Берха и других современников об отношении критика к революции и т. п.), Н. К. Гею не рассматриваются и, следовательно, остаются неопровергнутыми. И наряду с этим — обилие фраз, вроде следующей: «Зная натуру великого критика, можно предполагать, что если бы не его смерть, то крутой и негладкий дальнейший его путь еще не раз озадачил бы исследователей своей стремительностью и противоречивостью» (стр. 157). Объявив себя непримиримым противником вульгарно-догматического литературоведения, Н. К. Гей в суждениях своих исходит из вполне благонамеренной презумпции: собственную систему взглядов Белинский вырабатывал в муках, в постоянных поисках и ошибках, бросаясь из одной крайности в другую.

Этим прежде всего и объясняется сочувственное отношение моего оппонента к концепции Б. Ф. Егорова. Н. К. Гея несколько не смущает то обстоятельство, что названная концепция зиждется всего лишь на четырех цитатах из Белинского, искусственно вычлennных из контекста, что эти же цитаты подпирала в свое время точка зрения Иванова-Разумника и что последняя вызвала ряд существенных возражений у советских историков литературы. Тщательно замолчав историю вопроса и не подкрепив «новую концепцию» ни единым новым документом или фактом, Н. К. Гей приходит тем не менее к безапелляционному утверждению: «Таким образом, наличие серьезного перелома в воззрениях Белинского — факт несомненный и требующий дальнейшего исследования» (стр. 166). Итак, приняв основные положения концепции Б. Ф. Егорова, Н. К. Гей видит недостаток последней лишь в том, что она рисует читателю довольно-таки безотрадную картину — своеобразного духовного краха Белинского. В «серьезном переломе» Н. К. Гей хотел бы видеть не только кризис воззрений Белинского, но и предпосылки для нового взлета его общественно-эстетической мысли. В связи с этим трижды (стр. 156, 163, 171) напоминает Н. К. Гей о необходимости сопоставления взглядов позднего Белинского с учением основоположников марксизма. Если концепция Б. Ф. Егорова как бы заставляла Белинского глядеть в сторону графа Киселева, то Н. К. Гей стремится повернуть критика лицом к К. Марксу. Следует сказать, что философский материализм, черты диалектического метода мышления, историзм, глубокая оценка противоречий как феодального, так и буржуазно-капиталистического общества — все эти особенности в работах позднего Белинского уже не однажды служили поводом для плодотворных сопоставлений последних с ранними трудами К. Маркса и Ф. Энгельса. Совершенно бесперспективной, однако, представляется нам попытка Н. К. Гея увидеть в утрате веры в народ, в ориентации на реформы «сверху» симптомы приближения к марксизму.

Приняв на себя заботы по усовершенствованию концепции Б. Ф. Егорова, Н. К. Гей, как нам представляется, взвалил на себя нелегкую ношу, под тяжестью которой он вынужден спотыкаться на каждом шагу и прибегать к недозволенным приемам спора. Наглядным примером этого может служить суждение моего оппонента о дифференциации русской общественной мысли 1840-х годов.

«Развитие общественного сознания в России, — пишет Н. К. Гей, — постоянно приводило участников этого процесса к необходимости размежевания между либерализмом и демократизмом, демократизмом и социализмом. Об этом ничего нет у Ф. Приймы» (стр. 170). «Вы не дочитали мою статью даже до середины», — отвечаю я своему оппоненту. — Откройте ее на стр. 80 и там Вы прочтете следующее: «Письма Белинского к В. П. Боткину 1847—1848 годов... были продиктованы сложным комплексом чувств и соображений автора, обусловленных в свою очередь острой и сложностью политического момента, *наметившимся к тому времени размежеванием революционных и либеральных тенденций в русском освободительном*

движении». Выделенные курсивом слова подчеркнуты и в моей статье «Большая дорога...», их нельзя не заметить, с них начинается пространный фрагмент, посвященный характеристике «двух тенденций». Обстановкой обострения общественно-политической борьбы в России объясняя я и поворот, но только не в мировоззрении, а в тактике и поведении критика в конце 40-х годов, изменения в его отношении к «друзьям-врагам» и т. п. Добрую треть статьи уделяю я рассмотрению этой проблемы. И не случайно на стр. 85 я снова возвращаюсь к мысли о «поляризации общественной мысли как на Западе, так и в России» 1846—1848 годов. Замечу тут же, что ни у Б. Ф. Егорова, ни у Н. К. Гея, если не считать приведенной выше «изобличительной» фразы в мой адрес, нет больше никаких суждений о наметившемся в этот период размежевании между либералами и демократами.

Б. Ф. Егоров внушал читателям мысль, что в первой половине 1840-х годов Белинский, не видя ни «забитости», ни «невежества» крестьянских масс, поверил в «широкое народное движение» и что поездка его на юг не оставила от этой веры ни следа. В статье «Большая дорога...» я, как мне представляется, убедительно показал, что взгляды великого критика на народ и, в частности, на русское крестьянство эволюционировали в направлении, диаметрально противоположном тому, которое прочертил автор статьи «Перспективы, открытые временем». И возглас «А разве мужик — не человек?» (X, 300), с которым Белинский обратился ко всем тем, кто не хотел в русском крестьянине «видеть что-нибудь другое, кроме дикого татарина» (X, 371), может быть поставлен эпиграфом к лучшим статьям критика, написанным в последний год его жизни.

Анализ суждений критика о русском крестьянстве и их эволюции давал мне твердое основание заявить, что «положение Б. Ф. Егорова о том, будто в 1846 году Белинский утратил веру в народ как силу общественного развития, находится в вопиющем несоответствии с очевидными фактами» (стр. 78). Представленная в моей статье интерпретация взглядов Белинского по «крестьянскому вопросу» резко разошлась с точкой зрения Н. К. Гея; особенно сердитую реплику с его стороны вызвала моя мысль о том, что Б. Ф. Егоров остался глух к росту крестьянских волнений в период с 1846 по 1848 год. «Но исторические факты свидетельствуют, — «уязвляет» меня мой оппонент, — что крестьянские волнения, которые никогда не прекращались, именно в 1845—1847 годы явно ослабевают: было отмечено лишь несколько случаев неповиновения и избиения исправников» (стр. 169). Объективная статистика не подтверждает, однако, ни той картины крестьянского движения в годы 1845—1847, которую пытается нарисовать нам Н. К. Гей, ни его представлений о динамике крестьянского движения 1840-х годов в целом. Советские историки, исследующие эту проблему, располагают следующими данными: в годы 1839—1841 крестьянских волнений было 111; в годы 1842—1844 — 127; в годы 1845—1847 — 162. Но кроме крестьянских волнений, было немало других форм крестьянских выступлений (убийства помещиков, побег, поджоги и т. п.), и общее их количество по годам распределяется так: в годы 1839—1841 — 192 выступлений; в годы 1842—1844 — 243 выступления; в годы 1845—1847 — 268 выступлений.⁵ Таким образом, в интересующее моего оппонента трехлетие никакого ослабления крестьянского движения не наблюдалось, наоборот, крестьянское возмущение крепостническим гнетом по сравнению с предшествующим периодом заметно выросло. В свете приведенных статистических данных неуместной и беспомощной выглядит перемирие Н. К. Гея о «невозможности революционной активности крестьянской массы вне революционной ситуации, которой действительно не было в России в 1846 году» (стр. 169).

Однако нас должны интересовать не только статистические данные; мы обязаны взглянуть на крестьянский протест также глазами самого Белинского. Чем же объяснял критик в письме к Гоголю от 15 июля 1847 года официальные «робкие и бесплодные полумеры в пользу белых негров и компическое замещение одохвостого кнута треххвостом плетью» (X, 213)? Да тем, что само правительство «хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых» (X, 213). А в конце 1847 года Белинский скажет: «Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение» (XII, 439). Прислушавшись к слухам и толкам, рождавшимся «в крестьянских головах, уже настроенных к мыслям о свободе» (XII, 439), великий критик прорычал: «Оно и понятно: когда масса спит, делайте что хотите, все будет по-вашему; но когда она проснется — не дремлите сами, а то быть худу...» (там же).

В. И. Ленин, как известно, настроение Белинского в письме его к Гоголю ставил в зависимость от «настроения крепостных крестьян» и под последним понимал «настроение крепостных крестьян против крепостного права».⁶

Таковы факты. Ревнителю точных, опирающихся на факты методов исследования, упорно не желают иногда считаться с теми фактами, которые взрывают их надуманные схемы. Крестьянское движение второй половины 1840-х годов Н. К. Гей

⁵ Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг. Сборник документов. М., 1961, стр. 817.

⁶ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 169.

вознамерился свести к «нескольким случаям неповиновения» и заодно представить Белинского в виде отгородившегося от живой жизни интеллигента, озабоченного (ввиду отсутствия революционной ситуации) поисками абстрактных истин. Концепция Б. Ф. Егорова отводит критику столь же незавидную роль: он ждет освобождения (без кавычек) крестьян «по манию царя». Белинский мог, конечно, питать надежду на «освобождение» (в кавычках) «сверху», но кто же рискнет утверждать, что этим увенчивалась его политическая программа? Заметим тут же, что из зальцбургского письма критика становится очевидным, насколько превосходно понимал он ограниченный характер готовящихся правительством Николая I реформ.

Но чем же следует объяснить тогда эту «жестокую реплику» критика в его письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 года: «Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности» (XII, 467). Было бы глупо, разумеется, настаивать на том, что Белинский слепо верил в народ, в неограниченные его способности к государственному управлению и мышлению. Но не следует, с другой стороны, превращать приведенные слова в символ веры критика, что пытается делать Б. Ф. Егоров. Свой тезис об отсутствии веры Белинского в народ исследователь подкрепил другой цитатой из его наследия — из рецензии на сборничек «Сельское чтение» 1848 года. «„История показывает, — читаем мы в ней, — как часто случалось, что один человек видел дальше и понимал лучше всего народа то, что нужно было народу, один боролся с ним и побеждал его сопротивление, и самим народом причислялся потом за это к числу его героев“ (X, 368—369)» (стр. 122). Цитируя рецензию на «Сельское чтение», Б. Ф. Егоров почему-то опустил из нее другой необыкновенной важности отрывок следующего содержания: «Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно условливается другим. Народ — почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность — цвет и плод этой почвы» (X, 368). Таким образом, в рецензии на «Сельское чтение» Белинский, если только его излагать без «усечений», дает глубокую трактовку взаимосвязей выдающейся личности с народной массой. Объективную трактовку той же проблемы можно найти во многих статьях великого критика. Что же касается письма Белинского к Анненкову от 15 февраля 1848 года, то в нем проблема «личность и народ» освещена односторонне, в той самой манере, о которой критик в письме к К. Д. Кавелину (7 декабря 1847 года) сказал так: «Я вовсе не такой человек. . . который не умеет влезть. . . в чужую кожу и посмотреть на дело глазами людей, которые это дело видят иначе, и с которыми, следовательно, необходимы умолчания, обходы и т. п.» (XII, 458). Письмо к Анненкову от 15 февраля 1848 года было написано в условиях, когда Белинский гораздо чаще, чем обычно, вынужден был «влезать в чужую кожу» и прибегать, выражаясь его словами, к различного рода «умолчаниям» и «обходам».

Но сделаем (в пропагандистских целях) предположение, что в письме никакого подтекста нет. «Когда я, — пишет Анненкову Белинский, — в спорах с Вами о буржуази, называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуази, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. . . Странный я человек! когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удастся выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пиетистами и фантазерами, помешанными на той же мысли — тут я и назад. Верующий друг и славнофилы оказали мне большую услугу» (XII, 468).

Спор «о буржуази», участниками которого были Белинский, Бакунин, Герцен и Анненков, происходил летом 1847 года в Париже и в условиях того времени неизбежно превращался в диспут на острейшие политические темы. И Белинский в этом споре занимал, в общем, позицию, родственную взглядам «верующего друга» и «мистика» Бакунина. Анненков воспринимался тогда Белинским как консерватор. И ему, представителю «здравомыслящих людей», не удалось в тот раз «выколотить» из головы критика «мистические нелепости». Но вот прошло семь месяцев, Белинский отступил «назад» и пишет теперь Анненкову как единомышленнику.

Парижский спор о буржуази был одновременно и спором о народе. Возьмем же на себя смелость реконструировать ход этого спора и попытаемся ответить на вопрос, кто же из участников парижской встречи мог отстаивать мысль об активной, а не пассивно-вспомогательной роли народных масс в общественно-политической жизни? По-видимому, прежде всего Бакунин, а отчасти Белинский и Герцен. Иную позицию по этому вопросу занимал, конечно, «консерватор» Анненков.

Письмо Белинского к Анненкову от 15 февраля 1848 года — краеугольный камень концепции Б. Ф. Егорова. Но сторонники его должны, наконец, взять на себя труд прокомментировать это письмо в целом, не ограничиваясь выхватыванием из него отдельных фраз. Они должны, кроме того, ответить на вопрос, когда же произошел «переворот» или крутой перелом в общественном сознании критика — в 1846 году или после «парижского спора», в 1847 году? Нельзя же предположить, что политическое мировоззрение Белинского претерпело за столь короткий промежуток времени два крупных и при этом односторонних переворота. И наконец: если «переворот» в конце 1847 года действительно имел место, а об этом как будто за-

явил и сам критик, то концепция, привязывающая крутой перелом или переворот к 1846 году, терпит полный крах.

Есть, однако, веские основания полагать, что никаких идейных кризисов поздний Белинский не переживал. Что же касается его письма к Анненкову от 15 февраля 1848 года, то оно наряду с некоторыми другими письмами великого критика, написанными в 1847 и в 1848 годах, заслуживает особого и отнюдь не школьнического прочтения. Но прежде чем найти ключ для правильного прочтения названного письма, необходимо сделать небольшой экскурс в область эзоповской речи Белинского.

Бесстрашие «нейстового Виссариона» в борьбе с самодержавием трактуется в литературе о нем порою примитивно, как поток ничем не сдерживаемых эмоций, как не контролируемое здравым смыслом бравирование. Комментаторы «Литературных мечтаний», наткнувшись на фразу о «царе-отце» и «неусыпных попечениях мудрого правительства» (I, 102), торопятся внушить читателю мысль, что слова эти были навязаны критику Н. И. Надеждиным. Однако «благонамеренные» вставки проходят через многие печатные выступления Белинского, он вписывал их собственноручно, и они образуют своеобразную систему его журнальной тактики. Дипломатические реверансы помогали критику в трудных ситуациях продемонстрировать свою лояльность.

У нас часто любят ссылаться на слова из дружеского письма Белинского: «Я всегда и весь наруже — такова моя натура» (XII, 411), забывая при этом о многочисленных случаях, когда критику приходилось писать вопреки собственной натуре. Не случайно о цензурных притеснениях Белинский сказал однажды, что они «огадили мне русскую литературу и вранье о ней сделали пыткой» (XII, 128). «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велют мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи» (XII, 339). Благонамеренные фразы и похвалы властям предрежающим образовывали ту «дымовую завесу», под прикрытием которой на эзоповском языке излагал Белинский свои задушевные мысли. Густая насыщенность статей критика элементами инносказательной речи — это истина, которую в настоящее время вряд ли необходимо аргументировать.⁷

Сложнее обстоит дело с эпистолярным наследием критика, в стилистическом отношении совершенно неизученным. Для Б. Ф. Егорова и Н. К. Гея инносказательная манера в статьях и уж тем более в письмах Белинского — проблема выдуманная, и поэтому они не упоминают о ней вовсе. Но для Белинского проблема «Шпектиных», которые «распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов» (X, 219), существовала постоянно. В своей статье «Большая дорога...» я попытался обосновать мысль о том, что несколько писем Белинского 1847—1848 годов, отправленных П. В. Анненкову в Париж, написаны с большой примесью эзоповской речи. Меня не смущало при этом то обстоятельство, что в одном из этих писем Белинский писал: «Вы его получаете из Берлина» (XII, 436), а в другом: «Представился случай пустить это письмо помимо русской почты» (XII, 465). Последние слова мой оппонент Н. К. Гей истолковывает превратным образом: он полагает, что из рук Белинского через доверенное лицо письмо попадает в руки Анненкову, и ловит меня на несурзадной, с его точки зрения, догадке. Но никаких оснований для подобной «улики» нет, поскольку миновав русскую почту, письма подвергались всем превратностям межгосударственной переписки, в том числе опасностям перлюстрации. Исследованиям А. И. Герцена хорошо известно, что за деятельностью, а следовательно и перепиской проживавших в те годы в Париже русских граждан следило не только французское, но и русское правительство.

В статье «Большая дорога...» я подробно рассказал о том, как в конце 1847 года Белинский оборвал свою переписку с И. С. Тургеневым, потому что тот по своей политической наивности, в письме к критику, написанном из Парижа в октябре 1847 года, упомянув М. А. Бакунину, назвал его «собственным», т. е. завуалированным именем. Повод для прекращения переписки, казалось бы, пустяковый, моего оппонента он не заинтересовал, а вот для Белинского это был повод серьезнейший.

В интересующий нас период политическая атмосфера в России (под воздействием революционного движения во Франции) с каждым днем накалялась все более и более. Чутко ощущавший пульс общественных событий и все возрастающую угрозу над «Современником», Белинский в это время пересматривал не свое мировоззрение, как полагают некоторые его исследователи, а свою тактику, не шараясь при этом из стороны в сторону. Пользовавшийся богатými, как устным, так и письменными показаниями современников критика, А. Н. Пыпин писал: «Так, мы находим в сообщенных нам воспоминаниях одного современника рассказ, что еще на возвратном пути из-за границы Белинский ехал на пароходе с каким-то господином и с обычной своей горячностью и младенческим простодушием не воздержался от несколько смелого разговора о политических предметах. Предполагали (хотя неизвестно, было ли это действительно), что неосторожный разговор был сообщен

⁷ Об этом см. мою статью «Об эзоповском языке В. Г. Белинского» («Русская литература», 1962, № 1, стр. 107—125).

(в III отделение, — Ф. П.); по крайней мере Белинский был потом очень неспокоен относительно этого случая. Предполагали также, что до сведения могла дойти ходившая по рукам переписка Белинского с Гоголем, которая впоследствии послужила как *corpus delicti* в одном известном процессе...»⁸

Круг забот Белинского в этот период картинно изображает и рассказ А. И. Герцена: «Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: — Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».⁹ С этим рассказом перебивается и воспоминание К. Д. Кавелина о встрече с критиком весной 1848 года: «...он подтрунивал над вооружением Петропавловской крепости. Это, говорит, из боязни, чтобы я ее не взял».¹⁰

Вряд ли кто станет сомневаться в том, что в конце 1847—начале 1848 года Белинский был полон интереса к Бакунину и Герцену, вовлеченным в водоворот французской политической жизни. За речь на годовщине польского восстания, произнесенную 29 ноября 1847 года, М. А. Бакунин по настоянию русского правительства был выслан министром Гизо из Франции. В начале декабря 1847 года речь Бакунина была опубликована в социалистической газете «La Réforme». Высылка Бакунина получила широкий общественный резонанс и все это вскоре безусловно стало известно и Белинскому. Получила ли какое-либо отражение «история с Бакуниным» в письме критика к Анненкову, написанном 15 февраля 1848 года? Мне неизвестно мнение по этому вопросу Н. К. Гедя, но я полагаю, что получила.

Белинский не спрашивает Анненкова о судьбе Бакунина и о последствиях его высылки из Парижа, хотя именно это и должно было в первую очередь интересоваться критика. Но имя Бакунина (в зашифрованном виде) упоминается критиком четыре раза. В каком же аспекте? В аспекте «размежевания». «Кстати, мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ» (XII, 467); «Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии» (XII, 468). И т. д.

Из письма становится известно, что во время «парижской встречи» летом 1847 года Белинский разделял взгляды, близкие взглядам Бакунина, сейчас же критик осуждает свою прежнюю позицию, он, выражаясь его словами, отступает «назад» (XII, 468) и полностью солидаризируется со взглядами «здравомыслящего» Анненкова. Этот совершившийся во взглядах Белинского «стремительный поворот» (а он положен в основу концепции Б. Ф. Егорова) неправдоподобен и дипломатичен. И фиктивность этого «поворота» доказывается прежде всего тем, что в письме не связаны концы с концами, чисто информационные данные переплетаются в нем с элементами дезинформации, что и было продемонстрировано мною в статье «Большая дорога...».

Цензурные соображения, на мой взгляд, — не единственная причина эзоповского стиля некоторых писем Белинского 1847—1848 годов, и в частности и в особенности, — письма его к Анненкову от 15 февраля 1848 года. Автор письма учитывал также и эволюцию политических взглядов своего приятеля. Анненкова конца 40-х годов у нас еще и до сих пор обычно оценивают, руководствуясь чисто внешними признаками: он проявлял интерес к французскому социализму, переписывался с К. Марксом и т. д. В действительности же союз Анненкова с «молодой Россией» был кратковременным и случайным. Достаточно сказать, что в 1846 году национально-освободительное движение в Польше было для проживающего в Париже Анненкова не более как «мерзкие, бесчестные волнения», насильственное подавление которых он радостно приветствовал.¹¹ Подъем революционных настроений французских рабочих масс вызвал у него прилив ненависти против «буйнов».¹² Ренегатские настроения Анненкова, которые он подробно описывал в письмах к братьям, проживавшим в Петербурге, конечно, не были известны Белинскому в полном объеме, по общему представлению об идейном сползании своего «друга» вправо он безусловно имел еще до своей заграничной поездки 1847 года. По возвращении в Россию идейные расхождения у Белинского с Анненковым еще более возрастают. Наглядные следы этих расхождений имеет на себе и интересующее нас письмо; оно написано с соблюдением *двойной автоцензуры*. Я не хочу тем самым сказать, что Белинский усомнился в элементарной порядочности Анненкова и что он разуверился в нем окончательно. Обстоятельства заставляли критика сотрудничать с людьми, взгляды которых были гораздо консервативнее, чем у Анненкова, но в усложнившейся политической ситуации «благоутробный» (XII, 468) Анненков, вопреки своим намерениям, мог, с точки зрения Белинского, сделать достойным молвы то, что требовало конспирации.

⁸ А. Н. Пыпин, Белинский, его жизнь и переписка, т. II, СПб., 1876, стр. 329—330.

⁹ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, Изд. АН СССР, 1956, стр. 29.

¹⁰ К. Д. Кавелин, Собрание сочинений, т. III, СПб., 1899, стр. 1095.

¹¹ Исторический сборник, вып. 4. М.—Л., 1935, стр. 230.

¹² Там же, стр. 234.

Негодую против моей мысли о том, что уважительные интонации в письмах Белинского 1847—1848 годов к Анненкову мы вправе рассматривать как «простую дань эпистолярному этикету» (стр. 81), Н. К. Гею пишет: «... и это говорится о корреспонденте Белинского, с которым именно в это время был в переписке Карл Маркс, уж во всяком случае, делавший это не для „дани эпистолярному этикету“» (стр. 159—160). Отвечая на эту продиктованную наилучшими побуждениями тираду, я скажу: Карл Маркс и подозревать не мог, что его благовоспитанный русский корреспондент прославлял в 1848 году (в частной переписке) «благодетельный террор» (слова Анненкова) генерала Кавеньяка. Не эффективна также и использованная Н. К. Геем в полемике со мною цитата из Белинского: «Хитрить с человеком, которого любишь, по моему мнению, — просто подлость» (XII, 75). Да, отвечая я, если будет доказано, что Белинский 1847—1848 годов любил Анненкова как своего единомышленника, я соглашусь признать эти слова для себя убийственными.

Симптоматично, что сам Анненков словам письма Белинского «тут я и назад» (XII, 468) не придавал того значения, которое было приписано им некоторыми последователями. И в воспоминаниях своих, обосновывая отличие своих и Грановского взглядов от позиций Белинского и Герцена в связи с оценкой «Сущности христианства» Фейербаха, писал, например, так: «Герцен, разумеется, явился горячим истолкователем ее положений и заключений, связывая, между прочим, открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещали социалисты, в чем Герцен опять сходиллся с Белинским».¹³ Таким образом, Герцена и Белинского, в отличие от себя, Анненков был склонен относить к числу сторонников «политического переворота». Правда, в заключительных главах «Замечательного десятилетия», то ли по соображениям цензурного характера, то ли просто впадая в старческую непоследовательность, он спорил с теми, кто хотел видеть в Белинском сторонника «страшных переворотов».¹⁴ И свою политическую характеристику Белинского Анненков не постеснялся завершить следующими словами: «Мы слышали, что позднее и уже находясь в Петербурге, Белинский принял известие о революции 48 года в Париже почти с ужасом».¹⁵ Я говорю «не постеснялся» потому, что Герцен дал в «Былом и думах» иную, безусловно известную Анненкову характеристику умирающего Белинского: «Весть о февральской революции еще застала его в живых: он умер, прижимая зарево ее за занимающееся утро».¹⁶

У нас, заметим кстати, нет оснований подозревать Анненкова, изображающего умирающего Белинского, в заведомой фальсификации. В феврале 1848 года в письме братьям из Парижа он излагал то, что «произошло у меня перед глазами», — события первых дней революции и просил показать письмо Белинскому.¹⁷ Можно не сомневаться в том, что просьба эта была выполнена. И не трудно допустить, что умевший «влезать в чужую кожу» (XII, 458) Белинский действительно изобразил перед братьями П. В. Анненкова вид человека, пораженного «ужасами» революции.

При оценке отношения Белинского к революционным событиям во Франции объективный исследователь скорее присоединится к точке зрения Герцена, чем Анненкова, — и не только потому, что Герцену были лучше знакомы духовный мир и искания критика, чем Анненкову, но еще и потому, что сведения Герцена совпадают с мнениями по этому же вопросу Н. А. Некрасова, А. М. Берха и других современников. Мнения этих лиц, сопоставленные с деятельностью, статьями и признаниями самого критика, приводят нас к выводу, что никаких мировоззренческих потрясений и переворотов на протяжении всех 40-х годов у него не было. Все это, как нам кажется, позволяет довольно уверенно прокомментировать и некоторые отзывы Белинского об утопическом социализме.

Революционные идеи в XIX веке выступали обычно в слитности с идеями социалистическими. Но порою наблюдалось и их раздельное существование. Среди петрашевцев, например, были сторонники утопического социализма (К. Ф. Толь, В. Н. Майков и др.), остававшиеся равнодушными к проблемам революционной борьбы. С другой стороны, были революционные демократы (Н. А. Добролюбов, Т. Г. Шевченко и др.), для которых устройство будущего гармонического общества предметом их специального интереса не являлось. Это не означает, однако, что они оставались равнодушными к социалистическим идеалам. Что же касается Белинского, то сознание его занимали в равной мере и разрушение несправедливого строя и построение строя нового, справедливого, гармонического. В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года Белинский писал: «Итак, я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания» (XII, 66). Чем же следует объяснить те, хотя и немногочисленные, но весьма критические отзывы критика об утопическом социализме во второй половине 1840-х годов?

¹³ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960, стр. 274.

¹⁴ Там же, стр. 353.

¹⁵ Там же, стр. 371.

¹⁶ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 34.

¹⁷ Исторический сборник, вып. 4, стр. 245—247.

Желая уличить меня в непоследовательности, Н. К. Гей пишет: «Категорически заявив, будто отказ от утопического социализма в условиях России равносложен отказу от революционности, автор статьи в „Русской литературе“, как уже отмечалось, делает оговорку об известном „разочаровании“ передовых мыслителей в *идеях* (курсив мой, — Ф. П.) утопического социализма и приводит цитату из Герцена...» (стр. 162). Должен сказать, что «об известном „разочаровании“ передовых мыслителей в *идеях* утопического социализма» я не писал и не мог писать, поскольку в моем представлении «идеи утопического социализма» и «системы утопического социализма» — понятия не взаимозаменяемые. Да, я писал, что к системам Сен-Симона и Фурье Герцен относился критически. Могу сейчас добавить к сказанному ранее: Герцен относился критически ко всем ему известным социал-утопическим системам и создал собственную систему «русского социализма». Но даже разочаровавшись в многочисленных социал-утопических системах, Герцен не расстался с *идеями* утопического социализма. То же можно сказать и о Белинском. Но этой простой истины не может понять мой оппонент. Мы говорим с ним на разных языках.

В статье своей «Большая дорога...» я писал: «Да и как согласиться с мыслью, что в 1846 году критик разочаровался в утопическом социализме, если написанное летом 1847 года его зальцбруннское письмо к Н. В. Гоголю явилось программным документом для всех русских социалистов-утопистов 1840—1860-х годов? Но, может быть, сочинения позднего Белинского, разрыхляя почву для распространения идей утопического социализма, возникали как результат отказа от этих идей? Утверждать это было бы глубоким заблуждением» (стр. 78). Логика моего рассуждения кажется странной моему оппоненту. «Но разве, — вопрошает он, — солидарность русских социалистов-утопистов с письмом Белинского к Гоголю — само по себе достаточное основание, чтобы судить о характере этого письма? Не лучше ли было бы опираться на самое письмо — этот программный документ критического революционного отношения к действительности — и на сочинения позднего Белинского, к чему автор призывает в своей статье, но почему-то сам этого не делает» (стр. 159).

Однако, как и в предшествующих случаях, упрек моего оппонента и здесь необоснован, так как на стр. 82 статьи я «делаю» то, чего он в полемическом азарте своим не замечает. Я там пишу: «Положительное отношение Белинского к идеям утопического социализма в рассматриваемый период подтверждается его зальцбруннским письмом к Гоголю. „... Но Христа-то зачем Вы привешали тут? Что Вы пашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства... смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века“ (X, 214). „... Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени“ (X, 218); Белинский начал 40-х годов склонен был уподоблять „первых христиан“ „террористам французской революции“ (XII, 110; ср. XII, 71, 105; XI, 577). В письме к Гоголю сыном Христа он называет Вольтера (ср. X, 214)... Важно подчеркнуть, что Белинского-атеиста вдохновляло в 1847 году не учение Христа как таковое, а „христианство нашего времени“ — идеи утопического социализма».

Н. К. Гей должен бы был опровергнуть все, что сказано мною в приведенном фрагменте, а затем уже становиться в позу победителя, но он (воспользуемся его выражением) «почему-то этого не делает».

Рассматривая вопрос об отношении Белинского к утопическому социализму, нельзя пройти мимо свидетельства Ф. М. Достоевского, знакомство которого с критиком относится к середине 1845 года, а сближение — к началу 1846 года. «Я застал его, — вспоминал Достоевский, — страстным социалистом, и он прямо со мной начал с атеизма».¹⁸ О скептическом отношении к идеям социализма мы не находим никаких упоминаний ни у Достоевского и его друзей-петрашевцев, ни у Герцена, ни у Некрасова. Примечательной особенностью «антисоциалистических» настроений критика является их локализованность; они немногочисленны, восходят к самому Белинскому и находятся исключительно в письмах его к В. П. Боткину (письмо от 6 февраля 1847 года) и к П. В. Анненкову (письмо от 15 февраля 1848 года). И Анненков и Боткин, замечу тут же, приблизительно к началу 1847 года — разочаровавшиеся в социалистических идеях люди. Об искусственном характере кратковременного увлечения социализмом Анненкова знали все его знакомые.¹⁹ Что же

¹⁸ Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. XI, М.—Л., 1929, стр. 8.

¹⁹ Несколькими годами позже, в 1856 году, Некрасов в эпиграмме на Анненкова писал:

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.

Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.

Есть данные, что в написании этой эпиграммы принимал участие также А. В. Дружинин. См.: Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. I, Гослитиздат, М., 1948, стр. 427, 630.

касается В. П. Боткина, то свое отречение от социализма он обстоятельно объяснил сам в письмах к Анненкову: во французских социалистах-утопистах Боткин видел людей, возбуждающих нездоровые инстинкты в массах и подрывающих устои буржуазной цивилизации.²⁰

6 февраля 1847 года, в связи с опубликованной во второй книжке «Современника» статьей Э. Литтре «Важность и успехи физиологии», Белинский пишет Боткину: «Я без ума от Литтре, именно потому, что он равно не принадлежит ни <...> подлецам и вора́м — умникам „Journal des Débats“ и „Revue des Deux Mondes“, ни <...> социалистам — этим насекомым, вылупившимся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо. Кстати: в „Journal de France“ я прочел отрывок из 1-го тома „Истории революции“ Луи Блана. Это его суждение о Вольтере. Святители — что за узколобие! Да это Шевырев! Все, что говорит Л<ку>и Б<лан> в порицание Вольтера, справедливо, да глупо то, что он не говорит о нем, а осуждает его, и притом, как нашего современника, как сотрудника „Journal des Débats“. Я в первый раз понял всю гадость и пошлость духа партий. В то же время я понял, отчего „Histoire de dix ans“ (Луи Блана, — Ф. П.) так хороша, несмотря на все ее нелепости: оттого, что это памфлет, а не история. Л<ку>и Б<лан> — историк современных событий, но за прошедшее, сделавшееся историею, ему, кажется, не следовало бы браться» (XII, 323).

Продолжение приведенных выше «антисоциалистических» выпадов Белинского Иванов-Разумник увидел также в письме критика к Анненкову от 1/13 марта 1847 года. В статье «Большая дорога...» я проанализировал это письмо, стараясь показать, что в бранных, на поверхностный взгляд, выпадах в адрес Руссо, Робеспьера и социалистов-утопистов содержится, по существу, не порицание, а солидарность с ними (стр. 81). Поскольку, однако, ни Б. Ф. Егоров, ни Н. К. Гей не взяли это письмо на свое вооружение, я также не считаю здесь необходимым на нем останавливаться. Другое дело письмо критика к Анненкову от 15 февраля 1848 года, «антисоциалистические» настроения которого действительно заслуживают комментария. «Читаю теперь романы Вольтера, — пишет в нем Белинский, — и ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану. Из Руссо я только читал его „Исповедь“... Жизнь Руссо была мерзка, безнравственна. Но что за благородная личность Вольтера! какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствиям простого народа! Что он сделал для человечества! Правда, он иногда называет народ vil populace, но за то, что народ невежествен... любит пытки и казни. Кстати, мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. <...> Не удивляйтесь сближению: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг; они высосали эти понятия из социалистов, и в статьях своих цитуют Жоржа Занда и Луи Блана» (XII, 467—468).

В оценках социалистических идей и социализма в цитруемых двух письмах я отказываюсь видеть зеркальное отражение истинных взглядов Белинского. И Анненков, и Боткин отступили от социализма, и поэтому откровенного разговора с ними на эту тему у критика быть не могло. Обращать их снова в социалистическую веру, как обращал он молодого Достоевского, было бы дон-кихотством. Выступать в сложившейся ситуации перед «отступниками» защитником социалистических идей — это значило бы, выражаясь словами критика, «наводить волков на овчарню» (XII, 432) — на руководимый им «Современник», который и без того уже имел репутацию журнала социалистического. Выступать в этой роли перед «бывшими социалистами» Белинский не пожелал. И он оснащает свои письма умолчаниями, намеками, пропущенными и другими атрибутами показательной речи, впадая при этом в топ того «напускного цинизма», который был хорошо знаком его приятелям. Белинский не отказывается от воздействия на своих корреспондентов, но свои заветные мысли он преподносит «друзьям» в гомеопатических дозах, в рассредоточенном виде. Критик утверждает, что «все, что говорит Луи Блан в порицание Вольтера, справедливо», но тут же упрекает первого в «узколобие». Белинский объявляет себя врагом «духа партий», но от его отзыва о французских утопических социалистах веет духом сектантского ригоризма. Оба цитируемых письма насыщены противоречиями, преувеличениями, неточностями.

И в том и в другом письме «отцу жирондистов» Вольтеру отдается предпочтение перед «отцом якобинцев» Руссо. Здесь проявляется напускное желание автора пойти на идейный компромисс с сторонниками политической умеренности Анненковым и Боткиным. Но Руссо был еще и «отцом» утопических социалистов, хотя он и не был создателем какой-либо социал-утопической системы. В. И. Ленин писал, что следы идеи о Contrat Social «очень заметны во всех системах утопического социализма».²¹ И выпады Белинского против Руссо, если только они продиктованы не тактическими соображениями, — самый сильный аргумент в пользу антисоциалистических взглядов великого критика.

²⁰ Об этом см.: П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, стр. 533—542.

²¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 136.

Я вижу в этих выпадах, с одной стороны, эпистолярную «дипломатию» Белинского, а с другой — зэоповские приемы его стиля, и мнение свое подкрепляю не предположениями, а фактами.

Прежде всего: утверждение Белинского, что из Руссо он читал только его «Исповедь», т. е. самое «невзвешенное» в политическом отношении произведение, — расходится с истиной. В томе сочинений Руссо, принадлежавшем критику, на одной из страниц «Рассуждения о происхождении неравенства» его рукою отчеркнута несколько строк. «Нужно думать, — заключает не без оснований Л. Р. Ланский, — что мимо его (Белинского, — Ф. П.) поля зрения не прошел и „Общественный договор“ Руссо».²² Решительно расходится с истиной и то, что сказал Белинский в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 года об «Исповеди» Руссо. Ведь всего только полтора года тому назад, в сентябре 1846 года, критик писал жене: «Теперь читаю „Les Confessions“ («Исповедь», — Ф. П.) — не много книг в жизни действовали на меня так сильно, как эта» (XII, 315). Производимое Белинским в письме к Анненкову противопоставление Вольтера Руссо, в ущерб последнему — насквозь дипломатично. Не только в своих прежних сочинениях и письмах, но и в статье «Тереза Дюнойе» (ценз. разр. от 28 февраля 1847 года) Руссо и Вольтер как «два вождя века» (X, 105) были поставлены рядом. Совершенно фантастично (в том же письме) указание Белинского на то, будто славянофилы «цитуют Жорж Завда и Луи Блана» (XII, 468). И т. д. и т. п.

Нет, школярское чтение писем позднего Белинского к Анненкову и Боткину явно не способствует определению их места в эпистолярном наследии великого критика. К такому выводу приводит нас, в частности, и анализ его письма к Боткину от 2—6 декабря 1847 года. В этом письме Белинским был пропет своеобразный дифирамб «Письмам из Avenue Marigny» Герцена. «Эти письма, — сообщал Белинский, — особенно последнее, писались при мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснела и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то митали не без замешательства» (XII, 447). Последнее (четвертое) письмо из Avenue Marigny было полностью посвящено различным проектам социально-экономического переустройства общества, в том числе и проектам социалистическим. Сен-Симон, Фурье, Прудон и другие, по словам Герцена, помогли «раскрыть глаза народу» на страсть буржуазии к стяжанию и на «жесточение ее против непмущих».²³ Герценовская трактовка значения социал-утопической пропаганды не вызвала у Белинского никакой отрицательной реакции. Более того: именно утопических социалистов и охарактеризовал он (в завуалированном, конечно, виде) как настоящую, а не фальшивую парламентскую оппозицию. «Много глупостей, — писал критик, — в ее анафемах на bourgeoisie, — но за то только в этих анафемах и проявляется и жизнь и талант» (XII, 447). В этих словах была дана Белинским его итоговая, необыкновенно емкая и прониновенная оценка как слабых, так и сильных сторон деятельности французских утопических социалистов.

Судя по воспоминаниям П. В. Анненкова, его представления о приверженности Белинского идеям социализма несколько не пошатнулись от чтения «антисоциалистических» писем критика. Несколько выписок из Анненкова, подкрепляющих эту мысль, приведенных мною в статье «Большая дорога...», павлекли на меня гнев моего оппонента. Он пишет: «Не доверяя высказываниям самого Белинского в письмах к Анненкову и Боткину, которые не подтверждают предположений Ф. Приймы, оппонент Б. Егорова приводит в качестве аргументов высказывания самого Анненкова, даже (? — Ф. П.) сделанные много десятилетий спустя после переписки с Белинским, если эти высказывания подтверждают его концепцию» (стр. 160).

В чем же состоит, однако, мое прегрешение? Да в том, что я ссылаюсь на воспоминания Анненкова, невзирая на то, что они создавались спустя тридцать лет после описываемых в них событий. Правда, есть небольшое смягчающее мою вину обстоятельство: в мемуарной литературе все без исключения факты изображаются с определенной исторической дистанции, такова особенность этого жанра, обращение к которому, согласно издревле установившейся традиции, никому еще не возбранялось. Другое дело, что информация мемуаристов не всегда можно доверять, ее нужно «фильтровать», что я, к стати сказать, и делаю, «просвечивая» воспоминания Анненкова показаниями других современников. Именно поэтому я и поставил под сомнение (см. стр. 110) сообщение мемуариста о якобы отрицательной реакции Белинского на французскую революцию 1848 года.

Что же касается суждений Анненкова об отношении великого критика к социализму, то они были охарактеризованы мною в статье «Большая дорога...» следующим образом: «... Анненков не мог пройти мимо политического радикализма Белинского. Указав на чувство недоверия и страха, которые испытывал к „социализму“ Т. Н. Грановский, мемуарист продолжал: „Иначе отнеслись к нему Герцен и Белинский“. Ни тот, ни другой, по Анненкову, не помышляли „о превращении всех его (социализма, — Ф. П.) претензий в догматы собственной своей „веры“, но в отличие от умеренных либералов, полагавших, что с социа-

²² «Литературное наследство», т. 55, 1948, стр. 564.

²³ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 66.

лизмом на европейскую общественность надвигается свирепый ураган, Герцен и Белинский на судьбы последней смотрели „бодрее, хладнокровнее и спокойнее“. „Герцен, — пишет Анненков, — был заодно с Белинским, и они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе со стороны социализма...“ (стр. 88—89).

Этот отрывок из моей статьи Н. К. Гея снабдил следующим, весьма красноречивым комментарием: «Но приведенные рассуждения Анненкова, во-первых, несколько не проясняют вопроса об отношении великого критика к идеям утопического социализма, а свидетельствуют о социалистических убеждениях Герцена и Белинского, в отличие от Грановского. Кроме того, речь у Анненкова идет о 1845 году и, таким образом, не имеет никакого отношения к вопросу о „переломе“ во взглядах Белинского, начавшемся в 1846 году, то есть после его поездки по России вместе со Щепкиным» (стр. 161). И т. д.

В этой самоуверенной реплике, как говорится, ни складу, ни ладу. И надо же умудриться сказать такое: «...рассуждения Анненкова... несколько не проясняют вопроса об отношении великого критика к идеям утопического социализма, а свидетельствуют о социалистических убеждениях Герцена и Белинского (курсив мой, — Ф. П.), в отличие от Грановского». Не заслуживает развернутого опровержения также и замечание Н. К. Гея о том, будто при характеристике отношения к социализму Белинского, Герцена и Грановского Анненков ограничился рамками... исключительно 1845 года! Это бесперспективная полемическая уловка моего оппонента, в чем без посторонней помощи может убедиться любой читатель, заглянув в соответствующие страницы воспоминаний Анненкова.

Я остановился на всех главнейших возражениях Н. К. Гея в его споре со мной и поэтому считаю себя вправе на этом ограничиться в своих ответах. Попытка же охватить весь круг вопросов, затронутых мною в статье «Большая дорога...», в данном случае увела бы и меня и читателей далеко в сторону от центральных точек спора.

Тезис об эзоповском языке в письмах Белинского 1847—1848 годов был выдвинут мною не для «спасения чести» критика, а для объяснения объективно содержащихся в них кричащих противоречий. Но выдвинув этот тезис и в меру сил своих обосновав его документальными данными, я отдавал себе отчет в исключительной трудности самой проблемы — выявления носкаказательных элементов в «дружеской» переписке великого критика. Эту трудность легко преодолел мой оппонент, отказавшись как признать, так, впрочем, и отвергнуть поставленную проблему.

Благое намерение Б. Ф. Егорова и Н. К. Гея, восходящее к заслуженно забытым построениям Иванова-Разумника, — показать Белинского в исканиях, в непрерывном движении и кружении, обернулось вспышкой исследовательского субъективизма. «Новая концепция» обрекла критика на бездействие. В годы революционной ситуации в Европе и оживления освободительной борьбы в России Белинский теряет веру в пробуждение социальных низов, заходит в идеологический тупик и ищет из него выхода в направлении, отвергнутом прогрессивной мыслью.

Статья Н. К. Гея преследует цель гальванизировать и улучшить концепцию Б. Ф. Егорова, украсить ее рассуждениями на эстетические темы. Однако несколько швов и заплат, наложенных на ветхие одежды, несколько их не обновляют и даже не придают им чисто внешнего эффекта. В истории изучения наследия Белинского эта концепция должна занять и бесспорно займет место печального недоразумения.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К. И. РОВДА

ЛУНАЧАРСКИЙ И ПУШКИНСКИЙ ДОМ

Пушкинский дом возник в начале нашего века как хранилище рукописей, книг, реликвий, т. е. всего того, что связано с творчеством и личностью основоположника новой русской литературы и его окружением.¹ В номенклатуре должностей Пушкинского дома до его реорганизации не было и должности научного сотрудника: там числились лишь ученые хранители. Это вполне соответствовало задачам, которые стояли перед учреждением, призванным собирать и хранить литературное достояние прошлого. Научно-исследовательским институтом, изучающим не только наследие художника, давшего ему свое имя, но и всю русскую литературу от ее истоков до сегодняшнего дня, он стал лишь в советское время.

Произошло это в начале 30-х годов, когда Академия наук, куда входил Пушкинский дом, приняла новый устав. Этот устав предусматривал объединение мелких академических комиссий и других подобных образований и ячеек в крупные исследовательские учреждения. Так Пушкинский дом, Толстовский музей и Комиссия по изданию сочинений Пушкина были объединены в Институт новой русской литературы,² структура которого стала формироваться не по признаку группировки сотрудников вокруг того или иного крупного имени, а «по признакам социально-историческим», характеризующим целую отрасль.³

Возникший институт ставил своей целью изучать русскую литературу с XVIII века до нашей современности. За его пределами, однако, оставалась Комиссия по изучению древней русской литературы (КДЛ) Академии наук, располагавшая крупными научными силами.⁴ Через год и она слилась с Пушкинским домом, и он стал называться Институтом русской литературы (ИРЛИ) Академии наук СССР.⁵

В 1930 году в состав действительных членов Академии наук была избрана целая группа коммунистов — крупных ученых и государственных деятелей, которых партия выделила для укрепления Академии. Среди этих лиц был и А. В. Луначарский, избранный в число академиков 1 февраля 1930 года.⁶

А. В. Луначарский был известен академическим кругам очень хорошо еще задолго до его избрания в действительные члены. Еще в апреле 1918 года руководители Академии наук обратились к нему как народному комиссару просвещения с предложением сотрудничества Академии с советской властью.⁷ Как нарком просвещения, Луначарский неоднократно соприкасался с руководством Академии, оказывал ей всяческую помощь. Все помнили, с каким блеском он выступал в 1925 году на торжественном заседании, посвященном 200-летию Академии наук, где присутствовало много иностранных ученых, с речью о задачах науки в советском обществе. «Было известно, — вспоминал позднее тогдашний президент Академии А. П. Карпинский, — что на торжественном заседании выступит народный комиссар просвещения. Некоторые иностранные ученые, не знавшие Анатолия Васильевича,

¹ 50 лет Пушкинского дома. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 5—16.

² Институт новой русской литературы имени А. С. Пушкина при II отделении Академии наук СССР. Архив Академии наук СССР, ленинградское отделение (далее: ААН), ф. 150, оп. 1 (1930), № 1, лл. 45, 80.

³ В. П. Волгин. Реорганизация Академии наук. «Вестник Академии наук СССР», 1931, № 1, стр. 6.

⁴ ААН, ф. 150, оп. 1 (1930), № 1, л. 64.

⁵ А. С. Орлов. Всесоюзная Академия наук за 15 лет. «Вестник Академии наук СССР», 1932, № 11, стр. 13. Членами КДЛ состояли академики В. М. Истрин, Б. М. Ляпунов, К. Н. Никольский, А. С. Орлов, В. Н. Перетц и М. Н. Сперанский.

⁶ Е. Сперанская, М. Комарович. Февральская сессия Академии наук. «За социалистическую науку», 1932, 11 марта. См. также: Постановление Президиума АН СССР от 5 марта 1932 года (ААН, ф. 150, оп. 1 (1932), № 5).

⁷ ААН, ф. 2, оп. 17, № 182, л. 1.

думали, что увидят перед собой большевистского комиссара в кожаной куртке с револьвером за поясом, как их рисовала буржуазная пресса на Западе, и он будет провозглашать коммунистические лозунги. И как они были приятно разочарованы и удивлены, когда перед ними предстал обаятельнейший человек, за каждым словом которого стояла огромная культура и в выступлении которого звучала искренняя любовь к знанию, к науке, к человечеству».⁸ Народный комиссар начал свою речь «по-русски, продолжал на немецком, французском, английском, итальянском языках и закончил классической латынью».⁹

Многочисленные труды по литературе и искусству, его выступления в широкой печати по этой проблематике не могли быть неизвестны академической общественности. О них напомнил общему собранию Академии наук академик П. Н. Сакулин в составленной им и распространенной в печатном виде среди академиков «Записке об ученых трудах А. В. Луначарского».¹⁰ «Поистине изумителен диапазон образованности А. В. Луначарского, — писал П. Н. Сакулин. — Он близко знаком со всеми дисциплинами гуманитарного цикла и серьезно работал в каждой из них. Философия, религия, социализм, эстетика, искусство, литература европейская и русская, теория и методология литературоведения и искусствознания вообще — вот области, к которым относятся многочисленные труды А. В. Луначарского».¹¹

При избрании имело также немаловажное значение и то, что Луначарский был не только крупнейшим знатоком русской и зарубежной литературы, но и человеком, который с величайшим уважением относился к накопленным человечеством духовным ценностям и страстно ратовал за их сохранение в бурные годы революции и гражданской войны, высоко ценил старых ученых специалистов, без участия которых не мыслил построения нового общества. А вопрос об отношении к культурному наследию прошлого и к его живым представителям имел громадное значение в деле привлечения на сторону социализма старой русской интеллигенции.

А. В. Луначарский был избран единодушно.

* * *

Став академиком, А. В. Луначарский задумал осуществить свой давний замысел — заняться изучением сатирических жанров в мировой литературе и привлечь к этой проблематике других энтузиастов. С этой целью им было решено организовать Комиссию по изучению сатирических жанров (КСАЖ). 5 июля 1930 года в докладной записке, адресованной в секретариат Президиума Академии, Анатолий Васильевич изложил наметки деятельности будущей комиссии. Имелось в виду создать кабинет по изучению сатирических жанров, «собрать для этого книги, ноты, журналы и др. предметы частью из имеющихся уже в Академии и разбросанных в разных местах запасов, частью путем приобретения». Предполагался выпуск сборника. Была задумана «поездка одного из сотрудников за границу месяца на полтора специально для посещения некоторых особенно важных библиотек и др. хранилищ и на ориентацию относительно материалов, какими мы можем располагать в будущем». Намечалось также «обследование имеющихся у нас хранилищ с точки зрения материалов для изучения сатирического жанра» с помощью других сотрудников «в важнейших центрах нашего Союза».¹²

⁸ А. В. Луначарский. Неизданные материалы. «Литературное наследство», т. 82, 1970, стр. 118.

⁹ Три письма к Луначарскому. Публикация И. А. Луначарской. В кн.: «Прометей», т. I, 1966, стр. 291. См. также: Речь тов. Луначарского. «Красная газета», 1925, № 204, 8 сентября.

¹⁰ ААН, ф. 2, оп. 17, № 182, лл. 3—10.

¹¹ Там же, л. 4. «Будучи ортодоксальным теоретиком марксизма, когда речь идет о „фундаменте“, о классовом базисе, об общественном бытии, которым определяется творческое сознание художника, А. В. Луначарский, — подчеркивал П. Н. Сакулин, — полагает, что писатель, тесно связанный с жизнью своего класса, при известных условиях может близко подойти „к общечеловеческим идеалам, т. е. к таким идеалам, которые могут говорить сердцу каждого, которые при своем осуществлении удовлетворили бы всех и которые поэтому всенародны“ («Литературные силуэты», 1925). При всяком удобном случае А. В. Луначарский отстаивает тезис о своих законах искусства и литературы. „Марксизму предстоит создать, — пишет он («Беседы по марксистскому миросозерцанию», 1924, стр. 66), — историю литературы, общую теорию литературы, динамическую теорию литературы и теорию литературно-художественной практики. Мы стоим у пачала этих задач» (лл. 13—14).

¹² ААН, ф. 150, оп. 1 (1929), № 34, л. 34. В архиве Академии наук сохранилось письмо А. В. Луначарского, адресованное в Группу языка и литературы Отделения общественных наук Академии наук, в котором он представляет кандидатуру А. А. Морозова на стипендию им. А. А. Крузе ван дер Коопа для поездки в Голландию и Германию с целью собрания материалов для комиссии. Записка была одобрена в Группе 30 января 1933 года, а в тот же день Отделение общественных

К деятельности комиссии были привлечены: А. А. Морозов (ученый секретарь), П. Н. Берков, член-корреспондент Академии наук А. И. Малеин, В. П. Адрианова-Перетц, О. М. Фрейденберг, Н. В. Яковлев, И. П. Еремин, Е. Макарова, Г. Дубов и др. В делах Пушкинского дома сохранился проект положения о комиссии. Задача перед комиссией ставилась широкие. Она была призвана заниматься «исследованиями по истории и теории сатирических жанров как в мировой литературе, так и в других видах искусства с древнейших времен до последнего времени». Комиссия считала своим долгом содействовать «учреждениям, организациям и отдельным лицам, производящим работы, имеющие отношение к деятельности комиссии как в СССР, так и за границей». В проекте положения подчеркивалось, что комиссия «в первую очередь выдвигает разработку вопросов, имеющих актуальное значение в современной науке и советской общественности», «популяризует и использует добытые материалы и произведенные исследования в целях активной борьбы за социалистическое строительство и культуру».¹³

Сохранились воспоминания академика А. С. Орлова о первых двух заседаниях комиссии. «Докладчиками были два моих товарища, — пишет он, — один из Москвы — о текущей и будущей социальной роли сатиры,¹⁴ другой — здешний научный работник — о некоем собрании русских пародий.¹⁵ Анатолий Васильевич собственно не критиковал эти доклады, разбирая по частям, он их приветствовал и непосредственно вслед, неожиданно, их импровизировал сам произнес обширные доклады на те же темы, так сказать — содоклады, полные такой новизны точек зрения, блеска, пластичности мыслей и речи, правды восприятия и методологической верности, что докладчики признавались опять над своими темами, и только с этой неожиданной помощью Анатолия Васильевича могли считать работу над ними завершённой».¹⁶

Сам руководитель комиссии задумал написать книгу под названием «Социальная роль смеха», для которой собирал материал по следующему плану: «физиология и психология смеха; понятие смешного; комическое, его эстетика и философия; теория сатиры и юмора; история сатирических жанров в их историческом развитии; проблема об остроумии; проблема иронии...»¹⁷ Даже во время болезни, пахотаясь в 1932 году в Берлине, Анатолий Васильевич не оставлял работы над этой проблематикой. Как вспоминает Н. А. Луначарская-Розенель, Анатолий Васильевич во время лечения «по свойству своей натуры не мог не работать. Он с утра уезжал в Публичную библиотеку, где подбирал материалы для своей будущей книги о Боконе; он задумал книгу „Смех как орудие социальной борьбы“ и с увлечением занимался с политической сатирой XIX и начала нашего века».¹⁸

Из письма Луначарского к неперемемному секретарю Академии В. П. Волгили, датированного 15 октября 1932 года и присланного из Висбадена, мы узнаем важные подробности как о его научных замыслах, так и состоянии его здоровья. «...Болезнь моя, — пишет он, — принуждает меня по преимуществу отдаваться научно-литературной деятельности; в этом направлении мною намечены большие работы: „Фауст“ Гете в свете диалектического материализма“ и „Смех как орудие классовой борьбы“. Последнее сочинение намечено на 3 тома. Кроме этого, я работаю над большой биографией Вэкона Веруланского и над рядом крупных статей на серьезные темы, как, например, „Шекспир“ для Б<ольшой> С<оветской> Э<нциклопедии>, „Платон“, „Ницше“, „Островский“ для Л<итературной> Э<нциклопедии> и „Дидро“ как предисловие к тому его эстетическим работ. Эти сравнительно не-

наук уже решило выделить другого кандидата. Представление, сделанное А. В. Луначарским, по-видимому, запоздало (ААН, ф. 2, оп. 16, № 4, лл. 2—3). В «Литературной газете» от 23 марта 1931 года (№ 15, стр. 14) было опубликовано «Письмо в редакцию» академика А. В. Луначарского, в котором он обращался с просьбой ко всем учреждениям и лицам, имеющим иностранные сатирико-юмористические журналы, альбомы, ноты и т. п., присылать их в кабинет, где «предполагается сосредоточить материалы по теории и истории сатирических жанров».

¹³ ААН, ф. 150, оп. 1 (1933), № 3, л. 124.

¹⁴ Нусинов Исаак Маркович (1889—1950). На этом же заседании А. В. Луначарский выступил с речью, стенограмма которой под заглавием «О смехе» опубликована А. А. Морозовым в журнале «Литературный критик» (1935, № 4, стр. 3—9).

¹⁵ Берков Павел Наумович (1896—1969). Имеется в виду его работа о пародиях Козьмы Пруткова. Позднее вышла его книга «Козьма Прутков директор Пробирной палатки и поэт. К истории русской пародии» (Л., 1933, 226 стр.) под маркой Пушкинского дома и КСАЖ. По воспоминаниям бывшего секретаря КСАЖ А. А. Морозова, вторым был доклад К. Н. Державина об испанском плутовском романе, а работа П. Н. Беркова была опубликована без обсуждения на комиссии.

¹⁶ «Вестник Академии наук СССР», 1934, № 2, стр. 35—36.

¹⁷ А. В. Луначарский, Собрание сочинений в восьми томах, т. VIII, изд. «Художественная литература», М., 1967, стр. 622.

¹⁸ Н. А. Луначарская-Розенель. Последний год. В кн.: «Прометей», стр. 218.

большие по размерам, но ответственные статьи по условиям их заказа должны идти параллельно с большими работами».¹⁹

Из того же письма мы узнаем о том, как работал Луначарский. В Берлине он перенес тяжелую операцию удаления глаза в результате глаукомы и работать ему было нелегко. Отсутствие под руками нужных книг побудило его обратиться в Академию наук. «Для выполнения всех этих задач, — пишет он, — необходимы книги. Я, к сожалению, могу лично читать лишь немного, поэтому пользоваться библиотеками мне нельзя: материал мне читают вслух. К тому же у меня своя, давно выработанная система отметок на полях и т. д. Все это делает для меня необходимым приобретать книги в собственность. Мне надо купить их теперь же за границей. Но из средств, данных мне на лечение, я необходимых сумм выделить не могу. Дело идет приблизительно о 100 долларах».²⁰ Деньги были срочно исходатайствованы и посланы, о чем свидетельствует пометка на одной из бумаг.²¹

* * *

Возникший на базе Пушкинского дома институт прошел сложный и трудный путь, превратившись под руководством его первого директора-коммуниста А. В. Луначарского из собрания реликвий великих писателей в научно-исследовательское учреждение нового типа, призванное решать задачи строительства социалистической культуры в нашей стране. Впервые в истории Пушкинского дома в 30-е годы целым потоком полились массы посетителей — рабочих, учащейся молодежи — на осмотр новых экспозиций преобразованного Литературного музея, который стал не только хранилищем фондов и выставкой экспонатов, связанных с жизнью А. С. Пушкина и его окружением, но и деятельным пропагандистом всей русской классической литературы прошлого и молодой советской литературы. Богато обставленные и хорошо организованные экспозиции, посвященные разным периодам в истории русской литературы, а также деятельности ее крупнейших представителей — Лермонтова, Пушкина, Тургенева, Толстого, Некрасова и других русских писателей, в том числе советских, и иногда вывозившиеся в Дома культуры, осматривали тысячи посетителей.²²

Впервые институт работал по принятому плану в 1931 году. В этом же году был разработан и первый пятилетний план на 1932—1937 годы. Но главное заключалось в методологической перестройке литературоведения, в овладении современным научным методом исследования на основе марксизма-ленинизма. В этом велика была заслуга Луначарского. «Вместе с усилением марксистско-ленинской стилистики в литературоведных работах, — писал академик А. С. Орлов, — А. В. принес с собою в Институт наиболее глубокое понимание литературы как искусства, и расширил рабочий диапазон Института введением исследования сатирического жанра в общеевропейском масштабе».²³ С того времени как в него влилась Комиссия по изучению древнерусской литературы, институт стал изучать русскую литературу с древнейших времен до современности. Заместителем директора был назначен академик А. С. Орлов, вошедший в Академию в 1931 году, а директором Института русской литературы 27 февраля 1932 года был утвержден академик А. В. Луначарский.²⁴

Луначарский был немногим более трех лет директором Института русской литературы. Это были первые годы существования Пушкинского дома как исследовательского учреждения, годы его становления и поисков новых, еще неизведанных путей в один из сложных периодов нашей жизни, когда завершалась первая и начиналась вторая пятилетка социалистического строительства. Острота классовых борьбы тех лет сказывалась и в научной деятельности, особенно в ее идеологических аспектах.

Сейчас трудно себе представить всю сложность тогдашнего состояния дел в Академии наук в целом и в Пушкинском доме в частности. Бесспорный поворот

¹⁹ За исключением раздела «Общая характеристика личности и творчества Шекспира» (Большая советская энциклопедия, т. 62, 1933, стр. 205—213), указанные статьи не были написаны. Как отрывок из книги «Френсис Бэкон» в журнале «Литературный критик» (1934, № 12, стр. 69—89) опубликован этюд «Бэкон в окружении героев Шекспира».

²⁰ ААН, ф. 2, оп. 17, № 182, л. 58. Операция была сделана Анатолию Васильевичу 15 ноября 1932 года. С 27 ноября 1932 года по 12 января 1933 года он жил в Берлине и работал в библиотеке (из письма И. А. Луначарской в редакцию журнала «Русская литература»).

²¹ Там же, л. 55.

²² Хроника научной жизни. Институт новой русской литературы (ИНЛИ). «Вестник Академии наук СССР», 1931, № 1, стр. 53—54; № 4, стр. 45—46.

²³ «Вестник Академии наук СССР», 1934, № 2, стр. 35.

²⁴ ААН, ф. 2, оп. 17, № 182, л. 54. См. также: Е. Сперанская, М. Комарович. Февральская сессия Академии наук. «За социалистическую науку», 1932, 11 марта.

основной массы научных работников в сторону честного сотрудничества с коммунистической партией был очевиден. Дело осложнялось, однако, тем, что в академических учреждениях было значительное число лиц, воспитанных в атмосфере буржуазной идеологии и методологически далеких от марксизма. От коммунистов требовалась и высокая политическая бдительность и большая тактичность в отношении к старым специалистам, на которых надо было воздействовать каждодневно и непрерывно, перенимая у них научные знания и опыт и одновременно уча их марксизму и применению марксистской методологии к их специальной области. Замечательным свидетельством влияния коммунистов в тогдашней Академии являются слова члена-корреспондента Академии наук и сотрудника Пушкинского дома Н. К. Пиксанова: «Чуткий научный работник понимает, что вне марксистско-ленинского мировоззрения и метода нет глубоких научных движений».²⁵ Еще более ярко писал об этом будущий академик, а тогда профессор Н. И. Конрад: «... я не мыслю своей работы без участия коммунистов. Это та сила, которая, хочу прямо сказать, помогла мне и всем нашим сотрудникам в их общем научном росте. Если принять во внимание рост и значение качества во всей научной работе советского научного работника, то будет понятно, что я хочу сказать. Именно в этом прежде всего помогали нам наши товарищи партийцы. Тщательное, глубокое исследование научных материалов, методологически правильное осмысление — вот чего требовали от нас товарищи».²⁶

Годы, когда академик А. В. Луначарский был директором Пушкинского дома (1931—1933), являются временем наивысших достижений его как литературоведа и критика. «В Академию наук и в Институт русской литературы А. В. Луначарский, — писал Н. К. Пиксанов, — вошел в пору зрелости своих сил и в богатом расцвете своих дарований. Это был деятель культуры, охваченный революционным и социалистическим энтузиазмом, коммунист, вырвавшийся в непосредственном общении с В. И. Лениным. Это был исследователь, принесший в науку об искусстве и литературе богатые познания — в таком широком охвате и разнообразии, в каком едва ли кто располагал вокруг него. Начиная с философии, естествознания, экономики, истории социальных движений, — это был знаток всех видов искусства — музыки, живописи, театра и всех иных. Это был литературовед и художник, страстно борющийся против буржуазного мещанского искусства за искусство пролетарское».²⁷

Общение с таким человеком давало много сотрудникам института. В эти годы он много работал над освоением эстетического наследия классиков марксизма-ленинизма, результатом чего явилась его большая статья «Ленин и литературоведение» в «Литературной энциклопедии» (1932) и сборник «Маркс и Энгельс об искусстве» (1933) под его редакцией и с его вступительной статьей, а также ряд примыкающих к этим работам его статей, составляющих неопенимый вклад в советское литературоведение. Луначарский не дожидаясь первого съезда советских писателей (1934), но незадолго до съезда он выступил с докладом на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей, где наметил теоретические основы метода социалистического реализма, которые были сформулированы на съезде М. Горьким. «Одна из самых больших заслуг Луначарского и Горького-критика, — пишет советский исследователь, — состояла в том, что они в своих работах раскрыли бессмертное значение великого реалистического искусства прошлых эпох и творчески обосновали возможность, которые заложены в реализме новой, революционной эпохи — реализме социалистическом. Работы Луначарского и Горького оказали влияние на общий уровень советской литературоведческой мысли и помогли науке о литературе освободиться от засилья вульгарного социологизма».²⁸

Влияние Луначарского в этом плане проявилось прежде всего в направлении и теоретическом уровне исследований в возглавляемом им институте. Невозможность непосредственной административной деятельности А. В. Луначарского как директора института²⁹ привела к тому, что в институте оказалась группа вульгарных социологов во главе с заместителем директора Г. Е. Горбачевым, который лишь в начале 1932 года был заменен на этом посту академиком А. С. Орловым.³⁰ В мето-

²⁵ Н. Пиксанов. Из размышлений беспартийного. «За социалистическую науку», 1933, № 14 (29), 20 сентября.

²⁶ Н. И. Конрад. «Я не мыслю своей работы без участия коммунистов...» «За социалистическую науку», 1933, № 13 (28), 10 сентября.

²⁷ Н. К. Пиксанов. А. В. Луначарский. «За социалистическую науку», 1933, № 24 (39), 31 декабря.

²⁸ С. Машинский. Пути и перепутья. (Из истории советского литературоведения). Статья вторая. «Вопросы литературы», 1966, № 8, стр. 72.

²⁹ Он был одновременно также директором Института литературы, искусства и языка Комкадемии в Москве, председателем Ученого комитета при ЦИК СССР и главным редактором «Литературной энциклопедии».

³⁰ В институте оказались соратники Г. Е. Горбачева по группе «Литфронт» — С. А. Родов, М. Г. Майзель, А. Д. Камегулов, В. И. Бухаркин и др. Ближе к дея-

дологическом отношении состав сотрудников был довольно пестр: формалисты, представители культурно-исторической школы, вульгарные социологи и, разумеется, люди, искренне стремившиеся к последовательному марксизму. На первых порах топ задавали вульгарные социологи. И это отражалось и на исследовательских планах, и на научных работах. Изучали литературные стили, исходя из формулы, что стиль — это класс. Отсюда стили: дворянский («Изучение литературы дворянской реакции и ее стили»), буржуазный, мелкобуржуазный, пролетарский («Проблема эволюции стили пролетарской литературы»). Писатели распределялись по этим рубрикам. Мало интересовались личностью писателя, психологией его творчества. Использовали очень прямолинейно учение Ленина о двух путях развития капитализма — «прусском» и «американском» — по отношению к писателям. Классиков скорее «прорабатывали», чем изучали. Пушкин, например, истолковывался Г. Лелевичем «как художественный идеолог обуржуазившихся слоев среднего дворянства, как ранний выразитель помещичьей буржуазности, как ранний провозвестник „прусского“ пути капиталистического развития». Такой взгляд на него, по мнению Лелевича, позволял «правильно истолковать все идейные и формальные моменты творчества поэта в их движении, в их единстве и противоречивости».³¹

Сейчас кажется странным и непонятным, как подобные взгляды высказывались в сборнике, вышедшем в 1931 году под редакцией А. В. Луначарского, который был далек от подобного подхода и к Пушкину и к другим классикам. Но фактическим редактором был Г. Е. Горбачев. Сборник открывается статьей самого Луначарского, где говорилось, что «без усвоения приобретений прошлого нельзя строить пролетарскую культуру».³² Эта мысль являлась лейтмотивом его теоретической и практической деятельности на протяжении всей жизни.

Оставаясь на почве классового понимания искусства, ученый еще в 1926 году с восторгом говорил о великом русском поэте: «Пушкин был русской весной. Пушкин был русским утром... Что сделали в Италии Данте и Петрарка, во Франции — великаны XVII века, в Германии — Лессинг, Шиллер и Гете, то сделал для нас Пушкин». Как настоящий марксист, он помнил, что талант гений не укладывается в сухие и узкие схемы, что он переклещивает в своей жизненности и дает ценности, выходящие за рамки класса и эпохи, в которую тот жил. «В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба. Вот эти семена, которые привели-таки в конце концов к нашей горькой и ослепительной революции». Пушкин прославлял жизнь, бытие «в лице миллиардов человеческих существ в ряде поколений, которые его устами впервые вполне членораздельно заговорили».³³ Свежесть и поэтичность восприятия характеризуют не только статьи Луначарского о Пушкине, но и все труды ученого, посвященные литературным явлениям.

* * *

Сохранились программные документы, вышедшие из-под пера А. В. Луначарского, которые были обращены к коллективу научных сотрудников Пушкинского дома — это статья «Очередные задачи литературоведения» и лекция для аспирантов «Введение в изучение истории английской и германской литературы».³⁴ В статье «Очередные задачи литературоведения», небольшой по объему, А. В. Луначарский намечает программу развития советского литературоведения. Первая общая задача: «Марксизм должен построить подлинную историю литературы русского языка, других языков Советского Союза и литературы мировой». Будучи чрезвычайно важной частью общей истории, «литература является прекрасным свидетельством о себе эпох и классов; лишь завершение или приближение к завершению такого монументального и стройного марксистского научного здания, реконструирующего всю действительность, всю историческую литературную действительность, может обеспечить подлинную научность и обоснованность отдельных исследований».³⁵ Мы должны осваивать не только литературу прошлого, но и современную литературу. Наша социалистическая литература не может развиваться изолированно от других национальных литератур в СССР и за его рубежами. Даже враждебная нам литература должна «подвергаться внимательному анализу».³⁶ Это общие социологические и исто-

тельности института стоял Г. Лелевич. В списках сотрудников Пушкинского дома при Горбачеве числился также В. Ф. Переверзев (ААН, ф. 150, оп. 1 (1930), № 1, л. 91).

³¹ «Литература», 1931, № 1, стр. 20.

³² Там же, стр. 2.

³³ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. Гослитиздат, М., 1957, стр. 141—143.

³⁴ «Литературное наследство», т. 82, стр. 115—148.

³⁵ А. В. Луначарский. Очередные задачи литературоведения. «Литература», 1931, № 1, стр. 2.

³⁶ Там же.

рические задачи литературоведения. Но литературоведение не только историческая наука и не только критика. Оно является также и методологией и теорией. И тут перед ним на очереди стоит разработка вопроса «о творческом методе пролетарской литературы во всех его общих принципах и всех его деталях» и частные проблемы методологии и теории литературы: 1. Разграничение «художественной литературы в собственном смысле слова и художественной публицистики» в их взаимодействии и взаимопроникновении. 2. Природа художественного образа в марксистском понимании, противостоящая неправильному пониманию образа как только живого существа у переверзевцев. Надо раскрыть «понятие образа как элемента чисто художественной ткани» и «понятие его как элемента образной публицистики» в их слодстве и различии. 3. Теоретическое определение стиля. Определенне «стиль — это класс» ничего не дает. «История стилей есть живой диалектический процесс, — пишет автор статьи, — в котором установившиеся стили как некоторые целостные величины являются лишь частностью, да и то кажущейся, ибо и они все время живут и изменяются». 4. Нужна собственная теория жанра, «теория прозы и поэзии в их различиях, в их назначении, в их социальной ценности». Вот ход мысли Луначарского.

Перечислив отдельные задачи в области теории литературы, автор делает общий вывод: «У нас нет еще более или менее удовлетворительно разработанной марксистско-ленинской системы литературных понятий и законов».³⁷ И далее ученый ставит вопрос о необходимости изучения личности художника в литературоведческих работах, решительно выступая против вульгаризаторского подхода к этому вопросу со стороны переверзевцев, отрицавших какое бы то ни было значение личности в создании художественных произведений. Отбросив все чисто случайное в биографии писателя, марксист выявляет все «социальное, необходимое, характеризующее данную личность как своеобразный узел, в котором перекрещиваются социально-силовые линии. Тогда произведение становится ... действительным порождением его личности». И тут возникает необходимость изучения психологии творчества, возникает целая серия вопросов. «Одни из них будут вытекать как раз из нашего стремления конкретно представить себе, как в действительности зарождается художественный замысел, первые руководящие идеи, первые организующие образы, как появляется тема, выбирается и обрабатывается сюжет, какую роль играет здесь полусознательное воображение и какую руководство сознания, в чем сказываются здесь классовые инстинкты, а в чем классовая сознательность».³⁸

Почти полвека прошло с тех пор, как поставлены эти задачи. Наше литературоведение шло по пути, указанному Луначарским, многое сделало в этом направлении, но многое еще предстоит сделать. Приходится только удивляться его прозорливости. Постановка проблем марксистско-ленинской психологии художественного творчества в то время, когда над этим никто не задумывался, — одна из больших заслуг ученого.

Литературовед должен помнить, что история познания складывается из ряда паук: «история философии, история отдельных наук, история умственного развития ребенка, история животных, история языка, психология и физиология органов чувств».³⁹ Этот вопрос Луначарским был поставлен в его статье «Ленин и литературоведение», первоначально опубликованной в «Литературной энциклопедии», а затем вышедшей отдельным изданием (1934). «Среди наших литературоведов, в особенности в пору печального примата переверзевских взглядов, — напоминает он, — можно было встретить людей, которые считали, что литературоведение марксистско-ленинского характера должно опираться исключительно на социальные науки как таковые. Они чрезвычайно скептически относились к привлечению сюда наук биологических, психологических, лингвистических и так далее. Между тем мы имеем прямое указание Ленина на необходимость привлечения всех этих разделов знания как вспомогательных».⁴⁰

Указанная Луначарским проблематика только в наше время получила признание, и комплексное изучение художественного творчества только теперь ставится в широком плане. Нельзя забывать, что этот путь был указан нам давно человеком, заслуг которого трудно переоценить.⁴¹

Мы не будем подробно рассматривать статью А. В. Луначарского «Ленин и литературоведение», значение которой выяснено в ряде работ современных исследователей. Скажем лишь, что этот труд для своего времени был новаторским и самым значительным в разработке вопроса о теоретическом значении ленинского наследия для советского литературоведения. Он не утратил своего значения и после того, как на эту тему появились новые работы, несмотря на некоторые ошибки в разделе,

³⁷ Там же, стр. 3, 4.

³⁸ Там же, стр. 5.

³⁹ Там же, стр. 6.

⁴⁰ А. В. Луначарский. Статьи о литературе, стр. 85.

⁴¹ См.: А. Лебедев. Эстетические взгляды А. В. Луначарского. Изд. «Искусство», М., 1970, стр. 234—235.

трактуемом вопросе о применении учения Ленина о «прусском» и «американском» путях развития капитализма к творчеству писателей. И. А. Сац правильно указывает, что этот промах не характерен для статьи в целом и преодолевается автором, когда он переходит к анализу воззрений Ленина на творчество отдельных писателей.⁴²

* * *

Будучи директором ИРЛИ, А. В. Луначарский проявлял большую активность как публицист, литературный и художественный критик, о чем свидетельствует список его трудов.⁴³ За три года им опубликовано 158 больших и малых статей (1931 год — 74, 1932 — 32, 1933 — 52). За это же время он выступал на конференциях и различных совещаниях с докладами и речами 23 раза (соответственно по годам: 15, 3, 5). Назовем лишь выступления на сессиях Академии наук: 1 февраля 1931 года он выступает перед общим собранием с речью «Памяти П. Н. Сакулина»;⁴⁴ в том же году он произносит речь, посвященную Генриху Гейне;⁴⁵ 26 июня 1931 года в Москве в Большом театре на Чрезвычайной сессии Академии наук делает доклад на тему «Общественные науки и техническая реконструкция» и выступает от имени Академии во время сессии перед рабочими Электрозавода.⁴⁶ 26 марта 1932 года делает доклад в Ленинградской филармонии на юбилейной сессии Академии наук, посвященной 100-летию со дня смерти Гете.⁴⁷ Произносит речи о Р. Роллане (1932) и Анри Барбюсе (1933) при их избрании почетными академиками.⁴⁸ Остальные его выступления связаны с его работой в Комакадемии и в писательской организации.

В рукописных материалах Пушкинского дома, хранящихся в Ленинградском отделении архива Академии наук, находятся некоторые документы о посещениях Луначарским института во время его приездов в Ленинград. В эти приезды он устраивал заседания директора, беседовал со своими заместителями и руководителями секторов, обсуждал с ними планы научно-исследовательских работ, заслушивал отчеты и т. п. В случае надобности ученый секретарь и заместитель директора обращались к нему с письмами.

В декабре 1932 года А. В. Луначарский созывает Пушкинскую комиссию, и в связи с приближавшимся 100-летием со дня смерти Пушкина на этом заседании принимается решение о подготовке академического собрания сочинений А. С. Пушкина.⁴⁹ «Было решено созвать совещание ленинградских и московских пушкинистов для обсуждения (предполагаемого) юбилейного академического издания (сочинений) Пушкина».⁵⁰ Подготовку к конференции было поручено провести комиссии в составе Н. К. Пиксанова, Ф. Ф. Канаева и Д. П. Якубовича под руководством академика А. С. Орлова.

8—11 мая 1933 года пушкинская конференция состоялась. Предполагалось, что заседания конференции будут проходить под председательством директора ИРЛИ А. В. Луначарского. О программе конференции он был извещен, но по болезни участия в ней не принял. Конференцией руководил академик А. С. Орлов. На ней был заслушан доклад члена-корреспондента Академии наук Н. К. Пиксанова о плане и организации издания академического собрания сочинений Пушкина и доклад М. А. Цявловского о разработанной им инструкции по его подготовке.⁵¹ Таким образом, одно из важнейших дел института — издание академического собрания сочинений А. С. Пушкина — зарождалось при ближайшем участии А. В. Луначарского. При назначении главной редакции он был назван первым, а по его предложению был включен в нее также А. М. Горький. Третьим был В. П. Волгин.

⁴² См. комментарий И. А. Саца к статье «Ленин и литературоведение» в книге: А. В. Луначарский. Статьи о литературе, стр. 697—698.

⁴³ А. В. Луначарский о литературе и искусстве. Составила К. Д. Муратова. Л., 1964; А. В. Луначарский о литературе и искусстве. Дополнение и продолжение одноименного указателя К. Д. Муратовой (Л., 1964). Составил Л. М. Хлебников. «Литературное наследство», т. 82, стр. 623—644.

⁴⁴ «Литературное наследство», т. 82, стр. 105—114.

⁴⁵ Стенограмма выступления Луначарского на сессии Академии наук в 1931 году опубликована в журнале «Литературный критик» (1934, № 5, стр. 76—88).

⁴⁶ См.: В. Л. Комаров. Работы Чрезвычайной сессии. «Вестник Академии наук», 1931, внеочередной номер, стр. 20, 114—117.

⁴⁷ Гете и его время. Доклад в Академии наук СССР. Изложение. «Красная газета», вечерний выпуск, 1932, № 72, 27 марта.

⁴⁸ А. В. Луначарский. 1) У Романа Роллана. «Прожектор», 1932, № 9—10, 30 мая, стр. 22; 2) Анри Барбюс — почетный академик. «Красная газета», вечерний выпуск, 1933, № 27, 2 февраля.

⁴⁹ ААН, ф. 150, оп. 1 (1933), № 3, лл. 47—48.

⁵⁰ Там же, № 18, лл. 45—48. См. также: Ф. Канаев. Новое академическое издание Пушкина. «За социалистическую науку», 1933, № 11 (23), 15 августа.

⁵¹ ААН, ф. 150, оп. 1 (1933), № 18, л. 49.

Но ни Луначарскому, ни Горькому не довелось принимать участия в издании, когда началась его подготовка.

По инициативе А. В. Луначарского было также задумано фототипическое издание рукописей Пушкина, которое осуществлено было уже без него.⁵² Неосуществленным, к сожалению, остался замысел издания под его редакцией подготовленной к печати переписки А. Н. Веселовского в трех томах под названием «А. Н. Веселовский, его среда и сверстники».⁵³

Вспоминается посещение Луначарским Пушкинского дома в начале февраля 1933 года. Он приехал на сессию Академии наук и должен был впервые встретиться со своими аспирантами. Считая ненормальным изучение русской литературы изолированно от зарубежных, Анатолий Васильевич предполагал ввести в ИРЛИ также и изучение западных литератур. Института мировой литературы тогда еще не было, и западными литературами занимались лишь отдельные ученые. Взаимосвязи русской и зарубежных литератур в институте не изучались. С учетом того, что в институте будет западный сектор, из ликвидированного Института литературы, искусства и языка Ленинградского отделения Комакадемии была переведена в Пушкинский дом небольшая группа аспирантов-западников, общее руководство которыми Луначарский взял на себя.

4 февраля Анатолий Васильевич прочитал для них вступительную лекцию.⁵⁴ На нее собрались все аспиранты и почти все сотрудники Пушкинского дома. Лекция по специальности (английская и немецкая литература) Луначарский предположил большое методологическое и методическое вступление, которое адресовал не только своим ученикам, но и всем сотрудникам. Вся лекция была направлена против вульгарного социализма, против упрощенного подхода к литературным явлениям, какие допускала школа В. Ф. Переверзева. Главное в выступлении заключалось в том, чтобы обратить внимание слушателей на необходимость руководствоваться в своей работе методологией марксизма, изучать относящиеся к литературоведению сочинения Маркса, Энгельса, Ленина.

В первой части лекции были затронуты четыре вопроса: 1. Классовый принцип в изучении творчества писателя; 2. Понятие прогресса в литературе; 3. Генетический взгляд на искусство (Плеханов) и функциональный; 4. Об изучении источников и биографий писателей. Нет смысла излагать истины, которые сейчас общеприняты в литературоведении. Стоит лишь указать на то, как мастерски построил Луначарский свою лекцию, как интересно излагал материал, какими методическими приемами пользовался. Он всегда говорил свободно, эмоционально, образно. Речь его сверкала блестящими остроумиями. И это воспринималось как нечто естественное и органическое. Он всегда находил свои собственные выражения и формулировки, которые освещали даже знакомый предмет в каких-то новых, ранее не ощущавшихся поворотах. Он говорил просто о самых сложных философских проблемах, цитаты передавал не по записи, а на память, но не искажал их сущности.

Так было и теперь. До начала лекции Анатолий Васильевич вынул из папки четвертушку листа бумаги и набросал план своего выступления. Но в план он потом не заглядывал. Его лекция казалась свободной импровизацией. Но это было не совсем так. «Как у пианиста-виртуоза сложнейший пассаж кажется легким, чем-то само собой разумеющимся, а на самом деле является результатом многолетнего упорного труда, так и ораторские выступления Луначарского помимо врожденного таланта требовали огромной предварительной работы, колоссального накопления знаний, умения мобилизовать эти знания».⁵⁵ О Марксе у него уже была подготовлена статья,⁵⁶ готовившаяся к изданию под его редакцией антология, содержащая высказывания Маркса и Энгельса об искусстве и выпущенная осенью 1933 года.⁵⁷ Все было продумано, осмыслено, прочувствовано. И слушатели это хорошо ощущали.

То, что говорил лектор, воспринималось не только умом, но и сердцем. Его логика была строга и в то же время изящна и эмоциональна. Она вела за собой, увлекала неожиданными ассоциациями, поворотами и яркими метафорами. Ощущалась удивительная свежесть мысли, исключавшая усталость. И когда прошло часа

⁵² Д. Я. [Д. Якубович]. Фототипическое издание рукописей А. С. Пушкина. «Вестник Академии наук СССР», 1933, № 10, стр. 65—68.

⁵³ ААН, ф. 150, оп. 1 (1929), № 34, л. 61. См. также: Н. К. Козмиц. Переписка А. Н. Веселовского. «Вестник Академии наук СССР», 1932, № 7, стр. 47—48.

⁵⁴ А. В. Луначарский. Введение в изучение истории английской и германской литератур. Лекция для аспирантов Пушкинского дома 4 февраля 1933 г. Публикация и предисловие К. И. Ровды. «Литературное наследство», т. 82, стр. 115—148. Далее ссылки в тексте.

⁵⁵ Н. Луначарская-Розенель. Память сердца. Воспоминания. Изд. «Искусство», М., 1965, стр. 8—9.

⁵⁶ А. В. Луначарский. Маркс об искусстве. «Вестник Коммунистической академии», 1933, № 2—3, стр. 93—112.

⁵⁷ Маркс и Энгельс об искусстве. Составили Ф. П. Шиллер и М. А. Лифшиц. Под редакцией А. В. Луначарского. М., 1933.

полтора и Анатолий Васильевич сказал, что, может быть, за поздним временем следует отказаться от характеристики английской и немецкой литератур, раздался голоса (это отражено в стенограмме):

— Нет, нет, просим продолжить! Только сделаем пятиминутный перерыв.

Вторая часть лекции продолжалась столько же времени, сколько и первая. Стоит подчеркнуть, что Луначарский первый обратил внимание на знаменитый отрывок Маркса «Введение к „К критике политической экономии“». Теперь он всем известен, а тогда это было открытием, о чем лектор говорил не без гордости (стр. 124). Некоторые марксисты или люди, воображающие себя марксистами, не придавали никакого значения этому отрывку, написанному Марксом в молодости. «Между тем это одно из гениальнейших произведений человечества», — сказал Луначарский (стр. 123). И хотя глава, откуда взят отрывок, Марксом не окончена, тем не менее она великолепна, указывал он. «И когда я первый высказал ту мысль, что это замечательнейшая находка, что она стоит в полном соответствии со всем тем, что написано Марксом, то, конечно, я был прав. Сейчас даже смешно возвращаться ко всем этим сомнениям относительно того, куда это отнести. Мы прекрасно понимаем внутреннее содержание этой статьи» (стр. 124). Отрывок этот был блестяще прокомментирован Луначарским, и этот комментарий интересен и поныне (стр. 122—129).

Некоторые идеи, которые были дороги Луначарскому, развиты в этом выступлении более основательно, чем в других его трудах, — в частности, вопрос об изучении личности художника, его творческой биографии, фактов, мелочей, позволяющих во всех оттенках раскрыть его индивидуальность. Особо останавливается Луначарский на вопросах методики изучения художественной литературы. Подобный аспект вытекал из самого замысла выступления перед молодыми исследователями и был новым вкладом в один из разделов литературоведения, на который многие тогда не обращали внимания. Он говорил о необходимости изучать источники в связи со средой, их породившей, внимательно изучать биографии писателей. Нужно ли входить во все мелочи? — спрашивал лектор. И отвечал: да, нужно! Не нужно их фетишизировать, но «наше литературоведение должно быть точной наукой», точные науки часто находят себе «опору в чрезвычайных мелочах». «Поэтому иногда самые мелочные изыскания могут быть очень интересными» (стр. 132). «Есть люди, которым это несколько чуждо, они больше стремятся к большим синтезам, к большим догадкам, к большим открытиям и т. д., но мы, марксисты, ни на одну секунду не должны бояться того, что называется прозаической стороной искусства, — знание языков, знание источников, умение читать рукописи, шарить по архивам. Всю эту сторону дела мы должны воссоздать». Синтетические работы нужны и важны, но без этих «мелочей» они не могут быть созданы. «Поэтому, если мы должны отдавать должное работе синтезирующего характера, то мы будем особенно рады, если любой из вас, аспирантов, примется за работу исследовательскую, за работу по изучению рукописей и всего того, что к этому относится» (стр. 132—133).

Такой подход к делу стал хорошей традицией в обновленном Пушкинском доме, она принесла и приносит ему немало успехов. В сочетании синтезирующего пачала с тщательным изучением источников и фактов и заключается тот «революционный академизм», о котором говорил А. В. Луначарский в статье «Очередные задачи литературоведения».⁵⁸

* * *

Последним был приезд А. В. Луначарского в Ленинград в начале июня 1933 года. Сохранился протокол расширенного заседания директората института под его председательством от 10 июня.⁵⁹ На нем присутствовали: ученый секретарь Ф. Ф. Канаев, член-корреспондент Академии наук Н. К. Пиксанов, научные сотрудники С. Д. Балухатый, В. А. Десницкий, В. В. Буш, М. Калаушин, А. А. Морозов, В. В. Гишпиус, Т. К. Ухмылова, Б. П. Козмин, А. И. Перепеч, А. Камегулов, О. Цехновицер и др. Присутствовали также аспиранты, которых было около 20 человек. Рассматривались итоги пушкинской конференции, состоявшейся в начале мая. Докладывал Н. К. Пиксанов. Деятельность конференции была одобрена. Затем было принято к сведению сообщение В. А. Десницкого о подготовке к изданию Горьковского сборника.⁶⁰ Далее обсуждался план исследовательской работы на 1934 год. В центре его была работа над изданиями академических собраний сочинений А. С. Пушкина (3 тома) и Г. И. Успенского (1 том), подготовка сборников «Литературный архив», посвященных Пушкину, Тургеневу, Горькому, революционно-демократической литературе. Планировалась подготовка «Трудов отдела древ-

⁵⁸ «Литература», 1931, № 1, стр. 6.

⁵⁹ ААН, ф. 150, оп. 1 (1932), № 13, лл. 47—50. Протокол вел С. Д. Балухатый.

⁶⁰ М. Горький. Материалы и исследования, I. Под редакцией В. А. Десницкого. Л., 1934, 552 стр.

нерусской литературы»,⁶¹ монография академика В. Н. Перетца «Исследование материалов по истории древнерусской и украинской литературы XVI—XVIII веков». План был одобрен, только было указано А. В. Луначарским на его несоразмерность с паличными силами научного коллектива.

Большой интерес у Луначарского вызвал план задуманной к 10-летию со дня смерти В. И. Ленина выставки в Литературном музее на тему «Маркс—Энгельс—Ленин об искусстве и политике партии». Докладывал А. Камегулов. А. В. Луначарский признал изложенный им предварительный план выставки удовлетворительным и подчеркнул необходимость выделить некоторые вопросы в экспозиции, чтобы посетитель обратил на них внимание. Он указал на важность привести не только оценки классиками марксизма-ленинизма отдельных литератур и писателей, но и их высказывания об общих законах развития литературы как искусства, в частности о законе, о котором он говорил на лекции аспирантам — о несовпадении экономического развития и идеологических формаций. «Маркс, — говорил Анатолий Васильевич, — отмечал моменты в истории, особенно благоприятные для развития искусства (античное общество и XVI век в Англии — Шекспир). Как высокое достижение Марксом отмечены английские реалисты — Диккенс и Теккерей, французские — Бальзак. Надо найти определители в общественных условиях, которые позволили искусству подняться на известную высоту. Искусство достигает известного высочайшего расцвета в силу сложившихся неповторимых условий — это главнейшее утверждение Маркса лишено какой бы то ни было постоянной схемы в развитии искусства. <Необходимо выделить> идею о неравномерности <экономического> развития и сложной зависимости от всех линий, из которых сочетается явление искусства.

Иное у Энгельса — о реализме и типизации. По Энгельсу — если художник хорошо знает жизнь и умеет типизовать, художник независимо от своих классовых связей может создать ценности, стоящие выше класса, ценности, переходящие классовые границы.

У Ленина — два пути развития «капитализма» необходимо подчеркнуть как особо важную идею. Другое у него — по каким признакам надо умозаключить, к какому классу относится писатель. По Ленину — «это» определяется тем, *какому классу он служит* (подчеркнуто в протоколе). Это не снимает социально-биографического изучения, но последнее имеет уже дальнейшее подсобное значение.

Необходимо на выставке выделить ряд мыслей как фундамент приобретений, из которых в дальнейшем литературоведам надо исходить.⁶² Выставку, рассчитанную на широкую публику, А. В. Луначарский считал необходимым разбить по проблемам, а внутри в оформлении дать справочные материалы.

Потянулись к марксистской методологии и древники. И в этом сказалось влияние нового директора, к которому они питали большое уважение.⁶³ А Анатолий Васильевич, по свидетельству академика К. Н. Никольского, в роли председателя Группы языка и литературы Академии наук неоднократно оказывал «содействие научным изысканиям в той области литературоведения, которая разрабатывалась бывшей комиссией по древнерусской литературе (КДР) Академии наук СССР».⁶⁴

В связи с разработкой научных планов на вторую пятилетку заведующий отделом древнерусской литературы академик А. С. Орлов 30 сентября 1932 года писал секретарю Отделения общественных наук академику А. Н. Самойловичу: «Мне кажется, что на 2 пятилетие в области изучения древнерусской литературы необходимо усилить именно методологическую сторону работы, бывшей до сих пор по преимуществу источниковедческой и библиографической. Во 2 пятилетке необходимо, наконец, создать схему общей композиции истории русской литературы эпохи феодализма (в отрезке от XI до 1/2 XVIII в.) на основе марксистской методологии... Я категорически возражаю против мнения, что еще не наступило время для осуществления общей композиции истории древнерусской литературы, потому будто бы, что *не все памятники этой литературы вскрыты и исследованы*».⁶⁵ Академик А. С. Орлов ставил также вопрос о необходимости усилить в Академии наук изучение русского фольклора и учредить центр по изучению западноевропейских литератур, включая античную. Отсутствие такого центра, писал он, «вредно отражается на комплексе литературных изучений АН». На заседании директора под председательством Луначарского 10 июня 1933 года вновь обсуждались эти вопросы. Луначарский с сочувствием отнесся к этому предложению и, судя по протокольной записи, сказал: «Уже есть постановление о развертывании отдела западной литературы. Надо сделать какой-то шаг для реализации этого постановления. Подработать на следующей сессии в Группе языков и литератур вопрос о фольклоре и Западном отделе».⁶⁶

⁶¹ «Труды Отдела древнерусской литературы», т. I, 1934, 360 стр.

⁶² ААН, ф. 150, оп. 1 (1933), № 3, лл. 47—48.

⁶³ «Вестник Академии наук СССР», 1934, № 2, стр. 35—36.

⁶⁴ ААН, ф. 247, оп. 2, № 47, л. 99.

⁶⁵ Там же, ф. 150, оп. 1 (1933), № 6, л. 31.

⁶⁶ Там же, оп. 1 (1932), № 18, лл. 47—50.

Так уже тогда в недрах института возникла мысль о том, что русская литература должна изучаться во взаимосвязи с устным народным творчеством и другими национальными литературами.⁶⁷ В 1936 году был организован по постановлению Президиума Академии наук сектор западных литератур,⁶⁸ а сектор фольклора был открыт в Пушкинском доме в 1939 году. Сектор западных литератур просуществовал до 1949 года. Он прекратил существование после того, как Институт мировой литературы им. М. Горького в Москве окреп и расширил свою деятельность. Мысль об изучении взаимосвязей русской и зарубежных литератур продолжала жить и осуществлялась лишь в 1957 году, когда был основан сектор по изучению взаимосвязей русской и зарубежных литератур под руководством члена-корреспондента, а с 1958 года академика М. П. Алексеева.⁶⁹

* * *

Существовала переписка между членами дирекции института, сотрудниками института и А. В. Луначарским.⁷⁰ Из нее мы узнаем, что институтом было послано письмо Горькому. Оно касалось горьковских материалов, поступивших от В. А. Десницкого и предназначенных для сборника. Через личного секретаря И. А. Саца Анатолий Васильевич просит Ф. Ф. Канаева задержать письмо к Горькому до разговора с Канаевым, «так как тип издания должен быть уточнен».⁷¹ Письмо к Горькому все-таки было послано, и в делах ИРЛИ в копии имеется ответ его на имя А. С. Орлова. Судя по ответу писателя, дирекцию ИРЛИ интересовало не только отношение его к публикации горьковских материалов, но и мнение о работе института. В письме из Сорренто от 8 февраля 1933 года Алексей Максимович пишет: «Получив Ваше сообщение о поступивших от В. А. Десницкого документах, касающихся литературной моей деятельности, — спешу сердечно поблагодарить Вас, а также Н. К. Пиксанова и Ф. Канаева за любезное сообщение это.

Сказать что-либо по поводу исследовательской, а также издательской деятельности ИРЛИ — не могу, ибо не знаком с этой деятельностью.

Видел том материалов по Решетникову, но не уверен: имеет ли ИРЛИ отношение к этому изданию. Если эта книга является началом серии подобных ей, то — на мой взгляд — начало неудачное. Взятая фигура недостаточно ярка, да и не симпатичная. Люди, которые лично общались с Решетниковым — Н. Е. Петропавловский, М. Я. Началов, — говорили о нем резко отрицательно. У нас совершенно не освещены — кроме Каровина — Помяловский, Куцевский, Левитов, Мамин-Сибиряк, Глеб Успенский, Станюкович, Потапенко, Альбов, Бажин, Вельтман и еще многие другие, не так давно Бонч-Бруевич сообщил мне, что у него в руках 26 ненапечатанных рукописей Лескова и вообще весь архив «Николая» Семеновича.

Весьма возможно, что я говорю об этом не по тому адресу, куда следовало бы, ибо — повторяю, — с деятельностью ИРЛИ не знаком и не знаю, с каких годов институт начинает новую литературу».⁷²

Выявил Анатолий Васильевич в некоторые детали института, которые касались отдельных сотрудников. Он хлопочет о назначении пенсии сотруднику Б. П. Козмину и беспокоится о том, чтобы до получения пенсии тот был обеспечен работой в институте. Рекомендует зачислить в аспирантуру при следующем наборе юного сотрудника института А. Грушкина. «Ввиду его молодости, — говорит он на заседании директора 10 июня 1933 года, — нельзя ли облегчить ему поступление в аспирантуру?»⁷³ Когда один из сотрудников был уволен за недисциплинированность, он сообщает через секретаря свое мнение: «Анатолий» Васильевич согласен, что в ИРЛИ нужно поддерживать строгую дисциплину, и охотно верит, что Ц. в дисциплинировании нуждается. Все же, по его мнению, исключение из штата — мера неправильная, тем более что дисциплинировать легче именно штатного работника. А «анатолий» Васильевич просит сообщить ему об урегулировании этого вопроса».⁷⁴

В каждый свой проезд ученый встречался со своими аспирантами. Аспиранты выбрали с его помощью темы для диссертаций, но защищали уже после его

⁶⁷ Там же, оп. 1 (1933), № 3, л. 49.

⁶⁸ 50 лет Пушкинского дома, стр. 128—129, 130.

⁶⁹ См. в кн.: Международные связи русской литературы. Сборник статей. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 450.

⁷⁰ В Ленинградском отделении Архива АН СССР нами обнаружены письма к А. В. Луначарскому академика К. Н. Никольского. В рукописном наследии Луначарского, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве, должны быть письма и других лиц, работавших в Пушкинском доме.

⁷¹ ААН, ф. 150, оп. 1 (1932), № 18, л. 186. В это время Анатолий Васильевич лежал в больнице. Письмо И. А. Саца датировано 26 февраля 1933 года.

⁷² ААН, ф. 150, оп. 1 (1932), № 18, л. 187.

⁷³ Там же, оп. 1 (1933), № 3, л. 49.

⁷⁴ Там же, оп. 1 (1932), № 18, л. 186.

смерти. Две диссертации были опубликованы в виде отдельных книг.⁷⁵ Когда автор этих строк колебался в выборе темы для диссертации, он обратился к Анатолию Васильевичу с письмом, на которое получил ответ: «Мой совет относительно Джордж Элиот остается в силе. Всякие работы о Шекспире сейчас интересны. Но все мало-мальски существенное, сказанное Марксом и Энгельсом о Шекспире, сейчас уже подобрано: этого очень немного. Что можно вывести из этих высказываний? Что Маркс чрезвычайно высоко ценил Шекспира, ставил его в самый первый ряд мировых писателей, что он ценил в нем жизненность, полноту, художественный реализм, считал его гениальным и проницательным знатоком жизни, высокохудожественно выражавшим свои суждения о некоторых господствующих явлениях общества, каковы суждения в нескольких случаях Маркс цитировал. Вы видите, что на всем этом никакого этюда о Шекспире построить нельзя. Если хотите писать о Шекспире вообще — сделайте это, по на тему „Маркс о Шекспире“ можно писать много-много 3—4 странички».⁷⁶

Последняя встреча аспирантов со своим руководителем состоялась в первых числах июня 1933 года: он пригласил их к себе в гостиницу «Астория», где остановился, и они отчитывались перед ним в своих успехах, выслушивали указания и советы. Это происходило в дружеской, теплой атмосфере. Ему надо было ехать в театр — дело было вечером, — в дверях соседней комнаты помере все время показывались Н. А. Розенель и театральный критик Рафалович, но Анатолий Васильевич так увлекся беседой, что отмахивался рукой и продолжал с увлечением говорить о Гейне, Фрейлиграте и Джордж Элиот. Я. Эйдуку и Г. Юрьеву, работавшим над первыми двумя темами, он очень рекомендовал обратиться к сотруднику Института литературы и искусства Академии Ф. П. Шиллеру, о котором высоко отзывался как о превосходном знатке германской революционной поэзии и литературных взглядов Маркса и Энгельса. Мне хотелось написать не только о Джордж Элиот, как советовал Анатолий Васильевич, но и о восприятии ее творчества в России. Зашла речь о статье Н. Г. Чернышевского «Шиллер в переводе русских поэтов», в которой тот говорит о значении переводной литературы в развитии русской художественной мысли и необходимости ее изучения. Луначарский отнесся к этому самым положительным образом.⁷⁷ Диссертация была названа «Джордж Элиот и ее оценка в России».

16 июля 1933 года А. В. Луначарский уехал за границу на лечение.⁷⁸ Эта поездка оказалась для него последней. Он лечился в Париже и оттуда был направлен на курорт Эвиан. В Эвиане им была продиктована «одна из самых его вдохновенных и глубоких статей — „Гоголиана, или Николай Васильевич готовит макароны“».⁷⁹ В августе Луначарский был назначен послом в Испанию, но до Испании не доехал. 26 декабря 1933 года в Ментоне ученого настигла смерть.

На другой день печальная весть дошла до Ленинграда. 28 декабря 1933 года в Пушкинском доме состоялась траурный вечер, посвященный памяти крупнейшего деятеля филологической науки и выдающегося революционера. На вечере, который был открыт вступительным словом академика А. С. Орлова, член-корреспондент Академии наук Н. К. Пиксанов выступил с докладом на тему «Луначарский как литературовед и критик». Н. К. Пиксанов поделился воспоминаниями о своих встречах с Луначарским, вместе с которым редактировал большую серию «Русские и мировые классики», выходящую в Госиздате с 1926 года. Под редакцией Н. К. Пиксанова вышла первая, прижизненная, библиография работ Луначарского.⁸⁰

С воспоминаниями и выражением скорби по поводу невозможной утраты выступили И. И. Векслер, Т. К. Ухмылова, Г. Юрьев, Д. П. Якубович, Я. Эйдук и др.

Институтом был выпущен специальный номер стенгазеты, посвященный ученому. Академическая газета «За социалистическую науку» поместила некролог по отклику П. Н. Беркова, Н. К. Пиксанова, академика А. Н. Самойловича, П. К. Крупской и др. Состоялось два общеакадемических вечера, посвященных памяти выдающегося ученого-коммуниста, на которых выступили президент Академии наук

⁷⁵ Г. Юрьев. Гейне и Верне. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936; Я. Эйдук. Фердинанд Фрейлиграт и Карл Маркс. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936.

⁷⁶ «Литературное наследство», т. 82, стр. 117.

⁷⁷ Мысль о взаимосвязях русской и зарубежных литератур была близка Луначарскому. Обдумывая план статьи о Шекспире для Большой советской энциклопедии, он писал в редакцию БСЭ 10 мая 1933 года о необходимости отвести в ней место вопросу об «отражении Шекспира в русской художественной и литературно-критической стихии» («Литературное наследство», т. 82, стр. 538).

⁷⁸ Н. А. Луначарская-Розенель. Последний год. В кн.: «Прометей», стр. 217.

⁷⁹ Там же, стр. 225.

⁸⁰ Р. С. Мандельштам. Книги А. В. Луначарского. Библиографический указатель. Под ред. Н. К. Пиксанова. Л.—М., 1926, 55 стр.

А. П. Каршинский, академик А. С. Орлов, член-корреспондент Академии наук Н. К. Пяксанов и др.⁸¹

Деятельность Луначарского в Пушкинском доме не была продолжительной. Но личность выдающегося большевика и ученого оставила неизгладимый след в жизни ИРЛИ, в сознании трудившихся в нем сотрудников, коммунистов и беспартийных. С ним связаны первые шаги новообразованного высшего литературоведческого учреждения Академии наук. Под его руководством началась борьба за внедрение последовательного марксизма в изучение истории русской литературы. Он был страстным пропагандистом изучения классического наследия в Пушкинском доме, и с него берет начало поворот к серьезному изучению этого наследия. При нем были задуманы первые академические собрания сочинений русских писателей, в частности собрание сочинений А. С. Пушкина.

Луначарский расширил диапазон деятельности института, включив в нее изучение древнерусской литературы, признал необходимым изучение западных литератур, имея в перспективе исследование их взаимосвязей с русской, а также устного народного творчества, без связи с которым не мыслил изучения литературы. Все эти начинания закрепились в Пушкинском доме и дают плодотворные результаты.

И самое важное: утверждавшийся А. В. Луначарским «революционный, коммунистический, марксистско-ленинский академизм»,⁸² сочетающий внимание к фактам и «мелочам» с размахом теоретической мысли, берущий все лучшее от старого академического литературоведения и применяющий ленинский подход к изучению литературных явлений — вот его самый ценный и жизненный завет Пушкинскому дому.

Е. В. БАРСОВ. О ЗАПИСИ И ИЗДАНИЯХ «ПРИЧИТАНИЙ СЕВЕРНОГО КРАЯ»

(ПУБЛИКАЦИЯ О. В. АЛЕКСЕЕВОЙ)

3 января 1896 года в Большом зале Московского Политехнического Музея состоялось заседание Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, посвященное знаменитой народной поэтессе И. А. Федосовой. На заседании присутствовала и сама И. А. Федосова. Вступительное слово произнес В. Ф. Миллер.¹ С большой речью о причитаниях Федосовой выступил перед собравшимися Е. В. Барсов. К этому времени он закончил подготовку материалов свадебных причитаний, записанных от И. А. Федосовой, которые должны были составить отдельный, третий том «Причитаний Северного края».

Доклад-статья Е. В. Барсова «О записи и изданиях „Причитаний Северного края“, о личном творчестве Ирины Федосовой и хоре ее подголосниц», несмотря на некоторую незавершенность, вызывает большой интерес. Сообщение Е. В. Барсова расширяет наши представления о знаменитой воленице, содержит живые зарисовки ее облика. В литературе, посвященной творчеству Ирины Федосовой, самые яркие страницы принадлежат М. Горькому. Кроме очерков о Федосовой в «Одесских ведомостях» и «Нижегородском листке», Горький об олонечкой воленице как замечательной народной поэтессе пишет и в «Жизни Климса Самгина». Эти высказывания великого писателя об Ирине Федосовой ныне стали хрестоматийными. В письме к А. П. Чапыгину от конца июля—начала августа 1926 года Горький снова вспоминает о Федосовой, о больших достоинствах ее поэзии: «Есть в памяти сердца и разума моего одно потрясающее, исключительное впечатление, его, пожалуй, можно сравнить с тем, что Глеб Успенский испытал в Лувре, пред Венерой... Моя Венера — Ирина Федосова, маленькая, кривобочая старушка, олонечка „сказительница“ былин... Она дала мне что-то, чего ни до, ни после ее я не испытывал».² Горький подчеркивает эмоционально-художественную глубину причитаний Федосовой, «выпрямляющую» силу ее творчества. Для Горького Федосова — величайшая поэтесса.

Ценность публикуемых материалов Е. В. Барсова заключается прежде всего в том, что они фактически дополняют горьковские характеристики, подтверждают оригинальность дарования Федосовой. Важно, что о Федосовой на этот раз говорит

⁸¹ Вечера Академии наук, посвященные памяти акад. Анатолия Васильевича Луначарского. «Вестник Академии наук СССР», 1934, № 1, стр. 49—50.

⁸² «Литература», 1931, № 1, стр. 6.

¹ Содержание вступительного слова В. Ф. Миллера передано в статье Г. И. Куликковского «Олонечка народная поэтесса Ирина Федосова в Москве». «Олонечки губерские ведомости», 1896, № 4, 17 января.

² «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 648.

ученый, который «открыл» олонекскую вопленицу, от нее самой узнал о ее жизни, записал ценнейшие фольклорные тексты.

Работа Е. В. Барсова является важным документом для понимания творческой истории «Причитаний Северного края». Она воспроизводит обстановку, в которой производилась запись федосовских причитаний, сообщает дополнительные факты, проливающие свет на биографию поэтессы, проясняет и личность самого Барсова, о котором мы имеем лишь самые общие сведения.

Е. В. Барсов говорит о причинах, побудивших его заняться поисками знатоков русской причеты в Олонекском крае, о незабываемых встречах с Ириной Федосовой. Существенное место в докладе занимает и описание тех трудностей, с которыми столкнулся собиратель при публикации «Причитаний».

В докладе-статье Е. В. Барсов полностью приводит текст инструкции, выработанной специальной комиссией по подготовке «Причитаний» к изданию. Документ этот отражает фольклорно-текстологические и эдичионные принципы того времени.

Говоря о статьях и рецензиях, вызванных появлением I тома «Причитаний Северного края», Е. В. Барсов сообщает отзыв известного английского фольклориста, историка литературы, критика и переводчика Вильяма Рольстона, появившийся в журнале «Akademy».³

Доклад Е. В. Барсова значительно дополняет его вступительную статью к I тому «Причитаний». Ученый-собираатель как бы подводит итог работы с Федосовой, обобщает свои наблюдения, отчитывается перед ученым обществом. Он касается и более специальных вопросов, выясняет некоторые художественные принципы построения причитаний, связь этой поэзии с обрядами и с действительностью «во всех отрадных и безотрадных ее проявлениях», раскрывает «поразительную оригинальность» художественного языка Ирины Федосовой. Е. В. Барсов говорит и о малоизвестном до сих пор факте существования при Федосовой хора подголосниц и воспроизводит конкретную картину творческого содружества вопленицы и ее хора.⁴

Пристального внимания заслуживают и замечания, сделанные Барсовым по поводу изданий свадебных причитаний, записанных от Федосовой О. Х. Агреновой-Славянской. Отзыв Барсова суров, но справедлив. Фольклористы, как нам кажется, должны учитывать замечания Е. В. Барсова при обращении к текстам, опубликованным в сборниках О. Х. Агреновой-Славянской.

Свой доклад, прочитанный в Политехническом Музее, Е. В. Барсов предполагал опубликовать в виде статьи-последствия к III тому «Причитаний Северного края», который так и не появился в печати.⁵ Исследователи творчества Ирины Федосовой обращались к этой работе Барсова, цитируя из нее отдельные отрывки. Так, К. В. Чистов в книге «Народная поэтесса И. А. Федосова» цитирует эту ценнейшую рукопись, а также использует факты, сообщаемые Е. В. Барсовым, не всегда указывая их источник.

Работа Е. В. Барсова публикуется нами по авторской рукописи.⁶ Рукопись, несмотря на поправки, поправки, перечеркнутые и перепутанные страницы, по всей вероятности, предназначалась как наборный экземпляр для типографии. На ней имеются характерные пометы: «Печатать с новой страницы», «Верстать с новой страницы» и т. п. Текст публикуется с учетом требований современной орфографии и пунктуации. Слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты в самой рукописи, курсив наш.

О ЗАПИСИ И ИЗДАНИЯХ «ПРИЧИТАНИЙ СЕВЕРНОГО КРАЯ», О ЛИЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ИРИНЫ ФЕДОСОВОЙ И ХОРЕ ЕЕ ПОДГОЛОСНИЦ⁷

Я считаю небесполезным ознакомить ученый мир с тем, 1) как и при каких условиях записываемы мною «Причитания Северного края»; 2) как и при каких условиях происходило издание записанных «Причитаний»; 3) как, наконец, отно-

³ В. Рольстону (1828—1889) принадлежат переводы произведений русской литературы и многочисленные труды, посвященные русской культуре и искусству, в том числе и фольклору. См. о нем в работе М. П. Алексева «Ч. Диккенс. Письма Вильяму Ролстону» (Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения, 3. Под ред. М. П. Алексева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 365—369).

⁴ В работах о Федосовой нет никаких упоминаний о хоре, существовавшем при вопленице, об этой своего рода «поэтической школе» олонекских воплениц.

⁵ Об этом намерении свидетельствует, например, пометка на первом листе рукописи: «В самый конец тома». Материалы, которые должны были составить III том «Причитаний Северного края», находятся в Государственном историческом музее, в отделе письменных источников (ОПИ).

⁶ Государственный исторический музей, ОПИ, ф. 450, № 48.

⁷ Статья эта была читана в Публичном заседании этнографического отдела Имп. Общества естествознания, антропологии и этнографии в присутствии самой Ирины Андреевны Федосовой (примечание Е. В. Барсова, — О. А.).

сились к изданным сборникам в Европе и в нашем отечестве. Затем присоединяю свои замечания о тех особенностях и характерных чертах изданной Причети, кои выделяют Ирину Андрееву как исключительное дарование в ряду всех других вопленец и причитальниц. Небезынтересны также сведения о хоре ее подголосниц.

Первым возбудителем для меня заняться именно этого рода народной поэзией — было внутреннее движение совершенно личного характера. В самом раннем детстве, лет 8—9-ти, в селе Андосе (Череповецкого уезда), где я рос и воспитывался, я любил присоединяться к сборищам на могилах, где каждый праздник, после обедни, происходили народные плачи о своих близких и родных. Мало понимая, что совершается вокруг меня, под воздействием общего горя плакал и я вместе с плакавшими. Иногда старшие насильно уводили меня с погоста и с горем приводили домой.

В школах, где я учился, не было упоминания о народной поэзии. В духовных академиях русская литература под воздействием эстетики Гегеля тогда признавалась только с Ломоносова. Вся древнерусская письменность, равно как и творческое народное слово, считались тогда недостойными академической кафедры.

По окончании академического курса поступив на службу в Олонецкую семинарию, я располагал очень много свободным временем: всего обязательных служебных часов было только 6 в неделю. При отсутствии всяких общественных развлечений в таком губернском городе, как Петрозаводск, мысль моя естественно стремилась остановиться на каком-нибудь ученом личном интересе.

Совершенно случайно я встретил в «Описании Олонецкой губернии» В. А. Дашкова несколько небольших заплачек, которые мгновенно воскресили во мне детские впечатления, пережитые мною на плакавших могилах, и породили желание собрать это поэтическое богатство Севера.

Совершенно также случайно от крестьянина Фролова, у которого стоял на квартире, узнал я о существовании Ирины Андреевны, которая как вопленица пользовалась славой во всем Заонежье, которую слушать собирались целые деревни, которая жила в Кузаранде, но приглашалась в отдаленные места на свадьбы и похороны. По наведенным справкам оказалось, что она вышла замуж за крестьянина Якова Федосова и живет в самом Петрозаводске, где муж ее как плотник содержит мастерскую.

Отыскав ее, я стал расспрашивать о причётах, но она встретила меня недружелюбно: «Чего вам, — говорит, — от меня надо? Знать я ничего не знаю и ведать не ведаю, какие такие причёты, да и с господами я никогда не зналась; всяк сверчок знай шесток, и сказывать ничего и не умею!» Но благодаря тому же хозяину, который уверил ее, что я человек неопасный, она вдруг сделалась со мною откровеннее и заявила, что «супротив ее песеннице не быть, — будет отвечать господу богу, — что на свадьбах ли запоет — старики запляшут, на похоронах ли завопит — каменный заплачет. Голос был такой вольный, нежный».

В великом посту 1867 года я начал записывать от нее духовные стихи и былины, диктовать что-либо другое в это время она сама считала грехом. Но я начал с богатырской эпохи еще и потому, что к этому прежде всего настроен был известным собирателем былин П. Н. Рыбниковым.

Сосланный в Петрозаводск, Рыбников в это время был секретарем Олонецкого губернского статистического комитета и пользовался большим уважением как знаток народной поэзии. Обратившись к нему за советом по поводу излюбленной мною задачи, он сказал, что бытовая поэзия не так важна, как богатырский эпос, и что я поступил бы гораздо полезнее, если бы направил свои интересы к продолжению сделанного им в этой области. Но, как впоследствии оказалось, он дал такой совет ввиду особых личных к тому побуждений.

Нужно еще заметить, что в то время в Петрозаводске губернатором был Ю. К. Арсеньев, сын известного географа и воспитателя покойного государя Александра II. Как человек просвещенный, он охотно открыл страницы как «Памятных книжек», так и «Олонецких ведомостей» для моих этнографических работ.⁸

⁸ Основные публикации Е. В. Барсова за эти годы в «Олонецких губернских ведомостях»: «Черты из психологии обонежского народа. I. Язык. II. Пословицы. III. Заговоры. IV. Загадки» (1867, № 1), «Каргопольские свадебные причитания» (1867, №№ 3, 4), «Пудожские свадебные причитания» (1867, №№ 6, 7), «Из обычаев обонежского народа. Увеселения на масленице» (1867, № 8), «Заплачки обонежского народа при отправке сына в рекруты» (1867, № 10), «Из обычаев обонежского народа» (1867, №№ 11—16), «Свадебные причитания Каргопольского уезда Архангельского прихода» (1867, №№ 25, 26), «Заплачка о братьях-семинаристах, утонувших в Онеге-озере» (1867, № 30), «Петрозаводские свадебные песни (причитания)» (1868, №№ 1—4), «Олонецкие бытовые песни» (1868, №№ 24—27), «Этнографические материалы. Заплачка на могиле отца. Заговоры» (1868, № 45), «Из беседы со сказителем Щ-г-л. I. Песнянцы-слепцы. II. О даянх и податях» (1868, № 51), «Народный рассказ о поезде Петра I в Соловки» (1872, № 8), «Причитания Северного края» (1872, № 86); в «Памятной книжке

Все записанное мною в великом посту было издаваемо в «Олонецких ведомостях». Так были записаны от Ирины Андреевны и тотчас же напечатаны былины о Чуриле Пленковиче и жене Берьмаса, о девяти братьях-разбойниках и обещенной ими сестре, а также былина из разряда сказаний о злых матерях, губительницах зазнобушки сыновей своих под заглавием «Софья».⁹ Все эти старины были разобраны и оценены О. Ф. Миллером в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1868 год.¹⁰

Для П. Н. Рыбникова издание мною былин имело в то время особенное значение. Ему были известны подозрения, распространявшиеся в Петербурге из среды людей, обладавших высоким почтенным авторитетом, в подлинности сделанных им открытий в области богатейшего эпоса. Намеки на то, что былины сочинены им самим, стали проскальзывать и в печати со ссылкой на авторитетность подобных подозрений.¹¹ Если подозрения не подкреплялись доказательствами, то, с другой стороны, и сам П. Н. Рыбников, сидя в Петрозаводске, чувствовал себя беспомощным и беззащитным.

Изданные мною былины послужили ему данными для отражения петроградских ученых подозрений.

В IV томе «Песен» П. Н. Рыбникова, вышедшем в свет в том же 1867 году, напечатано его письмо, в коем он указывает на меня как продолжателя своего дела, после чего всякое сомнение в подлинности былевого народного творчества становится уже невозможным и должно исчезнуть.

После Пасхи я обратился к излюбленному своему предмету — к записыванию от Ирины Андреевны народных плачей. Сначала она ходила ко мне на квартиру, но это оказалось для ней неудобным, так как она должна была в течение дня продовольствовать своих рабочих. Поэтому я стал ходить сам на ее квартиру, что продолжалось ежедневно более года. Запись происходила при весьма неблагоприятных обстоятельствах: мы сидели с нею в маленькой каморочке, рядом с мастерской, она диктовала при шуме и стуке рабочих и то и дело развлекалась хозяйственными хлопотами.

В то время она была бойкая, подвижная, веселая, в полном развитии телесных и нравственных сил, душа ее быстро могла повышаться под воспоминанием пережитых явлений народной жизни и непосредственно создавать соответствующие художественные образы. Но было и еще одно обстоятельство, которое действовало на нее угнетающим образом: покойный муж ее хоть и редко, но подвержен был «запойной слабости». В этих случаях Ирина Андреевна была сама не своя, вздыхала, горевала, унывала.

Во все те минуты, в кои замечал я подобное угнетение, я тотчас же прекращал записывание плачей и нач(инал) разговор о чем-нибудь стороннем.

В рассказах речь ее всегда была также живописна и образна, часто перемешивалась или обычными присловьями, или ей самой принадлежащими художественными оборотами. Я спешил записывать и эти эпические выражения. Их немало напечатано мною в 1 и 2 томах «Причитаний Северного края». Для образца приведу здесь еще несколько неизданных подобных оборотов: «Дерево не обрстет, и человек не разбогатеет»; «На друга калач купи, а не люб, так сам съешь»; «Битому псу лишь кнут покажи, — хвост поджал, на погост подрал»; «Леса ушасты, а поле глазасто»; «Чего душа бежит, то навстречу бежит»; «Голодному Федоту и репа в охоту»; «Без слова Иван, а со словом — болван»; «Живет на кучке, а чвакает по-горничному».

Иногда же в подобных случаях я обращался к ней и говорил: «Ну, Иринушка, и ты утомилась, и моя рука устала, отдохнем, перестанем писать. Вот расскажи-ка мне лучше какие-нибудь хитрые загадки», и она тотчас же начинала диктовать. Вот, например, несколько таких еще неизданных загадок:

1. Стоит стол, золотой вершок, около пичуги серебряные? (Церковь).

за 1868—1869 годы: «Рассказ о том, как писец Панин давал имена заонежским деревьям в 1628 г.» (стр. 189—193), «Исторический очерк Важезерской пустыни» (стр. 69—80), «Преподобные обонежские пустынножители. Материалы для истории колонизации и культуры Обонежского края» (стр. 3—68).

⁹ Перечисленные тексты опубликованы в работе: Е-ор Барсов. Из обычаев обонежского народа. «Олонецкие губернские ведомости», 1867, №№ 11—16.

¹⁰ О. Ф. Миллер считал записи Е. В. Барсова составляющими «главное, что появилось по части народной словесности в 1867 году», а самого Е. В. Барсова рекомендует как продолжателя «прекрасного дела», начатого П. Н. Рыбниковым («Журнал Министерства народного просвещения», 1868, № 3, стр. 909—927).

¹¹ В печати впервые сомнение в подлинности рыбниковских записей высказал И. И. Срезневский. Упреки П. Н. Рыбникова в том, что тот не дал никаких пояснений к изданию текстов своего первого сборника, И. И. Срезневский писал: «Он (сборник, — О. А.) мог произвести на некоторые умы впечатление тяжелое... ведущее за собою нерешимость простодушно доверять, что собранные песни суть действительные произведения народных, а не подражания им» («Известия имп. Академии наук», 1862, т. X, вып. III, стр. 248).

2. На море дощечка колыхается, с берега деверья дивуются. Стать колотить — рукава мочить? (Полосканье белья).
3. Летят три птицы, одна птица говорит: «Мне зимой хорошо», другая птица говорит: «Мне летом хорошо», третья говорит: «Мне все равно»? (Телега, сани и дровни).
4. Мать толста, отец горбат, дочь красна, сын кудреват, под небеса стават? (Печка, крюк, огонь, чад).
5. Полосы хрустальные, а межи деревянные? (Оконницы).
6. Дарья да Марья, видясь, не обоймутся? (Потолок да пол).
7. Стоит кабак, на 4-х ногах, в красных сапогах? (Стол, уставленный винами).
8. Берега кругые, вода дорогая, рыбка без перьев хлобыщется? (Сковорода, масло и пряженный пирог).
9. Летит птица орел, несет в зубах огонь; по конец хвоста — человежья смерть? (Оружье).
10. Щука-белуга хвостом махнула, леса спали, а горы стали? (Коса, скошенная трава и кошны).

Когда я замечал, что она успокоилась, окончив свои хозяйственные хлопоты, или же после нравственного угнетения приходила в равновесие духа и становилась более или менее веселой, я вновь приглашал ее продолжить причеть. «Ну-ко, прочитай, что написано», — замечала она. Когда я прочитывал то, на чем остановились, она опять, видимо, входила в роль вопленицы, творческая мысль ее подымалась и слово становилось более выразительным.

Так происходила запись изданных мною плачей Ирины Андреевны, погребальных, завоенных и свадебных. Как я уже сказал, более года продолжалась эта работа, почти ежедневно, за исключением больших праздников.

Как ни доверчиво относилась ко мне Ирина Андреевна, но она, конечно, не могла понимать, зачем это делается, и потому подчас выражала опасение, не вышло бы какого худа из подобных занятий. Вдруг иногда среди работы она жалобно начинала говорить мне: «Не сошли ты меня Христа ради в чужую дальнюю сторонущку, не запри ты меня в тюрьму заключенную, не лиши ты меня родимой сторонущки!» Но каждый раз мне удавалось ее успокоить и восстановить к себе доверие.

Не более, чем Ирина Андреевна, понимала значение нашей работы и вся петрозаводская окружающая среда: насмешливые улыбки, ребяческие передразнивания или же надутое презрение к подобным занятиям, недостойным порядочного человека, — вот обычные явления, окружавшие нашу усиленную и напряженную работу.

Но что всего замечательнее — и в Петербурге на первый раз совершенно неожиданно окатили мою энергию холодной ключевой водой. Сюда прибыл я нарочно в 1868 году, чтобы поделиться с ученым миром впечатлениями открытого мною сокровища бытовой народной поэзии. Прежде других я представился к знаменитому исследователю древнерусского письма и языка И. И. Срезневскому. Когда я сообщил ему о богатстве записанных мною народных плачей, он вдруг неожиданно замечает: «Не увлекайтесь, молодой человек, вы слишком много придаете значения вашим записям; не угодно ли: моя прислуга наскажет вам разных разностей, и вы, пожалуй, записывайте, но не думайте, что это будет иметь важное значение в науке. Вот у нас даже в университете есть такой же увлекающийся человек, который написал целую библию об Илье Муромце.¹² Нет ничего опаснее, как спешить с преждевременными выводами». Предостерегая против увлечения, Измаил Иванович был вместе с тем настолько любезен, что ввел меня в круг своей семьи и пригласил меня на ближайший вечер.

Слова его о собранной мною причети, однако, подействовали на меня самым угнетающим образом и тем сильнее, чем больше носил я в душе своей благоговения к его ученому авторитету. Если бы, кажется, в эти минуты случились под рукою мои записи, то я, ничтоже сумняся, не пожалел бы бросить их в камин и сжечь как материал, малоценный для науки.

Но затем явился я к восторженному человеку, глубоко понимавшему и любившему народное песнетворчество, к Оресту Федоровичу Миллеру. Он раскрыл мне впервые, что в настоящее время Измаил Иванович занимается юсовыми памятниками и что юс малый и юс большой так увлекли его самого, что он стал равнодушным к живому творческому народному слову, и я не мог встретить с его стороны иного отношения к своей работе, какое встретил.

Когда я прочитал наизусть Оресту Федоровичу несколько отрывков из плачей, он пришел от них в неописуемый восторг и заявил, что это будет драгоценнейший вклад в науку. «Верьте мне, что это будет так, и сам Измаил Иванович убедится в этом».

На вечере у Измаила Ивановича я познакомился с Владимиром Ивановичем Лаанским, который также выразил горячее сочувствие моей работе. Окрыленный этим сочувствием, я вернулся в Петрозаводск и записал от Ирины Андреевны еще

¹² И. И. Срезневский, по всей вероятности, имел в виду уже известного к тому времени О. Ф. Миллера и его работу «Илья Муромец и богатство Киевское», изданную в следующем, 1869 году.

несколько плачей. В 1870 году я был вызван на службу в г. Москву, и здесь начались уже новые хлопоты, именно об издании собранных причитаний.

Слух об имеющихся у меня материалах народного песнетворчества скоро дошел до славянофильского кружка. В доме Александра Ивановича Кошелева назначен был особый вечер, на который я был приглашен, чтобы ознакомить собрание с причетью Ирины Андреевны. В этом домашнем собрании, со множеством гостей, я прочитал два погребальных плача: «Плач вдовы по муже» и «Плач дочери по матери». Чтение мое произвело сильное впечатление и тут же решено было: 1) в первом же обыкновенном заседании Общества любителей российской словесности избрать меня в свои действительные члены; 2) в ближайшем публичном заседании прочесть «Плач вдовы по муже» с краткою биографиею Ирины Федосовой и 3) обсудить вопрос об издании погребальных плачей. Насколько я понимаю, особенно заинтересовался личностью вопленицы Ю. О. Самарин.

Публичное заседание, в котором читал я указанный плач, было весьма торжественно и по количеству собравшихся членов и по множеству избранной публики. Чтение было принято восторженно и вызвало продолжительные и единодушные рукоплескания.

Что касается самого издания, то председатель общества А. И. Кошелев, пожертвовавший обществу 3000 рублей, изъявил согласие выдать мне из этой суммы 500 руб. для напечатания первого тома заимообразно, с тем, чтобы на деньги, вырученные от продажи, приступить к печатанию следующего тома.

Для обсуждения же вопроса о самом характере издания составлена была особая комиссия из действительных членов Н. А. Чаева, И. Д. Беляева и П. А. Бессонова, которая и выработала инструкцию для издания.

Так как инструкция эта напечатана не была, то я считаю своевременным ознакомить с нею ваше внимание.

«В Общество любителей российской словесности»

Комиссия, избранная Обществом для предварительного рассмотрения собранных д. ч. Е. В. Барсовым и предназначаемых к изданию „Олонецких причитаний“, по рассмотрении их находит, что:

1) Собранные г. Барсовым народные памятники, в высшей степени замечательные и до сих пор неизвестные еще печати нашей в таком обилии, совершенно заслуживают издания при содействии Общества, издержки же на это должны простираться до 500 руб. сереб.

При этом так как означенные памятники представляют собою один материал, еще не приготовленный как следует к изучению, то Комиссия находит уместным выразить некоторые желания о тех приемах, способах и вообще подготовке или обстановке текста, которые, по ее мнению, должны бы сопровождать издание, одобренное Обществом, ввиду уже прежних многих образцов сего рода и требований современной науки. А именно желательно:

2) Чтобы напечатаны были при этом объяснения самой певичцы, сколько их помнит г. Барсов, в собственных выражениях ее языка об ее профессии, применении причитаний, употреблении и распространении между народом, об ее предшественниках или современниках — товарищах по занятию и т. п., вроде как сообщал о том г. Барсов на публичном чтении Общества.

3) На основании ее же показаний или собственных сведений собирателя чтобы изложено было несколько более, чем теперь есть у него, подробностей самого обряда, весьма различного, сопровождаемого причитаньями, вообще все, что известно г. Барсову или может быть еще дополнено в существенных чертах из других русских источников о сем деле.

4) Чтобы сличить „Плачи обрядные“ с теми „Эпическими“, кои относятся к разным нашим историческим лицам и уже отпечатаны частью в изданиях Общества.

5) Текст дополнить по возможности главнейшими вариантами из прежде изданных русских памятников в том же роде, в особенности из сборника Рыбникова, описания Дашкова (1832 г.), Терешенки, Пермского сборника, Записок о Сибири (в «Библиотечке» для чтения), „Сельской свадьбы Архангельской“ губ(ернии)“, „Москвитянина“, 1853 г., XIII, 38, в статье Жаравова и всего старше „Веселой Эрато“ 1800 года.

6) Прибавить для лучшего сравнения в столь важном отделе, который на Руси является впервые в такой полноте и должен обратить внимание славян, особенно южных, ответственные у сих последних хотя в нескольких образцах так называемые „нарицанья“, с переводом по-русски, равно как указать на существующие такие же памятники у новых греков и албанцев, в чем г. Собирателю изъявляет желание содействовать г. Бессонов.

7) Так как в тексте, вероятно, при переписке вкрались, по-видимому, недосмотры, например > *безуненные* вм. *безъуемные*, *привородчиков* вм. *приворотщи-*

ков, кратчи (короче) вм. крадчи (крадучись), слали вм. стали, золотой вм. золотой, вокьяне вм. в окаяне и т. п., и так как теперь же оказываются в тексте некоторые поправки, напр<имер> „из окошечка в окошечко“ вм. „из окошка в окошко“, прибавленные, кажется, для стиха, то Комиссия видит необходимым г. Собрателью еще раз точнее проверить беловой текст с черновыми записками и предполагает, что при исполнении сего во многих случаях изменится стих, обычно теперь растянутый на 13 слогов, устранятся иногда однообразные утомительные окончания уменьшительных слов, в роде употребляемых Сахаровым, напр<имер> *головушку, ветрушки, людушки, смерётушка, ествушек, рыболовушка, Онегушка, желаньице* и т. п., равно как выпадут из иных мест удлиняющие стих вставки *ведь, вот, знать* и т. п., чаще встречаемые не у народа, а в подправках издателей для стиха. Также необходимо во многих словах выставить ударения.

8) Желателен в конце особый словарь областных олонечских речений с грамматическими формами и указатель главнейших имен, терминов, типических выражений при обряде, вообще отличительных признаков творчества сего рода. Слова, требующие объяснения, большею частью подчеркнуты, и те, при коих следует указать просто перевод, и при коих прибавить обстоятельное объяснение происхождения смысла.

9) Нелишне, кажется, будет издателю для соответствия с прочими, теперь уже довольно значительными изданиями самого Общества или ему посвященными трудами наблюдати подобие в самом наружном виде новой книги, в формате и шрифте, сколько это возможно, напр<имер>, особенно чтобы шрифт текста был не французский и плотный, а четкий, круглый».

Приступив к изданию, я решился, однако, вести дело без всякого постороннего вмешательства и затем, приняв в руководство большую часть правил этой комиссии, я никак не мог согласиться ни на уменьшение слогов в стихах, ни на превращение уменьшительных форм в положительные в именах существительных, так как это весьма существенные и характерные особенности поэтического языка Ирины Федосовой. Текст песен напечатан мною так, как он был записан.

Я предполагал дать заглавие сборнику «Олонечская причеть» и посоветовался о том с А. Н. Пышиным, бывшим в то время в Москве для занятий, кажется, масонскими рукописями. Он окрестил мой сборник «Причитаниями Северного края».

Составив свои замечания об языке причитаний и не считая себя филологом, я сообщил их Ф. И. Буслаеву, который вполне их одобрил и исполнил некоторыми существенными указаниями. Так совершилось издание первого тома, содержащего в себе погребальные плачи. Но это издание стоило мне впоследствии больших неприятностей.

Часть экземпляров поступила в Общество, часть была разослана мною в дар разным ученым, словом, книги у меня незаметно разошлись, а денег получено за них было очень мало. Между тем А. И. Кошелев, уже не будучи председателем Общества, стал требовать их возвращения, писал письма и посылал ко мне секретаря — в то время Н. П. Аксакова — с объявлением, чтобы деньги непременно были возвращены.

Мне удалось вернуть их уже в председательство Ник<олая> Саввича Тихонравова, который в письме ко мне указал на критические обстоятельства Общества, хоть мои собственные обстоятельства были тогда еще критичнее.

Гораздо благоприятнее сложилось издание 2-го тома «Причитаний». Бывший городской голова Ярославля И. А. Вахромеев, истинно русский человек, с душою отзывчивою на всякое благое дело, горячо сочувствующий народному песнетворчеству, не только охотно принял на себя все издержки по изданию, но любезно обратил все экземпляры в мою собственность. И я пользуюсь случаем, чтобы здесь публично «вознести ему русское спасибо с благодарностью».

3-й том, в состав коего входят «Причитания свадебные», издан в «Чтениях импер. Общества истории и древностей российских»;¹³ но так как он еще научно не обработан, то и не выпущен в свет в отдельных оттисках.

Достоин особого внимания, что г. Агренева-Славянская записала тоже свадебные песни, и от той же Ирины Андреевны, и издала их в двух выпусках.¹⁴ Издание это доказывает, как опасно братья не за свое дело. Для строго научной записи народного песнетворчества безусловно требуется напряженное внимание, большое знакомство с лексиком народного языка, с звуковыми и формальными его особенностями.

¹³ Плачи свадебные, заручные, гостибные, баенные и предвенечные. См.: «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1885, кн. 3—4.

¹⁴ См.: О. Х. Агренева-Славянская. Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными, в 3-х частях. Записаны от Ирины Андреевны Федосовой, крестьянки Олонечкой губ., и от нищей Ульяны из Петрозаводска. Москва—Тверь, 1887—1889.

Отсутствие этих условий повело к таким грубым ошибкам, которые делают издание г-жи Славянской лишенным всякого научного значения. Так, у ней встречаем *вм. чистого полюшка — частое полюшко* (II, 94); *вм. у столба у точенаго — у столба печенаго* (I, 8); *вм. жарочки (печки) муравельные — зарадки муравельные* (16, II); *вм. под гученькой громовойтой — под рученькой громовойтой* (16, II); *вм. замочка щелкотурного — т. е. щелкающего — замочик щекотурный* (отштукатуренный) (II, стр. 54, 90); *вм. сладко уеданьцё, т. е. лакомое угощение — сладко уяданьци* (16, 86). Вместо *скуп взяла меду сладкого, т. е. покушную, договорную цесу* — напечатано: *с куб взяла* (16); *вм. по гульбищам-прокладбищам напечатано: по кладбищам*; вместо *когда стоснется, т. е. стоскуется, по родимой своей родинке* напечатано: *когда стошнитса* (98). *Вм. спасет бог — спасен бог* (11, 47); *вм. падет печаль — падет печень на ретиво сердечушко* (16, 12); *вм. преж сего — пресего*; *вм. холостба* (холостые ребята) — напечатано: *холодьба* (16, 29). *Вм. изутра буде с поранного-го утрышка* записано и напечатано: *с парадного-го утрышка* (16, 34); *вм. на болоти ходя моются* напечатано: *маются*; *вм. приложу волю ко белому ко личушку* записано и напечатано: *ко белому колечушку*. Слово *дочи, т. е. дочь*, превращено в два союза *да и чи* (53). Выражение *мне как будет... превращено в леки будет...*

В языке Ирины Андреевны б часто заменяет м, как скоро стоит оно перед л: *младый* (молодой) она выговаривает: *бладый*. Очень часто затрудяло это слово г-жу Славянскую. Она сначала записывала *вм. блад отецкой сын — благ отецкой сын*, т. е. добрый (ч. I, стр. 10, 13) или же *брад отецкой сын*, т. е. бородатый (ч. I, 40); наконец, должна была допустить непонятное слово *блад*, но сделала еще более курьезное к нему замечание: «Блад — это значит-де шалун, что-де у нас называется Дон-Жуан».

В записях множество мест, лишенных всякого здравого смысла, так что если бы «Причать» Ирины Андреевны впервые явилась под пером г-жи Славянской, то она была бы искажена до неузнаваемости и не обратила бы на себя ни малейшего внимания людей науки.

Теперь же ясно, что изданием своих записей она доказала лишь необдуманную отвагу и полнейшее незнакомство ни с звуковыми, ни с формальными особенностями народного творческого языка и взялась не за свое дело.

Затем, согласно сделанному заявлению, следует сказать о том, как относились у нас и за границей к изданным мною «Причитаниям Северного края».

Как только я послал первый том Измаилу Ивановичу Срезневскому, который, как выше сказано, так недоверчиво и недружелюбно встретил их с первого раза, теперь ответил мне письмом, в коем признает их драгоценным вкладом в науку и дружески приветствует меня с появлением в свет такого капитального труда.

Алексей Александрович Котляревский присылает мне свою книгу «О погребальных обычаях языческих славян» с надписью: «Знаменитому причитальнику» и при этом письмо, в коем замечает, что погребальная причет Федосовой — явление изумительное, выходящее из ряда подобных народных произведений, что она подтверждает все, до чего доходил он долгим путем утомительных разысканий, и разрешает многое такое, что оставалось еще под знаком вопроса.

Академия наук почтила этот том со своей стороны присуждением Уваровской премии. Но что касается журналов и газет, то о нем больше говорили за границей, чем у нас.¹⁵

К. П. Победоносцев, следивший тогда за иностранной литературой, приветствуя меня с этим изданием, указал на те европейские журналы, в коих появились отзывы о «Причитаниях Северного края». Особенно сочувственные статьи в английских научных органах «*Athenaeum*» и «*Academy*». Так как статьи эти остаются в России неизвестными, то я позволю себе ознакомить вас с одною из них, именно со статьею г. Рольстона, напечатанною в «*Academy*» под заглавием «Русская погребальная литература».¹⁶

¹⁵ Не совсем верное замечание Е. В. Барсова. Издание первого тома «Причитаний Северного края» было положительно оценено прогрессивными критиками. Н. К. Михайловский, например, в обзоре «Литературные и журнальные заметки» («Отечественные записки», 1872, № 11, ноябрь, стр. 149—154) отмечает «гражданские мотивы» некоторых плачей, почти полностью приводя плач о старосте и плач о писаре. «Труд г. Барсова, — заключает Н. К. Михайловский, — заслуживает всякого внимания и благодарности» (стр. 154). Л. Н. Майков в рецензии на «Причитания» также дает высокую оценку этого собрания («Журнал Министерства народного просвещения», 1872, ч. CLXIV, стр. 388—399). Отзывы на «Причитания» были помещены во многих журналах разных направлений. Краткий обзор этих отзывов см. в кн.: К. В. Чистов. Народная поэтика И. А. Федосова. Петрозаводск, 1955, стр. 84—87.

¹⁶ W. R. S. Ralston. Russian funeral literature, Laments of Northern District, collected by E. V. Barsov, vol. I. Moscow — The Academy, 1878, December, v. III, № 61, pp. 443—444.

«На северо-востоке России, — говорил он, — в особенности на побережьях Онежского озера, собиратели народных былин и песен имели в последнее время большой успех. Оттуда именно и в таком богатстве почерпнуты были те эпические сказания, которыми увенчались терпеливые разыскания Рыбникова и Киреевского. По несчастю, с именем третьего труженника на этом поле связывается печальное воспоминание. А. Гильфердинг, председатель Этнографического отделения Географического общества, намеревался издать массу подобных сказаний, собранных им в этом уголке России. Несколько месяцев тому назад он вновь отправился туда для своих изысканий, но вот в отдаленном Каргополье свалила его „огневица“, и он сокрыт там в преждевременной могиле.

Из поэм, живущих в среде малограмотного крестьянства этого края, без сомнения, представляют самый живой интерес мидиологи, или те народные плачи, которые рождаются при гробах и могилах, на поминках и похоронах. Образчики подобных плачей были уже отчасти представлены Рыбниковым в его больших сборниках и встречаются там под именем заплачек. Много здесь драматических данных, дышащих оригинальною силою и пафосом. Но никакого не может быть и сравнения между прежними образцами и теми высокими поэмами, которыми мы обязаны г. Барсову.

Труд его впервые всецело посвящен был этой отрасли русского народного песнетворчества, значение которого в науке он доказал вполне основательно. Требуется значительное время, чтобы дать надлежащее понятие о достоинстве поэм, которые наполняют первый том труда г. Барсова. Но теперь воспользуемся по крайней мере теми замечаниями, которые делает он в своем прекрасном вступлении и чрезвычайно любопытном описании погребальных обрядов Северного края.

Упомянув о вошленицах и их значении в народной жизни, г. Барсов говорит, что первое упоминание о существовании их в России встречается в летописи Нестора и что плачи еще до времени Ольги составляли необходимую принадлежность тризны или погребального пира. Когда умер Олег, тогда „весь народ плакал по нем плачем великим“. Прекрасный плач Ярославны уцелел в знаменитой поэме „Слове о полку Игореве“; образцы подобных плачей сохранились далее в житиях древнерусских святых; образцы отражают в себе многие черты тех надгробных плачей, в которых до днесь изъясняют свои чувства жители Обонежского края над гробами и могилами своих покойников.

Церковь со своей стороны старалась остановить обычай погребальных причитаний, обращая внимание на те языческие чувства, коими они дышали, клеймя их именем „сатанинских“ песен, осуждая их в проповедях и торжественно голосом Собора 1551 года. Но ни влияние церкви, ни могущество Петра Великого не могли поколебать волю народную. Над телами друзей и родными, над их гробами и могилами крестьяне доныне по всей России продолжают выражать свою печаль по-прежнему. Впрочем в последнее время причетъ значительно утратила свои прежние достоинства, и для того, чтобы услышать ее в совершенстве, нужно посетить тот отдаленный край, где г. Барсов собрал материал для своего труда.

Много можно узнать из этих старинных поэм о воззрениях древних славян на посмертную судьбу и загробное существование. Смерть (mors) рисуется здесь как заклятый враг человечества, который является в разных видах; напрасно человек усиливается бороться с нею и отнять из ее когтей любезную жертву. То как ворон или сокол, то как прекрасная девица или согбенный нищий крадется она в суженый дом и тайно, незаметно прерывает нить жизни. Напрасны тут моления и обещания; она неуодоима, она поражает свою жертву решительным ударом и иногда как бы наслаждается ею. Акт умираяния во всех этих поэмах сравнивается с захождением солнца, с падением звезды, с таянием снега и т. п. В смертный час считают священным долгом друзья и родные присутствовать при умирающем и глядеть, „как выходит душа из белого тела и как очи ясные прощаются с белым светом“. Скорбь бывает сильнее, если не удалось им быть в эту минуту близ смертного одра. Душа, выходящая из тела, по описанию плачей, то уносится ветром, то улетает, как птица или бабочка, то приемлется одним из ангелов-архангелов. Точно так же различные воззрения относительно посмертного существования душ. С одной стороны, выражается верование, что души предков обитают внутри могил, поэтому плотники, работающие гроб, умоляются, чтобы они сделали это домовище отрадным для обитания. С другой стороны, представляется, что они витают в облаках и носятся вместе с ними (птицами и бабочками (?), — О. А.).

Но где бы ни жили души умерших, они всегда приглашаются в гости живыми людьми. Г. Барсов приводит даже пример, как ищут покойников на дворе, на сених, в избах, и думает видеть здесь следы семейного культа.

Идея домашнего духа так близка к идее домовладельца, что если вы скажете: „Я видел хозяина“, то заонежанин поймет, что вы видали домового.

Интересная картина страдной жизни северного крестьянства рисуется в этих поэмах. В них, как в зеркале, можно видеть однообразный ландшафт, мрачный лес, печальную тундру, жалкую растительность и т. д. Они рисуют перед нами и этот простой люд, который должен вести постоянную борьбу с природой, его живописную одежду, его склад жизни, его нравы. Особенно любопытны те места, которые относятся к семейному родству и его патриархальному быту, доныне мало

изменившемуся. Всякая степень родства требует особенного плача, поэтому мы встречаем особые формы плачей не только для родителей и детей, братьев и сестер, но также для дядей, тетей, племянников, сватовей и т. п.

Очень интересны также поэмы, бросающие свет на отношения крестьян к их волостным властям и к высшим классам общества, мировым посредникам, судьям, докторам и т. п. Не менее любопытны также плачи разного рода, посвященные лицам утонувшим, или убитым громом, или совершившим самоубийство.

Мы должны также поспешно коснуться описания погребальных обрядов. Многие из них чрезвычайно замечательны. Таков, например, обычай вставлять стекла в гроб, класть туда волосы, ногти, хлеб и т. п.; обычай употреблять против лихорадки мыло, которым обмывали покойника, обычай петь обручальные песни при гробах молодых девушек и мн. др.

Описание г. Барсовым погребального пира или поминок драгоценно, тем более что он делает сравнение между обычаями олонецких славян и подобными же поминками мордвы.

Чрезвычайно забавным описанием воплениц или плакальщиц, от которых записана большая часть драгоценного материала, вместе с Севернорусским словарем и общими замечаниями о языке причитаний заканчивается первый том труда г. Барсова. За исполнение его г. Барсов вполне достоин благодарности от всех, занимающихся изучением народной жизни.

В. Р. С. Рольстон».

Академик Александр Николаевич Веселовский напечатал свой отзыв в одном немецком журнале, в коем придает строго научную ценность погребальным причитаниям и в ряду других вопросов отмечает значение «судьбы», как выражена она в этих плачах.¹⁷

Что касается 2-го тома, то он, по-видимому, не проник за границу, по крайней мере нам не известно ни одной статьи в европейских журналах, относящейся к плачам завоенным. Но зато в русской литературе по этот был принят с редким сочувствием и единодушием, все серьезные органы повременной печати почтили его своими лестными отзывами без различия направлений.¹⁸ Из газет особенно остановились на нем «Петербургские новости».¹⁹ Даже некоторые провинциальные газеты обратили на него свое внимание и сказали со своей стороны доброе слово. Императорская Академия наук, как и первый том, удостоила Уваровской награды, а императорское Русское археологическое общество — большой золотой медалью.

Само собой разумеется, что научная ценность изданных мною сборников обусловлена внутренним содержанием и значением причети Ирины Андреевны Федосовой, и поэтому считаю долгом остановить Ваше внимание на тех характерных чертах этой причети, кои выделяют ее из ряда подобных произведений и заставляют удивляться творческой силе, ее создавшей.²⁰

Из подголосного хора, который всегда участвовал в причети, выделяются даровитые личности, обладающие твердой памятью и творческим воображением. Из среды их и появляется вопленица, умевшая усвоить эпическое мирозерцание и художественные приемы причети. Она становится запевалом, руководительницей хора и вместе главной распорядительницей того или другого общественного ритуала. Достоинство вопленицы, в зависимости от ее дарований, состоит:

¹⁷ A. N. Wesselofsky. Die neuen Forschungen auf dem Gebiet der russischen Volkspoesie. 1. Die russischen Totenklagen (Новые разыскания в области русской народной поэзии. 1. Русские погребальные плачи). «Russische Revue», 1873, Bd. III, S. 487—526.

¹⁸ Краткую библиографию отзывов см. в кн.: К. В. Чистов. Народная поэтика И. А. Федосова, стр. 115.

¹⁹ В «Новостях и Биржевой газете» (СПб., 1882, № 45) напечатана рецензия И. Белова, перепечатанная затем в «Олонецких губернских ведомостях» (1883, №№ 24—25).

²⁰ Далее следует текст, зачеркнутый в рукописи: «У греков, как известно, певцы — начинатели плача стояли около гроба и песни плачевные пели, а жены им вторили стоном. Почти так же происходит и у нас, лишь с заменю певцов причитающими женщинами. Лишь только вопленица заводит стих, тотчас же на третьем или четвертом слове ее подхватывает хор и поет вместе с нею. Вопленица является, таким образом, руководительницей, наставницей хора, и хор так осваивается с ее причетью, с ее формами и оборотами, что является как бы учеником своей руководительницы.

Понятно, что среди этого хора выделяются особые личные дарования, кои быстро схватывают вместе с моментами мирозерцания и все художественные приемы руководящей вопленицы. Эти-то лучшие дарования и заступают потом место одна другой и таким образом являются носителями и хранителями священной причети, переходящей от поколения к поколению».

1) в умении усвоить как можно больше старых словес, старых образов, выражений и оборотов,

2) в умении понять окружающую обстановку и область действительной жизни,

3) в умении овладеть хором и слушателями, а послушать вопленицу собирались иногда целые деревни,

4) и, наконец, в построении стихов, более или менее правильных.

Известные вопленицы были «на славе», и слава эта состояла в зависимости от их личных дарований. Заступая во времени одна другую, эти даровитые женщины и являются, таким образом, носителями и хранителями священной причеты, переходящей от поколения к поколению.

На похоронах вопленица — жрица смерти, а на свадьбах — жрица судьбы.

Моменты эпического мирозерцания, связанные с тем или другим ритуалом, в причеты всегда остаются неизменными. Смерть всегда представляется как злая сила, действующая в разных видах. С моментом умирания предносится сознанию образ солнечного заката или другие подобные явления.

С одеванием покойника всегда связано представление об отправлении его в путь-дорогу, в сторону дальнюю, неизвестную, с устройством гроба — строение его загробного домовища. Когда везут его на кладбище — с ним идет и горе. Когда опускают в могилу, всегда следует воззвание к ветрам, чтобы они оживили мертвеца.

То же сказывается и в свадебном ритуале, в коем к известным моментам также прикреплены известные эпические представления. При рукобитье — всегда ошлакивается неволя, при омовении в бане — рисуется чистая и очищающая вода, в предвенчальную ночь всегда снится невесте зловещий сон, невеста-сирота всегда вызывает из могилы ради благословения покойного отца.

Но если эти эпические представления, связанные с теми или другими моментами ритуала, остаются неизменными, то во внешней форме их выражения всегда сказывается личное творчество вопленицы, которая при каждом новом случае свободно и художественно изменяется.

Причеть не песня, застывшая в своей форме и повторяемая почти без перемены в разных деревнях. Причеть всегда обусловлена живой разнообразной обстановкой, новыми лицами и характерами, и потому неизбежно связана с личной творческой импровизацией. Вот почему даже при каждой новой записи одна и та же вопленица диктует, можно сказать, новую причеть.

С ранних лет, когда Ирине Федосовой не было еще и двадцати лет, выступала она в роли вопленицы и скоро стяжала себе громкую славу. Я записал от ней до 30 000 стихов, но она легко могла бы продиктовать и сто тысяч, так как творческая импровизация ее неистощима.

Много издано причитаний разных плакальщиц, но все они большей частью отрывочны, а потому и справедливо называются заплачками. Причеть Ирины Федосовой охватывает все моменты ритуала и потому отличается необыкновенною полнотою и законченностью; эпические представления в ней выражаются в таких ярких очертаниях, как ни в одной из известных заплачек.

Другая отличительная черта ее причеты состоит в том, что она не ограничивается ритуальным содержанием, но захватывает народную действительную жизнь в самых широких размерах и ярко рисует ее перед нами во всех отрадных и безотрадных ее проявлениях. На похоронах она была истолковательницей семейного горя; в своих плачах она входила в положение осиротевших, думала их думами и переживала их сердечные движения, но не только она выплакивала чужое горе. Она объявляла во всеулышанье нужды осиротевших и указывала окружающим на нравственный долг поддержки; она поведала нравственные начала жизни и открыто высказывала думы и чувства, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни. На свадьбах, где преобладал лишь ритуальный характер плачей, в живых очертаниях она давала понять и почувствовать волю-жизнь в доме родительском и неволю-жизнь на чужой стороне под игмом злой судьбы среди скрозоконной семьи. Но вместе с тем она внушала невесте совет, как должна она вести себя, жить и работать у богоданных родителей, чтобы жилось ей сносно и быть в чести у них.

Мало того, причеть Ирины Федосовой касалась иногда разных сторон других общественных классов — и характеризует их очень метко. При чрезвычайном нравственном подъеме творческая мысль ее возвышалась иногда до государственной идеи и указывала на глубочайшее значение ее в народной жизни.

Наконец, язык Ирины Федосовой и самое построение стихов таково, что резко выделяет ее из ряда всех других известных вытйй или плакальщиц. Язык вытйй ее, скажем ее словами, вольный, размашистый, оригинальность его поразительна.

На древность языка, кроме множества отдельных слов и выражений, указывают и многие звуковые, формальные и синтаксические особенности, отмеченные мною в «Замечаниях о языке», приложенных к каждому тому.

Такою же древностью объясняется и то, что в плачах почти все имена существительные, прилагательные, числительные и даже наречия являются в умень-

шительной форме, что указывает на непосредственное, живое, первобытное отношение к природе и на теплоту родственных и приятельских отношений в семье и обществе.

Вольность языка обусловлена свободным переносом ударений с одного слога на другой. Когда с словами соединяются уже понятия, ударение в них получает устойчивость, но когда слова — более образы, чем понятия, они в слогах своих легко поддаются гибкости, и ударение, переходя с одного слога на другой, не только не ослабляет образности выражения, но, напротив, еще более выделяет его в ряду других слов и тем больше оттеняет его значение. Язык первобытный есть язык певучий, и ударения в нем легко подчиняются закону музыкальности и поэтическому размеру стиха.

Размашистость языка Ирины Федосовой выражается в том, что она не только свободно пользуется богатым запасом готовых слов и выражений, но под влиянием известного образа для точного единобытного его очертания легко создает новые слова и выражения, или словам издержкам придает новую форму. Много таких слов и выражений, отмеченных нами в «Замечаниях о языке» в первых двух томах «Причитаний», уже внесено в Академический словарь русского живого языка. В плачах свадебных их также немало.

Наконец, нельзя не заметить, что в причети Ирины Федосовой за известными подлежащими всегда следуют известные сказуемые, и наоборот: сказуемые всегда соединяются с известными подлежащими. Особенно часто имена нарицательные связываются с одними и теми же предикатами. Таковы, например, горы *высокие*, леса *дремучие*, звезды *подвосточные*, петелки *булатные*, дверь *дубовая*, порог *грановитый*, тяга *лугоная*, крылечико *переное*, сени *решетчатые*, перекладыны *кленовые*, ошесточек *окладный*, светлая *светлица*, брусова *лавочка*, скатерть *однозубная* или *новобраная*, естучка *сахарная*, питьца *медвяные*, пшена *белоярого*, народ да люди *добрые*, суседи *стародавни*, холостыба *неженатая*, советны подружки, *мелкопрയാстна* косынька, *семицветныи* ленточки, *пяльшкка* *точеныи*, *иглочки* *тамбурные*, *лошадущки* *ступистыи*, *кони* *борзые*, *сбруя* *чесмяная*, *облако* *ходячее*, *бура-надара*, *молвия* *свисстучая*, *гром* *трескучий*, *корабли* *черные*, *зимущка* *студеная*.

Упомянем обычные имена ласкательные по отношению к родителям: *матушка желанная*, *жалостливой* *родной* *батюшко*; по отношению к дочери: *ненаглядно* *милое* *дитятко*, *белая* *лебедушка*, *касата* *мила* *ластущка*, *свеча* *воску* *ярого*; по отношению к сыну и брату: *белый* *светушко*, *ясен* *сокол*, *тепло-красно* *солнышко*, *породушка* *именитая*, *имя* *со* *изотчиной*, *краснословыице* *отчимое* и т. п.

При Ирине Федосовой всегда состоял хор подголосниц. Девушки-подружки лет 10-ти уже начинали прислушиваться к ее плачам, и затем лет 15—16-ти поступали в хор и становились подголосницами. Быть в ее хоре — считалось в округе делом почетным и необычным. Оплачивался не только труд вопленицы, но вознаграждался и труд подголосниц такими или иными подарками.

Хор Ирины Федосовой в совершенстве усвоил ее поэтический язык и построение стихов. Стоило ей произнести первые три слога, и хор уже знал все дальнейшие слова и пел их вместе с нею. Так, например, она запоет: «Укати» и хор продолжал вместе с нею: «укатилось красное солнышко».

Она: За гору...

Хор: За горушки оно да за высокия.

Она: За лесу...

Хор: За лесушки оно за дремучии.

Она: За часты...

Хор: За часты звезды да подвосточныи.

Или, например, в плачах свадебных:

Она: Вы не скрынь...

Хор: Вы не скрыньтесь-ко, пожалуста

Она: Да вы пе...

Хор: Да вы петелки булатнии.

Она: И ты не хлом...

Хор: И ты не хломкай, дверь дубовая

Она: По порог...

Хор: По порогу грановитому.

Последние два слога в каждом стихе как бы замирали на ее устах, но хор сплояна выпевал и эти последние слоги.

Л. М. АРИНШТЕЙН

«ДЕМОН» ЛЕРМОНТОВА И «ПРЕОБРАЖЕННЫЙ УРОД» БАЙРОНА В ОБРАБОТКЕ Р. РОССА

Сближение имен Лермонтова и Байрона имеет давнюю традицию: критики, современные Лермонтову, и позднейшие исследователи уделили немало внимания связи его творчества с духовным наследием Байрона.¹ В последние годы советские исследователи, рассматривая эту связь в контексте общего литературного развития эпохи, показали типологическую близость двух поэтов; в результате «байронизм» Лермонтова предстал в новом аспекте: не как подражание, а как самостоятельное ускоренное развитие в направлении, пройденном предшественником.² Становление этой концепции привлекло внимание к вопросам восприятия Лермонтова в Англии, в особенности к проблеме усвоения его творчества той частью английской литературы, которая развивалась в русле байроновской традиции.

В этой связи представляет интерес эпизод, когда произведение Лермонтова было использовано при переработке произведения Байрона. Речь идет о предпринятой в 80—90-е годы попытке Рональда Росса завершить неоконченную драматическую поэму Байрона «Преображенный урод», а впоследствии на той же основе создать «средневековый роман» (a *mediaeval romance*). В обоих случаях были использованы мотивы лермонтовского «Демона».

«Преображенный урод» («The Deformed Transformed») принадлежит к наименее читаемой и исследованной части байроновского наследия. Напомним сюжет и творческую историю этой драматической поэмы.

Работу над поэмой Байрон начал зимой или весной 1822 года в г. Пизе. Во вступительной заметке Байрон называет источники, навеявшие ему философскую концепцию, сюжет, образы и поэтическую тональность поэмы: «Это произведение частично основывается на сюжете из романа „Три брата“,³ изданного много лет назад, — к нему же восходит „Лесной демон“ М. Г. Льюиса,⁴ частично же — на „Фаусте“ великого Гете».⁵

Связь с традициями «готического романа» и с гетевским «Фаустом» отчетливо видна в самой драматической поэме. Первая сцена воспроизводит один из эпизодов романа «Три брата»: всеми презираемый и гонимый горбатый урод Арнольд пытается лишить себя жизни. Появляется демон, который предлагает преобразить его внешность. Арнольд соглашается и преобразяется в прекрасного графа. Дальнейшее развитие событий подсказано исходной ситуацией «Фауста»: демон при-

¹ В. Спасович. Байронизм у Пушкина и Лермонтова. «Вестник Европы», 1888, апрель, стр. 500—548; Н. Дашкевич. 1) Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова. «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», 1892, кн. VI; 2) Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова. «Демон». «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», 1893, кн. VII; Э. Дюшен. Поэзия М. Ю. Лермонтова в ее отношении к русской и западноевропейской литературе. Казань, 1914, стр. 51—110; М. Розанов. Байронические мотивы в творчестве Лермонтова. В кн.: Венок Лермонтову. М.—Пгр., 1914, стр. 343—384; А. Федоров. Творчество Лермонтова и западные литературы. «Литературное наследство», т. 43—44, 1941, стр. 129—226; К. Черный. Лермонтов и Байрон. В кн.: М. Ю. Лермонтов. 1841—1941. Пятигорск, 1941, стр. 47—74. Много внимания английским и немецким источникам Лермонтова уделено в книге Б. Эйхенбаума «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (Л., 1924); см. также работы, указанные в примеч. 2. Из зарубежных работ последних десятилетий можно назвать: S. K. Mukherjea. The Influence of Byron on Lermontov. Oxford, 1945 (неопубликованная диссертация); W. J. Entwistle. The Byronism of Lermontov's «Hero of Our Time». «Comparative Review», I, 1949, pp. 140—146; J. T. Shaw. 1) Byron. The Byronic Tradition of the Romantic Verse Tale in Russian and Lermontov's «Mtsyri». «Indiana Slavic Studies», vol. I, 1956, pp. 165—190; 2) Lermontov's «Demon» and the Byronic Oriental Verse Tale. «Indiana Slavic Studies», vol. II, 1958, pp. 163—180, etc.

² Ср.: А. В. Федоров. Лермонтов и литература его времени. Изд. «Художественная литература», Л., 1967, стр. 3—26, 251—252, 312—335; М. Нольман. Лермонтов и Байрон. В кн.: Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. I. Исследования и материалы. Гослитиздат, М., 1941, стр. 466—515.

³ Joshua Pickersgill. The Three Brothers. L., 1803. Этот многотомный готический роман в комментарии к русскому переводу «Преображенного уroda» ошибочно назван повестью.

⁴ Байрон, очевидно, имеет в виду драму М. Г. Льюиса (Matthew Gregory Lewis) «One O'clock, or the Knight and the Wood-Demon» (L., 1811).

⁵ Advertisement to «The Deformed Transformed». In: G. Byron, The Works, ed. by E. H. Coleridge, vol. V, L., Murray, 1901, pp. 473—474.

обретает прежний уродливый облик Арнольда и становится его постоянным спутником. Причина, по которой демон служит Арнольду, отличается от разработанной в «Фаусте» традиционной мотивировки, связанной с борьбой сил зла за человеческую душу. От Арнольда требуется лишь одно: следовать своей натуре. Демон убежден в изначальной порочности людей и уверен, что свободное развитие человеческой природы неизбежно приведет к торжеству зла.

В поэме Байрона «демоническая» тема как бы расслаивается на два взаимосвязанных, но вместе с тем самостоятельных мотива: мотив Мефистофеля — демона — спутника человека и мотив демонической личности — неистового в своем волевом напряжении, глубоко страдающего гротескного урода. Последний мотив, как известно, почти одновременно с Байроном интенсивно разрабатывал Гюго, создавший целую серию неистовых и страдающих уродов.

Следующие сцены посвящены первому походу Арнольда и демона — их участию в осаде и взятии Рима французами (1527) и зарождению любви Арнольда к прекрасной римлянке Олимпии, которую он спас от преследовавших ее солдат. На этом поэма обрывается.

Имеется свидетельство, что Байрон много лет вынашивал замысел произведения о судьбе преобразенного урода и продумал сюжет до конца. Мэри Шелли в заметке на форзаце принадлежавшего ей экземпляра поэмы записала: «Долгое время это была излюбленная тема лорда Байрона. По-моему, он упоминал о ней еще в Швейцарии... Я не знаю, как Байрон намеревался закончить поэму, но он говорил, что представляет себе дальнейшее развитие событий полностью».⁶

О причинах, по которым поэма осталась незавершенной, позволяют судить воспоминания о встречах с Байроном в 1821—1822 годах двоюродного брата П. Б. Шелли — Томаса Медуина. В одной из записей Медуин детально описывает, как «однажды утром»⁷ Шелли и он, зайдя к Байрону, застали его работающим над рукописью. Это была драматическая поэма «Преображенный урод»:

«— Вот, Шелли, пишу драму, что-то в духе „Фауста“. Интересно, как ты к ней отнесешься.

Шелли внимательно прочитал, затем молча вернул рукопись.

— Ну что, — спросил лорд Байрон, — понравилось?

— Меньше, чем любое твоё произведение, из того, что я когда-нибудь читал. Дурное подражание „Фаусту“. К тому же, здесь целых две строки из Саути...

Байрон мгновенно изменился в лице и поспешно спросил: „Какие строки?“ Шелли прочитал:

And water shall see thee,
And fear thee, and flee thee.

Это из „Проклятия Кехамы“.⁸

Его светлость, не проронив ни слова, пхвырнул поэму в горящий камин».⁹

В феврале 1824 года, за несколько недель до смерти Байрона, поэма была опубликована издателем большей части его произведений в те годы — Джоном Хантом. Факт публикации поэмы вызывает ряд вопросов как относительно мотивов, по которым Байрон все же решил издать произведение, столь демонстративно им уничтоженное, так и о степени соответствия опубликованного и уничтоженного текстов. Некоторые предположения на этот счет содержатся в дневнике того же Т. Медуина, единственного к тому времени живого свидетеля, знакомого с содержанием уничтоженной рукописи: «Трудно передать мое удивление, когда два года спустя я прочитал о выходе в свет „Преобразенного урода“. Я был абсолютно уверен, что он погиб тогда в Пизе. Возможно, у Байрона оставался какой-то другой экземпляр рукописи, или он написал все заново, не изменив, похоже, ни слова — только исключил строки из „Кехамы“. Он всегда поразительно точно помнил все, что когда-нибудь написал. Мне кажется, он мог воспроизвести по памяти любую свою строку».¹⁰ Предположение о том, что опубликованный текст поэмы дословно соответствует первоначальному, содержится также в упомянутой выше заметке Мэри Шелли.

Так или иначе, к моменту, когда Байрон представил свое произведение на суд Шелли, оно было еще далеко до завершения. После того как Шелли произнес свой приговор и Байрон сжег рукопись, о продолжении работы над поэмой, разумеется, не могло быть и речи. Решение (или согласие?) опубликовать поэму, оче-

⁶ Там же, стр. 474.

⁷ Записи Медуина не датированы, но по ряду признаков можно установить, что рассказанный им эпизод относится к весне 1822 года.

⁸ «Проклятие Кехамы» («The Curse of Kehama», 1810) — поэма Роберта Саути, придворного поэта-лауреата, которого Байрон глубоко презирал и неоднократно высмеивал (см., например, сатиру «Видение суда» и посвящение к «Дон Жуану»).

⁹ Thomas Medwin. Journal of the Conversations of Lord Byron. Noted during a residence with his Lordship at Pisa in the years 1821 and 1822, vol. I. Paris, 1824, pp. 161—162.

¹⁰ Там же, стр. 162—163.

видно, не послужило для Байрона достаточным стимулом к тому, чтобы вернуться к работе над ней, завершить и опубликовать полностью. Возобновлению работы над поэмой, столь сурово встреченной его близким другом, Байрон предпочел издание ее в неоконченном виде, о чем он сообщает во вступительной заметке: «Настоящее издание содержит только две первые части и вступительный хор к третьей...»

Вместе с тем поэт не исключал возможности того, что со временем он доведет ее до конца: «Остальное, быть может, появится позже».

В 80-е годы прошлого века неоконченная поэма Байрона привлекла внимание Рональда Росса, человека, чье имя хорошо известно в истории науки и гораздо меньше в истории литературы.

Рональд Росс (Ronald Ross, 1857—1932) родился в Индии, в семье военного. С детства он увлекался поэзией и музыкой, но по настоянию отца занялся медициной. После получения диплома он некоторое время служил судовым врачом, затем вернулся в Индию. Именно здесь развернулось его разование естествоиспытателя — микробиолога и эпидемиолога: Россу удалось выявить возбудителя и переносчика малярии — открытие, за которое в 1902 году ему была присуждена Нобелевская премия.

Человек разносторонних интересов и творческих способностей, Росс опубликовал несколько работ по математике, увлеченно занимался музыкой и литературой. Уже первые поэтические опыты Росса, относящиеся к началу 80-х годов, обнаруживают его приверженность к романтической традиции: его воображение занимается необычные характеры, остро драматические ситуации, впечатляющие полуфантастические пейзажи. Образцами для творческого вдохновения ему служили байроновские поэмы-мистерии «Манфред», «Каин» и близкие им по характеру произведения.¹¹

К концу 80-х годов относится замысел Росса создать на основе байроновского фрагмента собственный вариант поэмы «Преображенный урод». В поисках пути для решения этой задачи Росс не проявил особой оригинальности. Он обратился к одному из наиболее разработанных мотивов «демонической» традиции — к мотиву трагической обреченности любви демона к земной женщине, ответная любовь которой принесла бы ему искушение. Этот мотив, разработанный А. де Виньи в «Элоа» и особенно полно в «Демоне» Лермонтова, показался Россу наиболее отвечающим духу байроновского замысла.¹² Во всяком случае именно его Росс положил в основу развития и разрешения намеченного Байроном драматического конфликта.

Введение нового мотива потребовало переработки первых сцен, хотя общий характер экспозиции сохранился: уродливый горбун Зосимо (так в варианте Росса зовут Арнольда) обменивается телом с демоном, явившимся к нему в облике блестящего графа Азримана. Нравственные страдания Зосимо от сознания собственного уродства усугублены в варианте Росса тем, что горбун безнадежно влюблен в прекрасную Лелиту, дочь графа Райхенфельса. Отсюда его стремление изменить внешность. Обе эти детали в байроновской поэме отсутствуют. Росс конкретизирует также причину, по которой обмен телами нужен демону: последний страстно, но безответно любит сестру Зосимо — Астреллу и надеется, что добро, сделанное для брата, пробудит взаимность Астреллы.

Дальнейшее действие развивается уже без всякой опоры на байроновскую поэму: демон в облике горбуна по-прежнему тщетно добивается любви Астреллы. Между тем Зосимо в облике Азримана легко завоевывает любовь Лелиты и женится на ней. Мать Зосимо, догадываясь об обмене телами, пытается убить настоящего Азримана, чтобы предотвратить обратное превращение, но... смертельно ранит собственного сына. Астрелла уносит тело брата в горы, где демон в образе Азримана вновь молит ее о любви. Астрелла, тронутая его красотой и печалью, колеблется: умирающий Зосимо умоляет ее не откликаться на призыв Азримана. Астрелла отвергает любовь демона и сраженная его прикосновением погибает вместе с братом.¹³

¹¹ По словам Росса, наибольшее впечатление в молодые годы произвели на него «Илиада» в переводе А. Попа, «Король Лир» Шекспира, «Д-р Фауст» К. Марло и драматургия младшего современника Шекспира — Ф. Мэссинджера (Philip Massinger, 1584—1639), чье творчество стало впервые доступно широкой публике благодаря изданию 1868 года (см.: R. Ross. Memoirs. L., Murgau, 1923, p. 21). Литературным дебютом Росса был изданный ограниченным тиражом сборник «Edgar: or the New Pygmalion, and the Judgement of Tithonus» (Madras, Higginbotham, 1883). Лирика Росса собрана в сборнике: Poems. L., Mathews, 1928, 96 pp.

¹² Тридцать пять лет спустя Росс вспоминал: «Я считал тогда, что эти два сюжета (речь идет о байроновском «Преображенном урод» и лермонтовском «Демоне», — Л. А.)... следует объединить...» (R. Ross. Memoirs, p. 90).

¹³ Ronald Ross. The Deformed Transformed. Bangalor. Printed at the Spectator press, 1890 (50 private copies) (2-nd ed. — L., Chapman, 1892; с многочисленными изменениями и добавлением новой сцены (III) в IV акте).

В переделке Росса в центре философско-художественной концепции поэмы оказывается уже не горбун, как в фрагменте Байрона, а демон. Соответственно демон Росса значительно более сложен, чем параллельный байроновский образ, тогда как Арнольд—Зосимо, нравственные переживания которого представляли для Байрона первостепенный интерес, у Росса выполнял главным образом сюжетную функцию.

В начале поэмы демон появляется на горной вершине, проклиная бога и свою трагическую судьбу: грозный и одинокий дух зла, обреченный вечно ненавидеть, он вместе с тем обречен и вечно страдать, ибо хранит в своей душе искру стремления к добру. «Эта крупица добра в моей душе — мой ад», — восклицает демон. Он мечтает вырваться за пределы царства духов и, превратившись в человека, «вкусить человеческой любви и слиться с землей». Таким образом, уже в первых сценах обнаруживается, что в трактовке образа демона Росс следует за Лермонтовым.

В еще большей степени это относится к упомянутой выше сцене в горах, где демон молит Астреллу о любви. Не только сама ситуация и ее трагическое разрешение, но даже содержание последнего монолога демона во всем существенном совпадает с заключительной частью поэмы Лермонтова.

В плане рассмотрения интересующего нас вопроса представляется уместным ближе познакомиться с той интеллектуальной и культурной средой, в которой создавалась драматическая поэма Росса. Английское общество второй половины XIX века отличалось гораздо меньшей замкнутостью, чем когда-либо прежде: оно было широко открыто различным духовным влияниям из-за рубежа, и традиции континентальной культуры — в том числе русской — в немалой степени определяли духовный облик английской интеллигенции.

Интерес англичан к России — ее политике, экономике, культуре — особенно заметно усилился в конце 70-х годов и неуклонно возрастал в последующие десятилетия. В это время в Англии интенсивно переводятся романы Тургенева, Толстого, Достоевского. В журнале «Athenaeum» появляется постоянная рубрика — «Обзор новинок русской литературы», который с середины 80-х годов вел Н. И. Стороженко.¹⁴ Выходят работы по истории русской литературы. Имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя встречаются по разным поводам на страницах английских литературных журналов и трудов, посвященных России.¹⁵

Знакомство англичан с Лермонтовым восходит к 40-м годам: в 1843 году «Blackwood's Edinburgh Magazine» напечатал «Дары Терека» в превосходном переводе Т. Б. Шоу,¹⁶ а в 1846 году появился английский перевод книги И. Г. Головина «Россия при Николае I», содержащей сведения о ссылке и гибели Лермонтова.¹⁷ Между 1854 и 1887 годами в Англии вышли четыре перевода «Героя нашего времени», причем последний выдержал в течение полутора лет два издания.¹⁸ Приветствуя появление очередного перевода, журнал «Athenaeum» отмечал, что количество переводов «Героя нашего времени» на европейские языки является рекордным для художественного произведения русского автора.¹⁹

В 1875 году был опубликован стихотворный перевод «Демона», выполненный А. Стифеном.²⁰ Как известно, И. С. Тургенев тогда же высоко оценил поэтические достоинства этого перевода.²¹ В 1881 году, одновременно с постановкой в Ковент-Гарденском театре оперы А. Г. Рубинштейна «Демон», последовало второе и

¹⁴ См.: «Athenaeum», 1886 (Jan.—June), pp. 23—24; 1887 (Jan.—June), pp. 25—26, 1887 (July—Dec.), pp. 15—16, etc.

¹⁵ У. Ролстон в статье, прямо не относящейся к Лермонтову, тем не менее не преминул упомянуть имя русского поэта (W. R. Ralston. Prince Peter Vyazemsky. «Athenaeum», 1879, 18 Jan., p. 88). Он же посвятил Лермонтову генеалогическую заметку «A Scot Abroad» («Athenaeum», 1873, 13 Sept., p. 336).

¹⁶ «Blackwood's Edinburgh Magazine», vol. 54, 1843, pp. 799—800. Т. Б. Шоу (1813—1862) — в то время адъюнкт-профессор английской словесности в Царско-Сельском лицее. В 1845 году он поместил в том же журнале подробную статью о Пушкине и переводы двадцати его стихотворений.

¹⁷ J. G. Golovin. The Nations of Russia and Turkey and their destiny. L., 1846, p. 110.

¹⁸ Sketches of Russian Life in the Caucasus. L., 1853 (без упоминания имени Лермонтова); The Hero of our Days. From the Russian of Michael Lermontoff by Teresa Pulszky. L., Hodgson, [1854]; A Hero of our own Times. From the Russian of Lermontoff (now first translated into English). L., D. Bogue, 1854; A Hero of our Time by M. U. Lermontoff. Tr. from Russian with life and Introduction by R. I. Lipmann. L., Ward and Downey, 1886 (2-nd ed. — L., Vizitelly, 1887).

¹⁹ «Athenaeum», 1886, 28 Aug., p. 270.

²⁰ M. Lermontoff. The Demon: a poem. Tr. from Russian by A. C. Stephen. L., Trübner, 1875 (перезд. — L., 1881, 1886).

²¹ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Сочинения в пятнадцати томах, т. XIV, изд. «Наука», М.—Л., 1967, стр. 261, 554—555.

в 1886 году — третье издание лермонтовской поэмы в переводе А. Стифена. В 90-е годы, вскоре после «Преображенного уroda» Росса, вышел в свет новый перевод «Демона», сделанный Ф. Сторром.²² В 80-е годы были переведены на английский язык и другие поэтические произведения Лермонтова: в 1884 году журнал «Blackwood's Edinburgh Magazine» опубликовал четыре стихотворения Лермонтова в переводе А. Е. Стейли — «Дары Терека», «Чаша жизни», «Казачья колыбельная песня» и «Узник»,²³ а в сборник переводов из русских поэтов Чарльза Уилсона, вышедший три года спустя, было включено уже четырнадцать лермонтовских произведений, в том числе поэма «Беглец», стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Тучи», «Парус», «Спор», «Сон» («В полдневный жар...»), «Ветка Палестины» и др.²⁴ В антологию Дж. Поллена «Стихи с русского» вошло двадцать два стихотворения Лермонтова.²⁵

Источники знакомства англичан с творчеством Лермонтова были весьма разнообразны. Так, в книгу для чтения для изучающих русский язык, изданную в 1879 году, включены в качестве учебных текстов фрагменты из «Героя нашего времени», «Мцыри» и «Казачья колыбельная песня».²⁶ Обширные фрагменты из «Демона», «Песни о купце Калашникове», «Мцыри», а также из стихотворений «Смерть поэта», «Дума», «Поэт» и других приведены в известной «Истории русской литературы» Чарльза Тернера.²⁷

Существенная роль в распространении русской культуры в Англии в 80-е годы принадлежала русской классической музыке. Произведения Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Рубинштейна широко исполнялись в концертных залах и театрах Лондона, успешно конкурируя с итальянской, немецкой и французской музыкальными школами. Для воспитания Лермонтова особое значение имела популярность в Англии А. Г. Рубинштейна, который получил признание англичан сначала как исполнитель,²⁸ а затем как композитор. В 80-е годы в Англии было издано не менее восьми нотных альбомов с песнями и романсами А. Г. Рубинштейна, содержащих, в частности, музыкальные произведения от слова Лермонтова — «Парус», «Утес», «Тучи», «Ангел», «Выхожу один я на дорогу», «Желание» и др.²⁹

Немалую роль в популяризации Лермонтова в Англии сыграла постановка оперы «Демон» в Лондоне, а также концертные исполнения отдельных арий из этой оперы. В отклике на премьеру оперы «Демон», состоявшуюся в Ковент-Гарденском театре 21 июня 1881 года, журнал «Athenaeum» отмечал, что исключительному успеху оперы в значительной мере способствовало «поразительное совершенство поэмы Лермонтова, положенной в ее основу».³⁰

Об интересе, который вызывало в те годы творчество Лермонтова, свидетельствует, в частности, и следующее замечание только что цитированного нами журнала: «Произведения Лермонтова приобретают мировое значение, поэтому легко объяснимо то удивительное увлечение (infatuation), с которым их читают сейчас в Западной Европе».³¹

Одним из моментов, привлекавших особое внимание в Англии, было развитие русского революционного движения и тесная связь с ним русской литературы — от Рылева до Чернышевского и от Пушкина до Тургенева.³² В плане развития

²² M. Lermontoff. The Demon. Tr. from Russian by F. Storr. L., Revington, 1894.

²³ Some Translations from the Russian of Lermontoff [by A. E. Staley]. «Blackwood's Edinburgh Magazine», vol. 136, 1884, pp. 250—253.

²⁴ Charles Thomas Wilson. Russian Lyrics in English Verse. L., Trübner, 1887, pp. 142—167.

²⁵ John Pollen. Rhymes from the Russian. L., Trübner, 1891, pp. 3—36.

²⁶ Henry Riola. A Graduated Russian Reader. L., Trübner, 1879, pp. 148—153, 194—199.

²⁷ Charles Edward Turner. Studies in Russian Literature. L., Low, 1882, pp. 318—363.

²⁸ Концертные выступления А. Г. Рубинштейна в Англии (обычно в мае—июне) состоялись в 1842, 1854, 1857, 1858, 1867, 1868, 1869, 1877, 1881, 1886 годах и широко отражены в музыкальных обзорах журнала «Athenaeum» за соответствующие годы.

²⁹ См. библиографический указатель «Lermontov in English: a list of works by and about the poet» (Compiled by Anna Heifetz. N. Y., 1942, p. 12).

³⁰ «Athenaeum», 1881, 25 June, p. 856.

³¹ Там же, 1886, 28 авг., стр. 270.

³² См. статьи: Pushkin and Rilæev. «Foreign Quarterly Review», vol. IX (May), 1832, pp. 398—418; National Literature, Russia. «Labourer», III, 1848, pp. 130—135; J. L. Joynes. A Nihilist Novel by Tschernyschewskij. «To-day», 1884, № 2, pp. 98—109; «What's to be Done» by N. G. Tchernyschewsky. «Commonweal», 1886, 10 July. Восприятие Тургенева иллюстрирует такая деталь: журнал «Christian Socialist» (1887, Jan.) поместил сообщение о выходе в свет перевода романа «Накануне» и повести «Пунин и Бабуриж» между сообщениями о выходе переводов «Коммунистического манифеста», «Положения рабочего класса в Англии» и о выпуске социалистических журналов «To-day» и «Practical Socialist».

освободительных идей в России воспринимался англичанами и Лермонтов. В приписываемой Э. Джонсу статье о Пушкине, опубликованной в чартистском журнале «Labourer» в 1848 году, упоминается молодой поэт, написавший смелое стихотворение на смерть Пушкина и высланный за это на Кавказ.³³ В предисловии к переводу «Героя нашего времени» Терезы Пульской поэзия Пушкина и Лермонтова рассматривается в одном ряду с деятельностью декабристов и Герцена.³⁴ В 1860 году подробную статью о Лермонтове опубликовал лондонский журнал «The National Review». Ее автором была М. Мейзенбург, друг Герцена, причем непосредственное участие в работе над статьей принял и сам Герцен. Статья детально и объективно знакомила с биографией и творчеством Лермонтова, особо акцентируя общественное значение его лирики и прозы. В статье приведены обширные фрагменты из работы Герцена «О революции революционных идей в России», которая к тому времени не была переведена на английский язык.³⁵

Духовная близость Лермонтова к декабризму, его резкая оппозиционность самодержавию всячески подчеркиваются в упоминавшейся выше «Истории русской литературы» Тернера (1882). Именно в этой связи Тернер приводит стихотворение «Смерть поэта» и подробно рассказывает о ссылке и трагической гибели Лермонтова.³⁶

Пушкин и Лермонтов поставлены Тернером в центр того идейного движения, к которому, согласно его концепции развития русской литературы, в разной степени принадлежали Рылеев, Полежаев, Бестужев, впоследствии Герцен, Чернышевский и Некрасов. На связь Лермонтова с последующим этапом развития революционно-освободительных идей в России обращает внимание журнал «Athenaeum», замечая, что лермонтовский Печорин является прямым предшественником «нигилизма» — слово, которым в западноевропейской печати обозначали в те годы русское революционное движение.³⁷

Таким образом, для англичанина 80-х годов, интересовавшегося литературой, музыкой или же социальными проблемами своего времени, в знакомстве с Лермонтовым не было ничего необычного. Рональд Росс, который в 70—80-е годы длительное время находился в Англии и пристально следил за всем, что имело отношение к поэзии и музыкальной жизни, мог познакомиться с лермонтовским «Демоном» в переводе А. Стифена или через оперу Рубинштейна, а возможно даже и тем и другим путем. Сам Росс в своих «Мемуарах» упоминает, что «в году как будто 1888» он слышал «прекрасную оперу Рубинштейна».³⁸ Но здесь же Росс называет и поэму Лермонтова, формулирует ее тему («это произведение о том, как Дух Зла добивается понимания и любви человеческого существа, но терпит поражение»), сопоставляет с «Преображенным уродом» Байрона.³⁹ Следовательно, Росс был знаком как с оперой, так и с поэмой «Демон».

В этой связи представляется несколько односторонней точка зрения биографа Росса Р. Л. Мегроза, который полагает, что Россу была известна только опера.⁴⁰ К сожалению, Мегроз не документировал свое утверждение: в его книге ссылки на источники отсутствуют вовсе. Может быть, работая над биографией Росса, Мегроз и располагал письмами или какими-то другими документальными источниками, подтверждающими его точку зрения. Однако если основываться на «Мемуарах» Росса, то нельзя не прийти к выводу, что он знал не только оперу, но и поэму, хотя вполне вероятно, что его первое знакомство с сюжетом «Демона» действительно произошло через оперу.

Более существенным, чем вопрос о путях знакомства Росса с творчеством Лермонтова, представляется то обстоятельство, что английский поэт-романтик, страстный поклонник Байрона, задумав создать собственное байроническое произ-

³³ См.: Е. В. Догель. Незвестная статья о Пушкине в чартистском журнале «Рабочий». «Доклады и сообщения филологического института ЛГУ», вып. 3, 1951, стр. 194.

³⁴ См. примеч. 18. Как известно, семья Пульских находилась в дружеских отношениях с А. И. Герценом.

³⁵ Russian Literature: Michael Lermontoff. «National Review», vol. XI (Oct.), 1860, pp. 330—347.

³⁶ Charles Edward Turner. Studies in Russian Literature, pp. 328—329.

³⁷ «Athenaeum», 1886, 28 Aug., p. 270.

³⁸ R. Ross. Memoirs, p. 90.

³⁹ Там же, стр. 90.

⁴⁰ Мегроз пишет: «„Преображенный урод“ — эксперимент редкостный и интересный. Это попытка переделать и завершить неоконченную драматическую поэму Байрона (под тем же названием), на основе другого романтического мотива, разработанного Лермонтовым в „Демоне“. Тема Сатаны, который страстно ищет искупления в любви к земной женщине, была известна Россу по опере Рубинштейна, созданной на основе лермонтовской поэмы» (R. L. Mégröz. Ronald Ross: Discoverer and Creator. L., Allen and Unwin, 1931, p. 184). Ту же мысль Мегроз повторил в книге «Современная английская поэзия» (R. L. Mégröz. Modern English Poetry: 1882—1932. L., 1933, p. 94).

ведение, обратился именно к Лермонтову. О том, что этот эпизод не был для Росса случайным, свидетельствует тот факт, что через четыре года после создания своей драматической поэмы он пишет прозаическое произведение на ту же тему — «Мистерия Орсеры», в котором опять-таки переплетаются сюжет, образы и мотивы байроновского «Преображенного уroda» и лермонтовского «Демона».⁴¹

Анализ «Мистерий Орсеры», представляющих собой попытку возродить готический роман в поздневикторианской романтической литературе, связан с целым рядом проблем, которые выходят за рамки этой работы. Заметим лишь, что Росс здесь в еще большей степени, чем в драматической поэме, следует лермонтовской трактовке образа Демона. Подобно Лермонтову, Росс отказывается от бытовых черт характеристики Демона, благодаря чему последний, как и в поэме Лермонтова, противопоставит теперь всей группе реальных персонажей. Он является к Астрелле лишь в сновидениях, причем речи его в некоторых случаях представляют собой нечто вроде прозаического перевода обращения лермонтовского Демона к Тамаре: «О прекрасная дева этих пустынных гор, услышь меня, я вновь здесь... придти, соединишь со мною... Зачем смотреть на бессмысленное движение месяца, на холодное движение звезд... Я принесу тебе любовь, какой не знают смертные... Любим меня...»⁴²

Факт обращения английского поэта к творчеству Лермонтова, примечательный сам по себе, заслуживает тем большего внимания, что он вносит новый оттенок в наши представления о путях развития и взаимообогащения романтических традиций в западноевропейской и русской литературах XIX века. Обращение Росса к лермонтовскому «Демону», рассмотренное под таким углом зрения, означает, что Лермонтов был не только наследником одной из своеобразных традиций западноевропейской литературы, но что эта традиция, усвоенная и развитая русским поэтом, могла в дальнейшем восприниматься на Западе через творчество Лермонтова.

Проблема усвоения Лермонтовым традиции западноевропейской литературы, в частности «демонической» традиции, воспринятой им преимущественно через Байрона и Гюго, исследована чрезвычайно подробно. Проблема восприятия западноевропейскими писателями той или иной традиции *через* творчество Лермонтова пока не возникала. В данном случае она возникает впервые как конкретный вопрос переплетения традиций Байрона и Лермонтова в творчестве Росса и — в более общем плане — как подлежащая исследованию гипотеза о том, что по мере распространения переводов и известности Лермонтова в Англии лермонтовские традиции постепенно влетались в байроновские традиции и вместе с ними активно усваивались позднеромантической английской поэзией.⁴³

Как общая проблема, так и сформулированная выше гипотеза требуют, разумеется, дальнейшего изучения. Необходимо самое тщательное исследование периода — полагаем, что это в основном 80-е годы, — когда в Англии созрели условия для активного творческого восприятия духовных ценностей, выработанных русской культурой, прежде всего выдающихся произведений русской литературы и музыки. В более узком аспекте представляется плодотворным исследование поэтического творчества ранних переводчиков Лермонтова — Т. Шоу, А. Стифена, А. Стейли, Ф. Сторра — в его отношении к байроновской традиции. Значение такого рода исследований в плане развития концепции типологической близости мироощущения поэзии и поэтики Байрона и Лермонтова — русского и западноевропейского романтизма — едва ли можно переоценить.

С. С. КОНКИН

К БИОГРАФИИ Н. П. ОГАРЕВА

(НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

В свое время один из первых биографов Николая Платоновича Огарева отмечал, что случай и память не сохранили нам ничего существенного о его предках и родственниках. И не только об отдаленных, но и самых близких, даже об отце и матери. «Об его дедах и прадедах, — писала Е. Некрасова, — мы знаем только одно, что то были богатые, зажиточные помещики, род которых происходил от

⁴¹ R. Ross. *The Revels of Orsera: a mediæval romance*. L., Murray, 1920, 394 pp. (написано в 1894—1895 годах).

⁴² Там же, стр. 304—306.

⁴³ Теоретический аспект такого рода «поэтапного» усвоения творчества иноязычного писателя (перевод — критическое осмысление — активное усвоение) освещен в работе Ю. Д. Левина «Восприятие творчества инациональных писателей» (в кн.: Историко-литературный процесс. Изд. «Наука», Л., 1974, стр. 249 и сл.).

татар... ни одного полного облика, ни одной фигуры во весь рост, в которой бы можно было усмотреть внешнюю или внутреннюю преемственность».¹

Много десятилетий прошло с тех пор, многие исследователи обращались к личности Н. П. Огарева, к изучению его жизненного и творческого пути. Но вопрос о предках поэта, дальних и близких, оставался нетронутым. Всякий раз, когда об этом прямо или косвенно заходила речь, говорилось лишь об их татарском происхождении. Приводились ссылки на известные геральдические источники, которые утверждают, что «Мурза Кутлу-Мамет, прозванием Огарь, выехал из Золотой орды к великому князю Александру Невскому (1252—1263), крестился с именем Пантелеймона и пожалован вотчинами в Шацке, Касимове, Старице, Медыни, Юрьеве-Польском и Костроме».²

Цитировались иногда стихи Н. П. Огарева из его поэмы «Юмор»:

Происхожденьем я татарин.
Во время оно окрестясь,
Мой предок вышел русский барин.

Можно даже согласиться с тем, что приведенные строки автобиографического характера (хотя это и не совсем правомерно). Но нельзя не слышать скрытой иронии, которая превращает данную версию в простую шутку. Еще более отчетливо звучит ирония Н. П. Огарева по отношению к семейному преданию о золотоордынском происхождении его отдаленного предка в стихотворении «Швальбах в разные времена»:

Но винды, венды, анты тож —
Славяне все, ваш род начальный.
Увы, на них я не похож!
Я просто скиф: потомок дальний

Златой орды — скуластых рож
Я образ сохранил печальный,
Ленивый нрав и дикий вкус,
Взяв от славян лишь рыжий ус.

Трудно всерьез верить в возможность того, чтобы один из татарских мурз добровольно перешел на службу к русскому князю, стал в вассальную от него зависимость и принял новую веру в период наивысшего военного могущества Золотой орды. Слишком высокомерны и заносчивы были в то время золотоордынские ханы и мурзы по отношению к своим русским данникам, каким был и Александр Невский. И совершенно уже неправдоподобно уверение в том, что великий князь владимирский «пожаловал» беглецу из Золотой орды вотчины там, где вершили суд и расправу большие и малые баскаки — наместники хана. О неправдоподобности этих сведений свидетельствует, в частности, тот факт, что некоторые города, будто бы «пожалованных» Кутлу-Мамету Александром Невским, в то время еще и не существовало. Так, Шацк (рязанский) основан только в 1552 году.

Дошедшие до нас исторические источники и материалы не только не рассеивают наших сомнений в истинности предания о золотоордынском происхождении рода Огаревых, а напротив, еще больше укрепляют их. Основных источника два: родословная (или поколенная роспись) с гербом и выписки из журналов герольдии (в которых излагалось содержание соответствующих прошений и выносились определения по ним) с различными справками, свидетельствами, грамотами. Все эти документы складывались в особые дела, которые хранились в Сенате в департаменте герольдии. Одним из последних по времени было дело «О внесении герба рода Огаревых в общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи», относящееся к 1800—1831 годам. Оно возникло в связи с прошением Платона Богдановича Огарева, отца поэта, включить «в гербовник дворянских фамилий» тот герб, «коим издревле» фамилия Огаревых пользовалась.³

В связи с этим прошением в журнале герольдии от 26 сентября 1800 года под № 20 была произведена запись, повторявшая (в который раз!) указанную версию о Кутлу-Мамете. А вслед за этим там утверждалось: «Потомки его, Пантелеймона Огарь, Никита Данилович Огарев при великом князе Иоанне Васильевиче был наместником, Василий Андреевич и Василий Никитич — воеводами, Григорий и Иван Кирилловичи Огаревы за московское осадное сидение от великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича в 1614 г. пожалованы вотчинами и на оные грамотами. Стряпчий Александр Михайлович Огарев в 1681 г. за службу во время войны от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича (пожалован) думным дворянином. Постник Григорьевич Огарев в 1687 г. за службу,

¹ Е. Некрасова. Николай Платонович Огарев. В кн.: Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженко, изданный его учениками и почитателями. М., 1902, стр. 50—51.

² В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887, стр. 205.

³ Центральный государственный исторический архив (далее: ЦГИА), ф. 1343, оп. 26, ед. хр. 2112, л. 1.

оказанную во время мятежа в Москве, от великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича пожалован грамотами на поместья. И многие другие сего рода Огаревы служили российскому престолу службы в разных чинах и жалованы были от государей поместьями».⁴

Изучение этой записи и родословной обнаруживает много непонятного. Не может не показаться странным скачок в три столетия, от Пантелеймона Огаря, жившего будто бы во время княжения Александра Невского во Владимире (1252—1263), до Никиты Даниловича, который служил при Иване Грозном наместником на Ваге. Этот «разрыв» не случаен. Он свидетельствует о том, что для его «заполнения» у составителей родословной не было никаких подлинно исторических документов. Были всего лишь какие-то смутные семейные и другие предания. Понятно также, что вся эта сложная работа была начата не с XIII века (когда в ней не было никакой нужды), а не раньше начала XVII столетия — при первых Романовых. Окончательно же формирование «родословного древа» Огаревых завершено было, по-видимому, только при Петре I. В это время, как известно, в составе Сената возник департамент герольдии, в недрах которого отныне и были сосредоточены все дела, сложные и запутанные, связанные с дворянскими гербами, родовыми связями и родословными амбициями. Именно в это время многие из дворян стремились к тому, чтобы всеми правдами и неправдами отодвинуть своих «родоначальников» как можно дальше в глубь веков, «привязать» их к известным потомкам Рюрика или золотоордынских ханов (равно — их знатных наместников или мурз). Известно, что потомки тех и других вносились в особые родословные книги дворян Российской империи. Огаревы не составляли исключения. «Начальное поступление предков моих в благородные дворяне с 1260-х годов, чему более пятисот лет, с которого времени, происходя они в сем достоинстве, жалованы поместьями и вотчинами... а потому и прошу», — так не без гордости писал в сентябре 1800 года статский советник Платон Богданович Огарев. А просил он, как уже отмечалось, о том, чтобы «род Огаревых внести в гербовник дворянских фамилий». По этому поводу департамент герольдии в указанный день, 26 сентября 1800 года, определил: «...род Огаревых состоит издревле в дворянском достоинстве, а посему употребляемый в оном герб внести в гербовник в I отделение установленным для сего порядком».⁵

Позднее, 5 июня 1831 года, пензенское дворянское депутатское собрание постановило внести Платона Богдановича (по его прошению) вместе с его детьми, сыном Николаем и дочерью Анной, в «родословную Пензенской губернии книгу в четвертую часть яко выезжий честной род».⁶

Что касается той части ранее упоминавшихся записей в журнале герольдии от 26 сентября 1800 года, в которых названы имена Никиты Даниловича и его потомков, следует сказать, что это вовсе не та ветвь «родословного древа» Огаревых, которую в двадцатом колене «замыкал» Платон Богданович (она начиналась с Бориса Даниловича, приходившегося, по-видимому, братом Никите Даниловичу).⁷ Чиновник департамента герольдии, производивший ту журнальную запись, о которой идет речь, почему-то не обратил внимания на справку, приложенную Платоном Богдановичем к его прошению 1800 года. В ней говорилось: «1798 года февраля (?) дня подписавшиеся под сим свидетельствуем, что коллежский советник Иван, а по данному при крещении имени Иона, и коллежский же советник Богдан, а по данному имени при крещении Егор, Ильины дети Огаревы, потомственно в прямой линии произошли от древних дворян, предков их, прапрадеда Петра Никитина сына,⁸ прадеда Лариона Петрова сына, деда Ивана Ларионова сына, и отца Ильи Иванова сына Огаревых, подлинно из которых прапрадед и прадед, быв в службе, написаны по Москве в боярских книгах. А дед и отец по службе были: первый вахмистром, а последний — военной коллегии прокурором».⁹

Эта справка, засвидетельствованная несколькими подписями и заверенная 21 ноября 1799 года (с приложением печати) пензенским уездным предводителем дворянства Д. А. Колокольцевым (близким родственником Платона Богдановича), давала самые краткие сведения о людях, живших в XVII—XVIII столетиях. В этой связи возникает естественный вопрос: если отцу поэта Н. П. Огарева в самом конце XVIII века необходимо было обратиться для подтверждения своего дворянского происхождения к свидетельствам соседей-помещиков, то что же было раньше, например в XIII—XVI веках?

Рассмотренные здесь материалы позволяют считать достоверной только ту часть «родословного древа» Огаревых, которая начинается с Петра Никитича. С не-

⁴ Там же, л. 16.

⁵ Там же.

⁶ Там же, л. 28.

⁷ В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник..., т. II, стр. 205.

⁸ Как видно из родословной Огаревых, Петр Никитич, о котором здесь идет речь, доводился правнуком Василию, который, в свою очередь, приходился внуком упоминавшемуся Борису Даниловичу (ЦГИА, ф. 1343, оп. 26, ед. хр. 3112, лл. 20—21).

⁹ ЦГИА, ф. 1343, оп. 26, ед. хр. 2112, л. 2.

которым основанием можно признать, что к дворянскому сословию принадлежали и его ближайшие предки, начавшие свою службу при Иване Грозном. Упоминание г. Шапка среди поместных владений, некогда пожалованных родоначальнику Огаревых, наводит на мысль: не во вторую ли половину XVI века приобрели Огаревы свои дворянские привилегии? Однако это только предположение. Историческими же источниками подтверждается принадлежность к дворянству лишь названного Петра Никитича и его потомков. О нем самом известно, что «в боярской книге 1627 г. (он) написан в выборных с поместным окладом». Сын же его, Ларион Петрович, как значится в той же книге, «служил по Москве», а в «1675 году написан в числе дворян».¹⁰

Внук Лариона Петровича, Илья Иванович, служил при Елизавете Петровне, в 1753—1754 годах был «военной коллегии прокурором», а несколько раньше «состоял при персидском посольстве». Вышел в отставку в чине подполковника.¹¹

Большую память по себе оставил сын Ильи Ивановича, Георгий Ильич (по прозвищу Богдан), который родился в 1744 году. Службу свою он начал «в соляной и винной экспедиции Пензенского наместничества», а с 1795 года продолжал ее «по выборам губернским предводителем» дворянства. В этой должности он оставался до своей смерти, последовавшей 2 марта 1806 года. Семейные предания характеризовали Богдана Ильича как человека домовитого, энергичного и деятельного. Это он возвел в Старом Акшене большую каменный барский дом с многочисленными службами, с усадебной церковью. При нем был заложен обширный сад с оранжереями. Словом, это Богдан Ильич придал Старому Акшену тот живописный вид, который так глубоко любил его внук-поэт.¹²

Об отце и матери Николая Платоновича Огарева из общедоступных источников мы сможем узнать едва ли больше того, что известно нам о более отдаленных предках поэта. Не удивительно, что о Платоне Богдановиче, например, бытуют до сих пор самые превратные представления. «Платон Богданович Огарев... — говорится в уже упоминавшейся статье, — знатный и вельможный барин, занимавший в начале нынешнего столетия сенаторский пост».¹³ Барин он был, конечно, знатный и вельможный, но сенаторского звания все-таки не имел.

Найденные нами архивные материалы (послужные списки, документы из личных дворянских дел Огаревых и Баскаковых) во многом расширяют наши представления о самых близких Николаю Платоновичу людях.

До сих пор считалось, что Платон Богданович родился в 1777 году.¹⁴ В действительности датой его рождения следует считать 1769 год.¹⁵ По обычаям XVIII века вскоре после рождения он был записан в лейб-гвардии Преображенский полк, в списках которого на 1 января 1781 года показывался уже унтер-офицером (сверхкомплектно). С 14 ноября 1785 года по 13 декабря 1786 года значился в годичном отпуске (просрочке).¹⁶ На действительную службу в свой полк недоросль Огарев прибыл в середине декабря 1786 года, когда ему исполнилось 17 лет. Был зачислен сержантом в 12-ю роту.¹⁷ Летом 1788 года началась война со Швецией. Преображенский полк вышел в поход одним из первых. В кампании 1788—1790 годов преображенцы действовали весьма успешно и на суше и на море. Шведы были разгромлены, в чем была немалая заслуга и гвардейцев Преображенского полка. Недаром все они были награждены медалями.

Участие Платона Огарева в войне со Швецией способствовало быстрому его продвижению по службе. 9 августа 1794 года он был переведен из гвардии в армейский Глуховский карабинерный полк в чине капитана. Через семь месяцев, 8 февраля 1795 года, Платону Богдановичу присваивается звание майора в связи с на-

¹⁰ Там же, лл. 20—21.

¹¹ В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник..., т. II, стр. 211.

¹² Е. Некрасова. Николай Платонович Огарев, стр. 51.

¹³ Там же. Заметим, кстати, что Е. Некрасова говорит об этом со слов Т. П. Пасек, которая первой высказала это неверное убеждение (Т. П. Пасек. Из дальних лет. Воспоминания, т. II. Госполитиздат, М., 1963, стр. 579).

¹⁴ В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник..., т. II, стр. 213.

¹⁵ Об этом свидетельствует «Список о службе действительного статского советника Огарева» (ЦГИА, ф. 560, оп. 37, ед. хр. 95, лл. 49—50). «Список...» относится к 1817 году, и в нем Платон Богданович показал себе 48 лет. Стало быть, родился он в 1769 году. Эта дата в полной мере согласуется и с другими биографическими сведениями о нем, приводимыми в этом «Списке...». Если же считать датой его рождения 1777 год, то придется признать, что свою действительную службу в Преображенском полку он начал с 9-ти лет, а в 17 лет был уже капитаном. Такого не бывало даже и в те времена.

¹⁶ Список обер- и унтер-офицеров лейб-гвардии Преображенского полка. Центральный государственный военно-исторический архив, ф. 2583, оп. 1, ед. хр. 604, л. 146.

¹⁷ Там же. См. также: История Преображенского полка (1683—1872). СПб., 1872, стр. 83.

значением его обер-провиантмейстером в Харьковский легкоконный полк. С вступлением на престол Павла I майор П. Б. Огарев оставляет военную службу. 26 января 1797 года он «переименован коллежским ассессором и определен в канцелярию государственного казначейства». И в системе самодержавно-бюрократического аппарата служба Платона Богдановича проходила весьма успешно. В 1797 году, 31 декабря, ему дается чин надворного советника, а через полгода, 10 июля 1798 года, — чин коллежского советника. Через два года, 9 июля 1800 года, он производится в статские советники и назначается в Экспедицию государственных доходов Министерства финансов. 31 августа 1803 года статский советник Огарев переводится в Москву на должность обер-прокурора 6-го (несколько позже он стал именоваться 7-м) департамента Сената. Распоряжение (ордер за № 5295) об этом назначении было подписано министром юстиции Г. Р. Державиным. В нем говорилось:

«Господину статскому советнику Огареву.

Высочайшим именованным указом, сего августа в 16-й день Правительствующему сенату данным, определены вы за обер-прокурорский стол Правительствующего сената в 6-й департамент. Почему рекомендую вам, отправясь в Москву, вступить в должность и о том донести мне».¹⁸

В первых числах сентября Платон Богданович выехал из Петербурга в Москву, откуда 17 сентября того же 1803 года докладывал в столицу:

«Его превосходительству господину действительному
тайному советнику, министру юстиции и кавалеру
Гаврииле Романовичу Державину

от статского советника Огарева

Рапорт.

Во исполнение ордера вашего высокопревосходительства, от 31-го минувшего августа состоявшегося, отправившись я из Санкт-Петербурга в повеленное мне место Правительствующего сената в 6-й департамент по определению меня в оном за обер-прокурорский стол, явился в 17-й день сего сентября месяца, о чем и имею честь донести вашему высокопревосходительству. Статский советник Платон Огарев».¹⁹

О службе Платона Богдановича за обер-прокурорским столом 7-го департамента мы не располагаем никакими сведениями. До нас дошло лишь одно из его писем, относящееся к этому периоду и адресованное первоприсутствующему в названном департаменте князю П. В. Лопухину. Оно представляет определенный интерес как факт биографический, в связи с чем мы и приводим его здесь:

«Светлейший князь
милостивый государь!

Имею я счастье под милостивейшим начальством вашей светлости служить, Правительствующего сената в 6-м, что ныне 7-м, департаменте за обер-прокурорским столом; а как собственные мои обстоятельства требуют неперменного моего из Москвы отъезда в деревни, состоящие в Пензенской губернии, то, уповая на милостивое вашей светлости расположение, осмеливаюсь прибегнуть к всепокорнейшей моему просьбою. Сблагovolите, милостивый государь, испросить мне у его императорского величества высочайшее на означенный срок увольнение в отпуск, чем доставите слобод привести в порядок некоторые рассроченные мои дела и обяжете истинною признательностью пребывающего с глубочайшим высокопочитанием и совершенною преданностью навсегда.

Светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости всепокорнейший слуга Платон Огарев».²⁰

Рапортом на имя Г. Р. Державина и прошением на имя П. В. Лопухина, к сожалению, и исчерпывается все известное до сих пор эпистолярное наследие П. Б. Огарева.

За обер-прокурорским столом 7-го департамента Сената статский советник Огарев оставался до конца 1809 года. За эту службу в 1807 году ему пожалован орден св. Анны II степени...

Жизнь Платона Богдановича в Москве в 1803—1809 годах имела важные последствия не только для всей последующей его служебной карьеры. Здесь он встретился с Елизаветой Ивановной Баскаковой, которая стала его женой, по-видимому, зимой 1806 года. Происходила она из старинного дворянского рода, который вел свою родословную с XVI века. Родилась 2 июля 1784 года в семье сенатского экзекутора Ивана Егоровича Баскакова — одного из богатейших помещиков второй

¹⁸ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 3141 XVI б 20, л. 5.

¹⁹ Там же, л. 6.

²⁰ Там же, л. 1.

половины XVIII века.²¹ Из многочисленных его вотчин, располагавшихся в ряде центральных губерний России, выделялось в особенности село Верхний Белоомут в Рязанской губернии. В 1798 году Иван Егорович скончался, оставив своей единственной дочери почти все свои владения. А ей в это время было всего 14 лет. Поэтому над ней и ее наследством была установлена опека, которую возглавил сенатор М. В. Дмитриев-Мамонов.²²

Одаренная от природы, Елизавета Ивановна получила превосходное и разностороннее по тому времени образование. Романтически настроенная девушка увлекалась музыкой и художественной литературой — русской и западноевропейской. Хорошо владея французским и немецким языками, она переводила с этих языков полюбившиеся ей произведения художественной литературы. Ей было всего 12 лет, когда она перевела с французского трехактную комедию мадам Жанлис «Добрая мать». Без помощи гувернантки тут, конечно, не обошлось, но основная работа выполнена, несомненно, ученицей самостоятельно. Комедия выдержана в духе сентиментализма, характерного для европейской литературы конца XVIII века. Граф Монкольд любит Эмилию — девушку из почтенной графской семьи Орсан и готов жениться на ней. Эмилия отвечает ему взаимностью. Но радость ее омрачается тем, что сразу же после их обручения молодые должны уехать на его родину в Португалию. Эмилии же очень не хотелось бы покидать своих родителей и сестер, которые все ее горячо любят. Мать поняла муки дочери и убедила ее в том, чтобы она приняла предложение Монкольда. Тут-то неожиданно и наступает счастливая развязка. Оказывается, что Монкольду никуда не надо ехать, так как все его состояние находится во Франции. А разговор об отъезде в Португалию был придуман с целью испытания чувства девушки.

Комедия отпечатана в Москве в 1796 году в университетской типографии с посвящением Анне Никитичне Нарышкиной. В этом посвящении переводчица написала, между прочим, следующее:

«Ваше высокопревосходительство,
милостивая государыня!

Первый плод упражнения моего в переводе с французского языка за долг сочла принять смелость посвятить имени Вашего высокопревосходительства. Если усмотреть изволите в нем какие недостатки, то удостоите, милостивая государыня, извинить их, снисходя великодушно незрелости двенадцатилетнего моего возраста. Благоклонное принятие малого сего труда будет мне знаком милостивого Вашего ко мне расположения... Елизавета Баскакова».²³

В 1796—1799 годах юная писательница публиковала свои переводы из немецкой и французской литературы в журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Ипнокрена, или утехи любословия».

Журнал «Приятное и полезное препровождение времени» выходил, как известно, в Москве. Его издавали Х. Ридигер и Х. Клаудий. Среди его сотрудников были Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, Г. Р. Державин, В. В. Измайлов и некоторые другие видные в то время поэты и писатели. На страницах этого журнала его редакторы В. С. Подшивалов и П. А. Сохацкий поместили в 1796—1797 годах три перевода Елизаветы Баскаковой — «Махи», «Честь и добродетель не разлучны» и «Анекдоты».²⁴

«Ипнокрена, или утехи любословия» — другой московский журнал, выходивший в 1799—1802 годах. Здесь в 1799 году были опубликованы четыре небольших перевода Елизаветы Баскаковой — «Благородный жид», «Опыт делает нас разумным», «Герпение» и «Солиман».²⁵

Все это небольшие рассказы или притчи сентиментально-назидательного свойства, свидетельствующие о характере времени и умонастроении юной переводчицы.

Елизавета Ивановна Баскакова, одаренная и образованная девушка, наследница богатейших владений, и покорила сердце Платона Богдановича Огарева, пользовавшегося в Москве высокой репутацией светского человека, перед которым

²¹ Даты рождения и смерти Елизаветы Ивановны определяются по надписи, сделанной на ее могильном памятнике на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (см.: Петербургский Некрополь, т. III. СПб., 1912, стр. 292).

²² Дело о выдаче поместье Баскаковой свидетельства на право владения именем в с. Белоомуте Зарайского уезда (Госархив Рязанской обл., ф. 659, оп. 2, св. 50, ед. хр. 887, лл. 9, 14).

²³ «Добрая мать. Комедия в трех действиях. Из театра о воспитании детей г-жи графини Жанлис. В университетской типографии у Ридигера и Клаудия, М., 1796.

²⁴ «Приятное и полезное препровождение времени», 1796, ч. XII, стр. 281—282, 301; ч. XIII, стр. 173—174.

²⁵ «Ипнокрена, или утехи любословия», 1799, ч. III, стр. 113—115, 116—117, 129—130, 130—131.

были открыты самые обнадеживающие служебные перспективы. Их обручение состоялось, как мы уже сказали, зимой 1806 года.

В 1810 году «высочайшим повелением» статский советник Огарев переводится в Петербург. На этот раз он назначается в Экспедицию государственного казначей Министерства финансов. Ему поручается управление отделением по заготовлению «разной гербовой и для плакатных пашпортов бумаги». В продолжение трех лет, включая и памятный 1812 год, находится он в этой должности. 24 сентября 1813 года Платон Богданович производится в чин действительного статского советника. Одновременно повелено «быть ему при министре финансов по особым поручениям». Это было, несомненно, очень важное назначение. Оно свидетельствовало и о незаурядных его способностях, и о том доверии, которым он пользовался в высших правительственных сферах и в придворных кругах.

О жизни Платона Богдановича и Елизаветы Ивановны Огаревых в Москве и в Петербурге мы знаем очень немного. Известно лишь, что в 1807—1813 годах у них родилось пятеро детей — три дочери (Вера, Анна и Варвара) и два сына (Петр и Николай). Однако в живых осталось только двое — дочь Анна (1808) и сын Николай (1813).²⁶

3 сентября 1815 года Елизаветы Ивановны не стало — она умерла, оставив на руках мужа семилетнюю дочь Анну и сына Николая, которому не было еще и двух лет. Смерть жены (случилась ли она нежданно-негаданно или как следствие какого-то тяжелого недуга — осталось неизвестным) потрясла Платона Богдановича так, что он уже в конце 1815 года покидает Петербург и переезжает со своей осиротевшей семьей в Старое Акшено. Блестяще развивавшаяся служебная карьера оборвалась самым неожиданным образом. Душевное состояние его в это время было таково, что близко его знавший Ф. А. Голубцов, бывший государственный казначей, считал необходимым обратиться к пензенскому губернатору М. М. Сперанскому (своему бывшему сослуживцу) с письмом, в котором, в частности, есть такие строки: «Мой Платон Богданович Огарев, будучи молод, овдовел, имея за собой своих более тысячи, да женных более двух тысяч душ крестьян, да от тещи останется, сколько мне известно, более тысячи душ; он не веселого нрава и несколько гипохондрик, но человек крайне честной и самых добрых правил. Полюбите и приласкайте его, только разбудите его из гипохондрии и заставьте его просто и откровенно с вами обходиться; вы меня сим чувствительно обяжете; мне его жаль, что он, при своих молодых летах и при таком состоянии, углубился в задумчивость».²⁷

Отставка Платона Богдановича была оформлена, однако, только весной 1817 года. По этому поводу последовал указ Александра I о награждении действительного статского советника Огарева орденом св. Владимира 3-й степени в воздании его «ревностной и долговременной службы... и отличных трудов... при министре финансов».²⁸ Несколько раньше, 30 августа 1814 года, он был награжден памятной медалью Отечественной войны 1812 года.²⁹

Выйдя в отставку, Платон Богданович Огарев поначалу жил в Старом Акшене, затем в Москве, потом снова в Старом Акшене (временами в Пензе и в с. Черткове), где и скончался 2 ноября 1838 года.

* * *

Отец и мать Н. П. Огарева, принадлежавшие к высшей помещичьей знати России, по своим личным качествам были людьми, по-видимому, очень разными.

«Существом, сотканным из любви и кротости» — таким остался в памяти поэта образ матери — образ, сложившийся в его отроческом воображении на основе рассказов хорошо знавших Елизавету Ивановну людей. Воспоминания о ней своеобразными путями переплетались в поэтической душе ее сына с представлениями о «людях 14 декабря». Эти сближения не лишены некоторых оснований.

Поскольку Дмитриев-Мамонов был ее опекуном, можно предполагать, что детство, отрочество и юность Елизаветы Ивановны Баскаковой прошли в тесном общении с семьей известного сенатора. Она была только на шесть лет старше его внука Матвея Александровича, который во время Отечественной войны 1812 года сформировал на свои средства конный полк. Произведенный в генерал-майоры, М. А. Дмитриев-Мамонов сам командовал этим полком и за участие в ряде сражений с наполеоновскими войсками был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». Выйдя в отставку по окончании войны, Матвей Александрович сблизился с М. Ф. Орловым, Н. И. Тургеневым, С. П. Трубецким и вместе с ними был одним из основателей Союза благоденствия.

²⁶ Об умерших в детстве Вере, Варваре и Петре см.: Петербургский Некрополь, т. III, стр. 292, 293.

²⁷ Ф. А. Голубцов — М. М. Сперанскому. «Русская старина», 1902, № 6, стр. 476.

²⁸ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 359, оп. 1, ед. хр. 136, л. 1.

²⁹ Там же, ед. хр. 135, л. 1.

Елизавета Ивановна была очень дружна с Елизаветой Евгеньевной Кашкиной, которая, в свою очередь, общалась с некоторыми будущими декабристами. К этому кругу принадлежал и родной племянник Елизаветы Евгеньевны Сергей Николаевич Кашкин. Кроме того, Елизавета Евгеньевна имела сильное влияние на Анну Егоровну Горсеттер — гувернантку-англичанку, которая позднее (уже после смерти Елизаветы Ивановны) жила в доме Огаревых. Как писал в «Моей исповеди» Николай Платонович, «через эту дружбу Анна Егоровна была исполнена уважения к моей матери, как к какому-то ангельскому существу... Чуть ли не из ее полуслов о моей матери я почерпнул тот религиозизм к ее памяти, от которого я никогда не мог отделаться, да и не хочется: он хорош».³⁰

Все это — и общение с семейством Дмитриевых-Мамоновых, и дружба с Елизаветой Евгеньевной Кашкиной, которая «все свои мнения и речи почерпала в кругу декабристов»,³¹ — дает известное право утверждать, что Елизавета Ивановна Огарева была одной из передовых, прогрессивно мыслящих русских женщин начала XIX столетия. Ее сын-поэт смутно чувствовал это, догадывался об этом (общаясь в детстве и отрочестве с Е. Е. Кашкиной и А. Е. Горсеттер), и потому не удивительно, что эти представления легли в основу образа матери в его поэме «Матвей Радаев». Герой поэмы вспоминает далекое прошлое, картины раннего детства, и в этих воспоминаниях встает перед его умственным взором облик рано умершей матери:

Высокая, со станом стройным,
С лицом задумчиво спокойным
И лаской в голосе самом.
Он вспомнил, как она сидела,
Он на коленях перед ней,
Не отводил с нее очей,

Часы глядел бы, день бы целый;
Пускай не мог он понимать,
Но взоры детские искали
На кротком лике разгадать
Значенье думы и печали.

Об автобиографическом характере этого образа говорил сам Огарев в «Записках русского помещика». «Оставаясь один, — писал поэт в «Записках...», — я любил думать о своей матери, фантазия мне рисовала ее в разных положениях; я себя воображал всегда с нею... То представлял я себе ее умирающей — и плакал. — мне казалось, я вижу, слышу:

Смолк голос, — сила упала,
...ее не стало,
Лицо, как мрамор...
Попы и пенье, свечи, гроб
.....
Душа была потрясена...

Я чувствовал, что в душей моей не прерывалась связь с былым».³²

Образ матери, каким представлялся он чувству и сознанию Огарева на основе воспоминаний и рассказов близко знавших ее людей, оказывается очень несхожим с обликом и характером Платона Богдановича, который был типичным представителем своего времени, убежденным помещиком-крепостником. Нравственно-политический облик Огарева-отца сложился в 70—80-х годах XVIII века, которые недаром названы «золотым веком» русского дворянства. В продолжение многих лет успешно развивавшейся служебной карьеры Платон Богданович проникся почти религиозным пиететом к самодержавию, в котором видел основу дворянского благоденствия.

Как вспоминал позднее Николай Платонович, отец его не лишен был доброты и даже мягкости. Но вместе с тем и то и другое не мешало ему быть деспотом. «... Детская веселость смолкала при его появлении... Может, семейный деспотизм просто в правах людей его века в России... Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что падо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука...»³³

В другом месте Н. П. Огарев так характеризовал уклад жизни в их доме: «Молча сидели лакей в передней, молча — горничные в девичьей. В этой атмосфере человек мог задохнуться, как в колодце. В ней развивался эгоизм личный и семейный — до тирании: все воли сосредоточивались на одной воле; все желанья, вся жизнь других на одном желании, на одной жизни. Все это вызывало во мне сильное противодействие и отрывало от этого удушающего мира».³⁴

³⁰ Н. П. Огарев. Моя исповедь. В кн.: Н. П. Огарев. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. Гослитиздат, М., 1956, стр. 401.

³¹ Там же, стр. 401—402.

³² Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. II, стр. 610—611.

³³ Н. П. Огарев. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2, стр. 394.

³⁴ Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. II, стр. 614.

Обобщая свои размышления об условиях, в которых прошла его жизнь в отчете доме, Н. П. Огарев писал позже: «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность».³⁵

Чувство «внутреннего бунта» против деспотизма, зревшее в душе поэта с раннего детства, приняло со временем форму осознанного отрицания самодержавно-крепостнического строя. В конечном счете сын действительного статского советника Платона Богдановича Огарева, владельца почти двадцати сел и деревень, населенных тысячами крепостных ревизских душ, порвал со своим классом и перешел на сторону народа.

В. Н. САЖИН

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ФОНДЕ

(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

Первые попытки охарактеризовать деятельность Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературного фонда) предприняты были в юбилейных сборниках Общества.¹ Но по ним можно было узнать лишь о внешней стороне истории Общества и в минимальной степени — о происходивших среди членов Комитета спорах и обсуждениях кандидатов на пособие, о личном вкладе в Литературный фонд деятельных его членов — Тургенева, Некрасова, Достоевского. . .

С появлением мемуаров, по мере издания эпистолярного наследия литераторов, причастных к организации Литературного фонда, расширились возможности и для исследователей. Ряд работ посвятил Обществу В. Е. Евгеньев-Максимов.²

В последние годы опубликованы новые данные, касающиеся главным образом участия в деятельности Общества Н. А. Некрасова.³ Вместе с тем становится очевидной необходимость дальнейшего исследования как истории создания Литературного фонда, причин, вызывавших в разные годы падение или повышение его авторитета, так и степени участия в нем виднейших русских писателей.

В 1857 году А. В. Дружинин впервые высказал печатно мысль о необходимости устройства в России Литературного фонда. В ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения» была напечатана его статья,⁴ а уже в декабрьском номере «Современника» появился первый отклик на нее в разделе «Современное обозрение», составленном Чернышевским. «Мы рекомендуем вниманию читателя эти мысли, — писал Чернышевский о предложении Дружинина, — и желали бы, чтобы они скорее приведены были в исполнение».⁵ Кроме принципиального согласия с идеей, выдвинутой Дружининым, Чернышевский высказался и по поводу другого положения дружининской статьи, где говорилось, что в среде русских литераторов нет борьбы мнений и партий, могущих помешать общему делу создания Литературного фонда. Чернышевский дал понять, что это скорее благое пожелание, нежели действительный факт. «Мы желали бы, — писал Чернышевский, — чтобы столь же справедливо было мнение. . . о том, что в настоящих отношениях между ними (литераторами, — В. С.) нет никаких препятствий к соединению для общего доброго дела».⁶

Во всяком случае, Чернышевский был приглашен Дружининым в качестве учредителя Литературного фонда,⁷ и 8 ноября 1859 года оба были избраны в члены

³⁵ Н. П. Огарев. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2, стр. 394.

¹ XXV лет. 1859—1884. Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884; Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909. СПб., 1909.

² В. Евгеньев-Максимов. 1) Эпизод из жизни Достоевского. «День», 1916, № 99; 2) Некрасов и «братья-писатели». В кн.: Некрасовский сборник. Пгр., 1918, стр. 54—91.

³ См., например: Г. В. Краснов. Некрасов и литературные чтения. В кн.: О Некрасове, вып. III. Ярославль, 1971, стр. 235; Р. Б. Заборова. Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове. «Русская литература», 1973, № 4.

⁴ N [А. В. Дружинин]. Несколько предположений по устройству русского литературного фонда. . . «Библиотека для чтения», 1857, ноябрь, отд. III—IV, стр. 1—28.

⁵ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. IV, Гослитиздат, М., 1948, стр. 865.

⁶ Там же, стр. 868.

⁷ Этот факт заставляет задуматься над справедливостью мнения В. Евгеньева-Максимова о том, что «глубоко отрицательное отношение Дружинина к Чернышевскому не вызывает сомнений. В особенности усилилось оно в 1858—1859 гг.» (В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбова. ГИЗ, Л., 1936, стр. 365). Вероятно, это отрицательное отношение не было столь уж глубоким.

Комитета. Присутствие Чернышевского подтверждается его распиской в протоколе заседания.⁸

Внешние данные: благожелательные отклики прессы, большое число желающих вступить в Литературный фонд, широкий поток пожертвований, — свидетельствовали о том, что отношение общественного мнения к новому обществу было вполне благоприятным. Вместе с тем уже с первых месяцев существования Литературный фонд стал объектом тайного наблюдения агентов III отделения. В агентурном донесении от 23 января 1860 года сообщалось: «Имеются сведения, что Общество для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым предполагает избрать ныне директорами одного литераторов: Громеку, Благосветлова и Щапова».⁹ Это курьезное, совершенно далекое от действительности известие обнаруживает складывавшееся представление об Обществе как коалиции «либеральной партии».

Последнее выражение взято из большого и очень содержательного письма А. Д. Галахова к М. Н. Каткову от 14 февраля 1860 года, в котором Галахов, сетуя на равнодушие московских литераторов к Литературному фонду, просил Каткова, как редактора «Русского вестника», поддерживать Общество, деятельность которого, по словам Галахова, проходит в сложных условиях: «Сытые подозревают нас в особом направлении, т. е. в оказании пособия только лицам либеральной партии; литературный люд называет наше Общество коммунией или особым приходом...»¹⁰ Ту же оценку Общества находим в письмах М. П. Погодина председателю Комитета Литературного фонда Е. П. Ковалевскому: «Московские, сколько мне случалось слышать, приписывают петербургское Общество партии Чернышевского и Некрасова, которые делают, что хотят, потому, может быть, члены и не высылают свои взносы...»¹¹ И в другом письме: «Вашим Обществом, сознаюсь (между нами), я был недоволен и видел в нем действие партии, в Петербурге господствовавшей».¹² Как видно, самое присутствие Некрасова и Чернышевского среди членов Комитета Литературного фонда создавало Обществу неугодную их противникам репутацию. Каждому было ясно, что где бы ни оказались эти люди, их взгляды, убеждения и симпатии обязательно проявятся.

Чернышевский отдавал немало времени участию в деятельности Комитета Литературного фонда. В цитированном уже письме Галахова Каткову есть такая фраза: «Упомяну еще и об одном обстоятельстве. Некоторые из членов Комитета, конечно, так обеспечены, что не только не потребуют помощи, но сами будут помогать другим. Но есть некоторые, которым, может быть, как это знать, придется просить пособия у будущего Комитета. Нет ничего мудреного, если к таким членам будет принадлежать Чернышевский, я и даже Кавелин. Время, уделяемое нами на собрания и действия Общества, есть время дорогое: оно отнимает у наших собственных дел часы, часы, которые просидишь в Комитете, часы, которые употребишь на составление журнала заседания или отчета собрания Общества — это те самые часы, в которые мы могли бы заработать что-нибудь для себя, для жены, для детей, не имеющих ни наследственного, ни приобретенного имущества».¹³

Чернышевский являлся членом Комитета Литературного фонда с основания его в ноябре 1859 года до февраля 1862 года, но и в последующие полгода, до самого своего ареста в июле, Чернышевский поддерживал деятельную связь с Обществом.

Первым, за кого ходатайствовал Чернышевский перед Литературным фондом, был С. А. Макашин. О своей «горемычной»¹⁴ жизни писатель рассказывал в автобиографии, опубликованной в 1861 году в газете «Русская речь». Макашин был земляком Чернышевского, в Саратове и состоялось их знакомство, которое продолжилось затем в связи с печатанием произведений Макашина в «Современнике». 21 апреля 1860 года на заседании Комитета Литературного фонда Чернышевский «предложил оказать пособие отставному солдату Семену Акимовичу Макашину, автору двух повестей... Макашин живет в Саратове, но имеет надобность переехать в Москву, где ему предлагают занятия, на этот переезд ему необходимо иметь 75 рублей».¹⁵ На этом же заседании Чернышевскому была выдана просимая Макашиным сумма, в получении которой Чернышевский оставил расписку.¹⁶ Через год

⁸ Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), ф. 438 (Литфонд), № 1, л. 1 об.

⁹ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1986, л. 5 об.

¹⁰ Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее: ГБЛ), ф. 120, п. 24, л. 57.

¹¹ ГПБ, ф. 356 (Ковалевский Е. П.), № 308, л. 9 об. (письмо от 31 декабря 1863 года; датирую по содержанию, — В. С.).

¹² Там же, л. 12 об. (письмо от 18 ноября 1863 года; датирую по содержанию, — В. С.).

¹³ ГБЛ, ф. 120, п. 24, л. 57.

¹⁴ «Горемычный» — название поэмы С. А. Макашина — первого из известных нам литературных опытов его (поэма помечена 1851 годом). Хранится в ГПБ (см.: Собрание автографов. М. 1929. 984).

¹⁵ ГПБ, ф. 438, № 1, л. 64—64 об.

¹⁶ Там же, № 8, л. 46.

Чернышевский снова помог через Литературный фонд Макашину в ответ на его просьбу, содержащуюся в письме от 5 мая 1861 года: «Милостивый государь, Николай Гаврилович! Письмо Ваше от 21 апреля я получил.¹⁷ Не нужно говорить, что я чувствовал, когда его читал... Не Вас (как Вы пишете) следует мне извинять, но меня извините, простите меня, что Вы из-за меня получили неприятности... Да, Николай Гаврилович, я родился чуть-чуть не в кабаке, воспитывался в кабаках, вырос меж людей постоянно пьяных, тупых. Нужно быть (а я этого никому не желаю) на моем месте, чтобы почувствовать весь ужас моего прошедшего».¹⁸ В заключение С. Макашин просил Чернышевского похлопотать о пособии ему от Литературного фонда, на что Чернышевский ответил ходатайством на заседании Комитета Общества 12 мая 1861 года. Пособие было Макашину выдано через Чернышевского под его расписку.¹⁹

Следующее ходатайство Чернышевского, заявленное на заседании Комитета Литературного фонда 4 октября 1860 года, связано с именем Т. Я. Наромовского, автора статей по медицине, о личности которого и других связях с Чернышевским мы не располагаем сведениями. Известно только, что Чернышевский от имени Литературного фонда предлагал Наромовскому место врача, о чем свидетельствует его записка Е. П. Ковалевскому от 18 декабря 1860 года: «Честь имею сообщить Вашему превосходительству для уведомления г. Остома, что г. Наромовский не желает принять должность ветеринарного врача в г. Костроме. С истинным уважением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства покорным слугой. Чернышевский».²⁰ 10 марта 1861 года Чернышевский помог получить пособие студенту, начинающему писателю А. П. Троицкому.²¹ Троицкий, как о том рассказывал он в своих прошениях в Литературный фонд в 1860 году, с № 62 за 1859 год по № 16 1860 года вел в «Русском мире» два отдела — «Вести отовсюду» и «Россия» (без подписи).²² Попад в 1859 году в больницу, Троицкий заинтересовался состоянием, если говорить современным языком, «медицинского обслуживания» и написал серию «больничных очерков», благожелательно встреченных критикой. В них шла речь о том, как пренебрежительное отношение больничного начальства к персоналу больниц вызывало подобное же отношение самих врачей к больным. В начале 60-х годов Троицкий оказался среди тех, кто в связи со студенческими волнениями был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Тогда-то он, по-видимому, и сблизился с Чернышевским и Лавровым. Как известно из донесения агента III отделения, производившего наблюдения за Чернышевским, 21 декабря 1861 года Троицкий посетил Чернышевского, но не смог с ним встретиться.²³ Есть основания полагать, что Троицкий хотел просить Чернышевского помочь ему получить пособие от Литературного фонда, так как 21 декабря 1861 года, когда все же состоялась встреча Троицкого с Чернышевским,²⁴ ему было выдано пособие, в получении которого тот оставил расписку.²⁵ Через месяц, 24 января 1862 года, Троицкий в письме к Лаврову упомянул еще об одном посещении им Чернышевского по поводу получения помощи от Литературного фонда: «Сегодня я был у Н. Г. Чернышевского и также просил его участия».²⁶ Комитет Литературного фонда вновь назначил Троицкому пособие.

Деятельное участие принял Чернышевский в судьбе популярного в конце 50-х годов писателя В. Н. Елагина, о романах которого один из современников писал, что они «способствовали к открытию многих грязных сторон русского общества и осветили темные углы пространного нашего отечества».²⁷ Елагин был знаком с Чернышевским с 1858 года, когда в «Современнике» стал печататься его роман «Откупное дело». «Трудно передать, — вспоминал П. В. Быков, — какую сен-

¹⁷ Это письмо Чернышевского неизвестно.

¹⁸ ГПБ, ф. 438, № 9, лл. 189—190.

¹⁹ Там же, л. 155 об.; № 10, л. 130. Кроме этого письма Макашина Чернышевскому, известно другое, опубликованное в III томе «Литературного наследия» Чернышевского (ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 662—663). Третье письмо хотя и опубликовано (в кн.: М. А. Воронов, С. А. Макашин. Рассказы о старом Саратове. Саратов, 1937, стр. 262—263), но следует числить в забытых, поскольку сведений о нем нет ни в библиографическом указателе русской литературы XIX века, ни в библиографической справке к описанию документальных материалов личного фонда Чернышевского в ЦГАЛИ, где оно хранится.

²⁰ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 155 (Литфонд), 1859—1860 гг.

²¹ ГПБ, ф. 438, № 1, л. 143 об.

²² ИРЛИ, ф. 155, 1860 г.

²³ «Красный архив», 1926, т. 1 (14), стр. 104.

²⁴ «С 10 часов до 12 студент Троицкий...» — доносил о посетителе Чернышевского агент III отделения («Красный архив», 1926, т. 1 (14), стр. 105).

²⁵ ГПБ, ф. 438, № 10, л. 103.

²⁶ Там же, № 11, л. 60. Об этом посещении Троицким Чернышевского сведений в агентурных донесениях нет.

²⁷ «Санкт-Петербургские ведомости», 1863, № 58, 4 марта.

сацию произвел этот роман, когда получилась книжка „Современника“, в котором он был напечатан».²⁸ Елагин, возможно, поддерживал связь с Чернышевским и после того, как его сотрудничество в «Современнике» прекратилось. На заседании Комитета Литературного фонда 4 августа 1861 года Чернышевский «сообщил сведения о положении, в котором находится В. Н. Елагин, автор многих известных журнальных статей; здоровье его совершенно расстроено, сильные признаки чахотки и паралич всей правой половины тела, так что без посторонней помощи он не может сделать ни малейшего движения; доктора находят, что лучшим средством облегчить его страдания было бы отправить его в Италию, если он в состоянии будет предпринять это путешествие».²⁹ Авторитетное ходатайство Чернышевского способствовало тому, что Елагину была назначена ежемесячная пенсия, выплачивавшаяся ему до самой его смерти в марте 1863 года.³⁰

На том же заседании «Чернышевский сообщил Комитету о крайне затруднительном положении г. Маркова, сотрудника журналов „Современник“ и „Библиотеки для чтения“; по расстроенному здоровью ему необходимо отправиться в деревню, но не имеет на то средств».³¹ В. В. Марков еще в 1857 году переводил вместе с Чернышевским «Рассказы по истории Англии» Т. Б. Маколея, был несомненно духовно близок кругу «Современника», что заметно из его более поздних статей, где он отстаивал историческую роль «новых людей» — революционеров начала 60-х годов.³² Этот случай помощи Маркову любознательным тем, что пособие Чернышевским было выдано еще до решения Комитета, под свою ответственность, о чем свидетельствует расписка Маркова, в которой указано, что пособие получено от Чернышевского в июне 1861 года (число не проставлено).³³

21 февраля 1862 года Чернышевский последний раз официально присутствовал на заседании Комитета Литературного фонда, поскольку в соответствии с уставом Общества должен был быть заменен. Но в необходимых случаях он по-прежнему поддерживал прошения обращающихся к нему людей.

Известно, что Некрасов в марте 1862 года ходатайствовал о пособии сосланному руководителю пермской тайной революционной организации А. Н. Моригеровскому. Вместе с тем следует отметить, что ходатайство Некрасова (на это до сих пор не обращалось внимания) было поддержано и Чернышевским.³⁴ На записке Моригеровского, где Некрасов подписался в получении пособия для него, рядом рукой Чернышевского записан адрес брата Моригеровского, преподавателя Технологического института, через которого, вероятно, было передано пособие.³⁵

В делах Литературного фонда есть еще одна записка без подписи, написанная рукой Чернышевского: «Медик Попов.³⁶ Должен был покинуть должность ординатора при Харьковской больнице. Обещано место ему. В ожидании просит пособия».³⁷ Быть может, и этот Попов каким-то образом был причастен к харьковскому революционному кружку.

В марте 1862 года Чернышевский передал Комитету Литературного фонда два письма к нему отставного поручика П. А. Шлихтера. Шлихтер предлагал Чернышевскому напечатать в «Современнике» свои письма-очерки, разоблачавшие преступные действия офицеров, обкрадывавших солдат и пздевавших над ними. Об этом же — еще четыре письма Шлихтера Чернышевскому, хранящиеся в ЦГАЛИ.³⁸ В них изложено содержание уже написанных Шлихтером очерков и приведена программа задуманных. «Постараюсь сделать их цензурными», — писал Шлихтер.³⁹ Названия главок писем-очерков, приводимые Шлихтером, позволяют

²⁸ П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. Изд. «Земля и фабрика», М.—Л., 1930, стр. 17. Из большой переписки Елагина с Краевским видно, что он пытался печататься в «Отечественных записках», предлагал несколько интересных произведений, но ни одно из них не прорвалось сквозь цензуру (ГПБ, ф. 391 (Краевский А. А.), № 354).

²⁹ ГПБ, ф. 438, № 1, л. 161—161 об.

³⁰ Имеется еще одно обращение Елагина к Чернышевскому как члену Литературного фонда: «М. г. Николай Гаврилович. Ради бога, извините меня, — я знаю, Вам некогда, — а что ж делать. Вы член Комитета! Нельзя ли мне поскорей получить деньги от Комитета, в которых я крайне нуждаюсь. Прошу Вас простить меня в моей докучливости, а когда получите, прошу вас передать М. М. Стопановскому...» (ЦГАЛИ, ф. 1 (Чернышевский Н. Г.), № 442). Письмо не датировано, датируется нами 1861 годом: судя по распискам, имеющимся в делах Литературного фонда, именно в этом году Елагин получил деньги через Стопановского.

³¹ ГПБ, ф. 438, № 1, л. 161 об.

³² В. Марков. На-встречу. СПб., 1878, стр. 61—62 и след.

³³ ГПБ, ф. 438, № 10, л. 204.

³⁴ Там же, № 1, л. 203 об.

³⁵ Там же, № 11, л. 149.

³⁶ Далее зачеркнуто: «отставлен от должн.».

³⁷ ГПБ, ф. 438, № 11, л. 193 об.

³⁸ ЦГАЛИ, ф. 1 (Чернышевский Н. Г.), № 504.

³⁹ ГПБ, ф. 438, № 11, л. 127.

установить их идентичность с текстом, напечатанным под заглавием «Из записок ротного командира» в «Сборнике статей, недозволенных цензурою в 1862 году».⁴⁰ Пособие Комитета Литературного фонда было назначено, и Шлихтер получил его от Чернышевского 16 марта 1862 года, о чем оставил расписку.⁴¹ Чернышевский и в дальнейшем опекал Шлихтера. Сведения об этом находим в сентябрьском 1862 года письме Шлихтера Е. П. Ковалевскому, написанном перед отъездом его на Амур «для литературно-ученой разработки края»: «Н. Г. Чернышевский одобрил мое намерение, хотел найти место для моих „Писем о Сибири и Приамурье“ и выхлопотать пособие на дорогу».⁴² Чернышевский поневоле не смог помочь Шлихтеру — в июле 1862 года он был арестован. По той же причине пропала рукопись Шлихтера. «Лучшая моя статья — „Мысли об изучении истории“ — была вручена Чернышевскому — участь ее неизвестна», — писал тогда же Шлихтер.⁴³

Арест помешал Чернышевскому выполнить еще одну просьбу — автора устава тайного пермского общества П. С. Ефименко. В комментарии к опубликованному письму сосланного Ефименко к Чернышевскому от 16 июня 1862 года с просьбой о пособии от Литературного фонда сказано, что судьба этого прошения неизвестна.⁴⁴ В архиве Комитета Общества имеется письмо Ефименко к Лаврову, написанное им 6 июля 1862 года — за день до ареста Чернышевского, — того же содержания, что и предыдущее письмо к Чернышевскому.⁴⁵ Может быть, каким-то образом слухи о предполагающемся аресте Чернышевского дошли до Ефименко и поэтому он решил обратиться уже к Лаврову? В заседании Комитета 13 сентября 1862 года «рассматривалось прошение о пособии г. Ефименко». На этом заседании присутствовал Лавров, который, вероятно, и передал просьбу Ефименко.⁴⁶

Об отношениях Чернышевского с Лавровым в начале 60-х годов писал Ив. Книжник-Ветров.⁴⁷ К уже известному можно добавить, что с февраля 1861 года по февраль 1862 года, будучи одновременно членами Комитета Литературного фонда, Лавров с Чернышевским сопредседатели, по крайней мере, на семи заседаниях: подписи их под протоколами заседаний стоят всюду одна за другой (в разной последовательности). Это, разумеется, недостаточное основание для того, чтобы считать, что Лавров и Чернышевский держались вместе на литфондовских заседаниях, но указанное обстоятельство не следует упускать из виду при оценке их отношений.

Хронология посещения Чернышевским заседаний Комитета Литературного фонда позволяет уточнить и такие источники сведений о жизни Чернышевского в 1861—1862 годах, как агентурные донесения в III отделение. В одном из них, например, говорится, что «28 и 29 ноября Чернышевский не ходил со двора»,⁴⁸ тогда как в журнале заседаний Комитета 28 ноября Чернышевский не только числится среди присутствующих, но и стоит его подпись под протоколом заседания.⁴⁹

В последний раз имя Чернышевского упоминается в делах Литературного фонда за 1868 год. В списке задолжников Общества, несколько лет не плативших членские взносы, против каждой фамилии в графе «Примечание» написано «Исключить». В этом списке присутствует и Чернышевский. Он — единственный, о котором в указанной графе нет никакой пометы.⁵⁰ Пропуск этот представляется достаточно красноречивым.

Р. Б. ЗАБОРОВА

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД

(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ)

Деятельность Достоевского в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературном фонде) до сих пор еще не изучена. Между тем идеи гуманизма и демократизма, одушевлявшие его творчество, нашли в ней своеобразное практическое претворение.

⁴⁰ Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 году, т. II. СПб., 1862, стр. 52—57.

⁴¹ ГПБ, ф. 438, № 11, л. 142.

⁴² Там же, л. 356 об.

⁴³ Там же, л. 356.

⁴⁴ «Каторга и ссылка», 1928, кн. 7/44, стр. 70.

⁴⁵ ГПБ, ф. 438, № 11, л. 366.

⁴⁶ Там же, л. 220.

⁴⁷ «Литературное наследство», т. 7—8, 1933, стр. 95—111.

⁴⁸ «Красный архив», 1926, т. 1 (14), стр. 95.

⁴⁹ ГПБ, ф. 438, № 1, л. 175.

⁵⁰ Там же, № 17, л. 838.

Особенно много времени и сил отдал этой общественной деятельности писатель, всегда, по его словам, задавленный работой, в 60-е годы. Перекрещиваясь с литературной и журнальной его деятельностью, работа в Обществе являлась одним из выражений его участия в общественно-политической жизни этой бурной эпохи социальных сдвигов. Он был одним из виднейших деятелей этой организации, сыгравшей, несмотря на столкновение в ней разных идейно-политических течений и группировок, заметную роль в упрочении правового и материального положения писателей и ученых. То обстоятельство, что Достоевский стал членом Общества, официально начавшего функционировать с 8 ноября 1859 года, чуть ли не с первых дней его основания, говорит о том, что и он стоял у истоков этого благородного замысла, осуществленного известными писателями и учеными.

Одновременно с хлопотами о разрешении жить в столице и издавать политический и литературный журнал, Достоевский изъявляет желание стать членом Литературного фонда. Не успев еще после ссылки водвориться на жительство в Петербурге (разрешение на въезд было получено 25 ноября, а приезд в Петербург датируется 16 декабря), Достоевский 30 ноября был вместе с М. М. Достоевским рекомендован в Общество (первый — А. А. Краевским, второй — К. Д. Кавелиным), а 20 декабря 1859 года принят в члены.

Писатель был сразу вовлечен в орбиту действий Комитета Общества, хотя и строго ограниченных Министерством просвещения выдачей пособий, но получивших стараниями возглавлявших дело передовых деятелей литературы и науки гораздо более широкий размах. Общество назначало пособия (пенсиями и единовременными выплатами), используя средства, составлявшиеся из взносов; пожертвований, процентов с изданий, сборов от спектаклей и чтений, хлопотало о помещении больных и стариков в больницы и богадельни, сирот в учебно-воспитательные заведения, отчисляло на стипендию бедной учащейся молодежи и, кроме того, организовывало сбор книг для провинциальных библиотек, проявляло заботу об устройстве молодых писателей в архивы и получении ими из Министерства народного просвещения командировок для изучения отечества, предоставляло в отдельных случаях ссуды на «полезные литературные труды» — главным образом на издания для народа. Действия Фонда были связаны с современным общественным движением.

Составленные Достоевским официальные, частью неопубликованные документы, письма к нему по делам Комитета, написанные или подписанные им в качестве секретаря журналы заседаний Комитета, а также и другие материалы Общества, в которых отразилось его участие в делах этой организации, показывают, как много души вложил Достоевский во все эти насущные дела, начиная с личных взносов и отчислений от своих изданий и кончая посещениями петербургских трущоб, чердаков и подвалов, в которых ютилась бедная пишущая братия.

Впечатления от городского дна, от встреч с его обитателями усиливали чувство сострадания к социальным низам, которое водило пером автора петербургских повестей, в «Униженных и оскорбленных» нарисовавшего образ писателя — Ивана Петровича, влачащего нищенское существование в «сыром сундуке» «под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города среди взбалмошного кипения жизни»,¹ загнанного спешной литературной работой на срок, как «почтовая кляча».

Приняв сразу по приезду в Петербург участие в первом благотворительном спектакле Общества, Достоевский на одном из приглашенных билетов на репетицию «Ревизора» (4 апреля 1860 года) набрасывает план развития отношений Ивана Петровича, музу которого потом назовет «чердачной», с бедняжкой Нелли и возмущающим его беспечным баричем Алезей.²

Громкому успеху этого и следующего спектакля с постановкой «Женитьбы» Гоголя и «Провинциалки» Тургенева способствовала и талантливая игра Достоевского, получившего 11 мая 1860 года благодарность от Общества.³

В кружке сотрудника «Светоча» А. П. Милюкова, поклонника Белинского и Петрашевского, Достоевский сталкивается с писателями: В. В. Крестовским, с которым потом совместно участвует в устраиваемых Обществом литературных чтениях и вечерах, и Д. Д. Минаевым — составителем обращения Общества к председателю английского «Literary Fund» У. Теккереем о форме оповещения публики о выдачах пособий,⁴ сильно занимавшим и Достоевского.

Особенно тесно переплеталась деятельность Достоевского в Литературном фонде с деятельностью Некрасова, в литературе уже освещавшейся В. Е. Евгенье-

¹ Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. III, изд. «Наука», Л., 1972, стр. 300.

² «Литературное наследство», т. 86, 1973, стр. 14.

³ Л. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 102.

⁴ Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), ф. 438, № 9, л. 1—1 об. Авторство документа, составленного от имени председателя Общества Е. П. Ковалевского 18 декабря 1859 года, установлено нами по почерку.

вым-Максимовым, Ф. Я. Приймай, В. Н. Сажиним и автором данной статьи. Несмотря на то, что оба писателя стояли на разных общественно-политических и литературных позициях, их сближало на данном, более узком поприще подлинно демократическое отношение прошедших тяжелых жизненных путей людей к меньшей братии, к обездоленным социальным низам и к их народным заступникам. Достоевский одновременно с Некрасовым осуществлял подвиг писателя-общественника, писателя-гражданина, муза которого, по словам Белинского, «любит людей на чердаках и в подвалах». Одинаково представлялась обоим судьба литературного пролетария, сходно изображенная одним в стихотворении «В больнице», другим в «Униженных и оскорбленных», где героя литература тоже довела до больницы, доведет и до смерти. Оба писателя в редактируемых ими журналах поощряли, хотя и по-разному решавшиеся, «теоретическое обсуждение вопроса, составляющего для фонда главный вопрос», — «об искоренении зла... литературного пролетариата».⁵

В стремлении расширить сферу деятельности Общества помощью не только писателям-демократам и писательской бедноте, но и преследуемым властями революционерам, а также участникам студенческих волнений, Чернышевский и Некрасов также находили поддержку и понимание у Достоевского. С первых же месяцев пребывания в Обществе, в которое тогда же он предложил друга, известного ученого-демократа Ч. Ч. Валиханова и брата, Н. М. Достоевского, Достоевский испросил помощь товарищу по ссылке, отбывавшему с ним вместе более четырех лет каторги, — петрашевцу С. Ф. Дурову (1816—1869), о котором он писал в «Записках из Мертвого дома»: «Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой».⁶ Дуров, мечтательная и романтическая натура, от каторжных работ в ледяной воде получил ревматизм, который не давал ему иной раз по целым ночам сомкнуть глаз, но продолжал писать вольнодумные стихи и в омской темнице.

Как явствует из записки в журнале заседаний от 28 марта 1860 года, «член Общества Ф. М. Достоевский предложил Комитету войти в положение г. Дурова, который живет в Одессе, страдает болезнью в ногах и не имеет средств к безбедному существованию. Г. Дуров издал сочинения Хмельницкого, с предисловием, излагающим значение деятельности этого автора комедий и других театральных пьес; кроме того, помещал свои статьи в разных журналах».⁷ Дуров, пропагандист сочинений Н. И. Хмельницкого, переводчик Мицкевича, Гюго и Барбье, автор ряда физиологических очерков, повести «Чужое дитя» и драмы «Мать и дочь», после ссылки и трехлетней службы в Сибири поселился на юге России и печатался в «Современнике» и «Русском слове» анонимно. Ходатайство за него Достоевского, которому самому пребывание в столице было разрешено лишь под надзором полиции, было делом большой смелости.

Еще большего гражданского мужества требовало оказание материальной помощи вновь осужденным борцам и их семьям, терпящим кормильцев в условиях вопиющей необеспеченности литературного труда вообще. В отчете Общества за 1861 год с горечью было отмечено: «Еще долго положение литераторов и их семей не будет достаточно обеспечено, еще долго печальным девизом их существования будут слова: „работы и хлеба“».⁸

Важно в этой связи отметить, что Достоевский в 1861 году возглавил подачу в Комитет Литературного фонда обращения группы деятелей литературы, науки и культуры о необходимости активизации деятельности Общества ввиду происшедших политических арестов. Прямо об этом нельзя было писать, и в заявлении говорится о «некоторых обстоятельствах» завуалированно. Еще более завуалированы строки об этом в юбилейном сборнике Общества.⁹

В заявлении, подписанном Ф. М. и М. М. Достоевскими, редактором «Русского слова» Г. Е. Благосветловым, историками М. И. Семевским, В. П. Поповым, поборником женского образования К. Н. Бестужевым-Рюминым, известными юристами К. К. Арсеньевым и А. В. Лохвицким, поэтами «Искры» Н. С. Курочкиным и М. П. Розенгеймом, писателями и публицистами Н. В. Альбертини, С. С. Громекой и Г. Д. Думшиным, издателем Н. Л. Тибленом и книготорговцем Д. Е. Кожанчиковым, чиновником Министерства внутренних дел А. К. Арсеньевым, чиновником инспекторского департамента Военного министерства В. В. Пеликаном и редактором «Артиллерийского журнала» генерал-майором Ф. Х. Минутом, значилось:

⁵ См. заметку Н. Н. Страхова в ответ на статью Н. В. Шелгунова «Литературные рабочие» («Современник», 1861, № 10), напечатанную во «Времени» (1861, № 11, стр. 105—118).

⁶ Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. IV, стр. 80.

⁷ ГПБ, ф. 438, № 1, лл. 60 об.—61.

⁸ XXV лет. 1859—1884. Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, стр. 16—17.

⁹ Там же, стр. 25.

«В Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым.

Так как Комитет прекратил с некоторого времени печатание отчетов о своих заседаниях, то многие из членов Общества находятся в совершенном неведении о ходе его дел. Между тем некоторые обстоятельства заставляют предполагать, что расходы Общества будут постоянно увеличиваться.

Вследствие этого нижеподписавшиеся члены покорнейше просят Комитет известить их чрез газеты о ходе дел Общества и тех мерах, какие он полагает принять, в течение нынешнего года, для увеличения своих средств.

С.-Петербург 23-го сентября 1861 г.»¹⁰

Из неопубликованных писем к Достоевскому петербургского издателя политической и социально-экономической литературы Н. Л. Тиблена, получившего от Достоевского аттестацию «добрейшего, милого» человека,¹¹ видно, что заявление было возбуждено Достоевским и входившим в круг Чернышевского Тибленом. Последний взял лист на неделю для сбора подписей, а 3 октября 1861 года писал Ф. М. Достоевскому:

«3 окт<ября> 1861.

Милостивый государь
Федор Михайлович.

Не знаю, найдете ли вы достаточным количество подписей под нашим заявлением в Комитет Литературного фонда. Если вы сочтете нужным иметь еще несколько имен, то я оставлю заявление еще на неделю у себя; если же нет, то сегодня же вечером передам Лаврову. Я боюсь только, чтобы проволочка не испортила всего дела.

Сообщите, пожалуйста, ваше мнение и возвратите лист.

Ваш покорный слуга
Н. Тиблен.

На всякий случай вот мой адрес: Ник<олай> Львович Т<иблен>, на Васильевском острове, в 8-й линии, № 25».¹²

Написанный Достоевским и Тибленом 23 сентября, в дни студенческих волнений, через неделю после подачи коллективного письма редакторами и сотрудниками петербургских журналов министру просвещения Е. В. Путятину по поводу ареста М. И. Михайлова (подписанного Добролюбовым, Некрасовым, Панаевым, Лавровым, М. М. Достоевским и др.), этот лист был вызван беспокойством за жертвы политических арестов и их семьи. Если положение их волновало входивших в Комитет Н. Г. Чернышевского и П. Л. Лаврова, то оно мало заботило, например, отдыхавшего до конца сентября в своей симбирской деревне П. В. Анненкова и отсутствовавшего на заседаниях Комитета в августе и сентябре П. М. Ковалевского, в следующем году заморозившего выпуск литературного сборника в пользу кассы.¹³

В ответ на записку Достоевского, видимо, о появлении 3 октября в «Санкт-Петербургских ведомостях» призыва Комитета Общества об уплате членских взносов ввиду предстоящих расходов на пособия нуждающимся литераторам и их семьям, а также бедным студентам, Тиблен изложил 4 октября, в день ареста В. А. Обручева, пространно ту декларацию, которая скрывалась за скупым официальным заявлением.

«4 окт<ября> <18>61.

Милостивый государь
Федор Михайлович.

Возвратясь домой вчера вечером, я нашел записку вашу и спешу сообщить следующее:

1) Публикацию фонда я читал. Она напечатана 3 октября, а наше заявление подписано 23 сентября, следовательно и пр. Публикация касается только взноса денег за членские билеты, а мы просим уведомления вообще о деятельности Общества.

¹⁰ ГПБ, ф. 438, № 9, л. 284.

¹¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. ГИХЛ, М.—Л., 1928, стр. 311.

¹² Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее: ГБЛ), ф. 93.П.9.45, л. 1.

¹³ Особенное беспокойство о ресурсах проявил в напряженном 1861 году Тургенев, сообщая 12 мая 1861 года об отсылке из Парижа собранных у бывшего декабриста С. Г. Волконского, Н. А. Кочубея и Н. В. Ханькова 110 франков, «что на русские деньги составляет 29 руб. 97½ коп.», и от него самого «из деревни 5 проц. с прошлогоднего дохода — 245 р. сер.» (ГПБ, ф. 438, № 10, л. 110).

¹⁴ Русская литература, № 3, 1975 г.

2) Сделана эта публикация именно на основании слухов о нашем заявлении.

3) Я вчера еще передал ее Лаврову, который, если верить словам его, очень рад, что Комитету дается толчок, хотя он, в качестве казначея, сам член Комитета, „но один, — говорит, — ничего не могу сделать“.

4) Заботливость, высказанная Комитетом о студентах, делает ему честь. Но она высказана 3-го окт<ября>, а мы писали 23 сент<ября>, что считаем нелишним позаботиться о всей пишущей и ученой братии.

5) Прибавились еще три подписи: Розенгейм, Семевский и Пеликан — и прибавились на вечере у того же Лаврова.

6) Если бы Комитет вздумал ответить нам какою-нибудь тонкою юридическою пошлостью, то надеюсь, что каждый из подписавшихся сумел бы ответить на *общем* собрании, которое (говорит тот же Лавров) должно быть скоро созвано. Еще бы они теперь не заботились о делах фонда, когда половина литературы и университета сидит в крепости. Мы замечаем им только, что заботливость эта должна быть постоянной, даже и тогда, когда гг. бюрократы Комитета изволят жить на даче или отдыхать в деревне. А то ведь это выходит: „на охоту ехать — собак кормить“.

Не знаю, согласны ли вы со мною. Но мне кажется, что мы вполне правы. Я рассчитываю видеть Лаврова очень скоро и узнаю, какое впечатление произвела подача заявления на Комитет. Тогда, если вам угодно, и сообщу это.

Покуда извините, что мне так часто приходится отрывать вас от дела моими записками.

Готовый к услугам

Н. Тиблен».¹⁴

Общение с Н. Л. Тибленом, который в феврале 1862 года назначался и в возглавленную Н. Г. Чернышевским депутацию, хлопотавшую перед министром просвещения А. В. Головным за арестованного А. П. Шапова, отвечало потребности Достоевского в активной борьбе с жестокими правительственными мерами, которая одновременно находила выход и на страницах «Времени»: защита студенчества от обвинений в поджогах, осуждение услания полиции, введения военных судов и применения телесных наказаний, протесты против закрытия воскресных школ и шахматного клуба как пропагандистских центров, против репрессий по отношению к «Современнику», «Русскому слову» и Литературному фонду.

Особенно много времени и сил отдал Достоевский Обществу в 1863—1865 годах, когда он состоял членом и секретарем (в 1863 году) его Комитета. Об избрании в Комитет сообщал Достоевскому П. М. Ковалевский (2 января 1863 года), испрашивая его согласия:

«Милостивый государь
Федор Михайлович.

Сегодня было заседание Комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, и по большинству голосов на место выбывающих по очереди четырех членов Вы избраны в число кандидатов.

Список кандидатов будет напечатан (для членов только), сообщен через две недели общему собранию всех членов, и 2-го февраля произойдут выборы в годичном общем собрании.

Но для того, чтобы иметь право внести Вас в список, необходимо иметь Ваше на то согласие. Позвольте Вас убедительнейше просить не отказываться: занятый немного; иметь же Вас членом — честь для Комитета, а сочленом — особенное удовольствие для меня лично.

В ожидании не иначе как удовлетворительного ответа остаюсь душевно Вам преданный

П. Ковалевский.

Адрес мой: Литейная, близ Бассейной, д. Юргенса».¹⁵

Вскоре Достоевский сообщал от имени Е. П. Ковалевского в Министерство народного просвещения:

«Г. Министру Головнину.

Милостивый Г<осударь> Александр Васильевич.

Долгом считаю уведомить Ваше Превосходительство, что на годовом собрании Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, бывшем 2-го февраля сего года, произведены были выборы по § 20-му Устава Общества Председателя, его помощника, казначея и секретаря, равно как и четырех новых членов Комитета на место четырех прежних членов, выбывших по ежегодной очереди.

¹⁴ ГБЛ, ф. 93.11.9.45, лл. 2—3. В ответ на заявление Комитет заслушал отчет казначея о движении сумм Общества с 29 сентября по 16 октября 1861 года (ГПБ, ф. 438, № 1, лл. 168—168 об., 173).

¹⁵ ГБЛ, ф. 93.11.5.80, лл. 1—2. Списки для избрания нового состава Комитета см.: ГПБ, ф. 438, № 12, лл. 31—31 об., 67, 68, 85.

Председателем был избран я, помощником председателя князь Г. А. Шербаков, казначеем утвержден исправлявший должность сию в прошедшем году И. Н. Березин, секретарем выбран был Ф. М. Достоевский. Вместо четырех выбывших членов Комитета: И. С. Тургенева, А. П. Заблоцкого-Десятовского, С. С. Дудышкина и Н. А. Некрасова — были выбраны вновь А. Н. Пышин, Б. И. Утин, Ф. М. Достоевский и М. Н. Калачов.

Примите уверение в совершенном моем уважении.

Председатель Общества.

13 февраля 1863 года.¹⁶

12 февраля 1863 года Достоевский принимает от В. П. Гаевского секретарство и ведет сам журнал заседания о деятельности ревизионной комиссии, о пособии репрессированному П. П. Чубинскому, студентам Санкт-Петербургского университета и др.¹⁷

Павел Платонович Чубинский (1839—1884), историк и статистик, крупнейший фольклорист и этнограф, автор статей в журналах «Основа», «Сельское училище», «Сельский учитель» и пр., по окончании Петербургского университета отправился на свою родину на Украине, учил крестьянских детей, содействовал открытию школ и распространению грамотности в народе. Хлопоча за него, М. И. Сухомлинов, о приглашении которого на обсуждение 18 февраля особенно позаботился Ф. М. Достоевский как секретарь, писал: «Всякий, кто бывал в Малороссии, мог удостовериться, до какой степени полезна для края деятельность малороссийской молодежи, доходящая до самоотвержения: один из молодых людей, получая всего в год 300 рублей, отдаёт из них 60 рублей на народные школы и т. п. К величайшему сожалению, г. Чубинского постигло несчастье: его сослали в Пинегу, Архангельской губернии, по малороссийскому выражению, „наипаскуднейший город у цийль губерни“. Получая в день 15 коп. на содержание и не имея решительно никаких средств для приобретения книг, необходимых по его специальности — истории русского права, он лишен возможности продолжать свои ученые занятия».¹⁸

Достоевский визирует письма в Комитет С. С. Дудышкина — А. Д. Галахову и А. Н. Пышину — Б. И. Утину в феврале 1863 года о срочной помощи преследуемому властями А. П. Щапову, который «сидит без гроша денег в самом буквальном смысле этого слова».¹⁹ Помощь Щапову, статья которого «Земство и раскол. Бегуны» печаталась во «Времени» в 1862 году, оказывалась во все это трехлетие и позднее, так как в Иркутской ссылке Щапов содержал старуху мать 75 лет, 5 сирот племянников и семьи трех сестер, выданных замуж за «беднейших и беспечных мужиков». «Между тем, — писал он в Литературный фонд 9 июля 1865 года, — в настоящее время я не только не могу помочь матери, сиротам и сестрам, но и сам тяжелейшим долгом задолжал на 125 р. Все это сильно расстраивает нервы и волнует мысли так некстати, в такое время, когда во мне стала было снова закипать энергия к работам и я замыслил, сверх исторических очерков, писать публицистические статьи на вопросы, какие внушает, дидактически, тиранически задает время, жизнь, и какие мучат голову. Прошу единовременного пособия из фонда, между прочим и на книги, на источники, без которых здесь, в невообразимой библиотечной пустыне дауро-монгольской невозможна не только работа, но и самая жизнь умственная».²⁰

Возвращаясь к началу комитетской деятельности Достоевского, которая потребовала не мало, как обещал П. М. Ковалевский, а очень много труда и энергии, следует привести еще несколько неопубликованных распоряжений Комитета, подписанных Достоевским и дополняющих уже известные по I тому Писем официальные письма.

«Февраля 18 дня 1863 года. № 6.

Г. Казначее Общества И. Н. Березину.

По определению Комитета 18 текущего февраля покорнейше прошу Вас выдать: 1) Е. А. Авдеевой семьдесят пять рублей и 2) г. Прозорову сто рублей.

Председатель Ковалевский
Секретарь Ф. Достоевский».²¹

Писательница Екатерина Алексеевна Авдеева (1789—1865), сестра Н. А. Полевого, была автором поваренных книг и пособий по домоводству, «Записок и замечаний о Сибири» (1837), «Записок о старом и новом русском быте» (1842), сборников песен и сказок (1844—1848). Павел Иванович Прозоров (р. 1811), учитель, товарищ

¹⁶ ГПБ, ф. 438, № 12, л. 90 (черновик, с опiskой «М. Н.» вместо «Н. В. Калачов»).

¹⁷ Там же, № 1, лл. 243—245. Достоевский сам завел и книгу для записывания взносов членов Общества.

¹⁸ ГПБ, ф. 438, № 12, л. 89—89 об.

¹⁹ Там же, лл. 88 и 104.

²⁰ Там же, № 14, лл. 135, 136.

²¹ Там же, № 12, л. 96.

Белинского по Московскому университету, автор воспоминаний о Белинском в «Библиотеке для чтения» (1859) и разных литературных и географических очерков, готовил издание «Очерков древней географии, приспособленных к изучению русской истории», для чего и испрашивал пособие 12 декабря 1862 года.

По нижеследующему распоряжению была оказана помощь 18 студентам Санкт-Петербургского университета:

«Марта 2 дня 1863. № 12.
Г. Казначею Общества.

Согласно заключению журнала 79-го заседания Комитета Общества благоволите выдать в пользу учащимся по прилагаемому списку 153 рубля.

Председатель Общества Ковалевский
Секретарь Ф. Достоевский». ²²

25 марта 1863 года Достоевский подписал другое распоряжение:

«Г. Казначею Общества.

Согласно журнала заседания 80-го благоволите произвести следующие выдачи: 1) г. Стопановскому для употребления на похороны г. Елагина 50 руб., 2) вдове Мишиной 150 руб., 3) г. Шевичу 150 руб., 4) г. члену Комитета Пышину для устройства дел г. Шапова 200 руб., 5) отправить в Москву г. Киттаре для выдачи г-же Кресиной 50 руб.

Председатель Общества Ковалевский
Секретарь Ф. Достоевский». ²³

Писатель М. М. Стопановский получил на похороны Владимира Николаевича Елагина (1831—1863) — автора обличительных произведений «Откупное дело», «Губернский карнавал», «Знатное мертвое тело». Профессор Московского университета М. Я. Киттары получил деньги для Жозефины Кресиной, вдовы писателя «натуральной школы» Александра Давидовича Кресиана (ум. 1861), автора стихотворений, повести «Обгорелое урочище», «Писем из Москвы», рассказов «Ростовщик и его друг», «Меморий квартального», статьи «Корова в домашнем быту», письма в редакцию «Северной пчелы» о проекте Московско-Коломенской железной дороги и пр.

Александра Ивановна Минина получила пособие как вдова Николая Гавриловича Минина (ум. 1861), преподавателя военно-учебных заведений, автора пособий по русскому языку и словесности. Шевич Василий Степанович, окончивший философский факультет Московского университета в 40-х годах, преподаватель истории и географии в Лубенском уездном училище, был автором педагогических статей в журнале «Воспитание», книги «Взаимные отношения жизни и воспитания» (Киев, 1862), статей «О нежинских пещерах Подольской губернии» (1854), «О подземных водохранилищах Подольской губернии» (1855), «Осен в Полтавской губернии» (1859), а также комедий «Проказница» (1851) и «Женихи» (1852). В ноябре 1862 года он подвергся высылке в Уфу, где работал судебным следователем безвозмездно.

На заседаниях Комитета Общества, которые в 1863—1865 годах приходилось Достоевскому подписывать, а в 1863 году зачастую и протоколировать, проходил целый поток «имен, наречий, состояний» — многоликий писательский поток с разнообразной писательской продукцией. Достоевский, журналы которого отстаивали интересы печати и просвещения, свободу развития литературного процесса, введение планомерной информации о выходящих книгах, на этих заседаниях соприкасался с жизненным материалом, жаждавшим проявления этих демократических тенденций в передовых и честных литературных органах.

Пропагандирование частной и общественной благотворительности на страницах этих журналов сочеталось с сочувственным интересом писателя (подвергнутого потом специальному рассмотрению вопрос о «единичной» и «общественной милостыне» в «Идиоте») к обездоленным и беспомощным жертвам социальной несправедливости, борющимся порой за самое свое существование.

Литературный фонд выплачивал большую пенсию семье Белинского, отваживаясь помогать известным политическим ссыльным: А. П. Шапову, декабристу К. К. Безбардису, сосланному в Калужскую, а потом Московскую губернию. Пособие для возвращения на родину было предоставлено учившемуся в Московском университете болгарскому просветителю Любену Каравелову; получил помощь учившийся в Петербургском университете сербский демократ Живоин Жуевич, автор статей «О распространении грамотности в Сербии», «Славянский юг», «Сербское дело» и др. в «Отечественных записках» и «Современнике».

²² Там же, л. 110.

²³ Там же, л. 142.

²⁴ См. наши сообщения: 1) Новые материалы о М. В. Белинском. «Литературное наследство», т. 57, кн. III, 1951, стр. 319—326; 2) Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове. «Русская литература», 1973, № 4, стр. 128—129.

Среди просителей были и быстро приобретшие известность беллетристы-демократы: А. И. Левитов, Н. И. Наумов, М. А. Воронов, сотрудничавшие в «Современнике», «Искре» и других журналах, в частности в журналах Достоевского «Время» и «Эпоха»; были ведущие сотрудники других известных периодических изданий: член редакции «Русского слова» В. Н. Леонтьев, редактор газеты «Русь» Н. И. Шульгин, был казанский журналист С. И. Черепанов, обвиненный в политической неблагонадежности, семьи Н. Г. Помяловского и Д. Д. Минаева и др.; были и бесчисленные незаметные труженики пера, преимущественно разночинные слои, стоявшие близко к широким пластам мелкого чиновничества, мещанства, престолюдинов и писавшие большей частью в жанре социального очерка, народного рассказа, бытовой повести, газетного фельетона, — переводчики, учителя, лекари, нижние воинские чины, женщины-писательницы и пр., как это видно из ранее нами составленной росписи журналов Комитета.²⁵

Значительную группу составляли студенты: С. С. Шашков, сотрудничавший в «Искре», кандидат Санкт-Петербургского университета Н. И. Покровский — автор исторических и других очерков и статей в «Русском мире», «Гудке», «Театральном и музыкальном вестнике», за которого просил Н. А. Некрасов;²⁶ студент из крестьян Т. И. Балюра, сотрудник петербургских и московских газет; студент-математик А. К. Эшлиман и др. Испрашивал пособие для продолжения образования киевский гимназист И. Бородин и однофамилец будущего «Подростка» 17-летний князь Всеволод Алексеевич Долгорукий, исключенный по доносу отца из Морского кадетского корпуса за общение с революционно настроенными студентами. Занявшись литературным трудом, Долгорукий напечатал в 1862 году обличительную брошюру «Аскоческий, новый оракул», составил библиографическую заметку «Сатирические произведения прошлых годов» и строил проекты издания по дешевой цене русских классиков.²⁷

Все это вызвало к состраданию. Так, например, М. Т. Семеновко-Крамаревская, вдова издателя книг для легкого чтения, писала 18 мая 1864 года: «Шестой день, кроме черного хлеба, мы ничего не ели, а сегодня и того нет».²⁸

Несмотря на то что Достоевский буквально задыхался от спешной работы, не выходя сам из нужды, многие бедствующие были им лично обследованы и получили по его ходатайству пособие. Ему приходилось посещать литераторов Петербурга на дому и в больницах, знакомиться с их домашним бытом, с их служебным и имущественным положением, писательскими интересами, приходилось давать творческие советы, нужные книги, осуществлять издательскую помощь.

Авторы газетных статей, переводчики и репетиторы, как и зарабатывавший себе на жизнь подобно рода занятиями Раскольников, ютились в убогих квартирах, с темными лестницами, усеянными сором, в сводящей с ума нищете. В журнале заседания Комитета от 24 июня 1863 года записан доклад Достоевского о мещанине Шмитановском, которому принадлежит длинный ряд сочинений из мелкой рыночной литературы; между прочим был издателем „Бубечника“. Список его сочинений прилагается к этому журналу. Г. Шмитановский был приказчиком в лавке, но теперь не имеет места; ему 24 года, и он обещает быть человеком порядочным.²⁹ В приложенном списке сочинений перечислены издаваемые им сказки «Жар-птица», «Соловей-разбойник», исторические повести «Ермак, или Покорение Сибирского царства», «Стенька Разин», «Русские народные легенды» и др.³⁰

23 ноября 1864 года было «читано письмо П. А. Любимова о пособии. По собранным Ф. М. Достоевским сведениям, Любимов, лет 30, одинокий, живет бедно. В декабре 1862 года ему выдано 50 р.» Однако Комитет отнесся более жестко к просителю, чем Достоевский; было «определено: в пособии отказать, так как проситель, будучи молод, одинок и здоров, может существовать собственным трудом».³¹

Петр Александрович Любимов, недружившийся студент Московского университета, автор повести «Прохладная жизнь», очерка «История дуэлей» в журнале «Свечеч» 1861 года (под псевдонимами «Л. Петров» и «П. Л—в»), рецензии «„История польской литературы...“ Л. Кондратовича» и заметок в отделе «Современное обозрение» (без подписи, там же). В упомянутом письме на имя Ф. М. Достоевского от 19 ноября 1864 года он писал, что снова имеет «крайнюю, настоятельную необходимость» в пособии.

Обследовал Ф. М. Достоевский и более значительных писателей. 13 мая 1863 года по ходатайству С. С. Дудышкина за беллетриста Егора Александровича Моллера (1812—1879), автора повестей «Автобиография», «Настя», рассказов из

²⁵ Рукописи Ф. М. Достоевского. Каталог. Сост. Р. Б. Заборова. Л., 1963, стр. 25—40 (Гос. публ. библиотека).

²⁶ См. наше сообщение «Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове» («Русская литература», 1973, № 4, стр. 132).

²⁷ ГПБ, ф. 438, № 13, лл. 137—141.

²⁸ Там же, л. 124.

²⁹ Там же, № 1, л. 269 об.

³⁰ Там же, № 12, лл. 238—240 об.

³¹ Там же, № 2, л. 43 об.; № 13, л. 218.

жизни социальных низов «Под качелями», «Старьевщик» (он печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Библиотеке для чтения», «Русском слове», «Репертуаре», «Пантеоне», «Русском мире» и «Времени»), был заслушан «отчет Ф. М. Достоевского о крайней нужде Е. Моллера; он не мог заниматься срочной работой для журналов, оканчивая свою драму, которая принята на сцену и впоследствии вознаградит за труд и даст ему возможность выйти из стесненного положения». На заседании было «поручено Ф. М. Достоевскому выдать Моллеру 100 р.»³² Как видно из записной книжки Ф. М. Достоевского 1860—1862 годов, Моллер неоднократно получал помощь и от самого Достоевского.³³

27 мая 1863 года был заслушан «доклад Ф. М. Достоевского о положении г. Загуляева, просившего вспомоществования и действительно в нем нуждающегося». «Определено было выдать 75 р. сер.»³⁴

Михаил Андреевич Загуляев (1834—1900), бывший морской офицер-артиллерист, поместивший в «Морском сборнике» за 1857 и 1859 год статьи «Об абордажном оружии» и «О системе вооружения американских военных шлюпок», в «Сыне отечества» в 1857—1862 годах социально-бытовые повести и рассказы «Старый камердинер», «Полтинник», «Дюжинный человек», «Зелье» и др., в «Русском мире» 1859—1861 годов рассказы «Тегушка», «Актриса», «Бедовик», — был петербургским знакомым Достоевского, которому позднее посвятил повесть «Скороспелки» («Огонек», 1880, №№ 46—52).

8 мая 1863 года, порвав с редактором «Сына отечества» А. В. Старчевским из-за идейных несогласий по политическому отделу, который вел Загуляев, М. А. Загуляев писал Ф. М. Достоевскому:

«Милостивый государь
Федор Михайлович!

Осмеливаюсь обеспокоить Вас следующей моею просьбою. 27 апреля я, разойдясь со Старчевским по причинам, изложение которых здесь Вы, пожалуй, могли принять за некоторого рода хвастовство, я обратился в Комитет Литературного фонда с просьбою о временной ссуде меня некоторым количеством денег, необходимых для того, чтоб поддерживать существование моего семейства до тех пор, пока я приищу себе другую работу или место. Ответа до сих пор не воспоследовало. В качестве секретаря Комитета Вы, вероятно, знаете, в каком положении находится мое дело, и я осмеливаюсь надеяться, что Вы не откажетесь уведомить об этом человека, когда-то пользовавшегося Вашим милостивым вниманием и мучимого весьма понятным в его положении нетерпением.

С совершеннейшим почтением
имею честь быть Вашим покорным слугой

М. Загуляев.

8 мая 1863 года

Адрес: в Офицерской улице, дом Коллоссовской на углу Прачешного переулкa, кв. № 18».³⁵

Ожидая из Комитета Б. И. Утина, жена его, Франциска (Фанни) Германовна Загуляева, писала 11 мая 1863 года:

«Федор Михайлович!

Я напрасно ждала все эти дни Утина, он не приезжал, а вчера и вы не зашли. Эта неизвестность страшно меня тревожит, тем более что в среду на будущей неделе мы должны переезжать на Васильевский остров, и если из Литературного общества ничего не будет до тех пор, я не знаю, как и с чем мы переедем».³⁶

Посещение и хлопоты Достоевского, доставившие пособие Загуляеву, вызвали его прочувствованное письмо писателю, помеченное Достоевским: «Май 1863 г.»:

«Многоуважаемый Федор Михайлович!

Из рассказанного мне женою я очевидно усматриваю, что полученным из Литературного фонда пособием я обязан единственно Вашему ходатайству. Я всегда знал Вас за человека редкой доброты, но это последнее обязательное содействие Ваше, особенно при настоящих Ваших отношениях к человеку, по несчастию сделавшему все, чтоб лишить себя того дорогого сочувствия, которое Вы обнаружили к нему с начала своего знакомства с ним, превысило все мои надежды.

Благодарить Вас как следует я не умею, да если б и умел, так не посмел бы, боясь, что искренние выражения мои могут быть приняты за фразы. Прошу Вас

³² Там же, № 1, л. 265.

³³ «Литературное наследство», т. 83, 1971, стр. 129—130.

³⁴ ГПБ, ф. 438, № 1, л. 266 об.

³⁵ ГБЛ, ф. 93.П.5.3, л. 1.

³⁶ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 100, 29716.ССХ16.5.

только верить, что Ваше содействие я никогда не забуду, и если оно не прибавит ничего к моему безграничному уважению к Вам, то все-таки еще раз подтвердит мое постоянное мнение о том, что Вы почти единственный русский писатель, который остается в жизни тем же человеком, как и в своих произведениях.

Глубоко и искренно преданный Вам

М. Загуляев.

Прилагаю при сем расписку в получении денег из Литературного фонда». ³⁷

1 июня 1864 года «Ф. Достоевский сообщил сведения о Гаврииле Потанине, авторе романа „Старое старится, молодое растет“ в „Современнике“ 1861 года: Потанин, не получая долгое время обещанного ему места учителя, находится с семейством в затруднительных обстоятельствах». «Определено: выдать 75 р.» ³⁸

Гавриил Никитич Потанин (1823—1910), выходец из крепостных крестьян, по окончании Симбирской гимназии (учась в которой, давал уроки в доме И. А. Гончарова) служил учителем, а потом смотрителем Самарского уездного училища. Подвергшись гонениям губернатора К. К. Грота, был переведен в Бугульму, а в 1859 году совсем уволен. Благодаря хлопотам Некрасова, печатавшего в своем журнале его роман «Крепостное право» под названием «Старое старится, молодое растет», получил место учителя в Петербурге и составил новый учебник русской словесности для военных училищ, был выбран членом Географического и Вольноэкономического обществ и Комитета грамотности, в котором выступил с речью 19 февраля 1863 года о расширении народного просвещения и проектом реформы школ. К нему домой приезжал Некрасов с первой книгой «Современника» за 1861 год поздравить с выходом имевшего большой успех романа, приезжали «в его скромную квартиру на Петербургской стороне Достоевский, Помяловский и другие именитые литераторы того времени». ³⁹

Достоевский мог знать о попытке Потанина напечатать статью о С. М. Бельском — «истинном духовном лице и глубоком христианине» типа старца Зосимы, могла быть известна его автобиографическая повесть «Год жизни» (напечатанная в «Русском слове» в 1865 году), где содержится описание, по-видимому, той же картины, которая поразила героя «Идиота» в доме Рогожина. О влиянии на Потанина художественных приемов великого писателя говорят аналогичные «Запискам из Мертвого дома» сцены в неопубликованном «Жизнеописании» Потанина, например сцена наказания кнутом преступника на симбирской базарной площади и сцена проведения через «зеленую улицу» беглого солдата, у которого «клячья кожи летели с кровью во все стороны, портки купались в крови, натекшей в сапоги». ⁴⁰

Особенное внимание уделял Достоевский печатавшемуся в его журналах отставному штабс-капитану, участнику Крымской войны П. Н. Горскому — очень близкому героям петербургских низов у Достоевского. Петр Никитич Горский (1826—1877), писатель обличительного направления, автор серии физиологических очерков, собранных им в 1864 году в книге «Сатирические очерки и рассказы», живописал жизнь городской бедноты. Достоевский поощрял его, находя у него «факты, и полезные».

Как уже указывалось в литературе, биография страдавшего запоем автора и его рассказ «Бездольный» о бедняке-учителе из студентов, умирающем в больнице, и его отце — бедном чиновнике, раздавленном на дороге лошадьми, оказали некоторое влияние на формирование истории Мармеладова в «Преступлении и наказании». В своих прошениях 1863—1866 годов в Литературный фонд Горский жаловался на доведшую его до психической болезни нищету, в которую он впал из-за цензурных запрещений его произведений (повестей «Отупелые и одеревелые» в «Светоче», «Геройские подвиги интендантского ведомства» (об изнанке Крымской войны) в «Военном сборнике», «Благочестивые дармоеды» в «Библиотеке для чтения» и др.), а также из-за прекращения «Времени», в котором он преимущественно сотрудничал. «Этими внезапными переменами цензурного устава, запрещениями, — писал он 4 июня 1863 года Е. П. Ковалевскому, — я не раз был доводим до того, что отправлялся на голландскую биржу катать бочки, возить тележки с товаром». ⁴¹ Обманутый книгоиздателями и редактором «Русского слова» Г. Е. Благодетелем, заказавшим ему сатирическую повесть «Жилин» о современном откупщике С. С. Воронине, но побоявшимся ее напечатать, Горский не имел ни бумаги, ни перьев, ни сальной свечки для писания.

Спасал его личной помощью главным образом Ф. М. Достоевский, который навещал его в больнице, а также близкий Достоевскому публицист Н. Н. Воскобойников. Достоевский исходатайствовал Горскому из Комитета «в октябре 1864 года

³⁷ ГБЛ, ф. 93.П.5.3, лл. 2—3.

³⁸ ГПБ, ф. 438, № 2, л. 21 об.

³⁹ И. П. Ювачев. Гавриил Никитич Потанин. «Исторический вестник», 1911, № 5, стр. 518.

⁴⁰ ИРЛИ, ф. 123, оп. 1, № 695, лл. 127—128.

⁴¹ ГПБ, ф. 438, № 12, л. 233; «Звенья», 1936, № 6, стр. 589.

30 рублей». В журнале заседания Комитета от 12 октября 1864 года значится: «Ф. М. Достоевский заявил о бедственном положении Горского, который скоро должен быть выпущен из Обуховской больницы». ⁴² Достоевский, в «Братьях Карамазовых» изобразивший Благосветлова в лице Ракитина фальшивым либералом и бессовестным карьеристом, искренно сочувствовал Горскому.

Испрашивая повторно пособие из Литературного фонда, Горский писал в феврале 1865 года председателю Общества Е. П. Ковалевскому: «17 прошлого октября я выписался из Обуховской больницы после годовой болезни, не имея ни одежды, ни квартиры, ни указа, необходимого для прописки. Благодаря великодушной помощи Ф. М. Достоевского, я только что просуществовал до рождества. Не было никакой возможности заработать деньги помещением большой статьи, и я пробавлялся только маленькими статейками в „Осе“ и т. п. После рождества я был обобран до рубашки, выгнан из квартиры на мороз, скитался без пристанища около двух недель, чуть не умер с голода и отморозил оба уха. До статей ли тут было? Если б Ф. М. да г. Воскобойников не помогли, я погиб бы окончательно.

Вот в какой только крайности я решился прибегнуть к Вашему превосходительству с просьбою о пособии. . . Но так как редакторы почти всех больших журналов были всегда ко мне благосклонны, то я через высокое посредство Вашего превосходительства решаю обратиться к ним и к гг. членам Комитета с следующей просьбою: пусть по Вашему милостивому ходатайству кто-нибудь из них (Ф. М. Достоевский, А. Н. Пыпин, Г. Е. Благосветлов, П. Д. Боборыкин, даже А. А. Краевский) осчастливит меня какой-либо должностью при своей редакции. . .» ⁴³ В 1866 году Горский за «вредный образ мыслей» был выслан из Петербурга и умер в провинции в страшной нужде. ⁴⁴

Подобно Моллеру и Горскому получали прибежище в журналах Достоевского и другие нуждавшиеся литераторы демократического направления: Н. Ф. Бунаков, А. Ф. Фатеев, С. Н. Федоров, К. И. Бабилов и др.

Немалое место в деятельности Достоевского в Литературном фонде занимала организация публичных чтений и вечеров и участие в них. Чтения эти являлись форумом для писателей, вступающих в живое общение со слушателями и подчас в обход цензуры непосредственно несших свое слово в массы. Как известно, 2 марта 1862 года Достоевский выступал на чтении в помощь жертвам студенческих волнений в зале М. Ф. Рудзке вместе с Чернышевским, прочитавшим свои воспоминания «Знакомство с Добролюбовым», и с Некрасовым, читавшим свои стихи. Достоевский читал отрывок из «Записок из Мертвого дома»; из «Мертвого дома» читал он и на вечере в пользу бесплатной школы 4 апреля 1864 года. ⁴⁵

Судя по неопубликованной программе литературного и музыкального вечера в пользу бедных студентов Медико-хирургической академии в зале Благородного собрания, 6 марта 1862 года Достоевский вместе с В. И. Водозовым, читавшим «Из русских пословиц», А. В. Лохвицким, сделавшим доклад «Сперанский», и В. В. Крестовским и В. Г. Бенедиктовым, декламировавшими свои стихотворения, выступал с отрывком из романа «Униженные и оскорбленные». ⁴⁶

Но за чтениями неукосительно следило и Министерство народного просвещения и III Отделение. По поводу литературно-музыкального вечера 10 апреля 1863 года в зале Благородного собрания в пользу студентов Медико-хирургической академии с участием Достоевского был послан в III Отделение полицейский донос. Достоевский по программе должен был прочесть девятую главу «Записок из Мертвого дома». Но выступив вслед за Н. Г. Помяловским, прочитавшим отрывок из «Брата и сестры» о воспитании «русского барича» за границей, Достоевский прочел отрывок из «Зимних заметок о летних впечатлениях» — сагиру на семейный быт буржуазной Франции. Вместе с Н. Г. Помяловским, В. С. Курочкиным и В. В. Крестовским он «был осыпан рукоплесканиями», а «эффектные фразы» стихотворения В. С. Курочкина «Тик-так»:

Мужайся, молодое племя!
В сияньи дня исчезнет мрак!

и стихотворения В. В. Крестовского «Полоса», не объявленного в программе:

По Владимирке сахара гонят,
За широкий и вольный размах
Богатырскую силу хоронят

«заслужили даже овации».

⁴² Там же, № 2, л. 38 об.

⁴³ Там же, № 14, л. 8—8 об. См. его письма там же (№ 12, л. 233—233 об.; № 14, л. 4; № 15, лл. 168—170, 298).

⁴⁴ См. также письма его к Ф. М. Достоевскому и сведения о нем в кн.: Достоевский и его время. Изд. «Наука», Л., 1971, стр. 255—267.

⁴⁵ Л. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, стр. 110, 134; «Литературное наследство», т. 86, 1973, стр. 396.

⁴⁶ ИРЛИ, ф. 100, 296S1.CCX163.

В результате этого доноса о взволновавшем массы чтении Комитет получил предписание из III Отделения подобные чтения устраивать «по возможности реже» и «наблюдать, чтобы не было допускаемо чтение статей, не объявленных в программе».⁴⁷

За устройство чтения в Клубе взаимного вспомоществования 20 декабря 1863 года вместе с Н. В. Успенским и др. Достоевский получил благодарность Комитета.⁴⁸ 7 декабря 1864 года Достоевский и Некрасов приняли на себя устройство вечера с участием драматурга Н. А. Чаева и артиста П. В. Васильева.⁴⁹ Чтения не только будили умы, но и сличивали публику. Однако контроль стал настолько строг, что о возможности чтения второй главы «Преступления и наказания» завязалась целая переписка.

13 марта 1866 года секретарь Комитета С. П. Щепкин писал Достоевскому:

«Милостивый государь
Федор Михайлович.

Рассчитывая на Ваше обещание, Комитет общества для п^особия > н^еуждающимся > л^итераторам > и у^ченым > назначил литературный вечер в пятницу 18 марта в 7½ ч. вечера в зале Бенардаки или Географическом обществе (что сегодня будет решено).

Разрешение на чтение отрывка напечатанного романа Комитет получил сам от СПб. попечителя.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

С. Щепкин.

13/III-1866.

Адрес: Надеждинская, 37, кв. 7».⁵⁰

Однако Е. П. Ковалевский просил автора сделать некоторые купюры, с оглядкой на министра просвещения, который 15 марта 1866 года сообщил Ковалевскому:

«С моей стороны нет препятствия к прочтению отрывков из романа Достоевского „Преступление и наказание“, но, конечно, по чувству приличия следовало бы воздержаться от прочтения некоторых, указанных Вашим превосходительством мест.

Преданный слуга

И. Делянов.

15 марта 1866 г.».⁵¹

Достоевский обещал Комитету: «Вставок не сделаю ни одного слова, но сокращения некоторые сделаю, что, конечно, возможно».⁵²

Жесткий контроль властей преследовал Достоевского до конца жизни. Так, судя по письму Достоевского В. П. Гаевскому от 21 марта 1880 года, были запрещены попечителем Санкт-Петербургского учебного округа повторные чтения в марте—апреле 1880 года ранее разрешенной для исполнения «Поэмы о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» ввиду произведенного ею сильного впечатления.⁵³

Замученный делами, большой и обремененный семьей Достоевский и сам вынужден был просить вспомоществования. Но с болезненной щепетильностью он просил в 1863-м, 1864 годах для лечения за границей лишь ссуды под проценты, увеличивая проценты от года к году, и, в случае смерти, завещал издание своих сочинений Литературному фонду. Перед ссудой в 1865 году он просил об освобождении от комитетских обязанностей, чтобы не быть обвиненным в использовании протекции.⁵⁴

Досрочный возврат Достоевским первой ссуды послужил одним из оснований назначить ссуду 12 октября 1864 года В. В. Дерикеру, издателю журналов «Народная беседа» и «Солдатская беседа», которым грозил крах ввиду пореформенных сокращений казенных ассигнований на подписку литературы для сельских школ и солдат. Достоевский был в числе тех членов Комитета, которые считали, что издание этих журналов «по своей несомненной пользе для народа заслуживает поддержки».⁵⁵

⁴⁷ ГПБ, ф. 438, № 12, лл. 192—196. Ср. с агентурным донесением («Литературное наследство», т. 86, 1973, стр. 391—392).

⁴⁸ ГПБ, ф. 438, № 1, лл. 284—285.

⁴⁹ См.: Некрасовский сборник. Под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Писанова. Пгр., 1918, стр. 57.

⁵⁰ ИРЛИ, ф. 100, 29521.ССХ6.28.

⁵¹ ГПБ, ф. 438, № 15, л. 46—46 об.

⁵² Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 434.

⁵³ Там же, т. IV, стр. 133.

⁵⁴ См. наш каталог «Рукописи Ф. М. Достоевского» (стр. 14—16, 40—43), а также: Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 320—321, 405, 407—408.

⁵⁵ ГПБ, ф. 438, № 2, л. 37.

Во время комитетской деятельности Достоевского была оказана поддержка и С. В. Волженскому в издании букваря и книжки для чтения в народных училищах.⁵⁶

Общественно-литературная деятельность Достоевского в Литературном фонде в 1860-х годах, кратко охарактеризованная выше,⁵⁷ отвечала его демократическим устремлениям и взгляду на литературу и ее творцов как на прогрессивную силу, имеющую огромное влияние на жизнь и судьбы русского народа.

М. В. ТЕПЛИНСКИЙ

НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН

А. М. СКАБИЧЕВСКОГО «БЫЛО — ОТЖИЛО»

В 1874 году А. М. Скабичевский задумал роман «из жизни 60-х годов».¹ В апрельском номере «Отечественных записок» за 1876 год должны были появиться первые главы этого романа под заглавием «Было — отжило». Уже отпечатанная книга журнала была представлена в цензуру. Однако цензор составил настолько резкое донесение о романе Скабичевского, что Некрасов под угрозой ареста всего номера вынужден был вырезать несколько десятков страниц (стр. 315—402). В результате даже пагинация в журнале оказалась прерванной.²

В своем отзыве цензор А. Лебедев писал:

«Литература, трактующая о нигилистах, как известно, разделяется на две партии: одна партия — либеральная, относится к этому социальному наросту сочувственно, другая — консервативная, относится к нему враждебно. К первой, т. е. сочувствующей партии, принадлежит автор нового романа „Было — отжило“, желающий написать если не апологию нигилистического учения, то по крайней мере представить перед читателями в реабилитированном виде ту группу людей, которые довели систему отрицания во всем до крайних пределов и потому приобрели прозвище нигилистов.

В рассматриваемой первой части, где помещена только завязка романа, автор знакомит читателя преимущественно с главными действующими лицами, описывая в подробности их биографии и их мирозерцания. Так, представителями нигилистического лагеря является молодой человек Таранов, увлекающий на свою сторону двух молодых девушек — одну дочь бедных родителей и другую богатых. Таранов этот наделается автором всевозможными добродетелями, несмотря на то, что он самого шлейбейского происхождения; в противоположность же ему выставляется личность другого лагеря, молодой человек, происходящий от весьма древней фамилии, обеспеченный богатым состоянием, но за то, как и следует, наделенный всеми пороками, некто Кудревич. На отношении этих двух личностей к двум барышням, вероятно, будет построена фабула романа.

Существенное же, что обращает на себя внимание цензуры, заключается в представлении нигилиста в самом благонамеренном виде и в осуждении общества за несочувствие к нигилистам и за утрирование их учения, их образа жизни, их внешности. Все, что говорилось и говорится о нигилистах, по словам автора, составляет клевету лиц высшего общества; в действительности они стремятся к одному, чтобы человек жил трудом; они ненавидят праздность, роскошь, невежество; хотят распространения просвещения и полезных знаний для всех классов общества, чтобы все были развиты, счастливы, довольны, и что это-то многим не нравится.

Добролюбов выставляется великим человеком, кодекс понятий которого должен служить руководством всякому молодому человеку.

Нынешнее положение женщины, при котором она, будучи женою, не зарабатывает себе трудом куска хлеба, а живет исключительно за счет мужа, называется рабством, проповедаются известные нигилистические идеи о необходимости ассоциации для получения большего вознаграждения, которое при нынешних условиях и при деспотизме капитала попадает в одни руки, не принимавшие никакого участия в труде.

Связь родителей с детьми называется бархатными цепями. . .

Цензор не может признать даже и начало этого романа безвредным по тому одному, что в нем в апологическом тоне поднимается вопрос о нигилистах, вопрос,

⁵⁶ Там же, № 3, л. 1.

⁵⁷ См. также: Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нецаевой. М., 1957, стр. 304—305, 531; наш каталог «Рукописи Ф. М. Достоевского» (стр. 13—16, 22—25); «Литературное наследство», т. 86, 1973, стр. 11, 14, 15.

¹ А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, стр. 323.

² В. Э. Боград. Журнал «Отечественные записки». 1868—1884. Указатель содержания. М., 1971, стр. 202—203.

в последнее время почти сошедший с литературной арены и потому могущий подействовать на молодых читателей, восприимчивых ко всему утопическому, самым неблагоприятным образом. Еще то обстоятельство, что роман „Было — отжило“ посвящен г-же Маркович, писательнице известного неблагоприятного литературного лагеря, и что редакция „Отечественных записок“ скрыла фамилию автора романа, дает почувствовать, в каком направлении будет продолжаться роман. Все же это взятое вместе не может не привести цензора к иному заключению, как к подозрению редакции „Отечественных записок“ в желании осветить неблагоприятным светом нигилистов и выставить их на пьедестал как молодых людей, незаслуженно пострадавших, в учении которых не было и нет ничего противообщественного. Считая такое направление и содержание романа „Было — отжило“ особенно при нынешних условиях учащегося молодого поколения крайне вредным, цензор считает нужным применить к апрельской книжке „Отечественных записок“ закон 7 июня 1872 г.).

С.-Петербургский цензурный комитет согласился с мнением цензора.³

Узнав об этом, Некрасов сделал попытку спасти положение. 20 апреля 1876 года он написал личное письмо начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву, в котором уверял, что в романе Скабичевского нет ничего «противоцензурного», что изображенные там нигилисты «не умышляют ничего ни против собственности, ни против семейств, ни против существующего порядка вообще, и, стало быть, сочувствие таким лицам не может быть вменено в преступление». Наконец, Некрасов предлагал, «чтоб вполне был понятен роман», «представить конспект дальнейших частей».⁴

Письмо Некрасова цели не достигло, и уже 21 апреля владелец журнала А. А. Краевский просил возвратить экземпляр «Отечественных записок», поданный в цензуру, «заметив в нем некоторые недосмотры и опшибки».⁵ Тем не менее Скабичевский, очевидно по просьбе Некрасова, все же написал на всякий случай конспект своего романа.

Конспект этот представляет несомненный интерес, так как позволяет судить о содержании всего романа в целом. До сих пор мы знали только о содержании первых глав из отзыва цензора. Кроме того, сохранились корректурные листы глав X—XVI, предназначенные, очевидно, для майской книжки «Отечественных записок» за 1876 год.

Конечно, надо учитывать, что конспект предназначался для цензурного ведомства с определенной целью — убедить его в «невинности» всего произведения. Но если бы даже он попал в цензуру, вряд ли это могло бы успокоить цензурное начальство. Среди героев Скабичевского должен был появиться «тип странствующего революционера». Действие романа переносилось во Францию; предполагалось изображение Парижской Коммуны и участие в ней русских революционеров. Разумеется, ничего подобного цензура не допустила бы, но тем больший интерес приобретает конспект Скабичевского, в котором зафиксирован замысел его неизданного романа. Приводим текст конспекта, сохранившегося в архиве Скабичевского.

«Действие романа начинается в половине 60-х годов. На первом плане представляются две девушки: Елена Тимофеевна Куницкая и Сонечка Горбунова. — Первая — дочь генеральши-вдовы, жепщины с претензией на высшее образование и передовые идеи, последняя — дочь бедного чиновника, которого она содержит трудом. Они познакомились и близко сошлись в гимназии и после нее продолжают часто видаться и развиваться под влиянием общего движения жизни. Люди, окружавшие их, только и делали, что занимались порицаниями нигилистов и различными городскими слухами и сплетнями по этому поводу. В молодых девушках толки эти, естественно, возбудили только любопытство и желание убедиться, что же это за нигилисты и таковы ли они, как о них говорят. — Они познакомились с неким Тарановым, секретарем при одной издательской фирме, слышавшим в обществе за одного из самых отчаянных нигилистов. — На самом деле Таранов был больше ничего, как бедный труженик, он жил со своею сестрою, занимавшею педагогиею, очень скромно, никаких близких и широких знакомств не имел, у него была даже наклонность к скоплению денег, и весь нигилизм его заключался в том, что он проповедовал честный труд и ненавидел, как он выражался, растленное барство, одним словом, идеалы его не шли далее демократизма в самом узком смысле. — Но девушки, убедившись, что ничего в нем страшного, развращенного и противочеловеческого нет, вообразили в нем героя и влюбились в него. — Таранов в свою очередь влюбился в Елену Тимофеевну, несмотря на то, что принципы его внушают ему, что Елена Тимофеевна принадлежит не к трудовой сфере, а к растленному барству. Под влиянием любви и, с другой стороны, высокого мнения о нем со стороны бары-

³ Центральный государственный исторический архив (далее: ЦГИА), ф. 777, оп. 2, 1865, № 60, лл. 224—227.

⁴ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. 11, М., 1952, стр. 394—395.

⁵ ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1865, № 60, л. 228.

шень, Таранов выходит из обыденного руслу, в нем загорается чуждая его натуре жажда широкой деятельности, и он измышляет план переводческой и издательской артели. План этот, внушенный Таранову ничем более, как увлечением любви, тем не менее увлекает до крайней восторженности многих людей его кружка, и проект артели возрастает до размера гигантского предприятия. Люди носят с ним до самозабвения, воображая чуть-что не возродить им человечество. После некоторых препятствий со стороны матери Елены Тимофеевны Таранов женится на девушке, и первая часть романа заканчивается апофеозом золотых надежд и воздушных замков как со стороны новобрачных, так и их знакомых. Впереди перспективы работы, счастья и широкой плодотворной деятельности.

Вторая часть начинается по прошествии 5 лет. — Воздушные замки успели в это время разрушиться, золотые мечты — мечтами и остались. Артель развалилась при самом ее начале, обнаруживши крайнюю непрактичность, неумелость, отсутствие энергии и стойкости в членах ее, которые в заключение еще перессорились между собой. Многие из горячих деятелей превратились на глазах Елены Тимофеевны в самых пошленьких буржуа, обзавелись красивыми женами, детьми, тепленькими местечками. Сам Таранов преобразовался. Смерть матери Елены Тимофеевны и 50 000, доставшиеся ей в наследство, освободили его от насущного труда. Он засел в кабинете и начал заниматься естественными науками и писать какие-то многотомные политико-экономические сочинения на основании данных физики, химии, дифференциального и интегрального исчисления. Елена Тимофеевна видит вокруг себя всеобщий упадок всякой энергии, какую-то апатию, мелкость интересов, жалкое малодушие, трусость. Ее начинает душить скука. Начинаются размолвки с мужем, обнаруживающие всю мелочность его натуры. В ней оскорбляется, наконец, и чувство матери. У нее сын, <но> оказывается, что она неспособна воспитывать его по всем правилам современной педагогики. Каждое естественное и простое проявление материнской любви, каждое слово ее сыну критикуются сестрою мужа, помешавшейся на немецких педагогах. Муж поддерживает сторону сестры, и кончается дело тем, что Елена Тимофеевна отказывается от воспитания сына, которое переходит всецело в руки сестры, которая начинает заморять живую натуру мальчика кубиками и песенками по фребелевской системе.

Елена Тимофеевна грустит, плачет и мечется во все стороны в надрывающей тоске. В это время, как снег на голову, появляется старый товарищ Таранова Незнаев. — Это натура сильная, глубокая, не без примеси русской бесшабашности и лени. Он нигде не пристраивался, ничем не обзавелся, и из него выработался тип странствующего революционера, который без всяких определенных планов шатается по Европе и инстинктивно, как мотылек на свечку, устремляясь постоянно туда, где более жизни, где деруется за свободу. Таранов и его знакомые смотрят с презрением на него, как на беспутного бродягу, а он отвечает им злыми сарказмами, обескураживающими их собственную дрянность. Несколько интимных разговоров с Еленой Тимофеевной, исполненных со стороны Незнаева тоски и отчаяния, возбуждают в Елене Тимофеевне участие и сочувствие к нему. Они сходятся в отрицании всего окружающего их мира. Развивается взаимная страсть: страсть без всяких светлых надежд на будущее — одного обоюдного отчаяния. Пошлая ревность со стороны Таранова еще более раздувает эту страсть и окончательно роняет Таранова в глазах Елены Тимофеевны. Кончается тем, что она бросает мужа и уезжает с Незнаевым за границу.

Таранов в отчаянии, видя разрушение семейного гнезда, он объявляет измену Елены Тимофеевны проявлением в ней барской природы, лишенной устойчивости и положительности, и утешает себя этими резонерствами. В своей хандре он бродит по городу и наталкивается на Сонечку Горбунову. — Сонечка сошла со сцены в конце первой части. Она не могла выносить отверженной любви в присутствии счастливых и сочетавшихся людей. Она видела себя как-то постоянно в стороне, словно ненужную и лишнюю в кружке Таранова. Она отстранялась от этого кружка и пошла своею дорогою. Много испытала она горькой правды в эти 5 лет, но тем не менее успела выдержать экзамен на акушерку и пройти семинарские курсы для сельских учительниц. У нее образовалось непреклонное намерение покинуть Петербург и вообще все цивилизованные кружки, в которых на долю ее постоянно выпадала роль пасынка природы, и идти в народ. Вместе с тем у нее выработалось сознание, что только там и можно найти истинную пользу и дело: в цивилизованных же кружках один раздор, разлад, апатия и толчение воды в ступке.

Таранов сближается с нею снова после встречи. Он ищет в ней утешения в своем горе. Начинает каяться, зачем прежде не обращал на нее внимания, так как она более подходит к его идеалу женщины, чем Елена Тимофеевна. На том основании, что она женщина, выросшая на почве пролетариата, закаленная в труде и нужде, не чета, конечно, Елене Тимофеевне, развившейся на гнилой почве барства. Она, конечно, не изменила бы ему на какого-нибудь бездомного проходимца.

Но Сонечка отвергает любовь Таранова. — Было время, когда ваше предложение сделало бы меня самой счастливой смертной... Может быть, я и втянулась бы в вашу жизнь, а может быть, убежала бы от вас, как Леночка. А теперь? Какую вы мне предлагаете роль? Роль вашей ключницы, утешительницы в вашем

семействе <и> проч... Я должна буду занимать еще тепленькое, насиженное местечко в гнездышке лучшей своей подруги после того, как эта подруга выпорхнула из этого ненавистного ей гнездышка. Такая роль возмутительна. Нет, мне место не с вами и не среди вас. Мне здесь нечего делать. Я иду к людям, которым мы смолоду клялись служить, которые нуждаются в нас и ждут от нас, что мы им обещали...

Таранов уходит от нее к своим пенатам, повеся голову и чувствуя, что век его поколения кончен и песенка его спета...

Между тем Елена Тимофеевна возвращается в Петербург уже одна. Останавливается в Знаменской гостинице. В 2 года пребывания за границей она перенесла события, имеющие всемирное и апокалипсическое значение — видела страшную войну пруссаков с французами, была в Париже во время осады, была в нем и во время Коммуны. Видела она действительных героев, умиравших за свою идею, похоронила она своего Незнаева, умершего на баррикадах. Омерзительной показалась ей русская действительность после всего того, что она видела. С ужасом подумала она, что она останется одна на всем свете, некуда деться ей, не к кому приклонить голову, нечего делать ей. С отвращением видит она, что ей остался один исход — идти опять к Таранову — разыграть перед ним отвратительно пошлую роль кающейся падшей жены, прибегающей к великодушью мужа, роль героини подводного камня. Таранов, конечно, простит и разыграет при этом великодушную роль героя, и потянется жизнь жалкого прозябания среди мелких, малодушных, трусливых людишек — и это после всего, что она видела и испытала. Результатом всех этих размышлений был уединенный выстрел в полной тишине».⁶

В контексте содержится ряд намеков, которые должны были, будучи реализованными в романе, ориентировать читателей в определенном направлении. Так, например, не случайно Скабичевский подчеркивает, что по приезде в Петербург Елена Тимофеевна останавливается в Знаменской гостинице. Очевидно, это должно было напомнить читателю о знаменитой в 60-е годы Знаменской коммуне. Упоминание о том, что Елена Тимофеевна не хотела играть роль героини подводного камня, было рассчитано на воспоминание о напумевшем в свое время романе А. Михайлова «Подводный камень».

Можно отметить у Скабичевского и еще один пример скрытой литературной полемики. Из сохранившихся корректур видно, что в сюжете первой части значительную роль играл Аркадий Николаевич Кудревич. Обращает на себя внимание совпадение его имени и отчества с именем и отчеством младшего Кирсанова из романа Тургенева «Отцы и дети». Скабичевский разделял отрицательное отношение радикальной молодежи к этому роману; поэтому у него Аркадий Николаевич Кудревич при всей внешней благососпиританности занимает резко консервативные позиции, обрушиваясь на «нигилизм»:

«Надо отбросить все эти модные либеральные идейки, которые ни к чему не ведут, как только к разнузданности нравов, оградить себя самой непроницаемой плотинной самого строгого консерватизма против нигилистического потока и всеми силами охранять наши культурные основы».⁷

Особое значение, конечно, приобретает в контексте романа Скабичевского ясно выраженный намек на начавшееся «хождение в народ» (слова Соли: «Я иду к людям, которым мы смолоду клялись служить, которые нуждаются в нас и ждут от нас, что мы им обещали...»). Характерно, что роман Скабичевского, по его собственным словам, был задуман в 1874 году — т. е. во время массового развития «хождения в народ».

Но еще больший интерес вызывает то обстоятельство, что незаконченный роман Скабичевского был едва ли не первой попыткой в русской литературе изобразить события Парижской Коммуны. Скабичевский не мог не знать об участии русских женщин в этом событии, которое, по его словам, имело значение всемирное и пророческое («апокалипсическое»). Достаточно сказать, что в 1874 году (год возникновения замысла романа) в Россию вернулась участница Парижской Коммуны А. В. Корвин-Круковская (младшая сестра Софьи Ковалевской). Примерно в это же время вернулась на родину и другая участница Парижской Коммуны — Е. А. Дмитриева-Томановская.⁸

* * *

Как уже было сказано выше, до нас дошли корректурные листы глав X—XVI первой части романа Скабичевского. Они носят следы большой авторской правки. Изменения и купюры в большинстве случаев явно вызваны автоцензурой. Очевидно,

⁶ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 283, оп. 1, № 2, л. 1—1 об.

⁷ Там же, оп. 2, № 11 (гл. XV).

⁸ О. В. Воробьева. Русские женщины на баррикадах Парижа. «Наука и жизнь», 1965, № 3, стр. 47, 49.

Скабичевский знал уже в общих чертах о замечаниях цензора по главам I—IX (они не сохранились), но, надеясь все-таки на возможность дальнейшей публикации романа, решил приспособить текст к цензурным требованиям. Так, например, он последовательно вычеркивал слова «нигилисты», «нигилизм» и т. д. Глава X первоначально называлась: «Елена Тимофеевна в роли нигилистки». Затем глава получила новое название: «Елена Тимофеевна в роли богини гнева и мести».

В главе XI, где речь шла об издательской артели, затеваемой Тарановым, были вычеркнуты слова: «Уж не заговор ли [против основ] замышляешь?» И далее: «Начнет повсюду трещать о ней не как об издательской артели, а как [о тайном обществе, ветви которого простираются повсюду...] Вместо последних слов вписано: «как бог знает о чем».

В главе XIII сокращена фраза: «Девушка чувствовала ненормальность своего положения [под гнетом семейного рабства] и сокрушалась». В той же главе сокращены слова Елены Тимофеевны, с которыми она обращается к Таранову: «Чем же и высоки вы все [в глазах одних людей, почему же вас и ненавидят так другие, как не потому], что вы свергли с себя оковы лжи, рабства, не бойтесь говорить правду прямо, открыто, в глаза всему миру и жить свободно, слушаясь повеления одного разума [— за это одно многие из вас гибнут]».⁹

Основное содержание глав, сохранившихся в корректурных листах, раскрыто в конспекте.

В дальнейшем, столкнувшись с непреодолимыми цензурными препятствиями, Скабичевский оставил мысль о романе «Было — отжило».

Что же касается уже написанных глав, то они послужили основой для повести «Маленькая трагедия в среде маленьких людей», которую Скабичевский под псевдонимом А. Питерский напечатал в журнале «Русское богатство» в 1880 году (№№ 6—8). Характер произведения явственно изменился: получилась действительно *маленькая трагедия* в среде *маленьких* людей. Героиня и герой, не будучи в силах преодолеть решительного несогласия матери героини на их брак, гибнут: она умирает, он спивается.

Трудно, конечно, предположить, что могло бы получиться у Скабичевского, если бы он имел возможность осуществить замысел романа «Было — отжило». Но само по себе стремление воплотить на страницах романа настоящих русских революционеров типа Незнаева, который, «как мотылек на свечу», устремляется постоянно туда, «где более жизни, где дерутся за свободу», очень показательно. Не менее интересен замысел образа Елены Тимофеевны, участницы Парижской Коммуны.

Особо следует отметить, что цензура делала все возможное, чтобы воспрепятствовать появлению на страницах демократического журнала произведений, где шла речь о представителях революционной среды. В результате прямого цензурного нажима из журнальных номеров исключались десятки страниц, которые могли бы представить для читателей того времени несомненный интерес (не говоря уже о том, что этот материал очень важен для исследователей истории русской литературы и журналистики). Кроме эпизода с романом Скабичевского, можно напомнить, что в том же 1876 году из № 7 была исключена вторая часть повести И. И. Сведенцова «Тесная рамка».¹⁰ В 1878 году не было помещено продолжение романа В. Крестовского (Хвошинской) «Былое», хотя первая часть была напечатана в № 2. Цензор предполагал, что в дальнейшем роман «будет посвящен описанию нигилистического быта».¹¹

В 1879 году в «Отечественных записках» не была напечатана третья часть романа О. А. Кисляковой (О. Шапир) «Одна из многих» (две части были помещены в №№ 3 и 4 за 1879 год). По отзыву цензора, в третьей части «является на сцену рабочий вопрос, возмутительная эксплуатация труда рабочих, борьба которых против притеснителей признается автором справедливой... В этой части герой действует на заводе в Пермской губернии... поддерживает рабочих противу начальства завода, объясняя им их права. Дело кончается бунтом, для усмирения которого требуются войска, и героя ссылают».¹²

Мы не можем не учитывать все эти факты цензурных запретов. Без них наше представление об «Отечественных записках» будет не только не полным, но, может быть, даже неверным. В годы подготовки второй революционной ситуации участники журнала настойчиво пытались показать образ революционера, уже приступившего к действию. Это был бы своеобразный литературный фон, на котором предстояло появиться некрасовскому Грише Добросклонову. Но, как известно, соответствующая часть «Кому на Руси жить хорошо» тоже не была в свое время пропущена цензурой.

⁹ ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, № 11.

¹⁰ Имя автора повести было установлено В. Э. Боградом (В. Э. Боград. Журнал «Отечественные записки», стр. 457).

¹¹ В. Э. Боград. Журнал «Отечественные записки», стр. 472.

¹² ЦГИА, ф. 776, оп. 20, ед. хр. 442, л. 142.

Д. П. МОРОЗ

ОБ ИСТОЧНИКАХ РАССКАЗА КУПРИНА
«ТЕНЬ НАПОЛЕОНА»

В литературоведении прочно установилось мнение, что в основу рассказа Куприна «Тень Наполеона» положен устный рассказ, услышанный в Париже от Дмитрия Николаевича Любимова, занимавшего в 1906—1913 годах пост виленского губернатора.¹ Д. Н. Любимов был свойственником писателя по первому браку и находился с ним в хороших, дружеских отношениях.

Мнение о том, что рассказ «Тень Наполеона» написан со слов Д. Н. Любимова, базируется на двух источниках. Один из них — примечание Куприна к первой публикации рассказа в Советском Союзе, после возвращения писателя из эмиграции. В примечании он писал: «В этом рассказе, который написан со слов подлинного и ныне еще проживающего в эмиграции бывшего губернатора Л., почти все списано с натуры, за исключением некоторых незначительных подробностей».²

Второй источник — утверждение Л. Д. Любимова, сына Д. Н. Любимова, того же содержания, но с ударением на том, что рассказ А. И. Куприна «Тень Наполеона» есть *точная* запись устного рассказа его отца. Так, в статье «Из творческой лаборатории Куприна (рассказ «Тень Наполеона»)» Лев Любимов, цитируя то место из примечания Куприна, где говорится, что в рассказе «почти все списано с натуры», утверждает, что данное замечание надо понимать не как литературный прием, а как совершенно конкретное указание на то, что Куприн в своем произведении «передает чужой устный рассказ, саму манеру рассказчика, лишь несколько заостряя сюжет и облекая повествование в свою, купринскую художественную форму».³

Не подвергая сомнению возможность того, что Куприн слышал этот рассказ от Д. Н. Любимова, укажем и на существование другого, печатного источника, который, по нашему мнению, скорее всего использовал Куприн при написании рассказа.

В моей библиотеке есть книга: «Варфоломей Кочнев. Обед у губернатора» — изданная в 1916 году в Петрограде тиражом 400 экземпляров. На моем экземпляре книги дарственная надпись:

«Глубокоуважаемому Борису Львовичу Модзалевскому от искренне ценящего автора.

Д. Любимов. 1918 год».

Варфоломей Кочнев — это псевдоним Д. Н. Любимова.⁴ Выход в свет отдельным изданием его рассказа «Обед у губернатора» не был замечен, и книга была сразу же забыта. Видимо, это издание неизвестно специалистам, изучающим творчество Куприна; надо полагать, что о нем забыл и его сын — Лев Дмитриевич Любимов.

Между рассказом Куприна «Тень Наполеона» и рассказом Д. Н. Любимова «Обед у губернатора» существует теснейшая связь. Дело в том, что значительная часть сюжетных моментов рассказа «Обед у губернатора» составила канву рассказа «Тень Наполеона». Конечно, мы не пайдем в рассказе Любимова той стройной логической последовательности развертывания событий, как у Куприна. У Любимова все те моменты, которые использовал Куприн, являются лишь зарисовками, вставными эпизодами или репликами при изложении главной темы рассказа — приготовления к обеду и обеду у губернатора. Действие происходит в губернском городе и в его дачной местности в течение нескольких дней. Рассказ состоит из двух частей — день приема у губернатора и обед.

На Куприна произвела впечатление главным образом первая часть рассказа — прием губернатором посетителей. Из нее Куприн и взял два эпизода для своего рассказа «Тень Наполеона». Первый эпизод — прием губернатором Дмитрием Николаевичем (точное имя и отчество Д. Н. Любимова) исправника Мандратьева и доклад последнего о встрече генерала со стариком, который якобы видел Наполеона, о том, что «вышла маленькая неприятность со старообрядцем Свиначуком при встрече с генералом». Второй эпизод — прием следующего посетителя — станового пристава Сединимуздыева — «бойкого малого из литовских татар», и разбор жалобы арендатора парома Пиндаса на станового, с которым губернатор однажды переправлялся

¹ См., например, комментарии к V тому собрания сочинений Куприна в шести томах (Гослитиздат, М., 1958, стр. 792), к VII тому собрания сочинений Куприна в девяти томах (изд. «Правда», М., 1964, стр. 413), к VII тому собрания сочинений Куприна в девяти томах (изд. «Художественная литература», М., 1973, стр. 611).

² «Огонек», 1937, № 34, стр. 22.

³ «Русская литература», 1961, № 4, стр. 164.

⁴ И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. II. М., 1957, стр. 75. Правда, в словаре допущена неточность. В нем указано: «Кочнев = Дм. Ник. Любимов». В действительности псевдоним состоит из имени и фамилии: «Варфоломей Кочнев».

на челне через реку и который так «находчиво» ему организовал экипаж. Третий эпизод (исправник и конка) в «Обеде у губернатора» отсутствует. Как утверждает Л. Любимов, все три эпизода записаны «со слов» его отца.⁵ Возможно, именно для этого, «третьего», эпизода непосредственным источником послужил устный рассказ Д. Н. Любимова.

Достаточно сличить хотя бы некоторые отрывки из двух опубликованных рассказов, чтобы увидеть их близость.⁶

«Обед у губернатора»

«Эпиграф к рассказу»

«Нет положения хуже губернаторского».

Поговорка.

... И несмотря на постоянные поездки в Петроград вице-губернатора, человека молодого и предприимчивого, ездившего, как всем было известно, с целью интриговать против губернатора, не было оснований думать, что они скоро его оставят. Правда, не проходило недели, чтобы Дмитрий Николаевич не получал шпилек из министерства. Казалось, будто все пятнадцать начальников отдельных частей министерства, сговорившись, ополчились на него. Все они беспрерывно требовали секретно и срочно различных объяснений для доклада министру. Со стороны казалось, что министру только дела, что заниматься Дмитрием Николаевичем (стр. 8).

Дело заключалось в том, что командующий войсками военного округа, скуцавший бездействием, вздумал, как аккуратный немец, пунктуально исследовать дорогу, по которой в 1812 году шел Наполеон, дабы собрать новые данные к предстоящему столетию двенадцатого года. В соседней губернии ему это совершенно не удалось; никто не мог точно указать места стоянок французов, дома, где останавливался Наполеон, дороги, по коим шла армия. Вся надежда генерала была на губернию Дмитрия Николаевича. Он нарочно к нему заезжал, чтобы это сказать, горько жалуясь на халатное отношение администрации соседней губернии (стр. 25—26).

«Тень Наполеона»

И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором (стр. 718).

А оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность (стр. 718).

Но вот, теперь о бутафории. Настал 1912 год, и, стало быть, на двадцать шестое августа приходилась столетняя годовщина славного Бородинского боя. Нам, губернаторам, было уже заранее известно, что в высших сферах решили праздновать этот великий день на месте сражения и с наигушим торжеством. Это бы еще ничего и даже скорее возвышенно и патриотично. Но я знал, что там, наверху, всегда обязательно перестареют. Так оно и случилось.

Какой-то быстрый государственный ум подал внезапную мысль: собрать на бородинских позициях возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопамятном сражении, а также просто древних старожил, которые имели случай видеть Наполеона.

Проект это был во всяком случае не хуже и не лучше такого, например, проекта, как завести ананасные плантации в Костромской губернии. Известно, бумага все терпит. Ведь бородинскому ветерану-то надлежало бы иметь по крайней мере сто двадцать лет. Однако в Петербурге выдумка эта была принята с живейшим удовлетворением.

⁵ «Русская литература», 1961, № 4, стр. 165.

⁶ Рассказ Куприна цитируется по изданию: А. И. Куприн, Собрание сочинений в шести томах, т. V, Гослитгиздат, М., 1958; рассказ Д. Н. Любимова — по кн.: Варфоломей К о ч н е в. Обед у губернатора. Пгр., 1916, 56 стр.

Вот по этому-то поводу и приехал ко мне однажды генерал Ренненкампф, тот самый знаменитый курляндский вождь исторического рейда во время японской кампании. Огненный взгляд, звенящие шпоры, быстрая лаконическая речь, вспыльчивость и рыцарь перед дамами.

— Ваше превосходительство, — сказал он мне, — я объездил всю Ковенскую губернию, показывали мне этих Мафусаилов — и, черт! — ни один пикуда не годится! Или врут, как лошади, или ничего не помнят, черти! Но как же, черт возьми, мне без них быть. Ведь для них же — черт! — уже медали чеканятся на монетном дворе! Сделайте милость, ваше превосходительство, выручайте! На вас одного надежда. Ведь в вашей Сморгони Наполеон пробыл несколько дней. Может быть, на ваше счастье, найдутся здесь два-три таких глубоких — черт! — старца, которые еще, черт бы их побрал, сохранили хоть маленький остаток памяти (стр. 718—719).

... исправник Мандратьев — человек ловкий, уже десятый год бывший исправником и славившийся даже за пределами губернии умением угождать начальству, так что соседние губернаторы не раз пытались его переманить. Потому Дмитрий Николаевич очень дорожил Мандратьевым: делал ему разные поблажки и смотрел сквозь пальцы на некоторые его проделки; звали его в губернии лейб-исправником (стр. 25).

... вызвал я к себе исправника, по фамилии Каракаци. Он вовсе не был греком, как можно было бы судить по его фамилии. Не без гордости любил он рассказывать, что по отцу происходит от албанских князей, а по матери сродни монахским Гримальди... Житейский лист его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долг. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус. Провалился на экзамене. Последний этап — уездный исправник.

И обладал он стремительностью в шестьсот лошадиных сил. И такой же изобретательностью (стр. 720).

Он немедленно вызвал Мандратьева и указал на неприличное отношение в некоторых местностях к историческим памятникам, выяснившееся при проезде генерала, направляющегося ныне в уезд Мандратьева. Тот сразу понял, в чем дело.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, — сказал он, — у нас дело поставлено иначе. Он сказал это так самоуверенно, что Дмитрий Николаевич после его ухода было совершенно успокоился, но затем начал опять беспокоиться — не пересолит бы, и ждал теперь доклада (стр. 26).

Оказывается, все шло хорошо: и дождик прибил пыль; и мост выдержал автомобиль, чего никто даже не ожидал; и генерал был всем чрезвычайно доволен, но все же вышла маленькая неприятность с старообрядцем Свиначуком, о которой он долгом службы считает невозможным скрыть от его превосходительства.

Передал я ему мой разговор с генералом. Он весь как боевой конь.

— Ваше превосходительство, для вас хоть из-под земли вырочу. Не извольте беспокоиться. Самых замечательных стариканов доставлю. Они у меня не только Наполеона, а самого Петра Великого вспомнят!

— Нет уж, — говорю ему, — вы уж лучше без лишнего усердия. Довольно нам будет и Наполеона (стр. 720).

Он был уже не седой, а какой-то зеленый. Голова у него слегка тряслась, а голос был тонкий. Впоследствии мы узнали, что он — из староверов. Начался экзамен.

— Ну-ка, дедушка, рассказывай, — громко и бодро приказал Ренненкампф.

— Да что же рассказывать-то, — точно по складам зашептал старик. —

— Может, изволите помнить, — вкрадчиво говорил Мандратьев, — Сви-нарчука, древний старик такой, мальчишком Наполеона видел, тот даже его по голове погладил, в свое время молодец был; что лошадей прошло через его руки — страсть, а теперь ему за 100 лет, одряхлел старик, постоянно заговаривается. Вывел я его к генералу, если позволите так выразиться, как Вяя: веки ему поднял.

Стал он рассказывать генералу все толк толком: и место псказал, где Наполеон сидел на скамеечке; и где подзвал его и по голове погладил; и дом, где ночевал; и где войска шли и все такое, но на беду стал генерал расспрашивать, какой Наполеон из себя был? Напутал тут старик; где же, ваше превосходительство, за сто лет упомнить? Так и хватил: молодец молодцом был, косая сажень в плечах, бородища до пояса. Мне оно понятно, что с его, старообрядческой, точки зрения иначе себе героя и представить нельзя, но генерал рассердился. Закричал на него, потом напустился на меня — не доучили-де старика (стр. 26—27).

Как видим, небольшой эпизод рассказа Любимова Куприн развил в целую сценку, которую мы процитировали здесь лишь частично. Сопоставление рассказов дает основание утверждать, что Куприн был знаком и с печатным текстом рассказа Любимова, художественно преображенным им.

Стар я, забыл, почитай, все.

— А ты, дедушка, вспомни, постарайся! — еще громче сказал Ренненкампф. — Вот, говорят, что отечественную войну помнишь? Наполеона видел?

— Наполеона? Как же, батюшка, видел, видел. Вот как тебя вижу, совсем близехонько.

— Ну, вот ты нам про него и расскажи. Ты не бойся, тебя начальство отблагодарит. Ну, как же ты его видел, Наполеона-то?

— Как видел? А тут вот, тут видел, где гумно. Там тогда хата стояла новая. С балконом хата. А на том балконе стоял Наполеон. А я тут же стоял под крыльцом. Конечно, маленький я был, совсем мальчишка, мало понимал еще. Шесть лет тогда мне было. Значит, Наполеон стоял, а мимо него все войска шли. Все войска, все войска, все войска. Ужасно как много войсков! А потом он по ступенькам-то вниз сошел и меня рукой по голове погладил и сказал мне что-то по-французски, совсем непонятно: «Хочешь, мальчик, поступить в солдаты?» (стр. 723—724).

Н. М. КУЧЕРОВСКИЙ

ЕЩЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗМА И. А. БУНИНА

(ПОВЕСТЬ «ПРИ ДОРОГЕ»)*

Эта повесть, написанная, по авторской датировке, в марте 1913 года, сразу же привлекла внимание критики образом Парашки, мастерством и своеобразием бунинского изображения трагической силы «пробуждающейся любви». В большинстве рецензий 1910-х годов эта «поэма в изящной прозе» воспринималась в ее внешне-сюжетном содержании — как рассказ о «соблазненной девушке», о «поруганной чистоте девического чувства», растоптанного «корыстным соблазнителем», и т. п.

По существу в таком же плане проанализирована повесть и В. Афанасьевым. В его анализе сделан ряд интересных и тонких наблюдений. Интересна, в частности, найденная им параллель, позволившая сопоставить повесть и одноименное бунинское стихотворение.¹ Существенны сопоставления композиционных приемов построения системы образов в повести «При дороге» и в других произведениях сборника «Чаша жизни», которые позволили В. Афанасьеву сделать вывод об определенном (и новом для автора «Деревни») «единстве рассказов» сборника «Чаша жизни» — как идейно-тематическом, так и «в разработке средств художественной выразительности».²

* Николай Михайлович Кучеровский (1922—1974) — доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Калужского педагогического института, был крупнейшим знатоком творчества И. А. Бунина. Публикуемая (последняя) статья Н. М. Кучеровского написана для журнала «Русская литература».

¹ И. А. Бунин, Собрание сочинений в девяти томах, т. I, изд. «Художественная литература», М., 1965, стр. 331. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

² В. Афанасьев, И. А. Бунин. Очерк творчества. Изд. «Просвещение», М., 1966, стр. 192.

Наиболее обстоятельный анализ этой бунинской повести о любви сделан в книге А. Волкова «Проза Ивана Бунина». На основе этого анализа сформулирован ряд принципиальных обобщений, касающихся своеобразия всей прозы Бунина и его реализма. Но именно такого рода обобщения представляются наиболее спорными. Трудно согласиться, например, с противопоставлением А. Волковым Бунина-мыслителя Бунину-художнику. «Социальный пессимизм», «трагическое ощущение безысходности», «идейные тупики» — все это относится А. Волковым на счет Бунина-мыслителя. На долю же Бунина-художника остаются, собственно, только «социальные мотивы» его повести и вообще его произведений.

«Там, где временно побеждает Бунин-мыслитель, — пишет А. Волков, — появляются попытки выйти за пределы реального мира, выступает преимущественное внимание к патологическому, к сфере подсознательного, инстинктивного, животного, появляются герои, которых отчаяние, безнадежность приводит к безумию, самоубийству».³ Постоянное же противоречие Бунина-художника с Буниным-мыслителем приводило якобы к тому, что писатель, проникая «в самые потаенные уголки человеческого сознания», пополнял «социальные выводы».⁴

Однако если «социальные выводы» бунинской прозы связаны, как это признается А. Волковым, с «социальным пессимизмом, трагической безысходностью, идейным тупиком», то вряд ли положительный итог такого «пополнения» может быть сколько-нибудь существенным с точки зрения «реабилитации» Бунина-художника за счет Бунина-мыслителя.

В повести «При дороге» временные победы Бунина-мыслителя А. Волков усматривает, в частности, в «повышенном интересе» Бунина к «фрейдовскому психоанализу».⁵ Вопрос о влиянии фрейдизма на творчество Бунина поставлен в литературе о Бунине впервые и заслуживает того, чтобы на нем остановиться особо.

Предостерегая от того, чтобы придавать «излишнее значение» фрейдистским тенденциям в творчестве Бунина, А. Волков пишет: «Влияние фрейдизма очень своеобразно сказывается в творчестве писателя. Вызывалось оно не только социальным пессимизмом, но и попыткой как можно глубже проникнуть в самые потаенные уголки человеческого сознания, с тем чтобы пополнить социальные выводы».⁶

Однако подчеркивая своеобразие влияния фрейдизма на Бунина, А. Волков, к сожалению, не доказывает самого факта этого влияния, поэтому, естественно, вопрос о фрейдизме Бунина не находит своего конкретного и убедительного обоснования как в анализе повести «При дороге», так и других произведений писателя.

Первые переводы ранних работ З. Фрейда на русский язык появились в начале 1910-х годов.⁷ Прямых доказательств знакомства Бунина с фрейдовской теорией, насколько нам известно, нет. Вопрос о влиянии Фрейда на творчество Бунина первой половины 1910-х годов может ставиться, следовательно, предположительно, как это и делает А. Волков. Но и логические, и аналитические основания такого предположения, как и его фактическая сторона (вообще, по существу, не учтенная А. Волковым), должны быть подвергнуты сомнению.

Начнем с того, что говорить о влиянии Фрейда в начале 1910-х годов можно только имея в виду определенные работы самого венского психиатра, но не фрейдизма, что делает А. Волков. Фрейдизм как психолого-философское направление в науке этого времени еще не существовал, а сам его основоположник был известен и на Западе и в России как физиолог и психиатр.

Уже поэтому трудно предположить, что повывившиеся в переводах работы Фрейда сразу же не только привлекли внимание Бунина, но и завладели его художническим сознанием. Еще более рискованно по своей вероятности предположение, что Бунин мог быть знаком со специальными, психолого-медицинскими работами Фрейда начала 1900-х годов в подлиннике.

Что же касается фрейдовской теории психоанализа и его так называемой метапсихологической доктрины, то они получили распространение в годы первой мировой войны после появления таких работ Фрейда, как «Леонардо да Винчи,

³ А. Волков. Проза Ивана Бунина. Изд. «Московский рабочий», 1969, стр. 247.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же. Конкретизацией этой мысли является ссылка на образ Никанора в повести «При дороге», в котором, по словам А. Волкова, «воплощено социальное зло». «Если бы вор-мещанин, — пишет он в связи с этим, — пришел к Парашке с открытой душой, принес ей чистую любовь, то не произошла бы драма безумия, не было бы патологических отклонений» (стр. 244). Но, во-первых, таким путем можно доказать все, что угодно (например: если бы Анна Каренина не встретила Вронского, то она и не бросилась бы под поезд). Во-вторых, и это главное, нужно еще доказать, что Бунин изображает любовь Парашки как «патологическое отклонение» в фрейдистском смысле.

⁷ См.: «Психопатология обыденной жизни» (1910), «О психоанализе» (1911), «Три статьи о теории полового влечения» (1911), «Психологические этюды» (1912). Исключение составляет работа З. Фрейда «О сне» (1901), переведенная на русский язык в 1904 году.

этику по психосексуальности» и особенно книги «Тотем и табу». В предисловии к этой работе Фрейд писал, в частности: «...теперь, как кажется, наступил благоприятный момент приступить к границе индивидуальной психологии и поставить работе новую цель. В душевной жизни народов должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но должна быть также сделана смелая попытка осветить при помощи сложившихся в психоанализе взглядов то, что осталось темным или сомнительным в психологии народов».⁸

В анализе повести «При дороге» А. Волков обосновывает свой тезис о влиянии фрейдизма на Бунина тем, что он называет, говоря об отношениях Устина и Парашки, «гипертрофией любви к отцу», которая, по его словам, обретает в бунинской повести «явно патологические контуры». «Вряд ли приходится сомневаться, — пишет он, — что тема противоестественной любви дочери к отцу и влечения отца к дочери навеяна домыслами Фрейда о врожденном половом влечении детей к родителям и родителей к детям. У самого Фрейда это положение сформулировано в так называемом „Эдипове комплексе“, по которому сын, испытывая влечение к собственной матери, начинает ненавидеть отца и порою становится отцеубийцей. Последователи Фрейда нашли ряд других инстинктивных „комплексов“, и в частности „комплекс“ влечения дочери к отцу».⁹

Если отвлечься от чересчур приблизительного изложения сути фрейдовского «Эдипова комплекса», что является вопросом специальным, то в приведенном заключении остается непонятым, почему А. Волков так настаивает в своем анализе повести на «противоестественности любви дочери к отцу». У Бунина ничего противоестественного в родственной любви Парашки к Устину нет: для нее, выросшей без матери, отец — единственно близкий человек, в нем она видит своего защитника; ей, почувствовавшей себя взрослой, ставшей хозяйкой в доме, доставляет удовольствие заботиться об отце, что, как ей кажется, ставит ее в равное положение с ним. Единственное, что волнует Парашку, делает ее любовь к отцу «не простой и не спокойной», — то «страшное и малопонятное, что случилось между отцом и матерью, о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения», и боль при воспоминании об «однодворке, хозяйничавшей когда-то в отцовской избе» (IV, 180).

Внешне противоестественно в повести «влечение отца к дочери», но эта «противоестественность» имеет у Бунина свой, особый смысл, никак не связанный с «Эдиповым комплексом», который, по Фрейду, как известно, предполагает врожденное сексуальное влечение малолетних детей к родителям, но не родителей к детям.

Нам не представляется убедительным и дальнейшее обоснование А. Волковым влияния на Бунина фрейдизма применительно к рассказу «Петлистые уши» (1916).¹⁰ И все же в повести «При дороге» в отношениях между персонажами есть нечто «непонятное», загадочное, что А. Волков называет «идеалистическими издержками» бунинских решений «вечных загадок бытия». Говоря об этом, мы отнюдь не намерены отождествлять или даже уподоблять философские основания бунинской эстетической концепции каким-либо философским системам. Речь пойдет о своеобразии эстетической сущности философско-исторических исканий автора повести «При дороге» и о некоторых особенностях его реалистической поэтики.

Французский поэт Рене Гиль, автор грандиозной по замыслу планетарной эпопеи «Творение», в которой он намеревался представить историю земли от ее космического зарождения до современности, получив от Бунина французский перевод сборника «Чаша жизни», писал ему в 1921 году: «Высокотимый собрат, я даже смущен, — так велика моя благодарность за вашу книгу „Le calice de la vie“ («Чаша жизни», — А. Б.) о глубинах жизни с ее телесными основами и изначальными тайнами человеческого существа... вы всюду даете действительное ощущение того, как глубоко охватываете вы жизнь — всю, во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее в те моменты, когда человек уже не находится или еще не находится под влиянием законов человеческой относительности, когда он действует и противодействует первобытно... У вас... все есть излучение жизни, полной сил, и тревожит именно своими силами, силами первобытными, где под видимым единством таится сложность, нечто неизбывное, нарушающее привычную нам ясную норму».¹¹

Это письмо, процитированное здесь в выдержках, имеющих непосредственное отношение к произведениям сборника «Чаша жизни», было напечатано Буниным

⁸ Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. М.—Пгр., 1913, стр. 13.

⁹ А. Волков. Проза Ивана Бунина, стр. 247—248.

¹⁰ См. нашу статью «И. А. Бунин. Рассказы о человеческой „чаше жизни“» в кн.: Русская литература XX века (дооктябрьский период), вып. пятый. Тула, 1974.

¹¹ Цит. по: А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии. Изд. «Художественная литература», М., 1967, стр. 202—203.

в 1925 году в газете «Возрождение». Судя по этой автопубликации, писатель не только высоко оценивал в высказываниях Рене Гиль похвалы в свой адрес, но придавал им значение такого истолкования произведений сборника «Чаша жизни», с которыми он был согласен от начала до конца. Рене Гиль говорит в своем письме о сборнике в целом, не выделяя отдельных его произведений, но, несомненно, что его подчеркивание историко-философского смысла бунинских «размышлений о жизни» имеет отношение не только к таким произведениям сборника, как «Чаша жизни» и «Братья», но и к повести «При дороге», напечатанной в нем сразу же после этих произведений.

Бунин в своей прозе 900-х годов никогда не оставался на уровне реалистического бытописательства, в рамках и традициях которого чаще всего рассматривала его творчество современная ему критика. Это справедливо даже по отношению к таким перенасыщенным бытом произведениям его прозы, как «Деревня», «Суходол», «Веселый двор», «Ночной разговор», которые оценивались в критике (и оцениваются иногда сейчас) чаще всего с точки зрения бытового правдоподобия (или неправдоподобия по причине, например, односторонности) нарисованных в них картин жизни и изображенных характеров. Но и здесь быт — только фон, на котором писатель исследует «глубины» «русской души». В этом смысле бунинские изображения быта функциональны. Это тем более важно иметь в виду, когда речь идет о творчестве Бунина середины 1910-х годов и последующего времени.

Самая сложность (и психологическая и философская) бунинских произведений этого времени только рождается из «точного наблюдения действительности» с абсолютной, как правило, художественной достоверностью ее бытового правдоподобия, но никогда не сводится к последнему. С этой точки зрения проза Бунина более *модерна* (по его собственному выражению)¹² в своей символично-эстетической философичности, чем проза Куприна или, тем более, Шмелева, Телешова и других его современников. И в этом — она более проза XX века, чем девятнадцатого.

Бунин не достиг в творчестве того сложного в своей противоречивости синтеза социально-психологических и философских начал в изображении жизни, что отличает творчество Достоевского, Толстого, Чехова — писателей, к которым было постоянно приковано его художническое внимание. Оставаясь идеалистом в исторической сущности своей эстетической концепции жизни, подменяя социальные детерминанты человеческого общежития углублением в кажущиеся ему необъяснимыми «изначальные истоки» бытия и поведения человека, автор «Деревни» не мог не быть односторонним в своих изображениях общественных начал жизни человека. В этом очевидные художественно-гносеологические потери бунинской прозы, если сравнивать ее с классическим реализмом XIX века. Но есть в реализме Бунина и свои открытия, такие нетрадиционные решения традиционных для реализма тем и жизненных коллизий, которые не могут не привлекать внимания своей новаторской неповторимостью и своеобразием. Это относится, в частности, к бунинским художественным исследованиям так называемых «вечных тайн» бытия и прежде всего к исследованиям «психологии любви» — самого индивидуального, по мысли Маркса, из всех человеческих чувств.

В повести «При дороге» тема любви имеет не только прямой, непосредственный смысл, но и другой — внутренний, «тайственный», где таится нечто глубинное, неизбежное, нарушающее привычную норму жизни. Раскрывая тему, Бунин повествует о любви в ее «изначальных», говоря словами Рене Гиль, «тайнах человеческого существа, действующего и противодействующего „первобытно“». Действия человека, попадающего под влияние этих «первобытных», изначальных сил, изображаются в повести как не поддающиеся эмпирическому объяснению.¹³

Своеобразие этого плана повествования в том, что о сокровитом, «исторически-первобытном», что управляет действиями и влечениями человека, не говорится прямо: все это — в подтексте повествования и обозначено с помощью значимых в своей исторической ассоциативности символических деталей в психологических описаниях состояния действующих лиц, в портретных характеристиках, в самом названии повести и т. д.

В самом деле: почему повесть о пробуждении первой любви и ее трагическом исходе названа «При дороге»? Сводится ли поэтика такого заголовка повести только к обозначению места действия любовной истории, происходящей в настоящем времени повествования? Такое предположение опровергается первоначальным вариантом заглавия — «Большая дорога»: очевидно, что по смыслу своему оно не может восприниматься как обозначение «места действия» события, происходящего в настоящем. Бунин отказался от этого варианта заглавия повести, так как оно

¹² См. письмо И. А. Бунина П. М. Бицилли от 5 апреля 1936 года, опубликованное А. Мещерским («Русская литература», 1961, № 4, стр. 153—154).

¹³ А. Волков называет ряд мотивов, объясняющих, в его представлении, действия бунинской Парашки: она хотела убить Никанора потому, что он обесчестил ее, потому, что он обольстил ее из низменных целей, воспрепятствовал ее «счастью с отцом», потому, что ею овладел «инстинкт смерти» и т. д. (см. стр. 248). Но это — объяснение с точки зрения исследователя, а не автора повести, как увидим дальше.

противоречило тому, что есть сейчас, в настоящем: «До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились мелкой муравой» (IV, 176). «Большая дорога» — это историческое прошлое здешней жизни: «большой дороги» больше нет, но жизнь «при дороге» остается во власти ее исторического прошлого.

Думается, что уже в этом «микрорезультате» творческой истории повести, связанном с поэтикой ее названия, раскрывается утверждаемый писателем исторический смысл любви — ненависти Парашки к «молодому мещанину», не случайно похожему у Бунина на азиата, степняка-кочевника: он «... ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке... сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами... все лицо его было, точно порохом, усеяно синеватыми точками... на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз» (IV, 177, 178).

Так Бунин реализует в повести свои представления об «азиатском» и «славянском» — исторически противостоящих началах русской жизни, о «двух душах» России, о «смешанной крови» «двух типов» россиянина, в одном из которых, как скажет он позднее, «преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря». Поэтому название повести — «При дороге», «Большая дорога» — значимо не только своим непосредственным смыслом, связанным с трагической любовной коллизией отдельной, личной судьбы, но прежде всего глубинным, историческим смыслом этой судьбы, над которой властвуют, казалось писателю, «первобытно»-кровные, исторически родовые, изначальные силы.

История любви Парашки рассказана в повести так, чтобы создать у читателя впечатление не только предопределенности ее жизненной судьбы, но и ее повторяемости, сходства с судьбой ее матери — сходства не в эмпирических конкретностях их жизни, а в том, что понималось писателем как исторически сущностное, глубинное в судьбах русской жизни.

О матери Парашки говорится в повести подчеркнуто и преднамеренно легендарно: все, что знают о ней Парашка и Евгений, известно им «с чужих слов», но все это никак не опровергается Устином и поэтому обретает значение подлинности: «— Батюшка, — сказала она (Парашка, — Н. К.) вдрут, — ты всегда был такой красивый?»

— А что? — спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. — Всегда. А что?

— Чего ж тебя мать не любила?

— А кто тебе это сказал?

— Да уж я знаю, — ответила она загадочно...

— Ты того, дочка, не слухала бы, — сказал он негромко.

— Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

— И этого не надобно говорить, — сказал он еще тише. — Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя.

Она подумала.

— Да меня что ж пытает? Я вся наружи...

— Толкуй! — сказал он. — Ты вся в нее.

Она покраснела.

— Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

— Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови...» (IV, 183—184).

Что произошло, что было у тех русских людей на «большой дороге» их жизни? Какой «вор-мещанин» стал любовником той русской матери, поплатившейся жизнью за свою любовь, а может быть, и за свое подчинение чужому и злему своеволию? Бунин пытается прозреть историю через тайны судьбы человека. При этом его внимание сосредоточено не на бытовой конкретности человеческой судьбы, не на ее единичности, но на ее исторических, как ему представляется, началах, на ее всеобщности и повторяемости.

Отец ли Парашки — тот, кого она называет батюшкой? По положению — отец. А по крови? Бунин создает такую историческую ситуацию (применительно к отдельной, личностной судьбе), которая оставляет этот вопрос открытым. Этого не знает, не может знать в созданной воображением писателя ситуации судьбы Устина ни сам он, ни, тем более, Парашка. Ему кажется, что она — вся в мать, но откуда ему знать, чья кровь течет в ее жилах: его, Устина, или того, из-за которого он убил ее мать. Ей кажется, что она — вся в него. Но в повести Бунина это ее тяготение, любовь к Устину — не только дочернее чувство, но скорее «зов крови», проявление тех изначальных сил «души» русского человека, в «смешанной крови» которого исторически противоборствовало, по убеждению писателя, «славянское» стремление к «оседлости» с «азиатской» тягой к «кочевью».¹⁴

¹⁴ Так, кстати говоря, историческая концепция «целостного мира жизни» бунинской повести противоречит предположению о влиянии на Бунина психопато-

В художественных доказательствах этого своего убеждения, или, скорее, веры, Бунин не идет дальше рассказа-воспоминания Устина о том, как он однажды мальчишкой чуть было не «убег за цыганами»:

«— Да что же? Одумался? — спросила Парашка.

— Одумался. Без этого нельзя, дочка, — сказал Устин уже без улыбки. — Сгоряча делать не годится. . .

— Чего делать не годится?

— Да ничего, — ответил он не сразу и поглядел в сторону. — *А то кровь в глаза кидается, беду творит. . .*

Она поняла его, оробела и смолкла (IV, 181; курсив мой, — Н. К.).

Это единственное, что названо в доказательство того «многого», в чем были схожи Устин и Парашка. «Многое одинаково затаивали, сдерживали они в себе, — пишет Бунин, — многое одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!» (IV, 181).

Тяга к кочевью живет у бунинских героев «памятью предков»; она в жизни Парашки — та неподвластная ей сила, которая толкнула ее в объятия «молодого мещанина». Он — просто «вор». Но однажды вдруг предстал перед нею, четырнадцатиплечной степнячкой, в «страшный и прелестный» летний вечер степняк-кочевником, таинственным и властным, сразу же подчинившим себе ее волю. И этот образ слился с ее «томлением зовом степной дали», с чувством «жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях», с ее девичьим очарованием «смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдалеке молодой мещанин» (IV, 179).

«Общая идея» жизни, связанная с бунинским представлением о неподвластной человеку воле «памяти предков», будет позднее реализована писателем в рассказе «Соотечественник» (1916). Но здесь эта идея распространена до масштабов всемирных и отодвинута в буддийскую глубину веков, за временные пределы национальной истории народов — к «страшной прародине» всего человечества. В повести «При дороге» реализуется, по существу, та же идея, но в пределах национальной истории России.

Бунинская героиня повести «При дороге», оказавшись во власти «первобытных сил» жизни, не может противостоять им; она не может одуматься, как когда-то одумался Устин, решивший было уйти за цыганским табором. Писатель точно мотивирует это состояние парализованности ее воли: томление Парашки «зовом степной дали» стихийно и неожиданно соединяется у нее с пробудившейся *потребностью* любви, что (как это обычно у Бунина) окончательно выбивает человека из обыденной жизни и отбрасывает куда-то в безвольный мир мечты и желаний.

Жизненная инерция стремления человека в родовой мир прошлого для Бунина — одна из таинственных и глубинных «сил жизни». В понимании писателя она владеет всеми людьми, но у одних проявляет себя просто как «охота к перемене мест», у других — в зовущем чувстве манящей и таинственной дали, у третьих живет как «память предков», позволяющая человеку ощущать (и даже видеть *глазами предков*, как сказано в «Соотечественнике») свою сопричастность далекому прошлому.

Одноименное с повестью «При дороге» бунинское стихотворение 1911 года интересно как раз выраженным в нем такого рода состоянием:

Вчера чумаки проходили
По шляху под хатой. Была
Морозная полночь. Блестели
Колеса, рога у вола.
Тянулась арба за арбою,
И месяц глядел как живой

На шлях, на шагавшие тени,
На борозды с мерзлой ботвой. . .
У Каспия тони, там хватит
Работы на всех — и давно
Ушла бы туда с чумаками,
Да мило кривое окно.

(I, 331)

Своеобразной лирической формулой, выражающей высшую ступень этого духовного состояния, являются известные бунинские строки:

Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

(I, 319)

логических теорий Фрейда, в частности его «Эдипова комплекса»: влечение Устина к Парашке у Бунина — это художественное *доказательство* их родового, «исторического», но не *семейного* родства. Думается, что Бунин близок здесь именно к шпенгауэровским представлениям о «воле», проявляющей себя в стремлении к «сохранению рода», и к таким его последователям, как, скажем, Л. Бон (см. его «Психологию толпы» (1895)).

«Голый простор» степной дороги, «неопределенный шум» от движения ног и дыхания «грязно-серой отары» овец, «догорающая летняя заря» безмолвного степного вечера, «собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день», «страшный старый босяк» со своей песенной присказкой — эти образы-детали в описании первой встречи Никанора и Парашки создают своеобразный эмоционально-чувственный фон восприятия мира героиней повести, томящейся «зовом степной дали».

И эта эстетическая реальность эмоционально-чувственного восприятия мира определяет и силу впечатления Парашки от первой встречи с «молодым мещанином», подъехавшим к ней на своем «белом горбоносом киргизе», то впечатление, с которым она проживет два года до новой, «роковой» встречи с Никанором.

Бунин объективирует состояние своей героини в описании ночи, наступившей после первой встречи Парашки с «черноглазым мещанином»: «В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напминавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка заснула в чувстве того жуткого и мапящего, что есть в неизвестных проложих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, увезет ее куда-то в даль молодой мещанин» (IV, 179).

Два года, которыми разделяет Бунин в повести первую и «роковую» встречи Никанора и Парашки, связаны в жизни шестнадцатилетней степнячки «смутной думой» о гибели, «воспоминанием беды», предсказанной ей в «страшный летний вечер» «старым босяком». На новые встречи с мещанином неотвратимо стремится ее не любовь к нему, но только *потребность* любви, принятая ею за самую любовь.

Любовь в представлении писателя вообще существует только как потребность любви, как воображение счастья любви, которые принимаются человеком за самую любовь. Осуществившись, эта *мечта* любви, выбивающая человека из обыденной колеи его жизни, перестает быть любовью; осуществление любви есть и ее отрицание — в этом одна из самых характерных коллизий бунинских решений темы любви во всей его прозе, от таких его ранних произведений, как «Заря всю ночь» (1903), «Осенью» (1901), до «Легкого дыхания» и рассказов сборника «Темные аллеи». Любовь Парашки к Никанору как бы создана ее воображением, в котором потребность любви соединилась с томлением «зовом степной дали», со «смутными пленительными картинами каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог...» (IV, 194).

«Вор-мещанин» — это *настоящее* жизни, которого не знает и не может знать выросшая в степном одиночестве бунинская героиня. В ее духовном мире единственно живым началом, как подчеркивает писатель, было прошлое, жившее в ней памятью далеких предков, в котором занял свое место и «азиат», *ставший* мещанином, но *представший* перед ней азиатом-кочевником — однажды в летний вечер среди отары овец на своем «белом горбоносом киргизе». Он приказал, и она, пораженная силой его «твердых глаз», сразу же подчинилась его воле — «вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек» (IV, 178). «А потом на парях за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер». И — «сидя на пороге, Парашка... не спускала глаз с костра» (IV, 178). И отдается она у Бунина Никанору, «вспомнив его таким, каким увидела впервые, — среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе», при желтом и жарком пламени костра (IV, 192).

Очевидно, что содержание бунинской повести не укладывается в рамки сюжета об обманутой, соблазненной и покинутой героине, гибнущей в условиях «социального зла», воплощенного в образе конокрада-мещанина. Мещанин в произведениях Бунина — это всегда человек *безлюбовного* мира жизни. Таков и Никанор в повести «При дороге». Он полюбит Парашку, но любит по-своему, любит, если можно так сказать, *безлюбовно*. У Бунина он искренен в своих признаниях при всем подчеркнутом в повести примитивизме и при всей бездуховности их мещанского стереотипизма. «— Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе... Не веришь? — сказал он, осторожно обнимая ее. — А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!» Или: «... стал целовать ее лицо, приговаривая:

— Погоди, за ради бога погоди... „Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...“ Я памяти по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя, — на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистки будешь наряжена!» (IV, 189, 192).

В словах мещанина, в его обещаниях увезти в Ростов, «вдариться в степя», наживать на лошадях тысячи, наряжать «лучше всякой модистки», нет обмана. Он искренен, и он приезжает не только за «отцовскими лошадьми», но и за нею, собираясь увезти ее куда-то в Ростов, в степи, чтобы там «свое дело завести». Это и есть его представление о любви, в этом — его *мещанское* счастье любви. Но то изначально, исконное, русское, что живет в Парашке неизбывной потребностью

любви, отрицает в бунинской повести эту его мещанскую любовь, в которой от любви есть только одно — страсть.

Только когда он сделал «свое страшное дело», связав ее жизнь со своею, она поняла, что он «убил и ее и себя» — того себя, что жил в ее воображении: «Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим — и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке... Она вспоминала, как любила, ждала кого-то — и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила» (IV, 194, 195). В этом внутреннем монологе бунинской героини заключена мотивированность ее дальнейших действий, заключено объяснение развязки повествования, заканчивающегося попыткой Парашки убить Никанора.

Можно не соглашаться с такой мотивированностью поступков и действий человека, можно не принимать и бунинскую символику образов и исторический смысл его «любви—ненависти», по во всем этом, думается, нет сексуальной психопатологии фрейдистского толка, на чем так настаивает А. Волков в своем интересном анализе этой повести Бунина о любви.

При позднейшем редактировании повести Бунин убрал из ее текста те места, которые акцентировали внимание на самом «падении» Парашки. Вычеркнул был, например, следующий, характерный в этом отношении эпизод, предшествовавший развязке: «Наконец пришла последняя ночь. Эта ночь была точь в точь такая же, как та, когда пылал костер за большой дорогой. Так же, как тогда, лежала она в темной избе, видела в окно ночное небо в бледных звездах... И так же, как тогда, что-то горячо говорил под окном отец... Ново было только то, что теперь Парашка чувствовала себя женщиной, — о, как страшно было это чувство! — что как лед, холодны были руки и ноги у нее, что дрожало мелкой дрожью сердце, чужое ей, а пустая, какая-то просторная голова напрасно пыталась поймать и задержать хоть единую мысль. Внезапно привстав, она вынула левую грудь и сквозь сумрак долго силилась рассмотреть ее: не потемнела ли она?»¹⁵

Подобные описания переживаний Парашки¹⁶ заслоняли «исторический» аспект темы повести, и, очевидно, этим следует объяснить их сокращения, хотя в числе таких сокращений оказались по-своему художественно совершенные, тщательно и психологически точно выписанные эпизоды, раскрывающие бунинские решения «психологии любви».

В литературе о Бунине уже говорилось о «поэтической, песенной основе образа Парашки».¹⁷ «Песенная основа» этого образа повести подчеркивается присказкой старого гуртовщика, загадочно обращенной к Парашке при первой ее встрече с «молодым мещанином»: «Вечёр наша перепелушка, вечёр наша рябая всею ночьюку прокликкала, всею, темную протрюкала...» (IV, 177).

Характерна в этом отношении и сказовая ритмическая структура в первых главах повести, где говорится о Парашке: «С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца...» И дальше: «Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою приезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подавием. Ровной рысцей, часто спотыкаясь и перхая, бежала посередине дороги захудалая помещицья тройка — звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желанья. Гнали овец — она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей...» (IV, 180, 181—182).

Поэтична и своеобразна вписанность образа Парашки в пейзаж повести: «Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и обсыпало остинки колосов золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба... А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы... Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога...» (IV, 195—196, 198—199). Однако писателю не удалось выдержать этот стиль повествования до конца. Рассказ о судьбе Парашки оказался «заземленным» в быт современной жизни. Вместе с тем изображение психологической коллизии любви, как и сам образ Парашки в повести «При дороге», следует отнести к лучшим и совершеннейшим страницам бунинской

¹⁵ Полное собрание сочинений И. А. Бунина, т. VI, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Пгр., 1915, стр. 242.

¹⁶ См. там же, стр. 237, 240 и др.

¹⁷ См.: В. Афанасьев. И. А. Бунин. Очерк творчества, стр. 194.

прозы. Метафизический и фатальный историзм бунинской эстетической концепции жизни (русского национального характера) приходит здесь в явное и объективное противоречие с правдой жизни, с непревзойденным мастерством Бунина как реалиста-психолога.

Л. О. ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К Р. И. СЕМЕНТКОВСКОМУ

(ПУБЛИКАЦИЯ Л. И. КУЗЬМИНОЙ)

Переписка художника Л. О. Пастернака с редактором журнала «Нива» Р. И. Сементковским возникла в связи с публикацией романа «Воскресение». Появление в сугубо умеренном журнале резко обличительного произведения Л. Толстого было событием чрезвычайным. Значительно превысили художественный уровень печатавшихся в «Ниве» рисунков и иллюстрации к роману. Известный советский график и знаток иллюстрации Н. В. Кузьмин писал: «...рисунки Пастернака среди обычных и надоевших картинок „Нивы“ — боярынь в кокошниках, девушек с кошками, тирольских пейзажей и изображений титулованных и „августейших“ особ — поражали новизной своей манеры и жизненной правдивостью».¹

Пастернак познакомился со Львом Толстым в 1893 году,² а затем нередко навещал его. Он сделал множество зарисовок Толстого и членов его семьи с натуры. Последние из них — смертельно больной писатель в Астапове. Кисти Пастернака принадлежат картины: «Л. Н. Толстой в семье»,³ «Чтение рукописи — Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге» (ГМТ), «Пахарь», «Л. Н. Толстой в эпоху „Войны и мира“», «Л. Н. Толстой и Вл. Соловьев у Н. Ф. Федорова» (ГМТ),⁴ «Толстой за работой» (Дюссельдорф). Пастернак иллюстрировал также «Войну и мир» и «Чем люди живы». Толстовский цикл своих работ художник назвал «мемуарами», выраженными «пластическими средствами — кистью, красками, карандашом и т. д.»⁵

Яркая социальная заостренность и проникновение в психологию толстовских героев сделали иллюстрации к «Воскресению» значительным явлением в развитии книжной графики.

В воспоминаниях «Как создавалось „Воскресение“» Пастернак рассказал о том, как Т. Л. Толстая-Сухотина передала художнику приглашение отца срочно, не откладывая приехать в Ясную Поляну, чтобы приступить к чтению рукописи и к иллюстрированию ее. В дневнике же С. А. Толстой сохранились записи о первом приезде художника в Ясную Поляну для работы над рисунками 6 октября и в ноябре 1898 года. Таким образом, наиболее интенсивная часть творческого процесса Пастернака — иллюстратора «Воскресения» протекала в непосредственной близости к Толстому. Писатель и художник работали параллельно: прочитав очередную главу, Пастернак делал рисунки, показывая их Толстому; с рисунка снимались копии, оригиналы отсылались для репродуцирования в «Ниву», а копии — в Нью-Йорк, Париж, Лондон и другие города Европы, где «Воскресение» печаталось без цензурных урезок.

Иллюстрации произвели на Толстого большое впечатление уже на первоначальной стадии работы художника.⁶ Писатель назвал их «прекрасными».⁷ По свидетельству Пастернака, Толстой плакал над некоторыми из его рисунков, иные же вызывали его «искренний детский смех».⁸ Существовала серия воспроизведенных иллюстраций к «Воскресению», помеченных Толстым баллами, по преимуществу самыми высокими.⁹

Пастернак работал напряженно: он с трудом успевал за писателем. Особую трудность составляли непрерывные изменения Толстым текста романа. Многочисленные пометы, отчерки, наброски на полях рукописи романа, сделанные рукой Пастернака, — своеобразный след пережитого художником творческого подъема. «... Величайшим счастьем и незабываемым переживанием моей жизни, — писал ху-

¹ Н. Кузьмин. Штрих и слово. Изд. «Художник РСФСР», Л., 1967, стр. 12.

² Борис Пастернак. Люди и положения. «Новый мир», 1967, № 1, стр. 206.

³ Варианты этой картины хранятся в Государственном Русском музее и Государственном музее Л. Н. Толстого (далее сокращенно: ГРМ, ГМТ).

⁴ Федоров Николай Федорович (1824—1903) — библиотечарь Румянцевского музея в Москве, философ, автор «Философии общего дела».

⁵ Л. О. Пастернак. Как создавалось «Воскресение». В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. II. Гослитиздат, М., 1955, стр. 85.

⁶ Письмо к Л. О. Пастернаку от 22 ноября 1904 года (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 75, Гослитиздат, М., 1956, стр. 186).

⁷ Письмо к С. А. Толстой от 17 ноября 1898 года (там же, т. 84, стр. 334).

⁸ Л. О. Пастернак. Как создавалось «Воскресение», стр. 89.

⁹ Местонахождение серии неизвестно. В своих воспоминаниях Пастернак ошибся, указав, что она хранится в ГМТ.

дожник в названных выше воспоминаниях, — было для меня то, что мне довелось одновременно и почти совместно с ним работать, когда он писал „Воскресение“, а я тут же иллюстрировал его!»¹⁰

Исключительно трудной для художника была задача «не потеряться рядом с выразительно-выпуклой, осязаемо-образной прозой Льва Толстого».¹¹ Однако с этой задачей Пастернак справился. Вполне передав дух романа, художник выходил подчас за рамки простого иллюстрирования, развивая едва намеченные Толстым темы и образы.

Отношение Толстого к художнику, поставленному в трудные творческие условия, было весьма заботливым. Сам или через своих близких писатель неизменно сообщал Пастернаку в Москву о переделках своего текста. Толстого живо интересовало восприятие его героев художником, он высоко ценил наброски Пастернака. Так, увидев иллюстрацию «После экзекуции. В больницу» (первая часть романа, глава 46), Толстой взволнованно вспомнил, что распорядился изъять эту главу. Чтобы поместить рисунок в журнале, писатель срочно телеграфировал о восстановлении главы.¹²

Пастернаку случалось иногда дать Толстому тот или иной совет, отметить какую-либо неточность. Художник писал Т. Л. Сухотиной 28 октября 1898 года: «Вероятно, Лев Николаевич осведомлен лучше, но мне кажется, что конвойные не оставляют арестанта ни на минуту и могут быть в коридоре, как мне пришлось видеть, посещая суд и тюрьмы».¹³

Творческая история романа «Воскресение» была сложна.¹⁴ Исправленные корректуры набирались по нескольку раз, в процессе правки гранки подчас вновь превращались в рукопись. Многие главы были написаны заново.

Условие о печатании «Воскресения» в «Ниве» Толстой заключил 12 октября 1898 года, а с 22 октября он начал посылать в журнал отдельные части романа. Решено было начать его печатание с середины января 1899 года, но вскоре Толстой попросил отложить публикацию до марта. Одной из причин отсрочки было сомнение в своевременном завершении иллюстраций Пастернаком. Осложняли и без того нелегкое рождение романа цензурные трудности. «Воскресение» печаталось в «Ниве» с большим количеством цензурных изъятий. Выбрасывались целые главы, части глав и большие куски текста. Толстой предвидел неизбежность столкновений с цензурой и пытался уменьшить их. В письме к издателю журнала А. Ф. Марксу от 7 ноября 1898 года говорилось: «В повести есть много мест нецензурных, и чем дальше я над ней работаю, тем этих нецензурных мест становится больше. Но это не должно препятствовать помещению повести в „Ниве“. Для этого нужно поручить просмотреть повесть литератору, знающему требования цензуры, с тем, чтобы этот литератор-редактор исключил те места, которые он считает совсем нецензурными, и изменил сомнительные места так, чтобы они не представляли препятствий в цензурном отношении. Сделав же эти изменения, я просил бы прислать их ко мне для просмотра».¹⁵

Эту предварительную («домашнюю») цензуру взял на себя редактор «Нивы» (с 1897 года), литературный критик и публицист Р. И. Сементковский (1846—1919), оставивший воспоминания «Встречи и столкновения»,¹⁶ в которых рассказал о своем содействии появлению в свет романа Толстого. Сементковский явно приукрасил свою роль цензора «Воскресения». В действительности он превысил данное ему Толстым право. Без санкции писателя Сементковский самым решительным образом правил текст романа в последних корректурах. Правка соответствовала в первую очередь его представлениям об общепринятых нормах литературного языка. Редактором было сделано свыше тысячи грамматических и стилистических исправлений произведения Толстого, что, естественно, искажило текст романа. Правка Сементковского оказала воздействие и на иллюстрации Пастернака: некоторые из них невольно перестали соответствовать подлинному авторскому тексту. Так, в XIV главе

¹⁰ Л. О. Пастернак. Как создавалось «Воскресение», стр. 84. См. также: Мои встречи с Толстым. Из «разновременных записей» Л. О. Пастернака. Публикация Э. Г. Бабаева. В кн.: Яснополянский сборник. Статьи, материалы, публикации. Приокское книжное изд., Тула, стр. 185—205; ср.: Две встречи с Толстым. Публикация и вступительная заметка Э. Г. Бабаева. «Учительская газета», 1965, № 19, 13 февраля.

¹¹ Н. Кузьмин. Штрих и слово, стр. 14.

¹² Рисунок «После экзекуции», однако, был опубликован только в 1900 году во втором издании (А. Ф. Маркса) «Воскресения».

¹³ ГМТ (ф. АСТ, п. 41, инв. № 21619). Видимо, имеется в виду начало пятой главы первой части романа. В данном случае Толстой не прислушался к замечанию художника, оставив: «...подсудимые не под стражей уныло бродили у стен...»

¹⁴ Н. К. Гудзий. История писания и печатания «Воскресения». В кн.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 33, стр. 329—422.

¹⁵ Там же, т. 71, стр. 481.

¹⁶ «Русская старина», 1912, № 1, стр. 107—108.

у Толстого было: «... священник с дьяконом и дьячком, как они рассказывали, на силу проехав на санях по лужам и земле те три версты, которые отделяли церковь от тегушкиного дома, приехали служить заутреню».¹⁷ Сементковский «убрал» дьячка, что привело к иллюстрированию заведомо искаженного толстовского текста. То же произошло и с рисунком «После приговора» (глава XXIV), на котором вследствие исправления слова «сидела» на «стояла» Катюша Маслова изображена стоящей.¹⁸

Цензура запрещала публикацию не только текстов Толстого, но и рисунков Пастернака: в декабре 1899 года не были пропущены в печать два рисунка: «Политические на полуэтапе» (к третьей части тринадцатой главы) и «В камере у каторжных. Раздача евангелий англичанином» (к третьей части двадцать шестой главы).

Цензурные трудности, спешка с иллюстрированием «по горячим следам» только что завершённой Толстым рукописи, сочувствие писателю, подчас не выдерживавшему заданного темпа, — все это создавало к концу работы над романом «Воскресение» атмосферу крайней эмоциональной напряженности, сказавшейся на публикуемых письмах. Автографы писем Л. О. Пастернака хранятся в рукописном отделе Института русской литературы (ф. 446, № 210).

1

25 июня 99 года

Глубокоуважаемый Ростислав Иванович!

Только что полученное письмо Ваше смутило меня и, не скрою, — огорчило. Огорчило потому, что я, невзирая на все перипетии последних месяцев, как-то: неимения вовремя текста, перемен, переделок, неуверенности, неимения в своем распоряжении достаточного времени, чтобы без ущерба для своего здоровья возможно заблаговременно посылать рисунки, — я радуюсь или — лучше — не могу упрекнуть себя, чтобы я в одном из последних моих рисунков сошел с той художественной высоты и требований, с какой я начал и какую я поставил себе в начале своего злосчастного этого труда. Наоборот: последние рисунки гораздо были и труднее, и сложнее, и серьезнее, и т. д., и мне неловко их хвалить — я знаю, что Вы сами понимаете их цену, ибо в Вашем письме сегодняшнем Вы также называете их удачными... А Лев Николаевич те, что видал в Москве, — прямо безгранично хвалил их. Повторяю, я ужасно рад, что если теперь в силу обстоятельств, не от меня зависящих, и меньше давал рисунков, то то, что я давал и даю — под тем я смело подписываюсь, стою за них, и в главном они серьезно продуманы и прочувствованы и могу за них ответ держать и, как раньше, с самого начала, так и теперь имею свои художественные и другие причины не обращать внимания на то, что иной читатель покосится или на которого я не угрожу... Я еще слишком слаб в этих требованиях относить к читателя и «публики», и я с восторгом и завистью смотрю на таких могучих людей, как Лев Николаевич, который так смело берет, рисует и делает то, что находит нужным, а не то, что читателю по душе или не по душе. Конечно, я далек от сравнений, это было бы слишком дерзостно с моей стороны — вообще сравнивать тут — но я говорю о том восхищении, о зависти почти, с какою сильные люди, как Лев Николаевич (я не говорю о таланте — и боже сохрани — о себе), — обращаются с «публикой» или читателем...

Но я уклонился в сторону. Вы опасаетесь, что читатель смутится несходством Катюши с прежней. Я тоже смущался и делал рисунки и так и эдак и взял, как человек слабый, «золотую середину». Как Вы сами знаете — по прежним текстам и по последнему — с Катюшей произошла огромная перемена и происходит (я не выписываю подробностей),¹⁹ и Льву Николаевичу ужасно хочется, чтобы эта перемена влияла и на внешность ее, и потому он сначала писал, что она сняла «кудряшки» (т. е. перестала носить их), а в последней редакции сказано: «на голове была косынка, скрывавшая волосы» и т. д. И вот, представьте себе, что стоит сделать Маслову так, как она описана (уж не говорю о новом выражении лица в силу тех же причин, о которых и Вы пишете сегодня), то совсем, совсем она не будет похожа на прежний портрет²⁰ — я уж не говорю, что одно и то же лицо при одном и том же костюме, прическе и проч. в разных позах и разных освещениях, даже на фотографии с натуры не бывает похожим (это Вы, вероятно, сами знаете, и

¹⁷ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 32, стр. 53.

¹⁸ Ср.: там же, стр. 86.

¹⁹ См. об этом: Н. И. Рыбаков. Из наблюдений над портретной живописью Л. Н. Толстого в романе «Воскресение». «Ученые записки Горьковского гос. педагогического института им. М. Горького», 1970, вып. 90, стр. 65—78.

²⁰ Ср. у Толстого: «Она была в белом фартуке на полосатом платье; на голове была косынка, скрывавшая волосы (...) нынче она была совсем другая, в выражении лица ее было что-то новое...» (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 32, стр. 242).

не надо быть для этого художником). И вот я над этим бился только потому, что «иной читатель» смутится, и сделал «середину», т. е. показал немного волосы, чтобы удержать возможно «сходство», а стоит к моему рисунку прибавить или дорисовать те «кудряшки», которые она больше не носила, — и Маслова, прежняя Катюша — пред читателем. Кстати, у меня под рукой «пробный» негодный оттиск (фотографический), негодный в силу того, что чересчур «темно копирован» (будьте добры показать фотографу, и он поймет сейчас). Этот оттиск посылаю Вам, и на нем я нарочно *чутьочку* добавил «кудряшки» — это убедит Вас в справедливости слов моих, и я думаю, что Вы согласитесь со мной, что я иначе делать не мог, не желая впасть в ошибку (раз автор именно намекает на перемену в лице, прическе, костюме и пр.). Итак, после моих разъяснений, я думаю, недоразумение это рассеется, и никаких исправлений рисунка не нужно. Я бы не послал его Вам, если бы не строго обдумал все заранее. Да, в сущности, уже оставляя все в стороне, разве так важно тут точнейшее сходство? Или важнее настроение этого момента, передача освещения, настраивающего на тот лад, интимность этой сцены, ее воспоминания при виде фотографии?! и т. д. и т. д.²¹

Простите, что я несколько распространился. Я это сделал потому, что хотел разъяснить как Вам, так и уважаемому Адольфу Федоровичу²² и Юлию Осиповичу,²³ что я не зря так изобразил и послал (дескать — как-нибудь), а что я имел и имею на то свои соображения и потому телеграфировал сию же минуту: «именно так — прошу, мол, напечатать так, как есть, на мою ответственность, мол» и т. д. Если я на своей спине или ответственности выносил пред всей публикой то, что мои рисунки пред читателями являлись все время почти не в том виде, как это могло быть, т. е. в смысле художественности репродукций, и как должно бы быть (надеясь на хорошие репродукции) и печать в отдельном издании, то я снесу пред читателем и эту ответственность. Что касается наброска на полях сверху, то такие наброски я всегда делаю,²⁴ но времени не хотел тратить на то, чтобы стереть его, как я всегда делаю.

Вот все, что я считал нужным объяснить Вам и уверен, что теперь, когда рисунок отпечатан, все объяснения собственно и излишни. Но я не хотел оставить Вашего письма без этих замечаний, считая необходимым поделиться с Вами теми соображениями, которыми я руководился, и уверен, что Вы и Адольф Федорович и Юлий Осипович теперь со мной согласны и вопрос исчерпан.

До свиданья!

Жму Вашу руку

Ваш Л. Пастернак.

2

12 июля 99 года

Глубокоуважаемый Ростислав Иванович!

Я получил Ваше письмо относительно злополучного рисунка и прочее и прочее. Жаль только, что 28 и 29 № будут без рисунка...²⁵

Как Вам уже известно из моих прежних писем — работать так, как я работал прежде, мне невозможно уже, и хотя я несколько лучше себя чувствую и мог бы исподволь приготовить иллюстрации, но времени так немного, что я начинаю сцену и пока ее обдумываешь, набрасываешь эскизы, начинаешь обрабатывать — глядь, а на присланной диспозиции сказано: «крайний срок печатания такого-то числа» (по 3—4 дня на №), и вот я бросаю старую сцену и начинаю новую для следующего №, а в следующем выдается неудобный для меня день (в смысле нервов и т. п.), а затем опять начал сцену, опять пока оглянешь, а на диспозиции сказано: «крайний срок такого-то числа...» И вот по вычислении — пока кончишь, пока поплешь — будет, значит, поздно, и я, значит, напрасно буду биться над продолжением этой сцены. И опять бросаю, и снова за текст для следующего №, и снова та же «психология творчества» и т. д. Известие же Ваше, что 30 № выйдет без

²¹ Речь идет об иллюстрации «Маслова сиделкой в больнице. Над старой фотографией».

²² Марк Адольф Федорович (1838—1904) — известный книгоиздатель, издавал журнал «Нива».

²³ Грюнберг Юлий Осипович (1853—1900) — управляющий конторой издательства А. Ф. Маркса.

²⁴ Наброски Л. О. Пастернака на гранках романа «Воскресение». Публикация Л. В. Щербухиной. В кн.: Яснополянский сборник. Статьи, материалы, публикации. Приокское книжное изд., Тула, 1965, стр. 36—40.

²⁵ №№ 28—29 «Нивы» вышли без иллюстраций Пастернака. Злополучный рисунок — «Маслова сиделкой в больнице. Над старой фотографией».

«Воскресения»,²⁶ кажется (?) даст мне возможность приготовить одну сцену к 31 № (Мариэтт с мужем и т. д. в ложе театра), бог его знает, не хочу смотреть на «диспозицию» — сделаю, сделаю, пошлю, авось попадет.

Ради бога, присылайте скорей *конец, конец* романа, может быть, хоть удастся так забежать вперед, чтобы хоть 1 или 2 рисунка были к концу повести.²⁷ Боже, будет ли конец?.. Хоть не цензурный оттиск присылайте ради бога! Ведь по Вашим прежним письмам всего несколько глав или 1 № всего, и неужели у Вас нет еще текста?

Всего лучшего!

Ваш Пастернак.

У меня ведь нет уже глав для 32 №. Окапчивается у меня 29 главой.

3

23 июля 99 года
Одесса (б. Фонтан)

Глубокоуважаемый Ростислав Иванович!

Я выслал вчера рисунок к 24 главе (к какому № — не знаю, думаю, что к 32 №). Изображает он «Мариэтт», а назвать можно «В ложе у Мариэтт» или просто «Мариэтт» — все равно. Думаю, что успеете напечатать его в соответствующем №, но если бы случилось, что что-либо помешало бы поместить в соответствующий №, то я *очень просил бы поместить* этот рисунок *в следующий за сим №* в виде исключения, не в очередь, с оговоркой, «что мол смотри главу 24-ю или такую-то».²⁸ Мы не догадались поступить так с прошлым рисунком, т. е. я собственно не догадался просить поместить его не к данному №, а к следующему. Важно только, чтобы публика прочла текст раньше, а рисунок, если не приложен к данному №, то в следующем смело может быть помещен — от этого никто не в убытке собственно. А для меня *крайне важно*, чтобы *теперь* хоть один рисунок появился — позже ли, раньше ли — все равно, никто от этого не теряет, повторяю, а для меня важно. Вы сами понимаете!

Итак, я надеюсь, что эта моя просьба будет исполнена, и для «Нивы» хорошо также.

Я получил Ваше письмецо, извещающее меня о том, что у Вас только до 24 главы, а что дальше Толстой» пишет заново и т. д. и что к 1-му августа все должно быть кончено из-за цензуры и т. д., и что Вы конца не дождетесь, и т. д., и т. д.

О господи! Конец, конец! Полцарства за конец! А бедный Л(ев) Никол(аевич) Толстой», каково ему писать, да заново, да к сроку!! Всем, всем досталось, но больше всех мне. Извольте иллюстрировать так!! Слава богу, Ваше письмо это меня успокоило — больше рисунков быть не может, немыслимо, когда ни текста, ни сроку, ничего больше...

Будьте здоровы!

Преданный Вам Пастернак.

Я телеграфировал Вам о посылке рисунка.

4

Глубокоуважаемый Ростислав Иванович!

Я уже в Москве два дня, и ни сведений от Вас, ни текста — ничего нет! Ради бога, присылайте сейчас *какой-нибудь* текст, т. е. неокончательной даже редакции, ибо я целый предстоящий месяц не дежурю в Училище и мог бы кое-что приготовить к «Воскресению». Я мог бы, не торопясь, забежать вперед на известный срок и продолжать исподволь, если уж суждено продолжаться роману! В последнем Вашем письме ко мне (еще в Одессу) Вы писали, что с 37 № Вы имеете в виду при-

²⁶ В № 30 «Нивы» роман «Воскресение» не печатался «ввиду исключительных и не предвиденных... обстоятельств» (стр. 557), как объяснил журнал. Дело было в том, что по чисто техническим причинам, из-за возросшего числа корректур, печатание иностранных переводов за рубежом значительно отставало от публикации «Нивы». Это нарушало условия контракта с А. Ф. Марксом.

²⁷ Последние два рисунка Пастернака — «Политические на полуэтапе» и «В камере у каторжных. Раздача евангелий англичанином» — были запрещены цензурой.

²⁸ Рисунок «Мариэтт в ложе» (к главе XXIV) был воспроизведен в «Ниве» (1899, № 32).

остановить печатанье романа на 4—6 недель,²⁹ дать автору возможность спокойно окончить его и *третью часть* (вот для меня новость?! — значит, еще и 3-я часть? Сколько же глав?) перенести на конец года.³⁰

Мне кажется, что и в самом деле это было бы прекрасно! И что же, как Вы решили? Если бы было можно перенести и на другой год часть, то от этого и подписка бы выиграла, хотя публика немного бы и посердилась. А между тем, как бы то ни было, но мне *надо* продолжать иллюстрировать, раз роман еще так долго протянется, и я страшно сожалею, что обстоятельства так складывались, что я не мог за неимением вовремя текста пропустить некоторые живописные моменты.

Но Вы не можете себе представить, сколько мне придется давать ответов на расспросы, письма и проч(ее). «Отчего моих иллюстраций больше не видят в „Ниве“ и т. д. Извольте всем объяснять одно и то же!! Я не знаю, что мне делать? Ведь трудно понять и поверить, что «текст не готов», «не вовремя получается» и т. д. Как мне быть? Жду от Вас сведений, и, ради бога, поскорее вышлите имеющийся текст. Всего хорошего!

Глубокоуважающий Вас и преданный Вам

Л. Пастернак.

P. S. Так и лето прошло, и здоровье не совсем поправилось, и вот теперь снова за работу!..

Москва, 16 сентября 99 года
Училище живописи.
Мясницкая.

К. М. АЗЪАДОВСКИЙ

РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО Н. А. КЛЮЕВА

(НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

Н. А. Клюев (1884?—1937) — поэт малоизученный. Многие не выявлено и в биографии Клюева — она изобилует «белыми пятнами». В особенности же не прояснен первый период творчества поэта (хронологические рамки — 1904—1912 годы¹). Это не вызывает удивления. До 1912 года Клюев почти безвыездно жил на Севере, в отдаленной олонекской деревне. Его контакты с литературным миром Петербурга и Москвы в эти годы весьма ограничены. Кроме того, начиная с 1906 года жизнь Клюева протекает в «полуконспиративных» условиях: олонекская полиция держит его под постоянным и пристальным надзором. Опасаясь, что его переписка контролируется, поэт соблюдает осторожность и в своих письмах почти не высказывается «по существу». Что же касается архива Клюева, то он считается утраченным. Поэтому число документов, способных пролить свет на деятельность Клюева во второй половине 900-х годов, крайне незначительно.

Между тем период 1904—1912 годов (особенно 1907—1912 годы) чрезвычайно важен как существенный этап в становлении Клюева-художника. Именно в эти годы — в неустанных исканиях — Клюев выработывает и собственное мироотношение, и самостоятельную поэтическую систему. Обращение к истокам клюевской поэзии создает перспективу, необходимую для оценки его творчества в целом.

Задача настоящей статьи — дать новые сведения о молодом Клюеве. Участие поэта в первой русской революции, круг его знакомств и связей в 1907—1912 годах, его взгляды и творческие устремления тех лет — все это либо совсем неизвестно, либо требует дополнительных уточнений. В статье цитируются новонайденные стихотворения Клюева, относящиеся к 1907—1909 годам.

²⁹ В «Ниве» (1899, № 38, стр. 717) опубликовано редакционное заявление о перерыве в печатании «Воскресения» на шесть недель в связи с болезнью Л. Толстого.

³⁰ В третьей части романа «Воскресение» — 28 глав. Последняя печаталась в № 52 за 1899 год.

¹ 1904 — год первого выступления Клюева в печати (сб. «Новые поэты», СПб., 1904); 1912 — год выхода в свет его первых сборников: «Сосен перезвон» (фактически книга выпущена в ноябре 1911 года) и «Братские песни» (изданы в мае 1912 года). Кроме того, в августе 1912 года в дешевой серии «Библиотека „Новая земля“» появились две брошюры Клюева «Братские песни» и «Лесные были». Все эти издания (особенно «Сосен перезвон») — итоговые для молодого Клюева. С них начинается его известность как самобытного русского поэта.

1

«Впервые я сидел в остроге 18 годов отроду, безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой. Начальство почитало меня опасным и „тайным“. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы. Плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мне гложет». Так спустя много лет рассказывал сам Клюев,² вспоминая о событиях 1906 года, когда за свою антиправительственную деятельность он был арестован и заключен в тюрьму. Четыре месяца (с 25 января по 26 мая) Клюев провел в Вытегорской уездной тюрьме (которую он называет «острогом»), а затем был переведен в «губернскую» (в Петрозаводск), где пробыл еще два месяца (до 26 июля). Что же послужило причиной ареста Клюева?

Деятельность Клюева в 1905 году была весьма активной. Клюев занимался пропагандой среди крестьян северных губерний, ходил из деревни в деревню, распространял прокламации и призывал местное население к неповиновению властям. В настоящее время установлено, что Клюев был связан с Всероссийским крестьянским союзом, внепартийной демократической организацией, созданной в 1905 году. Эта организация, «безусловно революционная в своей основе»,³ объединяла в своих рядах наиболее сознательных представителей российского крестьянства. Уведомляя Департамент полиции о «возбуждении дознания», Олонецкий губернатор писал в Петербург «об арестовании им, в порядке охраны, сына отставного фельдфебеля Николая Алексеева Клюева за подстрекательство крестьян к неплатежу податей и в агитации среди крестьян противозаконных идей Всероссийского крестьянского союза...»⁴ В письме самого Клюева к политическим ссыльным в Каргополь (письмо не датировано, видимо, март 1906 года)⁵ сказано: «Я, Николай Клюев, за Крестьянский союз и за все его последствия. Знаю из центров только один, — а именно: Бюро содействия Крестьянскому союзу в Петербурге — Забалканский проспект № 33. Бюро высылает книги и брошюры <...> Отдав себя в полное распоряжение Бюро и поселившись в Макачевской волости Олонецкой губернии» Вытегорского уезда, я делал, что мог, свято веря в счастливый исход. Я отдал все, что имел, не пожалев себя и старых бедных родителей...»⁶ В этом же письме Клюев сообщает, что властям известен лишь один факт его революционной деятельности: агитация среди крестьян Пятницкого общества Макачевской волости.⁷ «За это только меня и обвиняют, в остальном же меня только подозревают».

Клюев заблуждался: олонецким жандармам было известно если не все, то, во всяком случае, многое. Дела, заведенные на Клюева в Вытегре и в Петрозаводске, содержат немало любопытных сведений о его деятельности в 1905—1906 годах. Приведем лишь некоторые из них.

31 января 1906 года ротмистр Павлов, помощник начальника Олонецкого губернского жандармского управления, рассмотрев донесения Вытегорского уездного исправника, «нашел следующее: 1) 22-го января 1906 года во время схода крестьян Пятницкого общества в дер. Косициной пришел крестьянин Николай Клюев и, вынув из книжки какой-то печатный приговор, начал его читать собравшимся на сходе. По прочтении приговора Николай Клюев предложил присутствовавшим его подписать, говоря, что после подписания крестьянами этого приговора начальства у них не будет, и при этом, обращаясь к крестьянам, прибавил: „Начальники ваши кровопийцы, добра вам не желают; по милости их все требуется с крестьян“, 2) За несколько дней до схода 22-го января Николай Клюев заходил в волостное правление и здесь, в разговоре с крестьянским Насонксым, советовал ему не платить податей и говорил, что крестьянам нужно отобрать землю от попов и 3) Летом минувшего года, воспользовавшись отсутствием учителя Верхнепятницкого земского училища, Николай Клюев пришел в училище и говорил ученикам Гуляеву, Логинову и Белоусову, что крестьяне напрасно платят казенные сборы и разные подати, что все

² Запись, сделанная со слов Н. А. Клюева его близким другом Н. И. Архиповым в январе 1923 года. Государственный литературный музей (далее: ГЛМ), ф. 99, ед. хр. 118. О Н. И. Архипове см. подробнее в сообщении А. Грунтова «Похвала народной песне и музыке» («Север», 1968, № 2, стр. 92—93).

³ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 334.

⁴ Центральный государственный архив Октябрьской революции (далее: ЦГАОР), ф. 7, ед. хр. 1567, л. 4.

⁵ Письмо хранится в Центральном государственном архиве КАССР (далее: ЦГА КАССР); обнаружено А. К. Грунтовым. См.: А. К. Грунтов, Материалы к биографии Н. А. Клюева. «Русская литература», 1973, № 1, стр. 118—126.

⁶ ЦГА КАССР, ф. 19, оп. 2, д. 30/4, л. 36.

⁷ На сходе крестьян Пятницкого общества 22 января 1906 года Клюев был избран уполномоченным в Государственную думу (ЦГА КАССР, ф. 1, оп. 5, д. 15/73, л. 1).

получаемые с крестьян деньги идут в карманы начальства, которое через это богатеет, и что начальство это нужно бить».⁸

Рапорт Вытегорского уездного исправника Качалова содержал дополнительные данные о Клюеве: «...к пополнению всех изложенных обвинений, падающих на Клюева, я имею сведения, что он, будучи на прошедших святках в городе Вытегре, был на маскарade в общественном собрании, одетый в женское платье, старухой, и здесь подпевал вполголоса какие-то песни: „Встань, подымись, русский народ“ — и еще песню, из которой мне переданы только слова: „И мы водрузим на земле красное знамя труда“. При этом <...> Клюев <...> проводя разговоры о политических делах и беспорядках, выражался, что и 50 000 крестьян Олонецкой губернии всем недовольны и готовы к возмущению».⁹

Однако Клюев принял участие в революции 1905 года не только как агитатор. Могучий общественный подъем, охвативший Россию, пробудил и выявил поэтическое дарование Клюева. Опубликовав пять своих стихотворений в сборниках «Волны» и «Прибой» (М., 1905), изданных «Народным кружком» П. А. Травина,¹⁰ молодой Клюев заявил о себе как бунтарски настроенный поэт. Освобождение народа от векового рабства и наступление долгожданной свободы — вот основная тема клюевских стихотворений 1905 года. Поэт жаждет обновления жизни и верит, что оно свершится с приходом Революции. «Порывы кипучие, увлекающие поэта, особенно ошутимы в «Гимне свободе». Однако важно отметить, что и в 1905 году — в апогей революции — Клюев воспринимает ее не столько в социальном, сколько в религиозном плане. Бунтарские устремления Клюева — при всей их «левизне» — были в конечном итоге направлены на осуществление его религиозных (в духе раннего христианства) чаяний. Революция представлялась Клюеву наступлением царства божьего, а долгожданное освобождение крестьян от нищеты и рабства было для него равносильно воплощению древних христианских заветов. Это роднит Клюева с русскими сектантами, религиозность которых выражала, как правило, социальный протест. Воспитанный в старообрядческой среде (мать Клюева была старовойкой), поэт с ранней юности был захвачен сектантскими идеями и настроениями, весьма распространенными тогда на Севере. Глубоко усвоив мятежный дух русского сектанства, его «антигосударственность» и «антицерковность», Клюев тем не менее был далек от подлинной революционности. Встречая свободу, люди «братски» обнимают друг друга и — в изображении Клюева — наряду с новыми революционными песнями слагают «новые молитвы» («Гимн свободе»). Эта черта — слияние мятежного и религиозного начал — и определяет основную направленность творчества молодого Клюева.

Появление стихов Клюева в сборниках «Новые поэты», «Волна» и «Прибой» — факт не случайный. Уже в 1904—1905 годах у Клюева установились отношения с «народнически» настроенными кругами русской интеллигенции. Клюева всегда тянуло к людям, которые выступали от имени народа и боролись за его интересы.

Активным деятелем народнического толка был, например, Петр Александрович Травин (1877—1942), инициатор многих общедоступных изданий, не раз сидевший в тюрьме за свои убеждения. В течение второй половины 1905 года Клюев поддерживал с «Народным кружком» самые тесные отношения. Это подтверждают материалы, отобранные у Клюева при обыске в январе 1906 года: «открытое письмо от Народного кружка из Москвы, указывающее, что Клюев посылает туда свои сочинения, <...> объявление, печатаемое на машинке от Народного кружка об издании периодических выпусков „Народной мысли“ и, наконец, «письмо на одной четверти почтовой бумаги от председателя Народного кружка от 17 июня 1905 г.»¹¹ При обыске были также изъяты «собственноручные записи Клюева преступного содержания».¹²

Шестимесячное пребывание в тюрьме не сломило Клюева. Оказавшись на свободе, он возвращается к нелегальной деятельности, продолжает, как и прежде, настойчиво искать контактов с единомышленниками.¹³ Олонецкое жандармское управление, видимо, не ошибалось, когда в марте 1906 года сообщало в Петербург о явном стремлении Клюева «войти в связь с социал-демократами и революционерами».¹⁴

⁸ ГЛМ, ф. 99, ед. хр. 120, л. 1.

⁹ ЦГА КАССР, ф. 1, оп. 5, д. 15/73, лл. 4—5.

¹⁰ В своей «Автобиографии» Травин рассказывает: «В 1905 году я организовал кружок „Народный кружок“, который выпустил 4 сборника: „Утро“, „Волны“, „Прибой“ и „Огни“» (рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 586, оп. 1, ед. хр. 387, л. 1 об.).

¹¹ ЦГА КАССР, ф. 1, оп. 5, д. 15/73, л. 2.

¹² ЦГАОР, ф. 7, ед. хр. 1567, ч. 1, л. 2.

¹³ См.: В. Руннов. Новое о Николае Клюеве. «На рубеже», 1964, № 4, стр. 111—112.

¹⁴ ЦГА КАССР, ф. 19, оп. 2, д. 31/9, л. 86; см. также: ЦГАОР, ф. 7, ед. хр. 1567, л. 7.

В рукописном отделе Института русской литературы хранится интересный документ — письмо (недатированное) Н. А. Ключева к неизвестной. Вот его полный текст:

«Здравствуйте, Елена Михайловна!

Решился опять написать Вам — от Леонида Дмитриевича не получаю ничего, он велел мне писать В. С. Миролюбову, Тверская 12, я посылал ему два заказных письма, но ответа не получал. Смею просить Вас — передать присланные стихи Миролюбову — или Л. Д.

Простите, пожалуйста, что я Вам пишу, по, поверьте, иначе не могу, не могу прямо-таки терпеть безответности. Очень тяжело не делиться с Леонидом Дмитриевичем написанным. Если б Вы знали мои чувства к нему — каждое его слово меня окрыляет — мне становится легче. 23 октября меня вновь зовут в солдаты — и мне страшно потерять из виду Леонида Дмитриевича — он мое утешенье.

9 месяцев прошло со дня моего свидания с Л. Д., тяжелы они были — долгие, долгие... И только, как свет небесный, изредка приходили его письма — скажите ему об этом.

Прошу Вас — отпишите до 23 октября, — а потом пооди знай, — куда моя голова покатится.

Буду ждать письма вскорости.

Адрес: Олонецкая губ., Вытегорский уезд, станция Мариинская, деревня Желвачево, Николаю Ключеву».¹⁵

Датировать данное письмо несложно. Ключев был призван на военную службу осенью 1907 года. В своем первом письме к А. А. Блоку (начало октября 1907 года) Ключев указывает ту же самую дату — 23 октября.¹⁶ Следовательно, письмо написано в конце сентября — начале октября 1907 года в деревне Желвачево, где жил тогда Ключев вместе со своими родителями. Письмо было отправлено в Петербург Елене Михайловне Добролюбовой (1882—?).

Семья Добролюбовых была в начале века хорошо известна в столичном литературном мире. Она состояла из четырех братьев (Александр, Георгий, Константин и Владимир), четырех сестер (Мария, Елена, Лидия и Ирина) и их матери — Марии Генриховны. (Отец — Михаил Александрович, действительный статский советник, умер в 1892 году от разрыва сердца). Наибольшую известность снискал себе старший брат — А. М. Добролюбов (1876—1944?). Поэт, представитель раннего русского символизма (первая его книга вышла в 1895 году), Александр Добролюбов был своеобразной личностью. Внимание к нему, однако, объяснялось не столько его стихами, сколько его напумевшим «уходом». В 1898 году, пережив глубокий нравственный кризис, Добролюбов отказался от литературного творчества, порвал со своим кругом и «ушел в народ». В течение многих лет он странствовал по России, проповедуя свои социальные и религиозные взгляды. Добролюбов призывал к «молчанию», которое считал наиболее адекватной формой выражения «невывразимого». Ему удалось приобрести влияние среди известной части русского крестьянства, особенно в Самарской и Оренбургской губерниях («добролюбовцы»). Добролюбов был знаком с Л. Толстым, который высоко отзывался о человеческих качествах «брата Александра», но не принимал некоторых аспектов его мистического учения. Неизгладимое впечатление Добролюбов произвел на молодого Брюсова (их знакомство относится к 1894 году). Брюсов переписывался с Добролюбовым, поддерживал его, издавал его сочинения. Долголетние дружеские отношения связывали Добролюбова с женой и сестрой Брюсова. Личность Добролюбова привлекала к себе молодого Блока (см. его стихотворение 1903 года «А. М. Добролюбов») и некоторых других русских литераторов начала века.¹⁷

Был ли Ключев лично знаком с А. М. Добролюбовым, встречался ли с ним? Окончательного ответа на этот вопрос мы пока что не имеем. В рукописном отделе Государственного литературного музея хранятся четыре письма, адресованные Ключеву и отправленные из г. Чарджуй (ныне — г. Чарджоу Туркменской ССР). Письма относятся к 1914—1915 годам; три из них подписаны — «твой Александр».¹⁸

¹⁵ ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 1824.

¹⁶ Центральный Государственный архив литературы и искусства (далее: ЦГАЛИ), ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

¹⁷ Подробнее о А. М. Добролюбове см. статьи С. А. Венгерова и В. В. Гиппиуса в кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. 1, М., 1914. О Добролюбове, среди других, писал также А. И. Пругавин. Известный историк русского сектанства; см. его статьи: «Декадент-сектант» («Русские ведомости», 1912, №№ 282 и 287, 7 и 13 декабря) и «Новая секта» («Речь», 1913, № 3, 4 января). См., кроме того: К. М. Азадовский. Блок и А. М. Добролюбов. В кн.: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века», Тарту, 1975, стр. 96—102.

¹⁸ ГЛМ, ф. 99, ед. хр. 119/1—4.

В описи фонда указано, что Клюев получил их от Александра Добролюбова. Однако содержание писем и почерк, которым они написаны, заставляют усомниться в правильности такого предположения. Их автор, скорее всего, — поэт Александр Ширяевец, живший в те годы в Чарджуе и регулярно переписывавшийся с Клюевым. Ошибка в атрибуции, сделанной со слов Н. И. Архипова, тем не менее очень показательна; она наводит на мысль, что Клюев все же располагал письмами от А. М. Добролюбова. В том же архиве хранится и неопубликованное стихотворение Клюева, посвященное А. Добролюбову («Александр Добролюбов — пречистая свеченька»);¹⁹ судя по содержанию, оно написано в середине 910-х годов. Однако можно утверждать, что имя Добролюбова Клюев знал уже в ранней юности. Дело в том, что свой «ужод» Добролюбов начал именно на Севере. Приблизительно полгода (1898—1899) он провел послушником в Соловецком монастыре, где, по-видимому, в то же время (или несколько позже) находился и Клюев, посланный матерью на учебу к «соловецким старцам». Добролюбов усердно собирал в Олонецком крае народные песни и сказания. Он был, в частности, первым, кто записал былинны пуджесовал фольклором русского Севера, собирал его и в этом смысле шел по стопам А. Добролюбова. «Хочется, как в жару воды испить, прочесть книгу А. Добролюбова „Из книги невидимой“. Не можете ли снабдить меня и ею», — пишет он Блоку весной 1908 года.²⁰ Наконец, в пользу личного и более раннего знакомства Клюева с А. Добролюбовым говорит тот факт, что уже в годы первой русской революции олонецкий поэт был тесно связан с его сестрами.

В письме из Вытегорской тюрьмы, адресованном сыльным революционером, Клюев раскрывает один из петербургских конспиративных адресов (Васильевский остров, Большой пр., д. 27, кв. 7); он предлагает написать по этому адресу Марии Михайловне Добролюбовой и сообщить ей о его аресте.²¹ М. М. Добролюбова (1880—1906) была, подобно старшему брату, личностью незаурядной. Она отличалась редкой красотой. Окончив в 1900 году специальные педагогические классы Смольного женского института, Маша Добролюбова активно включилась в общественную и литературную жизнь Петербурга. В 1901—1902 годах находилась под сильным влиянием брата Александра, посещала Религиозно-философские собрания. В 1904 году добровольно отправилась на русско-японский фронт, где работала сестрой милосердия. Вернувшись в 1905 году в Петербург, М. Добролюбова с головой ушла в революционную работу. Получив место земской учительницы в Богородицком уезде Тульской губернии (в 1906 году), она распространяла среди крестьян прокламации и агитационную литературу. 16 августа 1906 года по распоряжению Тульского губернского жандармского управления против М. М. Добролюбовой было возбуждено уголовное дело. «Произведенным обыском, — сообщал начальник Тульского губернского жандармского управления в Департамент полиции, — в квартире Добролюбовой обнаружено несколько брошюр нелегального содержания...» М. Добролюбова, подчеркивалось в том же донесении, и раньше замечалась «в политической неблагонадежности».²² 2 сентября 1906 года М. М. Добролюбова была «обнаружена на жительстве в СПб. в д. № 27, кв. 11 по Морской улице и <...> подвергнута обыску, причем отобраны № 68 газеты „Революционная Россия“, письма и фотографические карточки».²³ Из Петербургской пересыльной тюрьмы М. Добролюбова была отправлена в Тульскую тюрьму,²⁴ где провела два месяца и была выпущена на свободу 5 ноября 1906 года. 11 декабря 1906 года при загадочных обстоятельствах Мария Добролюбова скоропостижно скончалась. «У многих знавших ее до сих пор сохранился культ этой удивительной святой девушки», — рассказывал позднее А. В. Руманов (в то время — петербургский корреспондент «Русского слова», известный своей близостью к Блоку).²⁵ Сохранился также отзыв самого Блока о М. Добролюбовой, подчеркивающий ее участие в событиях первой русской революции.²⁶

Гораздо теснее, чем с М. М. Добролюбовой, Клюев был связан с ее сестрой Еленой. Е. М. Добролюбова также окончила Смольный институт (в 1900 году), а в 1902 году — специальные педагогические классы того же института.²⁷ Насколько можно судить, Елена Добролюбова была, как и ее старшая сестра, религиозно настроенным человеком; видимо, вслед за Марией, она стала в 1905—1906 годах участницей революционных событий (в 1905 году она проживала, например, по тому са-

¹⁹ Там же, ед. хр. 79.

²⁰ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

²¹ ЦГА КАСР, ф. 19, оп. 2, д. 30/4, л. 36.

²² ЦГАОР, ф. 7, ед. хр. 8201, л. 4.

²³ Там же, л. 5.

²⁴ Там же. См. также: Государственный исторический архив Ленинградской области (далее: ГИАЛО), ф. 254, оп. 1, ед. хр. 12790, л. 5.

²⁵ ЦГАЛИ, ф. 1694, оп. 2, ед. хр. 3, л. 2.

²⁶ А. Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 7, М.—Л., 1963, стр. 115.

²⁷ ГИАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 14026, л. 8.

тому адресу, который Ключев в своем письме в Каргополь указывает как конспиративный).²⁸ Е. М. Добролюбовой посвящено несколько стихотворений молодого Ключева. В архиве Блока хранится первоначальный вариант ключевского стихотворения «Ты все कैтейнее и строже», озаглавленный «Зимняя сказка». Оно имеет адресата — «Посвящается Елене Добролюбовой». (Впоследствии без заглавия и посвящения это стихотворение вошло в сборник «Сосен перезвон»). Как и весь сборник в целом, оно становится до конца понятным лишь в контексте трагической действительности первых послереволюционных лет. Стихотворения, составившие сборник «Сосен перезвон» (и частично — «Братские песни» и «Лесные были»), создавались, говоря словами критика В. Львова-Рогачевского, «в эпоху казней, расправ и расстрелов 1906—1907 гг.»³⁰ Воспоминания о днях недавней борьбы сочетаются с картинами безрадостного настоящего. Сборник полон скрытых намеков, его образы символичны. Ключев часто прибегает к аллегорическому языку, как бы не договаривает. Для «посвященных», однако, намеки Ключева ясны и понятны — за ними стоят реальные факты, события, люди. Совершенно прозрачно, например, «двухплановое» стихотворение «Есть на свете край обширный», представляющее собой развернутую аллегорию: Россия изображена здесь как прекрасная царевна, томящаяся «в каземате» и ожидающая светлого рыцаря-освободителя.³¹ «Злая непогода», «беспощадная казнь», «в изгнания пути» приобретают в условиях 1907—1911 годов отчетливый и конкретный характер. И если сам Ключев пишет, что «свод тюрьмы, окна решетка — Лишь символ смерти и разлук»,³² то было бы правильной, перефразируя слова поэта, сказать, что именно понятия «смерть», «разлука» и другие, подобные им, символизируют в его ранних стихах эпоху тюрем, ссылки и казней.

Вполне закономерно поэтому, что в стихотворении, обращенном к Е. М. Добролюбовой, появляются «поминальные холсты», «глухие казематы» и сосны, «рыдающие на бору». «Сестра, погибшая в бою», — это, очевидно, Мария Добролюбова. Образ глухой матери, сидящей «за пряжей», также имеет реального прототипа — Параскеву Дмитриевну, мать Ключева.³³ Важно и то, что в первоначальной редакции стихотворение завершалось иной концовкой, существенно уточняющей его смысл. Впоследствии, должно быть по цензурным соображениям, поэт заменил ее другой, более расплывчатой. Ср.:

*Окончательная редакция
(1911 год)*

И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи,
Тебе за боль, за подвиг плача —
Вручатся вечности ключи.³⁴

*Первоначальная редакция
(1908 год)*

И не поверишь яви зрячей,
Когда неузнанно в ночи,
Придут, довольные удачей,
И за тобою палачи.³⁵

Характер отношений Ключева с Е. М. Добролюбовой проясняет также стихотворение «Предчувствие» с посвящением «Е. Д.».³⁶ Написанное «в дни потерь и большого унынья» (видимо, в 1908—1909 годах), оно звучит трагически. Поэт обращается к Елене Добролюбовой не как к возлюбленной, но как к сестре по духу и соратнице по борьбе. Вспоминая о «былом недалеком», когда они вместе, «как вещи маги, Прозревали миры впереди», поэт оплакивает несбывшиеся надежды и среди стонов «замученных жертв» слышит «предсмертный рыдающий стон» своей подруги. Впрочем, насколько можно судить, знакомство Ключева с Еленой Добролюбовой было непродолжительным и уже в начале 910-х годов окончательно прекратилось. (После Октябрьской революции Е. М. Добролюбова жила во Франции).

²⁸ Там же, л. 10.

²⁹ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

³⁰ В. Львов-Рогачевский. Поэзия Новой России. Поэты полей и городских окраин. М., 1919, стр. 49.

³¹ Н. Ключев. Сосен перезвон. М., 1912, стр. 45—46.

³² Там же, стр. 35.

³³ Это следует, например, из недатированного письма Ключева к В. Я. Брюсову (судя по содержанию — ноябрь 1911 года), в котором выразительно описан вечер в его деревенском доме. «И в настоящий вечерний час, когда на всем зарева желтизна, за обледеневшей оконницей треплется под ветром мшистая прадедовская рябина, сидя за пряжей, вздыхает глухая мать, — жалуется богу на то, что дочь ее „ушла в Питер“, и захожий старик-ночлежник строгим голосом в который раз заводит рассказ о том, как его сына Осипа „в городе Крампштате в двадцать ружей стрелили“, я простираюсь духом по липу Матери-России, от зырянских зимовок до железных грохочущих городов» (Государственная библиотека им. В. И. Ленина (далее: ГВЛ), ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 1).

³⁴ Н. Ключев. Сосен перезвон, стр. 49.

³⁵ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

³⁶ Автограф хранится в ИРЛИ, Р. 1, оп. 12, ед. хр. 55.

Помимо Марии и Елены, Клюев был, по всей видимости, знаком и с их младшей сестрой Ириной. И. М. Добролюбова (1890—1971) также окончила Смольный институт (в 1907 году) и, подобно Александру и старшим сестрам, искала выхода в религии. Упоминание о ней содержится в письме Г. В. Еремина, крестьянина-сектанта из Рязанской губернии,³⁷ к Клюеву (письмо не датировано, видимо, начало 1912 года): «Сестра Ира Добролюбова была у меня, жила три недели, а теперь уехала в Самару...»³⁸ В стихах раннего Клюева упоминания о «сестрах» встречаются сравнительно часто (например, «Не проведут ли наши сестры, как зиму, — молодость в тюрьме?»³⁹ и др.). Разумеется, понятие «сестра» (как и понятие «брат») приобретает в интерпретации Клюева обобщенное социально-религиозное значение: «сестры» и «братья» по борьбе и революционному кружку для Клюева одновременно — «сестры» и «братья» в религиозном смысле. В архиве Блока сохранились два стихотворения Клюева, озаглавленные «... брату» (подразумевалось, судя по содержанию, «Казненному брату»).⁴⁰ К «сестре» обращается Клюев и в стихотворении «Отверженной» («... по чувству сестра и подруга По своей отдалилась вине Ты от братьев сурового круга»).⁴¹ «Сестра» в ранних стихах Клюева подменяет традиционный поэтический идеал женщины — возлюбленную.⁴² Представляется, однако, что конкретным воплощением этого идеала молодому Клюеву служили образы сестер Добролюбовых.

Видимо, через Добролюбовых Клюев сблизился с поэтом Леонидом Дмитриевичем Семновым (именно о нем идет речь в приведенном выше письме Клюева к Е. М. Добролюбовой). Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский (1880—1917), внук известного географа, был в первое десятилетие XX века фигурой, весьма заметной в столичном литературном мире. Студентом Петербургского университета Семнов начал писать стихи (к этому времени относится его дружба с Блоком). Л. Д. Семнов восторженно приветствовал приближение революции, однако, не имея четкой политической платформы, он, по свидетельству современников, метался между марксистами и социалистами-революционерами. В конце концов он пришел на позицию «левого народничества» и активно занялся революционной деятельностью. В июле 1906 года он был задержан в Курской губернии и заключен в тюрьму. Л. Д. Семенов обвинялся в том, что «а) 5 декабря 1905 г. в селе Средних Опочка Старооскольского уезда распространял среди сельского населения суждения, возбуждающие к ниспровержению существующего в государстве общественного строя, убеждал крестьян в необходимости отобрания у помещиков земли, предлагал крестьянам присоединиться к Всероссийскому крестьянскому союзу, б) 29 июня 1906 г. в селе Любимово Рыльского уезда произнес публично речь, в которой призывал своих слушателей-крестьян к борьбе с правительством...»⁴³ В начале декабря 1906 года Семенов был освобожден. Он возвратился в Петербург, где узнал о гибели своей невесты Маши Добролюбовой.⁴⁴

Судя по письму Клюева к Е. М. Добролюбовой, его встреча с Л. Д. Семновым состоялась в январе—феврале 1907 года (не позже 7 марта, когда Семенов был вновь заключен в Петербургскую пересыльную тюрьму).⁴⁵ На протяжении почти всего 1907 года Семенов стремился действовать на общественном поприще: он пишет и печатает вольнолюбивые стихи, поддерживает контакты с революционными народниками (среди них — Н. А. Морозов) и посещает их собрания. Особо следует отметить дружбу Семенова с В. С. Миротюбовым (1860—1939), редактором широко известного в начале века периодического издания «Журнал для всех» (1898—1906). В те годы Миротюбов тяготел к «левому народничеству». Он также принимал участие в революции 1905 года, правда, не как пропагандист и агитатор, но как редак-

³⁷ Григорий Васильевич Еремин проживал в Даньковском уезде Рязанской губернии. В 1908 году он посетил Толстого в Ясной Поляне и затем переписывался с ним (см.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 79, М., 1955, стр. 114).

³⁸ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39. «В Самару» — т. е. к Александру Добролюбову, который жил в те годы в Самарской губернии.

³⁹ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 52.

⁴⁰ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁴¹ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 60.

⁴² Характерно в этом смысле стихотворение «Прогулка» (первая расширенная редакция опубликована в журнале «Трудовой путь», 1908, № 1, стр. 35). В журнальной редакции стихотворение имело подзаголовок: «Посвящается дорогой сестре». Между тем в самом тексте — строки: «Посмотри, моя невеста, на меня в последний раз». Ясно, что оба слова («сестра» и «невеста») употреблены не в своем обычном значении. Речь идет исключительно о духовной и идейной близости: это и делает возможным употребление двух противоречащих друг другу понятий в качестве синонимов.

⁴³ ГИАЛО, ф. 254, оп. 1, д. 12964, л. 2.

⁴⁴ Свое пребывание в тюрьме Л. Семенов описал в повести «Проклятье» («Трудовой путь», 1907, № 3), где не раз упоминается и Маша Добролюбова (названная в повести Серафимой).

⁴⁵ ГИАЛО, ф. 254, оп. 1, д. 12964, л. 6.

тор-издатель. Его «Журнал для всех» публиковал в 1905—1906 годах материалы открыто антиправительственного характера и был в конце концов закрыт цензурой. Однако Миролюбов продолжал его издание (вплоть до 1908 года) под другими названиями («Народная весть», «Трудовой путь», «Наш журнал»). Все эти издания одно за другим подвергались цензурному запрету. Дольше всех существовал «Трудовой путь».⁴⁶ Уже в 5-м номере этого журнала было опубликовано стихотворение Клюева («Холодное, как смерть...») — лишнее свидетельство того, что его встреча с Семеновым (который, скорее всего, и был посредником в знакомстве Клюева с Миролюбовым) состоялась в начале 1907 года. В 1907 году стихи Клюева публиковались в «Трудовом пути» дважды (№№ 5 и 9). Два стихотворения («Прогулка» и «На часах») были опубликованы в № 1 за 1908 год (за подписью «Крестьянин Пиколай Олонецкий»)⁴⁷. Сотрудниками «Трудового пути» были также А. Блок и Л. Семенов.

В самом конце 1907 года Семенов переживает тяжелый нравственный кризис и целиком отдается религии, к которой, впрочем, тяготел и ранее. Он отказывается писать стихи, рвет с «обществом» и, вслед за А. М. Добролюбовым, «уходит в народ». Его местожительством становится деревня Гремячка в Даньковском уезде Рязанской губернии. В эти годы Семенов сближается с Толстым, которого впервые посетил летом 1907 года. Семенов бывал в Ясной Поляне и в 1908 и в 1909 годах (последний раз вместе с Г. В. Ереминым). Толстой был искренне привязан к Семенову и переписывался с ним, называя его «милый Леонид».⁴⁸

Знакомство с Семеновым произвело огромное впечатление на Клюева. Это чувствуется уже по его письму к Е. М. Добролюбовой. Весь период 1907—1911 годов Клюев находится под неослабевающим влиянием Л. Д. Семенова, с которым он регулярно переписывается. О их близости свидетельствует одно из писем Клюева к Блоку (письмо не датировано, скорее всего, 1910 год), в котором олонецкий поэт между прочим замечает: «Хочется Вам сказать, что Ваше недоумение насчет своего барства и моей простоты поверхностно, ложно. Как пример, это известный Вам писатель Леонид Димитриевич Семенов. Вы, кажется, вместе учились. Он ведь тоже барин потомственный, — а нынче не обращается ко мне <иначе> как к брату и больше чем близок душе моей. Еще, может, Вы не забыли Александра Добролюбова — Ваши стихи о Прекрасной даме подарены ему Вами с подписями как другу. Он — то же самое. Он во мне и я в них — и духовно мы братья».⁴⁹ Леониду Семенову Клюев посвятил два стихотворения («Помню я обедню раннюю» и «Я говорил тебе о боге»), включенные (но без посвящения) в сборник «Сосен перезвон». Осенью 1911 года Клюев ездил в Рязанскую губернию и некоторое время жил в деревне Гремячка. Там он сближился с Г. В. Ереминым. В недатированном письме к Есенину (август?) 1915 года Клюев сообщает: «Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде...»⁵⁰ Кроме того, Клюев утверждал (согласно записи, сделанной Н. И. Аршиповым), что он «сидел» в Даньковском остроге.⁵¹

Влияние А. Добролюбова и Л. Семенова на Клюева проявилось в том, что, подавленный в годы реакции бесплодностью всех своих усилий, поэт был близок к отказу от творчества. Письма Клюева к Блоку 1909—1910 годов выдают его кризисное душевное состояние. «Не знаю, верно ли, — пишет он в одном из них, — по думаю, что игра словами вредна, хотя и много копошится красивых слов — позывы сказать, но лучше молчать. Бог с ними, со словами-стихами. Буду бороться с ними».⁵² А в письме к Блоку от 5 ноября 1910 года Клюев обосновывает свое стремление к «молчанию» совершенно в духе А. Добролюбова и Л. Семенова, на которых тут же и ссылается. «Бог же и Мировая душа, — пишет Клюев, — не могут быть предметом каких бы то ни было художественных описаний, которые

⁴⁶ Тем не менее почти каждый номер «Трудового пути» вызывал гневную реакцию в С.-Петербургском комитете по делам печати. На отдельные номера накладывался арест. В своем рапорте цензор Соколов отмечал, что «журнал „Трудовой путь“ почти во всех своих статьях проявляет ярко революционное направление и пытается дискредитировать деятельность правительства» (Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (далее: ЦГАЛИ), ф. 776, оп. 9, ед. хр. 836, л. 6). Среди произведений, в которых цензура усмотрела «признаки преступления», было и стихотворение Клюева «Казарма» («Трудовой путь», 1907, № 9).

⁴⁷ Эти четыре стихотворения — лишь незначительная часть того, что было отправлено Клюевым в редакцию «Трудового пути». «Всего я послал Вам 8 писем с 52 стихотворениями», — извещает Клюев Миролюбова уже 15 июня 1907 года (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 2 об.).

⁴⁸ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 78, М., 1956, стр. 9. Подробнее см.: В. А. Сапогов. Лев Толстой и Леонид Семенов (Об одном корреспонденте Л. Н. Толстого). «Ученые записки Костромского педагогического института», вып. 20, филологическая серия, 1970, стр. 111—128.

⁴⁹ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁵⁰ Опубликовано К. М. Азадовским в статье «Клюев и Есенин в 1915 году (Начало знакомства)» в кн.: Есенин и современность. М., 1975, стр. 240.

⁵¹ ГЛМ, ф. 99, ед. хр. 118.

⁵² ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

только запутывают, затемняют и порождают ложные мысли о величайшей тайне в мире». И в другом месте того же письма: «Человеческому слову всегда есть предел, молчание же беспредельно». И далее: «... все ложь, что скажется, ибо язык человека — грубый и несовершенный инструмент, пустая бочка с натянутой вместо днища свиной кожей, в которую бьют дикари, как в барабан, при своих плясках вокруг костра».⁵³ Впрочем, желание расстаться с поэзией владело Клюевым недолго. Художественный инстинкт взял в нем верх: Клюев начинает активно выступать в печати, а с конца 1911 года — приблизительно в течение года — публикует один за другим четыре поэтических сборника. В недатированном письме к Руманову (судя по содержанию — 1912 года) Клюев иронически замечает: «Рязанцы (т. е. Л. Д. Семенов, Г. В. Еремин и др. — К. А.) так меня, кажется, разлюбят за кепжки».⁵⁴ Его контакты с Л. Д. Семеновым с этого времени заметно ослабевают.⁵⁵

3

Знакомство Клюева с В. С. Миролубовым имело важные последствия как для олопецкого поэта, так и для самого Миролубова. По словам современников, Миролубов был человеком мягким и отзывчивым. Он охотно поддерживал писателей «из народа», помогал им, печатал их произведения. Миролубов быстро завоевал расположение Клюева. Со своей стороны, Миролубов высоко оценил талант Клюева и охотно печатал его стихи в журналах, редактором или инициатором которых он являлся («Трудовой путь», позднее «Заветы», «Современник», «Ежемесячный журнал»); в 1907 году Миролубов рекомендовал одно из стихотворений Клюева «Русскому богатству».⁵⁶ Своим утверждением в литературе Клюев во многом обязан Миролубову.

Однако Миролубов открыл не только Клюева-поэта, но и... Клюева-публициста. Эта сторона деятельности олопецкого поэта совершенно неизвестна. Между тем в рассматриваемый период Клюев выступал и как автор статей с весьма злободневной тематикой.

В ноябре 1907 года Клюева забирают в солдаты. Сведения об этом содержатся в письме его сестры Клавдии к А. Блоку. К. А. Клюева сообщает (12 января 1908 года), что ее брат находится в Финляндии («г. Выборг, Выборгский крепостной пехотный батальон, 5-я рота») и просит выслать несколько экземпляров «Трудового пути». «в котором пишет Коля».⁵⁷

Ноябрь—декабрь 1907 года были для Клюева нелегкими месяцами. Молодой Клюев принципиально не принимал царскую армию как государственный институт, осуществляющий функции насилия и убийства. В этом он опять-таки следовал за А. Добролюбовым и Л. Семеновым, считавшими, что воевать и носить оружие — грех, и убеждавшими крестьян уклоняться от службы в армии.⁵⁸ К этому же, как известно, призывал и Л. Толстой. Теме «солдатчины» посвящено несколько клюевских стихотворений 1907 года. Одно из них, чрезвычайно выразительное, — «Казарма» («Трудовой путь», 1907, № 9). Ему не уступают и два других («Горниста смолк рожок...» и «Ночью дождливую, ночью осеннюю»). В изображении Клюева армия — темная («нечистая!») сила, преступно подавляющая народ. «Где она ступит, там каплей багровою Кровью останется след на земле». Однако сами солдаты, по Клюеву, не покорная масса, слепо повинующаяся приказу, но готовый к взрыву «динамит».

Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты
На нары твердые ложатся в тесный ряд,
Казарма, как сундук, волшебствами закатный,
Смолкает, хороня живой дышащий клад.
И сны, вампиры-сны, к людскому изголовью

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же, ф. 1694, оп. 1, ед. хр. 306, л. 1.

⁵⁵ Из недатированного письма Клюева к В. С. Миролубову (видимо, 1908 года) явствует, что сомнения в Л. Д. Семенове, в истинности его пути и веры, возникали у олопецкого поэта и раньше. «Вот я люблю Леонида, — пишет Клюев, — рвусь к нему, готов бы быть псом у порога его — и оказывается, что это по его вере грех...» Осуждая Семенова за излишний, по его мнению, ригоризм, Клюев уверяет, что его (Семенова) вера «не народна», что она «уничтожает самый предмет веры». Письмо завершается, впрочем, чисто «христианским» аккордом: «Мир, мир ему (Семенову, — К. А.) и улыбка, и зори весны, и цвет яблони, и стук плотничьего топора, и детский крик на лужайке...» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 13 об.).

⁵⁶ См. письмо Клюева к Миролубову от 15 июня 1907 года. ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 1.

⁵⁷ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 271.

⁵⁸ Оба были судимы: А. Добролюбов — за антимилитаристскую пропаганду (в 1901 году), а Л. Семенов — за отказ идти в солдаты (в 1911 году).

Стекаются в тиши незримою толпой,
 Румяня бледность щек пылающею кровью,
 Под тиканье часов сменяясь чередой.
 Казарма спит в бреду, но сон ее опасен.
 Как перед бурей тишь зловецая реки, —
 Гремучий динамит для подвига припасен,
 Для мести без конца отточены штыки.
 Чуть только над землей предточею рассвета
 Поднимется с низин редеющий туман,
 Взовьется в небеса сигнальная ракета,
 К восстанью позовет условный барабан.⁵⁹

Попав в солдаты, Ключев, как мог, сопротивлялся своей участи. Он отказывался носить военную форму и брать в руки оружие. В его воспоминаниях (запись, сделанная Н. И. Архиповым) об этом периоде его жизни говорится следующим образом: «Когда пришел черед в солдаты идти, везли меня в Питер, почтай, 400 верст от партии рекрутской особо, под строжайшим конвоем... В Сен-Михеле, городок такой есть в Финляндии, сдали меня в пехотную роту. Сам же про себя я порешил не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала. Стал я отказываться от пищи, не одевался и не раздевался сам, силой меня взводные одевали; не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои под микитку, взлезь по мордасам, по поджилкам прикладом — молчал. Только ночью плакал на голых досках нар, так как постель у меня в наказание была отобрана. Сидел я в Сен-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазинах петровских времен. Люто вспоминать про эту мерзкую каменную дыру, где вонь неусыпная и дух гробный <...> Сидел я и в Выборгской крепости (в Финляндии)». ⁶⁰ В начале января 1908 года Ключева доставляют в Петербург и помещают в Николаевский военный госпиталь. Освидетельствовав Ключева, врачи признали его негодным к военной службе.

Уже находясь в госпитале, Ключев устанавливает контакт с Миролюбовым и, вероятно, встречается с ним. Начало 1908 года принесло Миролюбову немало тревог. В январе вышел последний номер «Трудового пути». Миролюбов предпринимает еще одну попытку спасти свое издание. В начале марта 1908 года журнал выходит в новой обложке под названием «Наш журнал» (№ 1, февраль) и сразу же обращает на себя внимание Петербургского комитета по делам печати. Цензор Соколов докладывает 12 марта 1908 года о том, что «по формату, подбору статей и сотрудников повременное издание это под другим заглавием продолжает журналы „Журнал для всех“ и „Трудовой путь“, подписчикам которых оно и рассылается. В нем носят признаки преступления две статьи...» ⁶¹ «Преступными» цензор называет рассказ А. Мар «Ночь в крожах» и анонимную статью «В черные дни (Из письма крестьянина)». «Письмо крестьянина» вызвало особое негодование цензора. «В этой статье подъем революционного движения и его отлив рисуются в таких чертах, которые содержат признаки возбуждения к изменническим и бунтовщицким деяниям». ⁶² Рассмотрев сообщение Главного управления по делам печати, С.-Петербургская судебная палата подтвердила мнение цензуры, однако «признаки преступного деяния» были усмотрены ею в одной лишь статье «В черные дни». ⁶³ Суд утвердил арест, наложенный на «Наш журнал». А в августе 1909 года помощник петербургского градоначальника уведомлял Главное управление по делам печати о том, что «22 июля с. г. в типографии градоначальства, в комиссии уничтожены посредством разрывания на части арестованные экземпляры № 1 журнала „Наш журнал“ (за 1908 г.)». ⁶⁴ Таков был финал миролюбовского издания «Журнал для всех».

Автором статьи «В черные дни» несомненно был Н. А. Ключев. К этой мысли подводят, прежде всего, те немногие данные о деятельности Ключева в начале 1908 года, которыми мы располагаем. Выйдя из Николаевского госпиталя, Ключев некоторое время живет в Петербурге. «Я пробыл зимой в Петербурге четыре месяца...» — сообщает он Блоку 16 мая 1908 года. ⁶⁵ Это был период его интенсивного общения с Л. Д. Семеновым, покинувшим Петербург лишь в самом начале апреля. Среди людей, с которыми в это время познакомился Ключев, следует отметить Сергея Федоровича Быстрова (1877—1942?), начинающего крестьянского писателя-прозаика. С. Ф. Быстров (в прошлом — сельский учитель) с конца 1907 года работал у Миролюбова в редакции «Трудового пути». Спустя много лет Быстров вспоминал:

⁵⁹ ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 1403.

⁶⁰ ГЛМ, ф. 99, ед. хр. 118.

⁶¹ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 1342, л. 7.

⁶² Там же.

⁶³ Там же, л. 10.

⁶⁴ Там же, л. 17.

⁶⁵ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

«...редактор Миролюбов выписал меня в г. Петербург, и я потом работал секретарем в „Журнале для всех“». ⁶⁶ С января 1908 года (в связи с болезнью и отъездом В. С. Миролюбова) Быстров почти единолично заправлял делами редакции. В своих рассказах (два из них были напечатаны в «Трудовом пути») Быстров писал о настроениях русского крестьянства, о жизни сельского духовенства, которую хорошо знал, поскольку сам был сыном деревенского священника и учился в духовном училище. С. Ф. Быстров отстаивал тезис о революционности русского крестьянства. («Скажу одно и прямо: крестьянин революционной интеллигенции...») — пишет он В. С. Миролюбову 10 сентября 1908 года). ⁶⁷ Все это не могло не привлечь Клюева, всегда тянувшегося к людям, близким ему и социально и духовно. Факт знакомства Клюева с Быстрым подтверждается строчкой из письма Клюева к Блоку (начало 1909 года): «Не знаете ли Вы, где Семен Федорович Быстров?»... ⁶⁸ Естественно, что Быстров не мог не сочувствовать статье, в которой — как будет подробнее показано ниже — говорится, в первую очередь, о революционности русских крестьян. Видимо, именно Быстров содействовал ее опубликованию. Не подлежит, однако, сомнению, что Миролюбов тоже знал об этой статье и одобрил ее.

Авторство Клюева подтверждается сличением текста статьи с некоторыми другими документами, принадлежащими перу олонечного поэта. Небольшое по размеру «Письмо крестьянина» представляет собой, по сути дела, страстную полемику со статьей литератора М. А. Энгельгардта «Без выхода». Появившись в самом начале 1908 года в либеральной газете «Свободные мысли», ⁶⁹ статья Энгельгардта имела шумный эффект. Поражение русской революции Энгельгардт объяснял исключительно бессилием и слабостью русского народа. «Это очевидно — народ не революционен», — восклицал публицист. «Мы думали, перед нами вулкан, а он оказался пузырь! Пузыль его пинком господский сапог — и весь революционный дух из пузыря вон...» ⁷⁰ — так «обосновывал» Энгельгардт свое ропегатство. Статья Энгельгардта вызвала ряд возмущенных откликов в столичной прессе; на страницах «Свободных мыслей» ему дал резкую отповедь В. Г. Тан (Богораз). ⁷¹

Однако наиболее страстным и проникновенным выступлением, вызвавшим статью Энгельгардта, было «Письмо крестьянина». Анонимный автор взволнованно возражает Энгельгардту и ему подобным — «глашатаям ложным», которые, «сокрушенные видным торжеством произвола и не находя оправдания своей личной слабости», ⁷² пытаются переложить всю ответственность на русский народ. С пафосом отстаивая обратную мысль, автор «Письма» утверждал, что русское крестьянство глубоко революционно по своей природе. «Обвиняя народ в неспособности отстаивать свои самые насущные, самые дорогие интересы, Энгельгардт умышленно замалчивает тысячи случаев и фактов, ясно и определенно показывающих врожденную революционность глубин крестьянства». ⁷³ Автора-«крестьянина» возмущает, что публицист берется судить о народе, не зная его, не проникнув «в извивы народного духа». Безапелляционное заявление Энгельгардта о том, что «народ — фефела», Клюев повторит спустя более чем полгода в одном из писем к А. Блоку («Отлил пулю помещик Энгельгардт, что народ — фефела...»). ⁷⁴

Статья «В черные дни» изобилует восторженными суждениями о русском народе. Ее автор не только уважает и любит русский народ, он боготворит его. Народ, по его определению, «богочеловек»; нива пародная — пива божья и т. д. Не случайно поэтому, что по отношению к угнетенному и обездоленному русскому крестьянину чаще всего употребляется эпитет «распинаемый». Автор статьи говорит о «психологии мужика, бичуемого и распинаемого, замурованного в мертвую стену — нужды, голода и нравственного одиночества». (Ср. с обращением к народу в другом месте статьи: «Прости нас всех, малодушных и робких <...> остающихся жить, жить, когда ты распинаем...») ⁷⁵ Но и будучи обездоленным и «распинаемым», народ, по глубочайшему убеждению анонимного автора, не мертвая, бездуховная масса. Народ живет своей собственной внутренней жизнью, обладает своими собственными нравственными идеалами, верою в правду и справедливость. Народ — начало духовное, светлое и чистое. «Под тяжелым бременем, наваленным

⁶⁶ Письмо к писателю С. А. Семенову от 24 мая 1940 года. Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), ф. 685, оп. 1, ед. хр. 450.

⁶⁷ ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 345, л. 28.

⁶⁸ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁶⁹ «Свободные мысли», 1908, № 35, 7 января, стр. 1—2.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ В. Г. Тан (Богораз). Кассандра на досуге. «Свободные мысли», 1908, № 40, 11 февраля, стр. 2.

⁷² «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 62.

⁷³ Там же, стр. 63.

⁷⁴ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁷⁵ «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 63.

на крестьянскую грудь, бьется, как голубь, чистое сердце».⁷⁶ Народ — величайшая святаяня в мире, а потому угнетение его — величайший грех. И голосом-криком, «полным гнева и неизбывной боли»,⁷⁷ крестьянский автор обличает и прокликает его мучителей.

Эти мысли о народе совпадают — и порой почти дословно — с основными положениями другой статьи Ключева, написанной в том же 1908 году. Статья называется «С родного берега» и рассказывает о жизни и настроениях олонекских крестьян в период спада революционной волны в России.⁷⁸ Ключев написал ее в августе 1908 года и послал (через А. Блока) во Францию В. С. Миролюбову, который в начале марта 1908 года, опасаясь ареста, уехал за границу, где и провел пять лет. Подобно статье «В черные дни», статья «С родного берега» написана в виде письма. К такой форме письма-статьи Ключев, видимо, прибегал в те годы неоднократно. В письме к А. Блоку из Италии 15 декабря 1912 года В. С. Миролюбов, заведовавший тогда литературным отделом журнала «Заветы», пишет: «Дорогой Александр Александрович, напишите Ключеву, что все стихи его пойдут у нас и что было бы хорошо, если бы он мне переписал и вновь послал через Вас ту статью, которая до меня не дошла. Очень прошу его давать нам „Письма из деревни“ в конец хроник». ⁷⁹ Трудно утверждать, что, говоря об утраченной статье, Миролюбов имеет в виду именно «С родного берега» — подобных статей в те годы Ключевым было написано несколько (одна из них, по-видимому, называлась «Слово божие к народу»).⁸⁰ Оригинал статьи «С родного берега» утрачен, и опубликована она не была. Текст статьи сохранился лишь в копии, сделанной А. Блоком.⁸¹

В статье-письме «С родного берега» звучат те же самые темы и мотивы, что и в «Письме крестьянина». Говоря о народе, Ключев и здесь называет его «божественным» и само слово «народ» пишет с заглавной буквы. Угнетатели народа — палачи, «распявшие» его («...и восплачут те, кто распял Народ божий...»). Ключев и здесь говорит о духовной чистоте крестьянина, о его стремлении к свободе, не только внешней, но и внутренней. Вся статья «С родного берега», начиная с эпиграфа «Мы убили дьявола» (из драмы Л. Андреева «Царь-Голод»), призвана, по замыслу Ключева, доказать, что в недрах народных кроется нестремимая революционность. Ярко и красочно описаны Ключевым ненависть к «затюремщикам», растущий в народе гнев, его презрение к дому Романовых, к самому царю Николаю II.

Обе статьи сходны в стилистически-языковом отношении. Эмоциональная взволнованная речь Ключева — речь пламенного борца-проповедника. В обеих статьях много религиозного пафоса, библейских образов и реминисценций. Бунтарские устремления Ключева, как уже отмечалось, всегда были неотделимы от его исканий «братства». Именно поэтому его страстная мятежная речь местами перерастает в религиозную проповедь. Ключев порою не говорит, а как бы вещает, «пророчествует». Все его наиболее «крамольные» речи — будь то обличительная тирада или предсказание наступающей революции — изложены торжественным, профетически возвышенным языком. Отсюда — и церковно-библейская лексика и образность, которыми особенно насыщена статья «В черные дни» («златоуст», «рпза», «киот», «лампадка», «чудотворный», «нерукотворный», «вселенская радость», «крестная жертва», «пречистые раны» и т. д.). С этой точки зрения «Письмо крестьянина» обнаруживает внутреннее и стилистически-языковое единство не только со статьей «С родного берега», но и с некоторыми стихотворениями Ключева того же времени. Приводим одно из них, написанное не позже декабря 1908 года:

Горше звезды как росы.
Кто там в небесном лугу

Точит лазурные косы,
Гнет за дугою дугу?

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ Из писем Ключева к Миролюбову ясно, что молодой поэт еще в 1907 году намеревался писать о положении дел в олонекской деревне. «Напишите, можно ли сообщать Вам про „наши“ местные дела?» — спрашивает он Миролюбова 15 июня 1907 года. Миролюбов же, несомненно заинтересованный в материалах такого рода, не раз напоминал Ключеву о статье. «... Не сердитесь на меня, — пишет Ключев Миролюбову в недатированном письме (видимо, 1908 год), — что я не пишу Вам статьи про деревню, — я знаю, что напишу ее неизбежно, но когда — не знаю» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, лл. 2 об. и 13 об.).

⁷⁹ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 335.

⁸⁰ См. недатированные письма Ключева к Блоку (написанные, если судить по их содержанию, в начале 1909 года). ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁸¹ Полный текст статьи Ключева и ее атрибуция даны в публикации: К. Азадовский. Олонекская деревня после первой русской революции (статья Н. А. Ключева «С родного берега»). В кн.: Социальный протест в народной поэзии. Л., 1975. (Русский фольклор, вып. 15). Копия, сделанная Блоком, хранится в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 96).

Месяц, как лилия, нежен,
Тонок, как профиль лица —
Мир неоглядно безбрежен.
Весь глубока без конца.
Слава нетленному чуду,
Перлам, украсившим свод,
Скоро к голодному люду
Пламенный вестник придет.

К зрячим нещадно суровый,
Милостив к падшим в ночи,
Горе кующим оковы,
Взявшим от царства ключи.
Будьте ж душой непреклонны
Вы, кому свет не погас,
Ткут золотые хитоны
Звездные руки для вас.⁸²

Специфический подход Клюева к революции нашел отражение преимущественно в тех его стихотворениях, где речь идет о борце-мятежнике — главном герое его ранней поэзии. Отношение Клюева к революционерам — «заступникам пародным» — было благоговейным. Это ощутил уже в строчках его письма в Каргополь. Обращаясь к неизвестным ему ссыльным революционерам, Клюев пишет: «Преклоняюсь перед вашим страданием. Верю, что вы и в пропастях ссылки останетесь таким же, какими кажетесь мне». ⁸³ Борец-мученик — один из основных образов сборника «Сосен перезвон». Отдельные стихотворения книги (написанные, возможно, позднее — в 1910—1911 годах) ⁸⁴ рассказывают о том, как героя ведут на казнь («Под вечер», «На пороге жизни», «Мученик», «Завещание»). Герой других стихотворений — узник, томившийся в «каменной келье» («Прогулка», «Бегство», «Есть на свете край обширный»). ⁸⁵ Расправа с русскими революционерами в 1907—1909 годах, массовые репрессии и казни отождествляются Клюевым с гонениями на первых христиан. Суд — «князей синедрин» — приговаривает героя к казни, и он идет на Голгофу со стойкостью легендарного христианского мученика. Его «рук пробитых гвозди» — свидетельство того, что он пожертвовал собой ради счастья других. В этом — смысл «голгофского сознания» Клюева, которое неверно рассматривать исключительно в религиозном ключе. Бессмертие, по Клюеву, даруется только мятежному духу, дорога в рай лежит через подвиг и распятие. Пафос боренья пронизывает раннюю поэзию Клюева в той же мере, как и пафос мученичества. ⁸⁶ Выразительно, например, отношение Клюева к «жертвоу павшим». Он часто вспоминает о них, скорбит о всех «угасших в сырых казематах. Неоплаканных, юных, святых». ⁸⁷ Однако его стихи о них, как правило, превращаются в заупокойные молитвы. С любовью и в то же время молитвенно-благоговейно пишет Клюев о погибшем борце в одном из стихотворений, первоначально озаглавленном «... брату». Вдвое сокращенное, оно было впоследствии напечатано самим Клюевым в сборнике «Братские песни» («Осенюсь могильною иконкой»). В нем утверждается, что народ чтит память революционера религиозно — подобно тому, как он поклоняется своим святым («В глубине народной незабытым Ты живешь, кровавый и святой...»). ⁸⁸ Примеры подобного рода можно значительно умножить. На эту существенную особенность клюевской поэзии первым указал В. Львов-Рогачевский. Критик подчеркивал, что Клюев облакает свою революционную поэзию в «лучезарные облачения», что он «переплетает революционное с религиозным (...), сливает Голгофу с эшафотом, мученичество с мятежом». ⁸⁹

Аналогичный взгляд на революционеров излагается и в обеих статьях 1908 года. Борец — это тот, кто «в величавой простоте и искренности идет на распятие». Повторяется и мысль о том, что народ почитает своих защитников, как святых. «Народ, — пишет автор статьи «В черные дни», — знает цену крови (...), и святит имя тех, кто пострадал...»; народ относится к ним как «к далеким, неизвестным, но бесконечно дорогим людям...» ⁹⁰ В статье «С родного берега» также

⁸² ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁸³ ЦГА КАСР, ф. 19, оп. 2, д. 30/4, л. 37.

⁸⁴ Датировка ранних стихотворений Клюева, как правило, сложна и требует в ряде случаев специального исследования.

⁸⁵ В этих стихотворениях, несомненно, запечатлен и личный опыт самого Клюева. Посылая Блоку свое стихотворение «Сегодня небо как невеста» (первоначальное заглавие «Последний день»; в сборник «Сосен перезвон» вошло под заголовком «На пороге жизни»), Клюев делает к нему следующую приписку: «Я все не могу отделаться от тюремных кошмаров, как-то невольно пишется все больше о них» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39).

⁸⁶ Е. П. Никитина, анализируя раннюю поэзию Клюева, полностью игнорирует ее бунтарское содержание. «Идеологический же пафос его (Клюева, — К. А.) поэзии исключительно религиозно-мистический» (Е. П. Никитина. Русская поэзия на рубеже двух эпох. Изд. Саратовского университета, 1970, стр. 88).

⁸⁷ Строки из неопубликованного стихотворения Клюева «Все наивней и благостней звоны» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39).

⁸⁸ Н. К л ю е в. Братские песни. Книга вторая. М., 1912, стр. 6.

⁸⁹ В. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й. Поэзия Новой России, стр. 62.

⁹⁰ «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 63.

говорится о «слезном участии», которое проявляют крестьяне по отношению к революционерам.⁹¹

В завершение следует отметить несколько слов и выражений, встречающихся в статье «В черные дни», — характерно «клюевских». Так, обращает на себя внимание эпитет «строительный» («строительная жертва») ⁹² — излюбленное слово молодого поэта, приблизительно означающее (в употреблении Клюева) «творческий», «созидательный». В письме Клюева к Блоку (октябрь 1907 года) сказано: «Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!..» ⁹³ То же самое слово встречается и в недатированном письме Клюева к Брюсову (видимо, ноябрь 1911 года): «... первые слабые и неискusstvenные удары моего долота коснулись Вашего слуха, и как бы на дикой гранитной глыбе видели Вы след строительных усилий моих». ⁹⁴ Красноречиво и употребленное в статье евангельское выражение «напоить желчью и оцетом» ⁹⁵ — слово «оцет» Клюев использует и в других случаях. (Ср. «В осиновых терпких почках Есть оцет халдейского зноя»). ⁹⁶ Закопомерен также для Клюева образ грядущего как колосающей пивы. ⁹⁷ Его можно найти, например, в стихотворении «Жнецы», открывающем сборник «Сосен перезвон» («Он придет перукотворный Век колосьев золотых»). ⁹⁸ И, наконец, в статье явно выделяется фраза, выдержанная в духе народного присловья: «Не в ризе учитель — пароду шут, себе — поношение, идее — пагубник, и что дальше пойдет, то больше сворует» ⁹⁹ Эта стилизация также подтверждает авторство Клюева, который, начиная приблизительно с 1908 года, стремится говорить не только от имени народа, но и «голосом народа». С этой целью Клюев вводит в свою речь простонародную лексику, использует фольклор, порой даже целиком переходит на олонекский говор. Подтверждение этому — статья «С родного берега», где данный прием не случаен, а возведен в принцип.

Все это в совокупности доказывает, что автором статьи «В черные дни (Из письма крестьянина)» был не кто иной, как Н. А. Клюев. Его публицистические выступления имели несомненный общественный смысл. В условиях наступившей реакции, или, говоря словами Клюева, «в страшное время борьбы, когда все силы преисподней ополчились против народной правды», ¹⁰⁰ подобные письма-статьи опровергали измышления официозной прессы о «неволюционности» русского народа, о его покорности и любви к самодержавию. Они свидетельствовали о истинном положении дел «на местах», были гимном «священному стягу свободы» ¹⁰¹ и, не скрывая жертв и поражения в настоящем, вселяли надежду на победу в будущем.

4

1908 год — апогей радикально «левых» устремлений Клюева. Яркими свидетельствами настроений поэта в то время служат не только его статьи «В черные дни» и «С родного берега», но также несколько стихотворений, разумеется, не появивших в печать. Ненависть Клюева к русскому самодержавию проявляется особенно откровенно в стихотворении «Победителям», написанном, по всей видимости, в том же 1908 году. Оно, как явствует уже из заголовка, адресовано тем, кто задушил русскую революцию, и по направленности своей перекликается с эпиграфом к статье «С родного берега».

Свое вы счастье проклянете,
Покорны станете судьбе
И в смерти нашей обретете
Погибель скорую себе.
Вы разрываете одежды,
Клянетесь небом и землей,
Но не отнимите надежды
На час расплаты роковой.
Мы вас уьем и трупы сложим
В пирамидальные костры,

Заклятье вечное наложим
На истребленные шатры.
Чтобы о памяти убитых
Прошла зловещая молва,
И на могилах позабытых
Шумела сорная трава,
Гнездились ящеры и гады
В ущельях выветренных скал
И свет молитвенной лампы
Пустынный храм не озарял.¹⁰²

⁹¹ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 96, л. 11.

⁹² «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 63.

⁹³ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

⁹⁴ ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 1.

⁹⁵ «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 63.

⁹⁶ Н. К л ю е в. Львиный хлеб. М., 1922, стр. 97.

⁹⁷ «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 62—63.

⁹⁸ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 15.

⁹⁹ «Наш журнал», 1908, № 1, стр. 63.

¹⁰⁰ Там же, стр. 62.

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49.

Приблизительно с 1909 года творчество Клюева претерпевает некоторые изменения. Ощущение тоски, усталости овладевает поэтом, и он все откровеннее предается своему религиозному чувству. В 1909 году московский либеральный журнал «Бодрое слово» опубликовал стихотворение Клюева «Прельщение», в котором дана аллегорическая картина застоя и упадка, наступивших в послереволюционную пору.

Прельщенная душа, — она уж не жалеет,
 Что злая тишина смежила крылья бурь,
 Что камни берегов обломками покрыты
 Погибшего в борьбе родного корабля,
 Отважные пловцы безжалостно убиты,
 И ржавеют на дне Надежды якоря.¹⁰³

В эти годы Клюев много странствует по северной России, посещает монастыри, устанавливает связи в среде сектантов. Именно на этот период приходится и тот сильный кризис, который чуть было не привел поэта к отказу от поэтического творчества. Все настойчивей овладевают Клюевым — особенно в 1910—1911 годах — идеи мученичества, «Голгофы». Эти настроения молодого Клюева привели его в конце концов к «голгофским христианам», а его поэзию — к «братским песням» (см. ниже). Ненависть к «победителям», прорывающаяся в отдельных стихотворениях молодого Клюева, сменяется в «Братских песнях» христианским всепрощением («Мы убийц своих приветим Целованием святым...»).¹⁰⁴

Однако даже в эти трудные годы Клюев остается приверженцем «народного дела» и притом — не только в поэзии. Странствуя по монастырям, он беседует с верующими о положении дел в деревне, о крестьянской жизни и т. д. Об этом говорит он в одном из своих писем к Блоку (письмо не датировано; написано, по-видимому, в начале 1909 года): «...если я и писал Вам, что пойду по монастырям, то это не значит, что я бегу от жизни. По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ „со многих губерний“ живет праздно несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать, к примеру, „Слово божие к народу“ и еще кой-что „нужное“ (курсив мой, — К. А.). Вот я и хожу, и желаю им не отказываю, потому удобно и сильно, и свято неотразимо».¹⁰⁵ Нарастание религиозных настроений не приводит Клюева к забвению вольнолюбивых идеалов. «Прельщение» для него — величайший грех, измена. Ему ненавистна и «тишина» — символ безвременья, послереволюционного затишья. («Не надо тишины, она для нас смертельна»).¹⁰⁶ В финале стихотворения «Прельщение» раздается «звон победной стали» — мажорный заключительный аккорд.¹⁰⁷

И даже в 1913 году, оглядываясь на пройденный путь, Клюев вспоминал о революции 1905 года как о самом ярком переживании своей молодости.

Помнишь прошлое, товарищ,
 Воли солнечные дни.
 Красным золотом пожарищ
 В жизнь записаны они.¹⁰⁸

Все приведенные выше высказывания и стихи Клюева свидетельствуют о том, что настроенный бунтарски молодой олонецкий поэт и в годы реакции продолжал выступать от имени «народа», который, как уже отмечалось, был для него синонимом «божества». И все же говорить о «народности» Клюева, как и о его «революционности», невозможно без существенных оговорок. Повторяя ошибку русских народников, Клюев ставил знак равенства между понятиями «народ» и «крестьянство». «Народ» для Клюева — это те, кто живут «естественной» жизнью в единстве с природой и «матерью-землей», т. е. крестьяне. Собирательным образом «народа» в раннем творчестве Клюева выступают его «жнецы» и «пахари». Крестьянин для Клюева — «работник господа свободный На ниве жизни и труда».¹⁰⁹ Его «жнецы»

¹⁰³ «Бодрое слово», 1909, № 17, сентябрь, стр. 23.

¹⁰⁴ Н. К л ю е в. Братские песни, стр. 62.

¹⁰⁵ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39. В том же письме Клюев делает знаменательное признание о своем неприятии официальной церкви. «Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казенного бога, пещь Ваалову — церковь, идолопоклонство „слепых“, людоедство верующих...».

¹⁰⁶ «Бодрое слово», 1909, № 17, сентябрь, стр. 22.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ «Хмель», 1913, №№ 7—9, стр. 2.

¹⁰⁹ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 44.

и «пахари» органично связаны с природой, едины с пей. «Мы — валуны, седые кедр, Лесных ключей и сосен звон».¹¹⁰ Понятия «народ» и «природа» для Клюева однозначны. (Можно утверждать, что мирозерцание молодого Клюева основывается на триединстве: «бог — народ — природа»). О своей причастности к «народу» Клюев заявляет, как правило, употребляя множественное число — «мы». Например: «Мы — жнецы вселенской нивы» («Жнецы»).¹¹¹ Или: «Мы — предутренние тучи, зори росные весны» («Голос из народа»).¹¹² Угнетенный и «распинаемый» ныне, крестьянин для Клюева — человек будущего. Настанет десть, утверждает Клюев, и пахарь-народ уничтожит своих обидчиков, как «терн негодный».¹¹³ Освободившись из-под власти «сытых», он станет создателем духовных ценностей. Клюев верил в его будущее и боролся за него.

Однако, отождествляя «народ» и «крестьянство», Клюев тем самым игнорировал социальное расслоение русского общества, вполне очевидное в начале XX века. Он, прежде всего, недооценивал роль пролетариата, к которому, впрочем, относился двойственно. С одной стороны, Клюев сочувствовал рабочим как своим угнетенным братьям («На заводском промысле Жизнь не дорога»).¹¹⁴ Но, с другой стороны, рабочий для Клюева был существенным элементом той фабрично-заводской «городской» цивилизации, которую поэт неизменно и последовательно отвергал. Рассуждая в толстовском духе, Клюев перекладывал всю ответственность за разрыв естественных связей в мире на цивилизацию. Опираясь на разум, данный ему свыше, человек попытался утвердить свою власть над природой или, говоря словами Клюева, вознамерился похитить «венец создателя».¹¹⁵ Человек противопоставил живой природе бездушную «машину». (В более поздней поэзии Клюева эта антиномия обычно предстает как противопоставление «березки» и «железа»). «...Бежать больше некуда, — жалуется Клюев Брюсову. — В пуще пыхтит лесопилка, в ущельях поет телеграфная проволока и лупеет зеленый глаз семафора».¹¹⁶ «Город», точнее фабрично-заводской уклад жизни, и служил для Клюева воплощением этой «противоестественной» формы бытия. Люди, живущие в городе, с точки зрения Клюева, — «грешники», так как они максимально удалены от «земли» и первоначально «невинной» природы. «...В земле только наше бессмертие», — писал Клюев литоратору С. А. Гарину.¹¹⁷ Охотно (и подчас весьма наивно) Клюев приписывает «городу» всевозможные пороки. И вот основной логический вывод Клюева — город должен быть уничтожен.

Эта мысль, проскальзывающая и в отдельных стихотворениях сборника «Сосен перезвон», со всей определенностью изложена Клюевым в его прозаическом эссе «Пленники города». Картина счастливого будущего, которую набрасывает в нем Клюев, — это и есть его «крестьянская» программа, воплощенная в жизнь: город — «каменная тюрьма» — более не существует, на его месте колосится рожь. «Прошли тысячелетия. Наши поля благоуханны и росны, и межи вытояны как прежде. Ты помнишь? Здесь было то, что люди звали Городом. Межи — как зеленые омофоры. На счастливые пашни слетают с небес большие белые птицы: быть урожаю. Колосья полны медом, и братья серафимы обходят людские кущи. И, приветствуя друг друга лобзаньем, жнецы выходят на вселенскую ниву».¹¹⁸

Нельзя не заметить, что в критике города, которую вел Клюев, было и немало справедливого — ведь в ее основе лежало неприятие капиталистической формы труда, обезличивающей человека. Поэт различал контрасты современного ему города. Например, в 1908 году он пишет Блоку о городе, «где идешь, и все мимолетно, где глухо и преступно, где господином чувствует себя только богач, а несчастных, просящих хлеба, никому не жаль...»¹¹⁹ Однако свой поход против «города» Клюев предпринимал с отсталых позиций патриархального русского крестьянства. Не изменить формы и условия труда, а «подменить» город деревней — вот к чему сводились устремления Клюева. Реальным завершением «народной революции», за которую боролся и ратовал поэт, могло бы оказаться лишь мужицкое царство, где главная роль отведена крестьянину-пахарю. Это, бесспорно, наиболее уязвимое место в системе взглядов молодого Клюева.

¹¹⁰ Н. К л ю е в. Сосен перезвон. Издание второе. М., 1913, стр. 70.

¹¹¹ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 15.

¹¹² Там же, стр. 41.

¹¹³ Там же, стр. 44.

¹¹⁴ Н. К л ю е в. Братские песни, стр. 30.

¹¹⁵ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 32.

¹¹⁶ Недатированное письмо (ноябрь 1911 года). ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 1.

¹¹⁷ Недатированное письмо (1913 год). ЦГАЛИ, ф. 146, оп. 1, ед. хр. 38, л. 4.

¹¹⁸ Н. К л ю е в. Старое и новое. I. Пленники города. «Новая земля», 1911, № 22, стр. 10.

¹¹⁹ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

5

К числу важнейших событий в биографии Клюева 1907—1912 годов надлежит отнести его знакомство с Блоком и — позднее — с Брюсовым. Связи Клюева с этими писателями помогли ему обрести свой собственный поэтический голос. И Блок и Брюсов покровительствовали Клюеву, содействовали ему в издании сборника «Сосен перезвон» и, в конечном итоге, обеспечили молодому и совсем неизвестному тогда олопецкому поэту вступление в «большую» русскую литературу.

Уже первым своим письмом к Блоку (октябрь 1907 года) Клюев обратил на себя внимание петербургского поэта. Письмо было написано под свежим впечатлением от книги Блока «Нечаянная радость». В этом письме Клюев не назвал Блоку их общих знакомых (Л. Д. Семенов, В. С. Миролюбов) — он, наверняка, предполагал, что его имя уже известно Блоку, близко стоявшему в те годы к кругу «левых пародников». Тем более что за несколько месяцев до обращения Клюева к Блоку на страницах журнала «Трудовой путь» произошла первая встреча поэтов: в № 5 на стр. 24 были рядом напечатаны стихотворения Блока («В час глухой разлуки с морем») и Клюева («Холодное как смерть...»). Отношения, установившиеся в 1907 году, продолжались вплоть до самой смерти Блока, который, как известно, проявлял к Клюеву, особенно в начале их знакомства, повышенный интерес. Слонейский поэт персонализировал для него ту самую сектантскую, т. е. религиозно-патриархальную и вместе с тем бунтующую, «протестантскую» Россию, к которой Блок в те годы настойчиво тянулся. Упоминаниями о Клюеве полны дневники и записные книжки Блока 1907—1912 годов. Блок по возможности помогал молодому крестьянскому поэту. Он регулярно посылал ему свои собственные книги и произведения других авторов. «Тяжело утруждать Вас, — пишет ему Клюев, — но приходится просить еще о книгах поэзии — Брюсова, Бальмонта, Надсона, А. Белого, Сологуба, „Ипей“ Соловьевой, Тютчева...» (приписка на листе со стихотворением «Под осенней луной»).¹²⁰ В письме к Блоку от 22 января 1910 года Клюев повторяет: «...не огорчитесь моей старой просьбой о книгах — стихов — Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Гишпиус, какие Вам не трудно».¹²¹ Блок оказался именно тем человеком, который (наряду с Миролюбовым) ввел Клюева в литературу. По рекомендации Блока стихи Клюева были напечатаны в журналах «Бодрое слово» и «Золотое руно», в популярном издании «Чтец-декламатор». Блок пытался связать Клюева с известными журналами тех лет (например, с «Русской мыслью»). Отрывки из писем Клюева Блок цитировал в своих статьях 1907—1908 годов. Благодаря Блоку Клюев расширил круг своих петербургских знакомых (Е. П. Иванов, А. В. Руманов).

Клюев, со своей стороны, всячески тянулся к Блоку, как начинающий поэт к старшему и уже признанному поэту. Он посылал ему свои стихотворные опыты и пользовался его советами и указаниями. К стихотворению «Под осенней луной» Клюев делает вторую приписку: «Я стараюсь следовать Вашему совету писать коротче и не повторяться в одном стихе — заметно ли это в моих стихах?»¹²² Клюев многого не принимал в поэзии Блока, но признавал, что его стихи, «в особенности же — „тишина“ их, какие-то жаворонковые трепеты, переживания мгновенные — общелюдски, присущи каждому сердцу».¹²³

Однако временами тон клюевских писем к Блоку становится снисходительным, высокомерным и даже — обличительным. Дело в том, что Клюев, считая себя самого человеком «из народа», т. е. представителем наиболее здоровой, с его точки зрения, части общества, любил подчеркивать «неполноценность» своих «интеллигентных» адресатов.

Противопоставляя «город» «деревне», Клюев резко разграничивал также народную культуру и культуру «образованных» слоев. Народ, его наивное мирозерцание, его вера в чудеса и сказки Клюеву бесконечно дороже, чем «рассудочное» знание «ученых» людей. (Программным в этом смысле может считаться его стихотворение «На песню, на сказку рассудок молчит»).¹²⁴ Возвеличивание народа сочетается в поэзии Клюева с резкими выпадами в адрес цивилизованных кругов. Особенно четко дистанция «народ — интеллигенция» выражена в стихотворении, обращенном к Бальмонту.¹²⁵ Культура, представителем которой выступает Бальмонт,

¹²⁰ Там же. Стихотворение «Под осенней луной» не опубликовано.

¹²¹ Там же.

¹²² Там же.

¹²³ Там же.

¹²⁴ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 21.

¹²⁵ Н. К л ю е в. Сосен перезвон. Второе издание. М., 1913, стр. 69—70. Это единственное стихотворение, отсутствующее в первом издании сборника «Сосен перезвон» в сравнении со вторым изданием. Видимо, Клюев сознательно ввел его во вторую редакцию книги, чтобышний раз подчеркнуть свою позицию (к 1913 году она стала еще более определенной).

для Клюева уже не существует: она иссякла и выдохлась. (Ср. в стихотворении «Голос из народа»: «Вы — отгул глухой, гремучей, Обессилевшей волны»).¹²⁶

Эта позиция Клюева проявилась и в его письмах, причем даже к тем людям, которых он в остальном искренне и глубоко уважал. «Люди Вашего круга», обращается Клюев к Миролюбову в письме «С родного берега», неспособны понять «нас».¹²⁷ Общаюсь с Блоком, Клюев также порой противопоставляет ему себя (что, впрочем, со своей стороны делал и Блок, мучительно переживавший свое «барство»). Подчас создается впечатление, что Клюев просвещает или наставляет своего адресата. «Понимаю, что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а скорее жалею Вас», — пишет он Блоку 22 января 1910 года.¹²⁸ В таком же духе выдержано почти все второе письмо Клюева к Блоку (октябрь 1907 года), которое Блок в отрывках цитирует в своей статье «Литературные итоги 1907 года».¹²⁹

Летом 1911 года Клюев обращается к Блоку с вопросом, издавать ли ему отдельным сборником свои стихи. «Дорогой Александр Александрович, я в настоящее время нахожусь в Москве, здесь мне предлагают издать мои стихи, которые получше <...> Спрашиваю у Вас совета. Мне почему-то немного тревожно, но меня уверяют, что книжка моих стихов в настоящий момент нужна и найдет много читателей. Также сулят написать о ней в двух-трех газетах... Если Вы посоветуете, то я желаю в духе своем посвятить книгу Вам — „Нечаянной радости“ и прошу Вас написать хотя бы маленькое предисловие».¹³⁰ Блок, по всей видимости, высказался за издание книги, хотя предисловия к ней писать не стал. В конце 1911 года сборник «Сосен перезвон» был выпущен в свет московским книгоиздательством «Знаменский и К°».¹³¹ (Год издания на титульном листе стоял 1912-й). Названием сборника Клюев, видимо, был обязан одной строке из стихотворения Вяч. Иванова «Эпод» — «По бору сосен перезвон и переклик...» (стихотворение это входило в книгу Вяч. Иванова «Прозрачность», которую Клюев получил от Блока весной 1909 года). Сборник был посвящен А. Блоку (а в нем — стихотворения: «Верить ли песням твоим» и «Я болен сладостным недугом»). Один из первых экземпляров своей книги Клюев послал Блоку с надписью «Александру Александровичу Блоку в знак любви и чаяния — братства. Андома. Ноябрь. 1911 г.»¹³² Впрочем, появление книги не доставило Клюеву особой радости. «Сейчас получил „Сосен перезвон“ — свою книжку, изуродованную, с перепутанными стихами, с не моими заглавиями, с множеством опечаток и вдобавок с недочеткой многих не понравившихся издателю стихов», — жалуется он Блоку (30 ноября 1911 года).¹³³ В тот же день Клюев посылает открытку Брюсову, где почти в тех же словах выражает свое отношение к сборнику.¹³⁴

Именно Брюсов, с которым Клюев к этому времени был уже знаком лично, написал предисловие к сборнику. Каким образом перекрестились пути Клюева и Брюсова? Можно предположить, что решающую роль в этом сыграли взаимоотношения Клюева с семейством Добролюбовых, причем наиболее существенным соединительным звеном была, бесспорно, личность самого Александра Добролюбова. Важное значение для сближения обоих поэтов, хотя и кратковременного, имело, кроме того, деятельное сотрудничество Клюева в журнале «Новая земля».

Инициатором и организатором этого издания был И. П. Брихничев, бывший священник, расстриженный за склонность к сектантству, писатель-популяризатор. Основавшись в Москве, Брихничев принял за организацию «Новой земли». Первый номер журнала вышел 13 сентября 1910 года: его редактором в 1910—1911 годах значился публицист А. П. Готфрид. Журнал «Новая земля» был призван отстаивать «голгофское христианство» — утопическое религиозно-социальное учение, вызванное к жизни той общественной и духовной ситуацией, которая сложилась в России в годы реакции. Конечной целью «голгофского христианства» провозглашалась «новая земля» — царство счастливого будущего, якобы ожидающее христиан-тружеников. Путь к «новой земле» лежал, согласно Брихничеву и другим зачинателям этого движения, через религиозное обновленчество русского народа, а журнал должен был стать «самым серьезным и доступным органом грядущей реформации»,

¹²⁶ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 41. Впервые опубликованное в журнале «Новая земля» (1911, № 9, стр. 12), это стихотворение носило характерный подзаголовок: «Посвящается русской интеллигенции».

¹²⁷ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 96, л. 1.

¹²⁸ Там же, оп. 2, ед. хр. 39.

¹²⁹ А. Б л о к, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, стр. 213—214.

¹³⁰ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

¹³¹ Книга сразу же обратила на себя внимание. В конце 1911—начале 1912 года в русской периодической печати появляются один за другим одобрительные и даже восторженные отклики на сборник «Сосен перезвон». Среди рецензентов первой книги Клюева были С. Городецкий, Н. Гумилев, В. Львов-Рогачевский и др.

¹³² Библиотека Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

¹³³ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

¹³⁴ ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 4.

как писал Брихничев известному профессору-экономисту И. Х. Озерову.¹³⁵ Программа этого движения с достаточной полнотой раскрывается в статьях литератора В. Свенцицкого, одного из главных идеологов «Новой земли». «Надо прежде всего создать религиозно-общественное движение... — писал Свенцицкий. — Идеи о новой земле, о земном Христе, об общественном христианстве, о царстве божием не только на „небесах“, но и на „земли“ — идеи Голгофского христианства...»¹³⁶ «Голгофа начинается только там, где начинается „за других“ <...> Крест — символ не траурной религии и страдания, а победной религии воскресения». — уточнял другой автор «Новой земли», писавший под псевдонимом «Далекий друг».¹³⁷ Самопожертвование, мученичество, одним словом, «Голгофа» утверждались в новом христианстве как завершающий и высший этап борьбы «за других». «Мы с радостью берем венец терновый, с радостью, как мученики Колизея, идем на арену жизни — идем завоевывать свободу, искушение, бессмертие...» — писал В. Свенцицкий в предисловии к сборнику «Братские песни».¹³⁸ Некоторые статьи и материалы, печатавшиеся в «Новой земле», имели антиправительственную окраску. Не случайно, начиная с конца 1910 года цензура неоднократно налагала запрет на отдельные номера журнала.¹³⁹ В круг основных сотрудников «Новой земли», помимо Брихничева, входили известные своими общественными выступлениями русские священники Григорий Петров (член Второй государственной думы, лишенный сана в 1908 году) и епископ Михаил. В журнале печатались стихи А. Блока и В. Брюсова. Публиковался в «Новой земле» и А. Добролюбов.¹⁴⁰

Объединяя вокруг журнала своих — весьма немногочисленных — единомышленников, редакция «Новой земли» наивно рассчитывала на быстрое распространение идей «голгофского христианства» в русском обществе. «На днях заинтересовался журналом Максим Горький. Есть надежда, что соберется целая армия», — писал Брихничев И. Х. Озерову.¹⁴¹

Совершенно очевидно, что религиозно-социальная доктрина «общественного христианства» во многом совпадала с теми взглядами Клюева, которые молодой поэт вынашивал уже в первые послереволюционные годы. Не вызывает поэтому удивления быстрое сближение олонедского поэта с кругом «Новой земли», прежде всего — с Брихничевым. Знакомство их завязалось, видимо, уже после организации журнала. В течение двух первых месяцев существования «Новой земли» имя Клюева не встречается на страницах журнала ни разу. Можно предполагать, что Клюев, связанный с сектантской средой, где прежде всего находило резонанс учение о «новом христианстве», сам обратился в редакцию идейно близкого ему журнала. В № 13 «Новой земли» (декабрь 1910 года) впервые появляется стихотворение Клюева «Под вечер» («Я надену черную рубаху»), написанное на «голгофскую» тему («По камням двора пройду на плаху» и т. д.).¹⁴² Следующее выступление Клюева в «Новой земле» — стихотворение «Жнецы», напечатанное в первом номере журнала за 1911 год. Приблизительно с № 8 за 1911 год участие Клюева в органе «голгофских христиан» становится систематическим: его стихи (или проза) печатаются в каждом номере журнала (вплоть до его закрытия цензурой в октябре 1911 года). В «Новой земле» были опубликованы, в частности, такие чисто «голгофские» стихотворения Клюева, как «Мученик» или «Завещание» (под этими же заглавиями они вошли и в «Сосен перезвон»). Можно допустить, что их возникновение относится к 1910—1911 годам, когда Клюев знакомится с идеями «голгофских христиан» и на какое-то время увлекается ими.

Именно в 1911 году происходит сближение Клюева с Брихничевым, который становится страстным почитателем олонедского поэта. «После Христа я никого так не любил, как Клюева», — признается Брихничев в своем недатированном письме к Брюсову (штемпель — 29 декабря 1912 года).¹⁴³ В одном из номеров «Новой земли» Брихничев публикует стихотворение, посвященное Клюеву, с характерными строками: «Нам — прошедшим чрез горнила Всех страстей и всех распятий...»¹⁴⁴

¹³⁵ ГПБ, ф. 541, оп. 1, ед. хр. 220. Письмо без даты.

¹³⁶ В. Свенцицкий. Наши ближайшие задачи. «Новая земля», 1911, № 2, стр. 2.

¹³⁷ Далекий друг. Письма одинокого человека. Голгофа. «Новая земля», 1910, № 7, стр. 9—11.

¹³⁸ Н. Клюев. Братские песни, стр. XIV.

¹³⁹ См. дела Московского цензурного комитета о журнале «Новая земля». Центральный государственный архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 1248, 1408, 1413, 1420, 1538 и др.

¹⁴⁰ «Новая земля», 1911, № 7, стр. 15.

¹⁴¹ ГПБ, ф. 541, оп. 1, ед. хр. 443.

¹⁴² «Новая земля», 1910, № 13, стр. 5. Вошло в сб. «Сосен перезвон» (стр. 54—55).

¹⁴³ ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 5.

¹⁴⁴ «Новая земля», 1911, № 21, стр. 3.

С января 1912 года издание «Новой земли» возобновляется; и вновь Клюев — неизменный участник каждого номера. Именно в «Новой земле» Клюев опубликовал в 1911—1912 годах значительную часть своих стихотворений, составивших сборники «Сосен перезвон» и «Братские песни».

Пропагандируя поэзию Клюева на страницах «Новой земли»,¹⁴⁵ Брихничев, сверх того, всячески содействовал поэту в издании его первых сборников. По этому поводу Брихничев обращался к Брюсову. «О Клюеве. Это простой крестьянин. Страшно нуждается. Как было бы хорошо, если бы можно было издать его сборник стихов — нельзя ли что-нибудь сделать в этом отношении?»¹⁴⁶ Когда летом 1911 года Клюев приехал в Москву, Брихничев рекомендовал его московскому книгоиздателю В. И. Знаменскому, сочувственно относившемуся к начинаниям «Новой земли». Вероятно, Брихничев явился и инициатором встречи Клюева с Брюсовым, состоявшейся в августе. Подтверждением этой встречи служит, в частности, письмо И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой, сестре поэта. Письмо датировано 22—24 августа; запись, относящаяся к Клюеву, помечена 22 августа, но в дальнейшем тексте исправлена самой И. М. Брюсовой на 23 августа. «Сейчас я осталась одна, — пишет И. М. Брюсова. — День был шумный какой-то. Утром Броня¹⁴⁷ собиралась уезжать, укладывалась; к обеду был у нас Клюев, после обеда Валя¹⁴⁸ ушел. К Клюеву остался, говорили с ним о Добролюбовых; затем пришла мама, пили чай, говорили все вместе. Затем Ключеву я дала Бальмонта читать <...> пришел какой-то юноша из учеников Белого, говорили о теории Белого, о стихах вообще. Затем ушел юноша, Валя и, наконец, Клюев. Он мне понравился своей простотой и безыскусственностью».¹⁴⁹

Свидание с Брюсовым (как свидетельствует письмо Клюева к нему, написанное в самом конце ноября 1911 года) произвело на олонецкого поэта огромное впечатление. Из письма видно, что Клюев поделился с Брюсовым своими сомнениями о тщетности поэтического творчества и что Брюсов решительно рассеял их. Позиция А. Добролюбова и Л. Семенова была, разумеется, в корне чужда Брюсову. Благодаря встрече с Брюсовым Клюев преодолел кризис и перестал заглушать в себе поэта. «... Через прикосновение к Вам <я> получил крепость и утверждение — сознание того, что опасно держать огонь за пазухой, прописным молчаньем жечь себе внутренности».¹⁵⁰ И преисполненный благодарности, Клюев добавляет: «Прозрение сего родило во мне благоговение и, быть может, больше чем кому-либо, дало мне право выразить Вам любовь свою».¹⁵¹ Кроме того, «Сон о Коневском», рассказанный Клюевым в одном из его более поздних писем к Брюсову, лишний раз наводит на мысль, что содержащим беседе обоих поэтов был ранний русский символизм (и прежде всего, конечно, — А. Добролюбов).¹⁵²

Брюсов, со своей стороны, сочувственно отнесся к Клюеву. Присущее Брюсову критическое чутье помогло ему разглядеть в Клюеве настоящего поэта. «Клюев — поэт подлинный — говорите Вы», — цитирует Брихничев слова Брюсова в своем письме к нему 29 декабря 1912 года.¹⁵³ Брюсов тепло отозвался о Клюеве и в своей статье «Сегодняшний день русской поэзии». Анализируя 50 сборников стихов 1911—1912 годов, Брюсов высоко оценивает две первые книги Клюева, называет их «оригинальными и необычными».¹⁵⁴ «Среди подлинных дебютантов, — заявляет Брюсов, — первое место принадлежит г. Н. Клюеву».¹⁵⁵ Мысль о том, что «Клюев — поэт подлинный», пронизывает и вступление Брюсова к сборнику «Сосен перезвон». Впрочем, эта короткая заметка не претендует на глубинное истолкование клюевских стихов и представляет собой скорее «рассуждение по поводу». Единственное, что выделяет Брюсов в поэзии Клюева, это «огонь религиозного сознания». Брюсов понимал, конечно, и вольнолюбивый дух сборника, «крамольный» характер аллюзий и намеков, которыми полна книга. «Здесь не место говорить об основных устремлениях души поэта», — многозначительно замечает он.¹⁵⁶ В дальнейшем, как из-

¹⁴⁵ См., например, его статью «Поэт Голгофского христианства» — рецензию на сборник «Сосен перезвон». «Новая земля», 1912, № 1—2, стр. 3—6. Клюев же, в свою очередь, откликнулся небольшой заметкой на появление книги стихотворений И. Брихничева «Капля крови» (М., 1912). Рецензия Клюева была напечатана в еженедельной московской газете «Столичная молва» (1912, № 247, 4 июня, стр. 3).

¹⁴⁶ ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 3. Письмо не датировано.

¹⁴⁷ Бронислава Матвеевна Рунт, сестра И. М. Брюсовой.

¹⁴⁸ Валерий Яковлевич Брюсов.

¹⁴⁹ ГБЛ, ф. 386, карт. 145, ед. хр. 35, л. 7 об.

¹⁵⁰ Там же, л. 1.

¹⁵¹ Там же.

¹⁵² Там же, карт. 89, ед. хр. 49, л. 9.

¹⁵³ Там же, карт. 78, ед. хр. 18, л. 5.

¹⁵⁴ «Русская мысль», 1912, № 7, стр. 28 (раздел «В России и за границей»).

¹⁵⁵ Там же, стр. 25.

¹⁵⁶ Н. К л ю е в. Сосен перезвон, стр. 11.

вестно, Брюсов изменил свое отношение к Клюеву и критически воспринял появление «Песнослава».¹⁵⁷

Издание «Новой земли» прервалось окончательно в мае 1912 года. Ее продолжением был журнал «Новое вино», первый номер которого вышел в декабре 1912 года. На обложке был помещен портрет Клюева, а в самом номере публиковалось его стихотворение «Святая быль» («Солетали ко мне другя-воины») с посвящением И. Брихничеву. Кроме того, на обложке журнала значилось, что в нем «сотрудничают Александр Блок, Валерий Брюсов, Сергей Городецкий, Николай Клюев». Однако именно в этот момент — на грани 1912 и 1913 годов — между Клюевым и Брихничевым происходит разрыв. Уже во втором номере «Нового вина» (январь 1913 года) имя Клюева отсутствует, если не считать статьи Брихничева «Богопосец ли народ? (Из бесед с Николаем Клюевым)». В третьем — и последнем — номере «Нового вина» Клюев вообще не упоминается. Нет его и среди 24 сотрудников журнала, перечисленных на обложке второго и третьего номеров.

Внешним поводом для этого конфликта послужило публично высказанное Брихничевым мнение о том, что Клюев — ... плагиатор. Брихничев с неодобрением утверждал, что Клюев позволяет себе «красть чужое и подписываться под ним, как под своим».¹⁵⁸ «Ведь я уже писал Вам о том, — мотивирует Брихничев свои обвинения в письме к Брюсову, — что я знаю о „Братских песнях“ — как я слышал их в 1909 году. Как в 1911 Клюев сам сказал, что записал их в Рязанской губ. и как в 1912 году — выдал за свои».¹⁵⁹ На этом основании Брихничев требовал третейского суда над Клюевым.

Однако действительные причины расхождения между Клюевым и «голгофскими христианами» были более глубокими и, видимо, недостаточно осознанными даже самим Брихничевым. Клюев, творчество которого отнюдь не исчерпывалось «голгофской» темой, уже в 1911—1912 годах несколько тяготился той ролью, на которую его упорно выдвигали деятели «Новой земли». Возвеличивая Клюева, Брихничев и его группа пытались толковать его (как, впрочем, и Блока) в своем духе. Для Клюева же на первом месте всегда стояла поэзия, и он воспринимал своих апологетов из «Новой земли» с известным недоверием. Об этом свидетельствует, например, его недатированное письмо к Блоку (по-видимому, написанное в начале марта 1912 года). В нем Клюев — с явной растерянностью — пишет следующее: «Обращаюсь к Вам еще с просьбой: посоветуйте, что мне делать? „Новая земля“ предлагает мне издать книжку стихов в духе „Песнь братьям“ в №№ 7—8 „Новой земли“ <...> Пишут так убедительно с заголовком „Торопитесь делать добро“, что мне как-то неудобно отвечать необоснованным отказом. Быть может, новоземельцы и искренне веруют, что мои песни — „отклик Елеонских песнопений“. Я вовсе сбит с толку <...> Брюсов мне пишет, что я должен держаться „на занятом положении“, одним словом, недоумениям моим нет конца. Книга предполагается с вступительной статьей что ли епископа Михаила. Но беспокоит меня больше следующее: не повредит ли мне книжка с такими песнями с художественной стороны?»¹⁶⁰

Судивший о Клюеве лишь с узких позиций «голгофского христианина», Брихничев явно не понимал и недооценивал его художнических исканий, которые последовательно вели олонецкого поэта к фольклору. Стремление говорить «голосом народа» ощущается в стихах Клюева 1907—1909 годов и, как уже указывалось, в обеих его статьях 1908 года. Поэт старается писать о том, что близко и доступно любому крестьянину — о «родном». В поэзию Клюева проникают мышление, быт, обычаи и язык родной деревни. Влечение Клюева ко всему «родному» закономерно приводит его к народно-поэтическому творчеству. С «литературного» языка поэт переходит на «родной» — фольклорный. Речь героев меняется: «жнецы» и «пахари» начинают говорить «по-народному». Постепенно «исчезает» и автор — Клюев-литератор, поклонник русских символистов. Его место занимает Клюев-сказитель.¹⁶¹ Лирическое начало растворяется в эпическом и сливается с ним. Автор говорит теперь языком безвестных создателей народных песен и сказок; он стремится к «самоустранению», его собственная индивидуальность как бы стирается. Одной из первых попыток

¹⁵⁷ Рецензия Брюсова на первую книгу «Песнослава» напечатана в кн.: Художественное слово. Временник литературного отдела НКП. Книга вторая. М., 1921, стр. 64—65.

¹⁵⁸ ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 5. Письмо не датировано (штемпель — 29 декабря 1912 года).

¹⁵⁹ Там же.

¹⁶⁰ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

¹⁶¹ Клюев был не только собирателем и знатоком русского фольклора, но, по свидетельству современников, также замечательным исполнителем народных былин и песен (как и собственных стихов). Художник М. В. Нестеров, впервые увидевший Клюева в Москве в начале 1916 года, вспоминает: «Его манера была обычной маперой, стилем сказителей. Так сказывали Рябинин, Кривополенова и другие, попадавшие к нам с Севера» (М. В. Нестеров. Воспоминания, стр. 506—507. Архив Н. М. Нестеровой).

такого рода была «Песня о Соколе и трех птицах божьих». В недатированном письме к Блоку (видимо, октябрь 1908 года) Клюев спрашивает: «Что Вы думаете про такое стихотворство, как моя „Песня о царе Соколе и о трех птицах божьих“? Можно ли так писать? — не наивно ли, не смешно ли?»¹⁶² Блок, видимо, одобрил «такое стихотворство», так как «Песня о Соколе...» была по его рекомендации опубликована в журнале «Бодрое слово».¹⁶³

Пытаясь «самоустраниться», т. е. растворить свое индивидуальное авторское начало в народном (коллективном), Клюев — приблизительно с 1908 года — создает своего рода стилизации «под фольклор». Жанр этих произведений определить трудно: они в равной степени и записи народных песен, «олитературенные» Клюевым, и авторские стихи, искусно выдержанные в народном духе. К таковым относятся, например, оба «народных» произведения, включенные Клюевым в первую редакцию книги «Сосен перезвон» («Лесная быль», «Песня о царе Соколе»). Эти эпические стихотворения явно выпадали из общего стиля книги, и потому Клюев исключил их из второго издания. К подобным стилизациям принадлежат и отдельные «братские песни», которые Клюев, по его собственному признанию, «вынес» от хлыстов Рязанской губернии.¹⁶⁴ Таким образом, Брехпичеву (его сомнения были в какой-то мере обоснованными) следовало говорить, конечно, не о «плагиате», якобы совершенном Клюевым, а лишь о его стилизациях в духе народно-песенных традиций.

Переход Клюева с «литературного» языка на эпический протекал постепенно. В 1908—1912 годах (и даже позднее) его поэзия еще «раздваивается» между лирикой и фольклором. Наиболее характерный пример — стихотворение «Под вечер», включенное в сборник «Сосен перезвон». В текст этого стихотворения введена народная песня «Узкая полосынька клинышком сошла» (явно обработанная Клюевым). Песня разбивает авторское повествование и как бы противостоит ему; стихотворение складается из двух отличных друг от друга частей.

Разобщенность авторского и фольклорного элементов в поэзии Клюева теряет свою остроту в последующий период его творчества (1913—1917). Клюев — в лучших своих вещах — достигает теперь синтеза или, говоря иначе, вырабатывает на фольклорной основе свой индивидуальный лиро-эпический стиль. Затухает и социально-религиозный пафос, свойственный его ранним стихотворениям. В эти годы Клюев неуклонно приближается к центральной теме своего зрелого творчества — к теме родины, России.

О. В. МИЛЛЕР

ПОМЕТЫ АЛЕКСАНДРА БЛОКА НА ПОЛНОМ СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

В личной библиотеке Александра Блока, хранящейся в книжных фондах Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, находится Полное собрание сочинений Лермонтова в пяти томах под редакцией Д. И. Абрамовича,¹ на страницах которого сохранились многочисленные пометы А. Блока.

Как заметил Д. Е. Максимов, автор самой ценной работы об отношении Блока к Лермонтову, тема эта изучена еще далеко недостаточно,² фактического материала для такого исследования очень немного, и в этой связи пометы А. Блока на полях академического издания сочинений Лермонтова представляют бесспорный интерес. Сделаны они в разное время и носят различный характер. Часть их (более поздняя) относится ко времени работы А. Блока над изданием однотомника Лермонтова.³ Эту часть помет, сделанных чернилами и цветным карандашом, можно датировать

¹⁶² ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39.

¹⁶³ «Бодрое слово», 1909, № 7, апрель, стр. 1—6.

¹⁶⁴ См. его недатированное письмо к С. А. Есенину (август <?> 1915 года). В кн.: Есенин и современность, стр. 240.

¹ М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений, под редакцией и с примечаниями проф. Д. И. Абрамовича, Издание Разряда изящной словесности Императорской Академии Наук, СПб., 1910—1913. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

² См.: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. Изд. «Наука», М.—Л., 1964, стр. 248.

³ М. Ю. Лермонтов. Избранные сочинения в одном томе. Редакция, вступительная статья и примечания Александра Блока. Изд. З. И. Гржебина, Берлин—Пб., 1920.

достаточно точно по записным книжкам поэта.⁴ Это ноябрь 1919—март 1920 года. Другая часть помет простым и чернильным карандашам сделана раньше: заметно, что чернильные пометы в некоторых местах нанесены поверх карандашных. Можно с уверенностью сказать, что эти пометы сделаны между 1910 годом (годом выхода Полного собрания сочинений) и 1919-м (к которому, бесспорно, относится второй слой помет), и с большой вероятностью предположить, что эти пометы были сделаны при первом прочтении, сразу же по выходе томов. Это предположение отчасти подтверждается реминисценцией во второй главе «Возмездия» (написанной весной 1911 года) из поэмы «Измаил-Бей», где А. Блок подчеркнул слова: «Он очертил волшебным кругом Ее желанья...» (у Блока: «Он дивным кругом очертил Россию»).

Здесь следует заметить, что к заимствованиям в творчестве Блока надо относиться чрезвычайно осторожно и совсем иначе, чем к проблеме заимствования в творчестве Лермонтова. Сам Блок однажды записал: «Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое. „Чтоб он, воскреснув, встать не мог“ (моя), „Чтоб встать он из гроба не мог“ (Лермонтов, — сейчас вспомнил) — совершенно разные мысли. Общее в них — „содержание“, что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание само по себе не существует, не имеет веса».⁵ Приведенная выше реминисценция также может быть простым совпадением, о котором, возможно, не стоило бы и говорить, если бы строки в «Измаил-Бее» не были выделены Блоком совсем незадолго до написания вступления во вторую главу «Возмездия». Таким образом, пометы, не связанные с работой над изданием одногомника Лермонтова, предположительно можно датировать 1910—1913 годами.

Что же представляет собой эта более ранняя часть помет? К сожалению, только небольшую их долю составляют словесные пометы. Гораздо больше отчеркнутых или подчеркнутых строк и слов, и на вопрос о причине их выделения Блоком не всегда можно дать однозначный ответ. Смысл некоторых помет пока совсем неясен. Так, Блок пользовался своей индивидуальной системой значков, которыми отмечал некоторые стихотворения в сборниках самых различных авторов. Эти значки встречаются и в рассматриваемом нами издании Лермонтова.⁶

С уверенностью можно сказать, что внимание поэта привлекают те строки Лермонтова, которые как-то позволяют проникнуть в его внутренний мир. «Почвы для исследования Лермонтова нет — биография нищенская. Остается „провидеть“ Лермонтова», — писал А. Блок в статье «Педант о поэте».⁷ Видимо, один из путей «провидения» Лермонтова, по мнению Блока, — это исследование личности поэта по его произведениям. Поэтому прежде всего в центр внимания Блока попадает автобиографическая лирика Лермонтова 1830—1832 годов. Из выделенных здесь (отчеркнутых и подчеркнутых) Блоком строк составляется своеобразная лирическая исповедь поэта.

Вот некоторые примеры:

За то, что мрак земли могильный
С ея страстями я люблю...

И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не Тебе молось!

(«Молитва», 1829)

Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели...
И, в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум печальной цели.

(«Н. Ф. И. . . вой»)

Один я здесь, как царь воздушный. . .

(«Одиночество»)

Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне,
Но велено ему судьбой,
Как жил, погибнуть в тишине.

⁴ См.: А. Блок. Записные книжки. 1901—1920. Изд. «Художественная литература», М., 1965, стр. 468, 479, 482, 483, 486—491.

⁵ Там же, стр. 378.

⁶ Исследовать эти знаки Блока, так же как и всю его индивидуальную систему выделений текста в прочитанных книгах, можно будет только по окончании полного описания его личной библиотеки со всеми маргиналиями.

⁷ А. Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. V, Гослитиздат, М.—Л., 1962, стр. 27.

Беднейший средь существ земных
Останусь я в кругу людей...

(«Отрывок», 1830)

Люблю мучения земли.

(«1830. Мая 16 числа»)

Любить? — три раза я любил,
Любил три раза безнадежно.

(«Никто, никто, никто не усладил»)

И показать, что сердце у меня
Есть жертвенник, сгоревший от огня.

Что ж! — Нынче жалкий, грустный, я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.

(«1830 год. Июля 15-го»)

Я жертвовал другим страстям, —
Но если первые мечты
Служить не могут снова нам,
То чем же их заменишь ты?

(«Стансы»)

Мой смех тяжел мне как свинец:
Он плод сердечной пустоты.

(«Ночь»)

В стихах Лермонтова 1828—1829 годов преувеличенные выражения скорби и разочарования вызывают, по-видимому, ироническое отношение Блока. Например:

Хоть наша жизнь — минута свиденья,
Хоть наша смерть — струны порванной звон...

(«К Пу... ну»)

Мое веселие, уж взятое гробницей...

(«Цевница»)

В стихотворении «К Д...ву» рядом с подчеркнутой строкой «И вновь мне возвратил покой» надпись Блока: «Каково!».

Но эти, навеянные литературной традицией гиперболические метафоры не мешали Блоку услышать за ними искренний голос юного поэта, и он отстаивает право Лермонтова на свободу выражения своих чувств. «Несоответствие между поэтическим вымыслом автора и внешними фактами его жизни», в котором Лермонтова «уличал» Н. Котляревский, А. Блок объяснял очень просто. «... Причина к тому ясна, как день, — писал он, — Лермонтов был поэт».⁸ Блок возражал против скептического недоверия, с которым Котляревский отнесся к «показаниям самого Лермонтова» (по выражению А. Блока). Это одно из основных разногласий его с Н. Котляревским. Д. Е. Максимов по поводу подобных романтических штампов в ранней лирике Лермонтова писал: «Конечно, эти условные декоративные характеристики — до тех пор, пока Лермонтов не освободился от них, — затрудняли выявление скрытой за ними живой, неповторимо индивидуальной человеческой личности».⁹ Блоку, как видим, была хорошо понятна эта сложность раннего творчества Лермонтова, и он не находил здесь противоречия.

А. Блок чутко улавливает общие образы и мотивы в различных произведениях Лермонтова. Творческая история таких стихотворений, как «Расстались мы...», «Есть речи — значенье», выявлена им со всей полнотой, причем его наблюдения оказались в этом отношении полнее и содержательнее комментария Д. И. Абрамовича. Эти наблюдения большей частью Блок использовал в своих примечаниях к одному из них. Среди этих сопоставлений несколько неожиданным и оригинальным представляется сближение стихотворения «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась...») с «Мцыри». Непосредственно с замыслом этой поэмы «Отрывок», конечно, не связан, но общее построение (именно настроение, а не текстуральные совпадения)

⁸ Там же, стр. 28.

⁹ Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова, стр. 37.

Блок уловил очень тонко и верно. Здесь пелишше вспомнить, что Белинский считал «Мцыри» самым автобиографическим произведением Лермонтова.

Интересно, что в другом случае Блок решительно отвергает ставшее вполне привычным соближение. В примечании Абрамовича к стихотворению «Настанет день — и миром осужденный...» написано: «Тот же мотив в стихотворении „К***. Когда твой друг с пророческой тоскою“» (I, 367). Рядом надпись Блока: «Это неправда, главное было не в том». Общий мотив в этих стихах, тем не менее, несомненно присутствует (мотив казни, на которую герой обречен ввиду предназначенной ему героической миссии, подвига), но Блок, видимо, считает более существенными другие мотивы. Об этом свидетельствуют пометы на тексте обоих стихотворений. В стихотворении «Когда твой друг...» подчеркнута «пророческой тоскою», двумя чертами отчеркнуты строки:

Что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.

Далее отчеркнуты строки:

Он был рожден для мирных вдохновений,
Для славы, для надежд, но меж людей
Он не годился...

Последние слова подчеркнуты, и рядом два восклицательных знака. Строка «Его душе не паложил цепей» также подчеркнута, рядом вопросительный знак и помета: «Так ли?». (Может быть, отступление от грамматики и сомнение в правильности прочтения данной строки привлекли внимание Блока). Далее подчеркнута: «...волна полночная простонет» (возможно, только как художественный образ). Таким образом, главное, что выделил здесь Блок, — это противопоставление героя обществу, его «странность», неизбежность конфликта с этим обществом и его трагическая судьба как результат этого конфликта.

В стихотворении «Настанет день — и миром осужденный» подчеркнута: «Таинственную душу и мученья», «Как червь к душе твоей Я прилеплюсь...», «И будет жизнь тебе долга, как вечность, А все не будешь жить». По-видимому, если проблематику первого стихотворения в прочтении Блока можно сформулировать как «избранник и общество», то проблематику второго — как «избранник и его возлюбленная».

Прочтя «Русскую мелодию», А. Блок около названия этого стихотворения написал «Странное», перечитал его еще раз и в конце приписал: «Не сказалось, хотел большего, знаю, о чем». «Русскую мелодию», действительно, отличают отрывочность, неточность выражений, так что у Блока были все основания назвать стихотворение «странным». Вместе с тем проблематика «Русской мелодии» очень значительна. Юный Лермонтов впервые пишет о процессе поэтического творчества. Художественные образы нужно облечь в слова, «дать им название», не потерять нить своего замысла, пока не разрушилось «неверное созданье». «Холодной буквой трудно передать боренье дум», — писал Лермонтов впоследствии. Здесь он подходит к теме, которой не раз будет касаться на протяжении своего творчества и которая в конце концов приведет его к «Пророку», но пока это первые подступы к теме, полные недоговоренности и неопределенности. Образ пародного певца, с которым сравнивает себя Лермонтов, сам по себе значительный и не случайный в творчестве Лермонтова, оказывается на первом плане, что тоже в некоторой степени затрудняет понимание стихотворения в целом. Блоку были близки все эти проблемы, и недосказанность в стихотворении Лермонтова не помешала ему понять мысль автора.

В конце повести «Вадим» А. Блок написал: «Как же относится к этому Лермонтов?». Эта надпись отражает самое начало, исходный пункт его размышлений над повестью Лермонтова. В дальнейшем в примечаниях к одному стихотворению он писал: «Будучи дворянином по рождению, аристократом по понятиям, Лермонтов, как свойственно большому художнику, относится к революции без всякой излишней чувствительности, не закрывает глаз на ее темные стороны, видит в ней историческую необходимость... ни из чего не видно, чтобы отдельные преступления заставляли его забыть об историческом смысле революции: признак высокой культуры».¹⁰

Несколько особняком стоит любопытное замечание А. Блока о судьбе лермонтовского стихотворения «Sentenz» («Когда бы мог весь свет узнать»). Рядом с текстом стихотворения Блок приписал: «„В мое время“ (имея в виду, по-видимому, годы своей юности, — О. М.), это еще писали в альбомах „среднего круга“, — интересное сведение о бытовании стихотворения Лермонтова в качестве альбомного.

Большое число помет относится к поэтике и стихотворной технике. Прежде всего внимание Блока привлекали близкие к афоризмам художественные образы.

¹⁰ Цит. по: А. А. Блок, Собрание сочинений, т. XI, Издательство писателей в Ленинграде, 1934, стр. 421.

Вот некоторые примеры:

Я виноват перед тобою:
Цены услуг твоих не знал...
.....
Ледяную встречаю руку
Моей пылающей рукой.

(«Разлука»)

...вьюгой зла

(«Стансы»)

Все так высоко, так взгромождено,
Как бурей на них нанесено.

(«Булевар»)

И сном никак не может быть
Все, в чем хоть искра есть страданья!

(«11-го июля»)

И тайных мук ничтожны причины...

(«Смерть»)

И для страны порочной слишком чистый...

(«Прекрасны вы, поля земли родной!»)

Он тень твоя, но я люблю,
Как тень блаженства, тень твою.

(«Силуэт»)

Для сердца тайное страданье
В его знакомых звуках есть

.....
Я клятвы юности нарушу, —
Все клятвы, кроме клятв любви.

(«Стансы к Д...»)

Что без страданий жизнь поэта,
И что без бури океан?

(«Я жить хочу...»)

Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

(«Пленный рыцарь»)

Нас обманули те же сны.

(«Графине Ростопчиной»)

А душу можно ль рассказать?

(«Мцыри»)

Трудно сказать, почему Блок выделил некоторые образы в ранних стихотворениях Лермонтова. Может быть, они удивили его своей неожиданностью, может быть, даже вызвали ироническое отношение. Например, подчеркнута: «Разнообразных гор кусты» («Черкешенка»), «И, тряхнувшись, в поле диком... Кучу каменных сердец...» («Два сокола»), «... (тогда свобода Не начинала свой побег)» («Олег»).

Примечания А. Блока к однотомнику Лермонтова содержат много указаний на особенности стихотворной техники. Но наблюдения Блока над стихом Лермонтова, отразившиеся в его пометах, использованы в них только частично. Между тем таких помет очень много. Так, в «Измаил-Бее» внимание Блока привлекла, по-видимому, внутренняя рифмовка в строках:

Когда он зрит холмы своих полей...
Меж тем белей, чем горы снеговые,
Идут на запад облака другие.

Подчеркнуты слова «полей» и «белей».

Рядом с текстом стихотворения «Еврейская мелодия» помета Блока: «Внутренние рифмы». В нескольких случаях Блок пометил на полях: «Сродство стиха» (например, возле текста стихотворений «Любовь мертвеца» и «Спеша на север из далека»).

Привлекли внимание Блока и некоторые неточные рифмы в ранних стихотворениях Лермонтова, о чем свидетельствуют подчеркнутые окончания рифмующихся слов (или слов, которые по положению в строфе должны рифмоваться): «кругом — деревьям», «обстры — быстры», «войска — плеча», «карет — идет» («Черкесы»); «глубине — мгле» («Корсар»); «нельзя — ладыя» («Последний сын вольности»); «миг — в них» («Измаил-Бей»).

В некоторых произведениях отмечена инструментовка. Так, в поэме «Измаил-Бей» отчеркнута строфа XXI (часть первая), начинающаяся словами: «Уж поздно. Путник одинокой...». Рядом надпись: «Инструментовка». В поэме «Мицри» инструментовка дважды привлекла внимание Блока; строки

И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой...

и

А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне,
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...

отчеркнуты, рядом надпись: «Инструментовка».

Аллитерация отмечена Блоком в стихотворении «Дары Терека»:

Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов им, на славу,
Стадо целое пригнал,

а также в «Казачьей колыбельной».

В стихотворении «Листок» подчеркнута строка: «У Черного моря чинара стоит молодая». Внизу подпись: «Параллелизмы (аллит.)».

А. Блоку неизменно бросались в глаза заимствования в произведениях Лермонтова, особенно из Пушкина, даже минимальные по объему, т. е. из двух слов. Так, например, в «Измаил-Бее» Блок подчеркивает: «Странник молодой» (часть первая, строфа XXXIII) и рядом приписка: «Путник молодой (Пушкин)»; или подчеркнута строка: «Черкес не хочет отдохнуть». Рядом подпись: «Казак... (Пушкин)». Или: «И больше спрашивать не хочет» и приписка: «И спросить уже не хочет (Пушк.)».

В «Романсе» («Коварной жизнью педовольный») против строки «Забуду ль вас, сказал он, други?» надпись: «Руслаи» — отмечено не столько текстуальное заимствование, сколько общая созвучность, сходство стиля. В примечании к этому стихотворению Абрамович пишет: «В последних двух стихах (т. е. «А колокольчик однозвучной Звенел, звенел и пропадал», — *О. М.*) видят влияние Пушкина» (I, 360). Блок приписывает: «а в 5—8?» (т. е.:

«Забуду ль вас, сказал он, други?
Тебя, о севера вино?
Забуду ль, в мирные досуги
Как веселило нас оно?»).

Краткие замечания Блока всегда очень содержательны и многозначительны. Так, в конце повести «Штосс» приписка: «Гоголь, Достоевский», которая свидетельствует о том, что Блок, прочтя повесть, сразу определил ее связь с произведениями писателей «натуральной школы».

Большая часть помет относится к вопросам издания Лермонтова и непосредственно к работе по подготовке однотомника. Уже на обороте форзаца первого тома надпись, которая свидетельствует о том, что Блок был занят вопросом о принципе подхода к орфографии подлинника. Там написано: «Внесены замечания С. Дурылина («Труды и Дни», тетр. VIII. Москва 1916). Надо сохранить: большова, подалуй, дальпом. Необходимо иметь в виду напечатанную там же заметку Н. П. Киселева». Блок имеет в виду статью С. Н. Дурылина «Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика». В рецензии Дурылина исследуется текстологическая работа Д. И. Абрамовича в академическом издании. При этом он требует пунктуального соблюдения всех особенностей индивидуальной орфографии автора.

Страницы Полного собрания сочинений Лермонтова хранят следы кропотливой работы самого Блока, выбиравшего наиболее интересные варианты лермонтов-

ских черновиков, которые он внес в примечания, и исправлявшего орфографию и пунктуацию там, где они влияют на звучание стиха. Блока во многом не удовлетворяло академическое издание. На первой странице «Демопа» он пишет: «Текст неудовлетворителен. Следует предпочесть во многом карлсруйские издания. Я исправил, сличил с вариантами и Ефремовым». То, что Абрамович замечал многоточиями многие стихи Лермонтова, считая их «неудобными для печати», каждый раз вызывало, по-видимому, раздражение Блока. Так, в конце стихотворения «Девятый час, уж поздно» после строк, замененных многоточием, Блок приписал: «Исключены цензурой г. Абрамовича (8 стихов)». В то же время надпись Блока около заглавия стихотворения «Не знаю, надо ли» свидетельствует о том, что сам он колебался, включать ли вообще стихотворение в «Избранные сочинения», поскольку предвещал различные требования к академическому полному собранию сочинений и избранным сочинениям. В предисловии к изданию Гржебина он писал: «Есть два способа издавать творения Лермонтова: или целиком, или одну треть, приблизительно, часть всего им написанного». В академическом полном издании Блок явно хотел видеть творения Лермонтова целиком, и каждый раз, когда в примечаниях Абрамовича написано, что стихи опущены как неудобные для печати, Блок размахисто подчеркивал это место.

Не только текстологическая работа, орфография, пунктуация академического издания, но и вступительная статья и комментарии вызвали многие возражения Блока. Так, истоки мотивов лермонтовской поэзии Абрамович видит исключительно в самой личности Лермонтова. «Юношеские произведения Лермонтова, как и вся его поэзия, — продукт чисто индивидуального настроения, которое сложилось частью под влиянием врожденных задатков и склопностей к меланхолии и рефлексии, частью — как результат несчастных жизненных случайностей» (V, XL—XLI). Это замечание вызывает изумление Блока. «И это можно было печатать в Академическом издании!» — приписывает он рядом со словами Абрамовича (слова «можно» и «Академическом» подчеркнуты).

Во многих случаях, когда Абрамович указывает литературный источник того или иного произведения Лермонтова, сомнение Блока вызывает достоверность факта знакомства с ним Лермонтова. Отсюда многочисленные заметки на полях типа: «Неизв., читали ли тогда», «Читали ли тогда Гюго?». Абрамович пишет, что «под впечатлением „Дум“ Рыльева» написана «Жалоба турка» (Блок замечает: «не доказано»), «Сыны снегов, сыны славян» и «Олег» (Блок приписал: «а Пушкин?»). Перечисление стихотворений, навеянных Жуковским, также вызвало сомнение Блока (рядом с текстом восклицательный и вопросительный знаки). Стихотворение «Любовь мертвеца» в этом списке подчеркнуто, рядом надпись: «вздор».

Продолжается эта своеобразная полемика с Абрамовичем и в той части статьи, где речь идет о стихотворной технике Лермонтова. «С внешней, технической стороны, в стихосложении Лермонтова, — пишет Абрамович, — не видим каких-нибудь существенных нововведений» (V, 206). Рядом Блок выписал цитату из рецензии Дурылина: «С. Дурылин пишет: „Мудрепо их увидеть человеку, ничего для изучения этого стихосложения не сделавшему“». Абрамович приходит к заключению, что «точному определению не поддается вольный размер таких стих., как „Челнок“, „Перчатка“, „Воздух там чист“, „Слышу ли голос твой...“ — надпись: «поддается».

Комментарий Д. И. Абрамовича к стихотворению «Нет, я не Байрон» явно не удовлетворил Блока. В нем написано: «В стихотворении видят доказательство эмансипации Лермонтова от влияния Байрона» (восклицательный знак Блока). Далее приведена цитата из Н. А. Котляревского: «Лермонтов сочинил эти стихи как будто из чувства самозащиты, предугадывая, что его назовут подражателем, как его, действительно, иногда называли» (I, 408; снова восклицательный знак Блока). Если первую часть этого комментария Блок, возможно, нашел примитивно упрощенной, то со второй, вероятно, не был согласен по существу. Сам он построил комментарий к этому стихотворению, исходя из более раннего «Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...». Рядом с текстом этого стихотворения надпись: «в примеч. к „Нет, я не Байрон“».

Отметил Блок и многие фактические неточности в комментариях академического издания. Так, в примечаниях к переводу Лермонтова написано, что они печатаются впервые. Блок пометает: «„Napoleon's Farewell“ уже было напечатано у Висковатова». Иногда Блоку не нравился сам состав и форма комментария. В примечании к стихотворению «Как луч зари, как розы Леля» у Абрамовича написано: «Стихотворение считалось вариантом V-й строфы стихотвор. „Девятый час, уж темно...“» (I, 373). Блок поставил рядом восклицательный и вопросительный знаки и написал: «Кто считает? зачем считает?» После примечания к поэме «Азраил», где, в частности, написано: «В поэме видят самый ранний первообраз Демона» (I, 409), Блок приписал: «почему самый ранний». В комментарии Абрамовича написано о Е. П. Ростопчиной, что она познакомилась с Лермонтовым в начале 1841 года (между тем Лермонтов был знаком с ней еще в студенческие годы). Блок отметил эту ошибку — три восклицательных и один вопросительный знак. В тексте письма Лермонтова к С. А. Бахметевой вычеркнуто многоточие и приписано: «многоточия нет, г-н редактор». К изданию приложено факсимильное воспроизведение письма).

Следует отметить, что письма Лермонтова включать в одготомник не предусматривалось, так что сличение текстов вызвано исключительно интересом Блока непосредственно к тексту лермонтовских писем.

Наконец, последняя помета Блока в V томе академического издания также относится к работе Д. И. Абрамовича, который включил академическое издание сочинений Лермонтова в хронологическую кашву жизни и творчества поэта. Блок, конечно, считал это невозможным с точки зрения научной этики. Против этих строк он поставил восклицательный знак.

Таким образом, изучение помет, не изменяя в принципе нашего представления об отношении Блока в последние годы его жизни к Лермонтову, показывает, насколько глубоко был осведомлен Блок в отдельных вопросах изучения творчества Лермонтова и какого бережного отношения и научной тактичности требовал при изучении и издании его произведений.

А. В. ПРЯМКОВ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С С. Н. СЕРГЕЕВЫМ-ЦЕНСКИМ

С С. Н. Сергеевым-Ценским лично я не встречался, но внимательно следил за всем, что выходило из-под пера этого замечательного писателя. Высокую оценку его произведений неоднократно давал, как известно, А. М. Горький. О Сергее Николаевиче мне много рассказывал литературовед Н. И. Замощкин. По его совету я и обратился 9 ноября 1956 года с письмом к С. Н. Сергееву-Ценскому. В то время я начал собирать материалы для статьи о его творчестве. Особенно меня интересовала эпопея «Преображение России». Вот что ответил мне писатель:

«Уважаемый Алексей Васильевич!

Тронут тем, что Вы хотите написать обо мне статью в связи с выходом 10-томного собрания сочинений моих в Гослитиздате, очень незначительно в Советском Союзе число людей, сколько-нибудь знакомых с тем, что написал я за 56 лет.

9-й том вышел, а в 10-м, который выйдет в середине декабря, три вещи: роман „Преображение человека“, состоящий из двух частей: „Наклонная Елена“, написанная в 1913 г. и „Суд“, написанная в 1953 г.; повесть „Львы и солнце“ (о февральской революции) и роман „Искать, всегда искать!“, состоящий из двух частей: „Память сердца“ и „Загадка кокса“.

Полагаю, что писать Вам нужно будет главным образом об эпопее „Преображение России“, так как для читателя это — новая сторона моей деятельности: эпопея эта, как цельное произведение, показывается впервые (а один роман, как составная часть его, — *«Пушки заговорили»* — даже и печатается впервые). В то же время многого, что из него печаталось, как например, романы „Бурная весна“ и „Горячее лето“ („Брусиловский прорыв“), а также многочисленные повести на темы гражданской войны и разрухи не вошли не только в 4 тома эпопеи, но и вообще в 10-томник, как не вошли в него романы „М. Лермонтов“, „Невеста Пушкина“, „Ночь и Гоголь“, как не вошло много романов и повестей и ничего из шести тысяч моих стихотворений и двух тысяч басен.

Земля моя очень велика и обильна, но советская критика деятельно избегала ознакомления с ней.

В законченном виде одна только эпопея „Преображение России“ должна будет занять не менее 10 томов. В ближайшие два года, если буду жив, я и надеюсь ее закончить.

Очень благодарен Вам за доброе отношение ко мне и желаю всего лучшего.

28 XI 1956 г. Крым, Алушта».

В этом письме несомненный интерес представляют замечания Ценского о структуре и характере эпопеи «Преображение России».

Писатель был не совсем прав, упрекая нашу критику в недостаточном внимании к своему творчеству. Библиография критических статей и исследований о творчестве Ценского значительна.¹ Правда, не было еще специальных монографий. Писателю же хотелось увидеть обобщающую работу о себе как художнике слова.

¹ Русские советские писатели. Прозаики, т. 4. Изд. «Книга», М., 1966, стр. 242—276.

В сентябре 1958 года отмечалось 60-летие писательской деятельности Сергеева-Ценского. Среди юбилейных материалов, за которыми внимательно следил Ценский, появились две мои небольшие статьи о нем. Сергеев-Ценский откликнулся на них следующим письмом:

«Алушта, 22 окт. <ября> 58 г.

Дорогой Алексей Васильевич!

Большое спасибо Вам за статьи обо мне в газете „Литература и жизнь“ и в журнале „Москва“, написанные в спешном порядке и, по необходимости, коротенькие. Обе статьи как бы намекают вежи книги обо мне, будет ли она принадлежать Вам или кому-либо другому.

Хорошо, что Вы обратили внимание на мое знание фольклора и умение им пользоваться. В книге о моем творчестве на эту тему могла быть написана целая большая глава. Я сознательно указывал, выводя того или иного простолюдина, какой он губернии родом, какого уезда, так как оп у меня говорил своим языком, и этот его язык у меня больше не повторялся. (Напр. <имер>, язык печника в поэме «Неторопливое солнце»). Или язык штукатура Павла в повести „Кость в голове“. И в поэмах „Печаль полей“ и „Валя“ каждому лицу свойствен тот язык, каким он говорит. Между прочим, в „Печали полей“ есть лирическое место: „Поля мой! Вот стою я среди Вас оди, обняв перед Вами темя“ и т. д. Это не „герой“ поэмы говорит, как у Вас в статье, это авторское лирическое отступление.

Ничего не говорится Вами о моем пейзаже, а дореволюционные критики посвящали этому теплые страницы.

В письме от 8 ноября 1958 года я расспрашивал писателя об обстоятельствах публикации в большевистской газете «Звезда» (1910, № 2, 23 декабря) очерка «Когда я буду свободен?». Одновременно я выслал ему мою книжку «Писатели из народа». Сергеев-Ценский ответил (письмо без даты, почтовый штемпель 26 ноября 1958 года):

«Дорогой Алексей Васильевич!

Получил Вашу книгу, изданную в Ярославле, и письмо. Спасибо за внимание. Оказалось, что у Вас почти все мои книги имеются, даже „Чудо“ — берлинское издание, о котором мне писал М. Горький. Теперь это „Чудо“ у меня переделано, и в новом своем виде оно будет включено мною в „Преображение России“.

Кстати сказать, до 30 повестей и рассказов я наметил включить в эту эпопею. А романов в ней будет сколько успею написать до своей смерти.

Если Гоголь, по выражению П. Анненкова, „сделал себе из «Мертвых душ» склеп, из которого не вышел до самой смерти“,² то для меня таким „склепом“ явился „Преображение“. Вот эта-то тема и должна бы, на мой взгляд, лечь в основу Вашей обо мне книги.

Воплощение одной темы, сделавшее целеустремленной от начала до конца всей, причем очень долгой, жизни писателя — как единственный, исключительный пример во всей русской художественной литературе, — вот единственная и исключительная тема книги о моем творчестве. Ведь даже и молодые мои стихотворения в прозе и поэмы в прозе, как „Лесная топь“, „Печаль полей“, „Движения“, „Молчальники“, „Медвежонок“ и пр. — все на одну эту тему „Преображение России“.

Не делая различия между эпопеей и таким явлением, как циклизация ряда произведений, Сергеев-Ценский писал далее:

«Так как никто из писателей-классиков у нас не отваживался на эпопею такого огромного объема, как „Преображение России“ (свыше 300 листов), т. к. самая большая эпопея „Война и мир“ — всего только 85 л., то мне нужно было самому устанавливать законы архитектоники для „Преображения“, о чем Вам придется говорить в своей книге. Пусть эта книга будет и не так велика по объему, но мне бы хотелось, чтобы она конспективно охватывала все вопросы, возникающие при коротком, а не поверхностном знакомстве с моими произведениями, причем язык должен быть популярным...»

В процессе Вашей работы, конечно очень трудоемкой, прошу ко мне обращаться за справками. В частности, „Когда я буду свободен?“ было взято у меня для „Звезды“ Влад. Бонч-Бруевичем, с которым я был знаком по „Современному миру“, где он помещал статьи о сектантах.

В Петербурге я появлялся па короткое время, и более близкое знакомство там у меня было только с редакцией журнала „Современный мир“ (редактором там был тогда Ник. Ив. Иорданский, впоследствии советский полпред в Италии). В ре-

² Имеются в виду воспоминания П. В. Анненкова «Гоголь в Риме летом 1841 года». С. Н. Сергеев-Ценский не совсем точно воспроизводит слова Анненкова (см.: Гоголь в воспоминаниях современников. Гослитиздат, М., 1952, стр. 268).

зультате помещения „Когда я буду свободен?“ в „Звезде“ у меня на даче в Крыму появились три околоточных надзирателя столичной полиции. Они были назначены наблюдать за мною, т. к. царь в это время поселился с семьей в Ливадии. Никаких поползновений на мою свободу у этих околоточных, хотя и столичной полиции, быть не могло, т. к. по паспорту, благодаря своей учительской службе, я был коллежским асессором в отставке (т. е. майором), по военной службе — прапорщиком запаса. Но они приходили на целый день и торчали у меня на даче, и я, наконец, уехал на Волгу, чтобы от них избавиться.

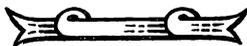
Повторяю, что книга Ваша обо мне будет очень трудоемкой и Вам, быть может, целесообразным было бы выпускать ее в свет частями.

Желаю Вам успеха и здоровья. А сам я теперь очень болен, лежу, и болезнь у меня уникальная, так что медицина не знает, как ее лечить. Называется она невроксантома.

Ваш С. Сергеев-Ценский».

Это, видимо, было последнее письмо Сергеева-Ценского. Он умер 3 декабря 1958 года.

30 сентября 1975 года исполняется сто лет со дня рождения С. Н. Сергеева-Ценского, одного из блестящих продолжателей колоссальной работы наших классиков — Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова, как называл его Горький. Публикуемые нами письма показывают, что перед исследователями его творчества стоит еще немало задач, в частности — выяснение принципов, позволивших писателю рассматривать свое творчество как единое произведение.



ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

О СПИСКАХ «ПОСЛАНИЯ» СТАРЦА АВРААМИЯ ПЕТРУ I

За последнее время заметно оживился интерес к замечательному публицистическому произведению петровского времени — «Посланию» игумена подмосковного Андреевского монастыря старца Авраамия Петру Первому. В этом произведении смелый монах подверг основательной критике существовавшие тогда порядки и предложил ряд радикальных реформ, вытекавших из потребностей трудового населения страны. «Послание» Авраамия представляет собой памятник оппозиционной общественно-политической мысли России начала петровских реформ.

Мы имеем в виду вышедшую два года назад большую статью М. Я. Волкова.¹ Однако в этой интересной и обстоятельной статье почему-то обойдены такие немаловажные археографическо-источниковедческие проблемы, как вопрос о том, сохранился ли автограф послания, сколько дошло списков, где они находятся в настоящее время, и др. Из статьи М. Я. Волкова создается впечатление, что существуют по крайней мере два списка «Послания».

На такие размышления наводят указанные им две публикации — Ф. П. Сушицкого и Н. А. Баклановой.² Первая выполнена по рукописи, принадлежавшей в 1913 году известному киевскому собирателю, ближайшему участнику и редактору «Киевской старины» Владимиру Павловичу Науменко (1852—1919). Н. А. Бакланова издала в 1951 году «Послание» по списку, паходившемуся в коллекции академика Владимира Николаевича Перетца (1870—1935), которая принадлежала в то время Институту мировой литературы.

Что это — один список или два разных текста? Статья не дает ответа на этот вопрос. Между тем тщательное сравнение обеих публикаций с привлечением рукописи из коллекции В. Н. Перетца неопровержимо показало, что они сделаны с одного и того же, ныне находящегося в коллекции В. Н. Перетца списка «Послания». Все в публикациях буквально, с абсолютной точностью совпадает: размер и количество листов в рукописи, одинаковое количество букв в строках, одинаковое разделение слов при переносах и многое другое. Это было бы невозможно, если бы публиковались два разных списка.

Что перед нами один и тот же список «Послания» Авраамия, но только опубликованный в разное время, подтверждается и другими, не менее существенными фактами из истории самой рукописи.

Первый его публикатор Феоктист Петрович Сушицкий (1883—1920) был учеником В. Н. Перетца по Киевскому университету, активным участником его семинария по древнерусской литературе.³ До конца своей жизни он поддерживал тесные дружеские связи со своим учителем. Кроме того, в 1913—1914 годах, в момент работы над «Посланием», Ф. П. Сушицкий преподавал литературу в старших классах киевской гимназии В. П. Науменко. Как близкий к В. П. Науменко человек, он имел доступ к богатейшей коллекции этого собирателя, пользовался ее материалами в своих работах.

Ф. П. Сушицкий наверняка поделился своей находкой с учителем, и В. Н. Перетц, понимавший толк в рукописях, сразу, по-видимому, оценил значение этого произведения и, возможно, даже содействовал появлению его в печати.

Но каким же образом попала потом эта рукопись «Послания» Авраамия в коллекцию В. Н. Перетца?

В. Н. Перетц имел хорошую привычку ставить на рукописях дату их приобретения. На разбираемой нами рукописи стоит такая дата: 10 мая 1928 года. Что же касается коллекции В. П. Науменко, то известно, что после его смерти часть ее погибла в последнем его доме в селе Прохоровке, на левом берегу Днепра, немного

¹ М. Я. Волков. Монах Авраамий и его «Послание Петру I». В кн.: Россия в период реформ Петра I. Изд. «Наука», М., 1973, стр. 311—336.

² Ф. Сушицкий. Из литературы эпохи Петра Великого. II. Старец Авраамий, публицист конца XVII в., и его «Послание к Петру В.». «Филологические записки» (Воронеж), 1914, вып. I, стр. 112—140; вып. II, стр. 263—280; Н. А. Бакланова. «Тетради» старца Авраамия. «Исторический архив», вып. VI, 1951, стр. 131—155.

³ Семинарий русской филологии академика В. Н. Перетца. Л., 1929, стр. 56.

ниже Канева, другая часть разошлась по рукам, а небольшое количество его рукописного материала попало в Библиотеку АН УССР. С 1926 года выбранный в Академию наук УССР В. Н. Перетц частенько наезжал в Киев по академическим делам и попутно пополнял свою уже тогда редкостную коллекцию старинных рукописей материалами, найденными на Украине. Именно в Киеве в 1928 году он, наверное, и приобрел, в одну из своих очередных поездок, рукопись «Послания» старца Авраамия Петру Первому, принадлежавшую ранее В. П. Науменко.

Таким образом, как видно из вышеизложенного, «Послание» известно в настоящее время всего в одном науменковском списке, находящемся теперь в коллекции В. Н. Перетца (№ 139). Эта замечательная коллекция принадлежит ныне Древлехранилищу Пушкинского дома АН СССР. Других списков пока не найдено. Н. А. Бакланова, печатая этот список в 1951 году, не знала о предшествующей его публикации. Но она издала его более точно и в то же время правильно определила рукопись как авторизованную копию с небольшой личной редакторской правкой Авраамия.

У нас есть теперь основания предполагать, что в коллекции В. Н. Перетца имеются, возможно, и другие рукописные материалы, принадлежавшие киевскому собирателю, но какие, установить трудно из-за отсутствия описи коллекции В. П. Науменко, а также и потому, что ее владелец не оставлял на рукописях никаких своих отличительных знаков.⁴

В. И. МАЛЫШЕВ

ОБ ОДНОМ ОБРАЗЕ У ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО

Выделив в русской литературе «экспрессивно-эмоциональный стиль конца XIV—XV в.», Д. С. Лихачев привел конкретный пример из «Жития Стефана Пермского», написанного Епифанием Премудрым:

«Если автор употребляет сравнение, он не заботится о том, чтобы оно могло быть конкретно, зрительно воспринято. Для него важен внутренний смысл событий, а не его внешнее сходство. „По истине бо тех суть красны ноги, благовествующих мир“, — говорит автор, не задумываясь над тем, как воспримут его читатели образ „красивых ног“ тех проповедников, которые „благовествуют мир“. „Красивые ноги“ — это только абстрактная идея, но не конкретный образ». «Ноги... — продолжает Д. С. Лихачев, — становятся ... абстрактными символами».¹

Однако Епифаний не является автором разбираемого выражения. Это — цитата из апостола Павла (Послание к Римлянам 10, 15), который следует Ветхому завету (Исайя 52, 7).

В библейской филологии троп «красивые ноги» (точнее — ступни ног, *pulchri pedes*) получил детально разработанное и пока беспорное истолкование, выдвинутое Конрадом Вайссом (Ростокский университет, ГДР). Этот троп подразумевает благовестителей и их деятельность, избрав для обозначения целого ту часть, которая лучше всего выразила неустанное хождение по странам, где ведется миссионерство.²

В понимании пророка Исайи, апостола Павла, русского начетчика Епифания и всех, кто слушает апостол во время богослужения, «красива» деятельность благовестителей, а не что-нибудь другое. «Красивые ноги» — не абстрактные символы, а реалистическая, осязаемая синекдоха (*pars pro toto*).

М. Ф. МУРЬЯНОВ



⁴ При написании этой заметки автор пользовался помощью академика М. П. Алексева, учившегося в гимназии В. П. Науменко, И. Я. Айзенштока и Л. Е. Махновца.

¹ Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. Изд. «Наука», М., 1970, стр. 78. Ср.: D. S. Lichačov. Člověk v literatuře staré Rusi. Praha, 1974, s. 84.

² Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 6. Bd. Stuttgart, 1958, S. 627—632.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. Н. БАСКАКОВ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ РУСИСТИКА В ЖУРНАЛЕ «PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY» (1970—1974)

«Przeгляд Humanistyczny» — это научный журнал широкого профиля, посвященный главным образом вопросам отечественной и зарубежной культуры и литературы. Издается он в Варшаве с 1957 года. На протяжении семнадцати лет журнал выходил один раз в два месяца, с начала 1974 года стал издаваться ежемесячно. Во главе его бесценно стоит известный историк польской литературы и педагог Ян Зигмунт Якубовский.

Журнал, как правило, формируется из четырех основных разделов. В первом из них помещаются статьи по важнейшим проблемам теории и истории культуры (в том числе и литературы); во втором — материалы, публикации и сообщения, построенные на конкретных исторических или историко-литературных фактах и документах; в третьем — рецензии и обзоры; в четвертом — хроникальные заметки и обзоры важнейших научных периодических изданий. Кроме того, в отдельных номерах появляются разделы, где публикуются воспоминания, дискуссионные или полемические выступления, а также работы молодых ученых. Раздел «Научные дебаты», часто фигурирующий в журнале, состоит обычно из одной или двух статей вступающих в науку исследователей. Рекомендую читателям работы молодого поколения ученых, журнал способствует выполнению важнейшей задачи современной науки по воспитанию ее кадров.

Центральное место в журнале занимают проблемы теории и истории литературы. Публикуемые на его страницах литературоведческие исследования многочисленны и разнообразны по своей тематике. В сферу изучения наряду с польской литературой включены античная и западноевропейские литературы, много внимания уделяется литературному развитию в странах Восточной Европы. И конечно, чаще других встречаются работы по русской литературе, в которых порою затрагиваются значительные проблемы как русского литературного движения, так и польско-русских литературных отношений. Интерес журнала к русской литературе, в последние годы постепенно возрастающий, после прихода в редколлегию известного специалиста по русской литературе профессора Б. Бялокозовича становится особенно заметным и постоянным.

За 1970—1974 годы,¹ которым посвящено настоящее обозрение, в журнале напечатано 49 статей и материалов по русской литературе, 36 рецензий на советские литературоведческие издания и зарубежные исследования в области русистики, 24 обозрения и хроникальные заметки о важнейших событиях в международной русистике, а также о периодических изданиях, печатающих исследования по русской литературе. Конечно, подавляющее большинство опубликованных в журнале работ посвящено польским связям русской литературы: в этой области польское литературоведение располагает неоспоримыми преимуществами и достаточно широкой источниковедческой базой для постановки и решения больших и важных проблем. Вместе с тем журнал печатает и статьи, выходящие за рамки взаимосвязей и касающиеся непосредственно теории и истории русской литературы, ее поэтики и стиля. Однако программа журнала в этой области менее обширна и целенаправленна, чем в отношении взаимосвязей. Интересные сами по себе, исследования не всегда касаются важнейших проблем литературного развития изучаемой эпохи, не всегда достаточно полно и точно отражают современное состояние польской литературоведческой русистики. Возьмем для примера русскую литературу XIX века. Личные и литературные взаимоотношения писателей, подробности их биографий,

¹ Настоящее обозрение ограничено 1970—1974 годами в связи с тем, что русские материалы предшествующего периода в журнале «Przeгляд Humanistyczny» уже были предметом рассмотрения в статье Л. Ершова («Русская литература», 1970, № 2, стр. 199—203).

история и роль альманахов в литературном процессе, содержание исследований, посвященных романтизму, — вот основные моменты, связанные с эпохой XIX века, которые обсуждаются на страницах журнала. А между тем польская литературоведческая русистика располагает достаточно широкими возможностями, чтобы представить этот этап русского литературного процесса в его важнейших проявлениях. Ведь эпоха XIX века характерна прежде всего становлением и развитием в русской литературе критического реализма, определявшего лицо тогдашней русской литературы. Однако вопросы истории и теории русского реализма затрагиваются в журнале лишь мимоходом, хотя в польской русистике работает немало ученых, внесших значительный вклад в изучение творчества Пушкина, писателей-декабристов, русских революционных демократов, величайших представителей русского реализма (Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова). Пока же статьи, посвященные истории и теории русской литературы XIX века, не относящиеся к области взаимосвязей литератур, порою кажутся случайными, не создающими у читателя представления о главнейших явлениях и тенденциях в развитии русской литературы изучаемого периода. Впрочем, это замечание в равной степени относится и к немногочисленным в журнале материалам по советской литературе. Учитывая то обстоятельство, что работы, посвященные русской и советской литературе, не составляют в журнале четко определенной группы, в настоящем обзоре мы рассмотрим их в общем ряду с исследованиями в области взаимосвязей литератур.

Однако прежде чем приступить к обозрению той части издания, которая касается истории русской литературы и ее польских связей, несколько слов необходимо сказать о выступлениях журнала по общим вопросам развития польской русистики, в том числе литературоведческой. Дело в том, что в 1973 году на страницах ежемесячника «Nowe drogi», являющегося теоретическим органом Центрального Комитета ПОРП, состоялась широкая дискуссия, посвященная русистике, в ходе которой затрагивались многие вопросы, связанные с сегодняшним положением дел в этой области, обсуждались проблемы, касающиеся общественно-идеологической роли русистики, углубления исследований русской литературы и повышения уровня ее преподавания в средних и высших учебных заведениях, совершенствования обучения русскому языку и т. д. В дискуссии принимали участие ученые-литературоведы, среди которых Б. Бялокозвич (открывший дискуссию), Т. Позыняк, В. Скрунда, А. Кмита, Ф. Селицкий, Ю. Борсукевич. Результаты дискуссии в журнале «Przegląd Humanistyczny» подвел В. Скрунда (1974, XI, 165—174), подчеркнувший ее крупнейшее значение в культурной и научной жизни страны.

Выступления Б. Бялокозвича и Р. Срочиньского, опубликованные в том же ноябрьском номере журнала за 1974 год, представляют по сути дела продолжение дискуссии и возвращают читателя к важнейшим вопросам изучения русской и советской литературы в Польше, отмечая главнейшие пробелы и недостатки в работе русистов и намечая перспективы дальнейшего движения в этой отрасли польского литературоведения. Проф. Б. Бялокозвич в статье «О некоторых проблемах славистики и русистики» (23—53) затронул общие вопросы развития польской русистики, обратил внимание на методологические искания в этой области, коснулся трудностей и задач, стоящих перед польской русистикой. В качестве одной из основных перспектив в ее развитии Б. Бялокозвич считает создание обобщающих трудов по истории русской и советской литературы, которые подведут итоги многолетней работы по изучению русской литературы и станут основой для создания учебников и учебных пособий, необходимых для активизации общего процесса подготовки славистических кадров в стране. Б. Бялокозвич обращается к методологическим проблемам, особенно в связи с изучением русской литературы XX века и польско-русских литературных отношений, отмечает еще имеющее место отступление от марксистско-ленинской методологии в этих областях науки и подчеркивает необходимость последовательного осуществления принципа партийности при организации и проведении исследований в тех сферах русистики, в которых методологическая неопределенность еще дает себя чувствовать.

Продолжая обсуждение вопросов, поднятых Б. Бялокозвичем, Р. Срочиньский в статье «Гуманистический смысл споров вокруг исследований по русской и советской литературе в народной Польше» (79—94) наметил круг явлений, относящихся «к разным фазам в восприятии и изучении советской литературы в 1944—1974 годах», показал — в историческом аспекте — «характер исследования гуманистических основ литературы восточного соседа», а также обратил внимание на бытующие в польском литературоведении концепции, дающие неточное представление или искажающие характер становления и развития литературы социалистического реализма.

Отмеченные в статье методологические просчеты, свойственные некоторой части польского литературоведения, занимающейся изучением советской литературы, хотя и накладывают свой отпечаток на характер научного процесса, но не меняют общей направленности и перспектив его дальнейшего развития, открывающего перед польской русистикой, одной из самых развитых в Европе, широкие горизонты и возможности.

Исследование русской литературы в журнале ограничено XIX и XX веками. История русской литературы эпохи средневековья и XVIII века здесь почти не затрагивается. Правда, в статье П. Левин «Записки курсов поэтики и риторики в польских учебных заведениях из архивов Москвы и Ленинграда» (1974, IX, 109—117) дан содержательный обзор найденных автором документов, относящихся к XVII—XVIII векам и позволяющих внести некоторые коррективы в существующие представления об учебном процессе того времени, но работа П. Левин, лишь косвенно связанная с русским литературным развитием, является единственным обращением к этому периоду на страницах журнала.

Среди работ о XIX веке следует отметить статью Юзефа Борсукевича «Взгляды Виссария Белинского на романтизм в науке о литературе» (1973, III, 43—58). Автор ее известен польскому и советскому читателям своими многочисленными работами о Лермонтове и Белинском. Заслуживает внимания то обстоятельство, что польский литературовед обратился к решению сложнейшей проблемы об отношении Белинского к романтизму, которая, несмотря на продолжающуюся более ста лет дискуссию, до сих пор окончательно не решена и вызывает подчас, в том числе и в советском литературоведении, мнения противоречивые, а порою и взаимоисключающие. Напечатанная в журнале статья представляет собою систематическое обозрение взглядов на эту проблему выдающихся представителей русской критики XIX века, дореволюционных и советских литературоведов: Н. Чернышевского, А. Скабичевского, А. Веселовского, Н. К. Козьмина, П. Когана, А. Лаврецкого, В. Н. Орлова, Н. А. Гуляева, К. Н. Григорьяна, Ю. Манна и многих других. Подобное обозрение полезно тем, что оно дает живое представление относительно противоречивости исторического рассуждения затронутой проблемы и, еще раз подчеркивая ее важность, свидетельствует о незавершенности столь долгой дискуссии.

К работе Ю. Борсукевича непосредственно примыкает статья Л. Суханека «Проблемы теории романтизма в советском литературоведении (1963—1973)» (1974, XI, 105—117). В ней дается обозрение развития научной мысли, начиная с выступления А. Н. Соколова («Вопросы литературы», 1963, № 7), открывшего известную дискуссию о романтизме 1963—1964 годов, и кончая VII Международным съездом славистов в Варшаве, посвятившим свою программу проблемам романтизма. Это десятилетие (1963—1973) в изучении романтизма составляет характерный и очень важный этап, представленный широким кругом исследований и дискуссионных материалов, рассматривая которые Л. Суханек отмечает ряд моментов в теории романтизма, с точки зрения сегодняшнего уровня науки требующих дальнейшего изучения. Среди них проблема направления и метода, гносеология романтизма, терминологические вопросы и т. д.

Из писателей первой половины XIX века только Лермонтов привлек внимание журнала. Творчество этого писателя рассматривается здесь с точки зрения его восприятия в Польше, воздействия на него польской литературы или типологической общности лермонтовских произведений с произведениями польских писателей. Статья Ю. Борсукевича «Лермонтов и Польша» (1971, I, 99—113) представляет собою общий очерк проблемы. Автор касается польских знакомств Лермонтова, рассматривает польскую проблематику и польские мотивы в его произведениях, подробно останавливается на знакомстве Лермонтова с творчеством Мицкевича и воздействии на него польского поэта. Наиболее интересной является, пожалуй, заключительная часть статьи, связанная с Мицкевичем, хотя ряд положений, выдвигаемых автором и касающихся воздействия Мицкевича на различные аспекты художественного творчества Лермонтова, требует дополнительной аргументации. Идея о взаимосвязи творчества Лермонтова и Мицкевича лежит в основе следующей статьи Ю. Борсукевича «Мицкевич в раннем творчестве Лермонтова» (1972, V, 67—76). Автор ставит вопрос о степени знакомства Лермонтова с произведениями Мицкевича, рассматривает мицкевичевские мотивы в его произведениях («Письмо», «Последний сын вольности», «Литвинка», «Боярин Орша» и др.), выясняет историю перевода Лермонтовым сонета Мицкевича. Две статьи Ю. Борсукевича суммируют существующие в науке мнения о польских контактах Лермонтова и польских мотивах в его творчестве и дают возможность дальнейших размышлений в этой области. Заключительная статья лермонтовского цикла принадлежит И. Склад. Называется она «„Герой нашего времени“ Лермонтова и „Чашотка души“ Людвика Штырмера» (1974, IX, 97—108). Автор статьи проводит сопоставительный анализ произведений, ставя своей целью дать классификацию связей между ними. В результате И. Склад приходит к выводу о существовании как контактных связей между этими произведениями, так и типологической зависимости.

Серия из четырех статей В. Скрунды посвящена русским альманахам первой половины XIX века и их роли в русском литературном процессе. Это продолжение большого исследования, начатого статьями, напечатанными в 1970—1971 годах в журнале «Slavia orientalis». В последних дана общая характеристика альманахов, намечена их классификация, главным образом в пределах эпохи 1820—1840-х годов. Статьи В. Скрунды, публикуемые в журнале «Przegląd Humanistyczny», более теоретичны и в основном касаются роли, которую альманахи сыграли в русском литературном развитии эпохи.

В основу исследования В. Скрунды положена классификация русских альманахов, предполагающая два их типа — энциклопедический и монографический. Проследившая эволюцию их развития, автор отмечает, что энциклопедический альманах был свойствен сентиментально-романтическому этапу русской литературы (1973, III, 27—41), возникновение же монографического типа альманаха связано с процессом становления критического реализма, с появлением в 1840-х годах физиологического очерка (1973, I, 137—152). Автору удалось продемонстрировать связь альманахов с историей литературного развития страны и обосновать закономерность возникновения этой связи.

Один из вопросов, до сих пор окончательно не решенных, затрагивается в статье В. Вильчинского «Лев Толстой и Афанасий Фет в начале своей дружбы» (1973, III, 73—89). Обычно в литературоведении, в том числе и в последней статье С. Розановой «Лев Толстой и Фет (история одной дружбы)», опубликованной в журнале «Русская литература» (1963, № 2, стр. 86—107), проводится или поддерживается тезис «о загадочности дружеских отношений между Львом Толстым, великим писателем-реалистом, защитником народа, и поэтом „чистого искусства“ и консерватором Афанасием Фетом» (73). В. Вильчинский, анализируя начальный этап (1855—1863) в отношениях Л. Толстого и А. Фета, отмечает, что «существовали основания для обоюдного сближения, что не было загадочности в дружеских отношениях двух великих художников» (89). Сопоставительный анализ позволил В. Вильчинскому выявить ряд общих черт идеологического свойства, сходных моментов в биографии, совпадающих эстетических воззрений, которые способствовали сближению Толстого и Фета, а позднее на протяжении многих лет поддерживали эту дружбу. Статья В. Вильчинского дополняет и уточняет предшествующие исследования и приближает завершение споров по затронутому вопросу.

Творчество Достоевского, которому польское литературоведение уделяет серьезное внимание, в журнале «Przegląd Humanistyczny» в центре интересов не стоит. Исследования, посвященные Достоевскому или связанные с ним, появляются здесь редко и разрабатывают далеко не центральные проблемы идеологии и эстетики писателя. За пять лет журнал четыре раза обращался к Достоевскому, лишь в одном случае касаясь непосредственно его творчества, а в трех рассматривая его в аспекте отражения польской литературы либо зарубежным кинематографом.

Галина Бжоза, в последнее время часто выступающая по теоретическим вопросам, которые решаются ею на материале русской классики XIX века и главным образом творчества Достоевского, в своей статье «О категории „дополнительного содержания“ в повествовательном произведении (на примере „Идиота“ Достоевского)» (1974, VIII, 63—81) предприняла попытку структурального анализа романа, результаты которого, по ее мнению, говорят о целесообразности «рассмотрения в литературных исследованиях проблематики, связанной с теми областями семантики эпического художественного произведения, которые раньше вообще не затрагивались в научных исследованиях, ибо считались элементами второстепенными и не имеющими большого влияния на формирование основного коммуникативного смысла такого произведения» (80). Конечно, категория «дополнительного содержания», включающая в себя всю систему вторичных значений литературного произведения, явившись предметом исследования, дает любопытный материал, полезный для изучения творческого процесса во всей его полноте и многообразии.

Взаимоотношениям двух видов искусства — литературы и кино — посвящена статья Я. Сквары «Федор Достоевский и некоторые проблемы „черного фильма“» (1974, IX, 85—96). В ней автор рассматривает воздействие Достоевского на сегодняшнюю кинематографию, работающую в области криминального жанра, и определяет формы этого воздействия, подчеркивая, что современный фильм широко и по-разному пользуется наследием великого писателя. Иногда кинематограф обращается к сюжетным мотивам Достоевского, упрощая их, иногда развивает идеи писателя, но в этом случае часто приходит в противоречие с его гуманистическими моральными позициями и т. д. Однако, каковы бы ни были методы и формы привлечения в кино наследия Достоевского, трудно, по словам автора, оспаривать мнение, что «ни один из гигантов литературы не оказал столь благоприятного влияния на кинематограф, как Достоевский» (95).

Две следующие работы о Достоевском принадлежат вроцлавским ученым Т. Позняку и Ф. Селицкому, посвятившим свои исследования восприятию наследия Достоевского в Польше и влиянию его на развитие польской литературы. Статья Т. Позняка называется «Достоевский и польский модернизм. Очерк проблемы» (1971, V, 69—78). Отмечая, что знакомство с Достоевским в Польше состоялось очень поздно, лишь в конце прошлого века, значительно позднее, чем в других славянских странах и в Западной Европе, исследователь проследивает причины этого явления и подчеркивает роль польских позитивистов, которые хотя и относились к Достоевскому с некоторым пренебрежением и «писали о нем скорее по своим журналистским обязанностям, чем по убеждениям» (69), тем не менее первые познакомили польского читателя с Достоевским. Таким образом, процесс проникновения в Польшу произведений Достоевского совпал с началом становления в польской литературе модернизма, которого в наследии Достоевского интересовало

прежде всего «искусство беспощадного анализа загадочных движений человеческой души» (70). Рассматривая отношение польского модернизма к Достоевскому, автор обращается к творчеству Мариана Эдзеховского, Станислава Бжозовского, Тадеуша Налепиньского, к статьям и исследованиям Владислава Яблоновского и Александра Брюкнера, в результате чего создается общая характеристика начального этапа бытования и восприятия творчества Достоевского в Польше. Значительная часть работы Т. Позьняка посвящена переводам Достоевского в Польше до первой мировой войны и постановкам его произведений на польской сцене. Активизация процесса восприятия Достоевского в Польше привела к тому, что его творчество в начале XX века стало «веским элементом духовного и литературного движения на польских землях в период модернизма, аргументом в политических дискуссиях накануне возвращения стране независимости» (78).

Существенным дополнением и развитием исследования Т. Позьняка является опубликованная в том же номере статья Ф. Селицкого «Достоевский в кругу польских писателей на переломе XIX и XX веков» (1971, V, 79—102). В ней ставится вопрос о влиянии Достоевского на творчество отдельных польских писателей этой эпохи. «Достоевский действительно оказал большое влияние на европейскую литературу, в том числе и на польскую» (79), — отмечает Ф. Селицкий и для доказательства этого положения приводит и анализирует многочисленные высказывания польских писателей о Достоевском, отзывы критики, подтверждающие наличие традиций русского писателя в их творчестве. В круг исследования вошли Крашевский, Прус, Ожешко, Жеромский, Пшибышевский и многие другие деятели польской литературы и литературной критики, испытавшие воздействие со стороны Достоевского или высказывавшиеся по этому вопросу. Конечно, в конце XIX—начале XX века наиболее сильное влияние Достоевского испытали Жеромский и Пшибышевский. Статья Ф. Селицкого дает обширный материал для дальнейшей работы в этой области и намечает пути, которые могут привести к широкому обобщающим выводам теоретического характера о взаимодействии литератур братских народов.

Вслед за работами о Достоевском идет небольшой цикл статей о Некрасове, принадлежащих Я. Орловскому и А. Цесаю. Три из них посвящены матери поэта, выяснению ее национальной принадлежности. Дело в том, что до сих пор в науке сосуществуют две версии, первая из которых указывает на польское происхождение Елены Андреевны, другая — на русско-украинское. А. Цесай в статье «Мать Некрасова» (1971, VI, 153—179) собрал все имеющиеся в настоящее время документальные данные, проанализировал их и пришел к выводу, что сейчас нет достаточных аргументов для подтверждения польского варианта существующей версии. Документальные данные, наоборот, дают основания говорить о русском или украинском происхождении Елены Андреевны, так как ее отец, мелкий чиновник, вряд ли принадлежал к богатому роду польских магнатов Закшевских. С критикой ряда положений А. Цесаю выступил Ян Орловский, но и он не смог, за неимением достаточных материалов, предложить окончательное решение вопроса. Отвечая Я. Орловскому, А. Цесай привел дополнительную аргументацию, но окончательный ответ требует дальнейших архивных поисков, особенно в районах Западной Украины, где проживала семья Закревских.

Этими же авторами в журнале опубликованы и другие статьи о Некрасове, касающиеся интерпретации и восприятия его произведений в Польше и польской проблематики в творчестве поэта. Первая из них принадлежит Я. Орловскому. Называется она «Поляки в поэзии Некрасова» (1971, II, 167—172). Статья представляет собою свод откликов Некрасова на польские события, свидетельствующих о его сочувствии польскому народу, которое в творчестве поэта не было, в отличие, например, от Герцена, выражено открыто из-за невозможности сделать это по цензурным соображениям. Автор останавливается на выступлениях Некрасова против Булгарина и Сенковского, анализирует краткие упоминания о поляках и завуалированные отклики на польские события в его поэзии 60-х годов, в поэме «Кому на Руси жить хорошо», польские мотивы в произведениях, посвященных матери.

Первая статья в цикле работ о забытых переводчиках Некрасова также принадлежит Я. Орловскому и называется «Забытые переводы поэзии Николая Некрасова (переводы Болеслава Лондыньского)» (1970, I, 141—147). Болеслав Лондыньский — автор переводов «Кольбельной песни» и «Из поэм: „Мать“», напечатанных им в 1887 году. Я. Орловский, анализируя названные переводы, определяет их место в ряду ранее выполненных другими авторами переводов этих произведений и включает их в общий процесс популяризации творчества Некрасова в Польше. Ряд статей о неизвестных переводчиках Некрасова напечатал в журнале А. Цесай, уже известный в этой области своей работой о Брониславе Шварце (Kwartalnik JPR, 1953, № 5, с. 47—57). Его статья «Владимир Наконечны (Базыли) как переводчик Некрасова» (1972, VI, 113—124) интересна анализом переводов, сделанных В. Наконечным, и сведениями о литературно-критической и педагогической деятельности переводчика, ныне забытого слависта, в свое время знакомившего польского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Некрасова, внесшего заметный вклад в развитие литературных отношений братских народов в первой половине XX века. Из некрасовских переводов В. Наконечны опубликовал в 1903 году в краковском

журнале «Liberum veto» «Колыбельную песню» и «Современную оду». Первый из них до сих пор является, как убедительно доказывает автор, лучшим польским переводом этого произведения. Значение статьи в том, что она восстанавливает в истории польско-русских литературных отношений незаслуженно забытое имя В. Наконечного и, привлекая внимание к его деятельности, открывает возможности для дальнейшего изучения его роли как переводчика и исследователя. А. Цесажу принадлежит и статья о переводчике Некрасова Эвальде Лодвиг-Ледве, писавшем под псевдонимом Адам Кашубский (1973, IV, 127—137). В ней приведены интереснейшие сведения биографического характера и дан анализ переводов из Некрасова, изданных в 1947 году и ныне являющихся библиографической редкостью и в научный оборот не вошедших. Переводческая деятельность Э. Лодвиг-Ледвы выходит за рамки поэзии Некрасова и подлежит специальному изучению, особенно с точки зрения рассмотрения выполненных им переводов из Пушкина, Лермонтова, Крылова. Последняя в ряду работ о забытых переводчиках Некрасова — статья А. Цесажа «Владислав Ордон (Шансер) и Николай Некрасов» (1974, X, 141—147). Она посвящена творчеству В. Ордона, в 1867 году опубликовавшего перевод «Современной оды» Некрасова и позднее неоднократно обращавшегося к русской литературе. Таков цикл статей о Некрасове, не поднимающий магистральных вопросов его творчества и биографии, но дающий исследователям новые материалы, сводящий воедино ранее не обобщенные сведения и тем самым представляющий дальнейшие возможности для изучения поставленных проблем. Надо сказать, что в последнее время наследие русских революционных демократов — Герцена, Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина — привлекает постоянное внимание польской науки, внесшей существенный вклад в изучение их творчества и их польских связей и отношений.

Изучению русской поэзии XIX века с точки зрения отражения в ней польских мотивов и образов посвящены статьи члена редколлегии журнала проф. Б. Бялокозовича. В первой из них рассматриваются отклики на польское восстание 1830 года в русской поэзии, в том числе в творчестве сосланных в Сибирь декабристов, в произведениях Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Тютчева и др. (1971, II, 99—114), во второй — эта тема хронологически продолжена и характеризуется позиция отдельных поэтов (Огарева, Добролюбова, Тютчева) и литературных групп (поэты «Искры») по отношению к «польскому вопросу» и восстанию 1863 года (1971, III, 83—108).² К двум названным статьям примыкает исследование Б. Бялокозовича «Михаил Михайлов в кругу польских вопросов» (1970, VI, 57—71), в котором не только прослеживаются обширные польские связи Михайлова, но также рассматриваются польские мотивы и источники его произведений, переводы произведений польских писателей, анализируется отношение его к Польше и польскому народу. В целом работы Б. Бялокозовича суммируют оценку русской литературой, главным образом поэзией, и отдельными ее деятелями польского революционно-освободительного движения.³

Из других работ о польско-русских связях XIX века следует назвать статью Х. М. Малговской «„Картинки Сибири“ Людвика Немоевского. Успех и литературные неудачи» (1974, X, 129—139), в которой рассматривается сборник литературно-этнографических очерков Сибири, принесший известность Л. Немоевскому, и сообщаются сведения из его ныне забытой биографии. Отметим также интересное исследование Я. Орловского «Алексей К. Толстой о Польше» (1972, IV, 137—143). Автор выявляет польские мотивы в драматической трилогии, в поэзии А. Толстого, конкретизирует его взгляды на «польский вопрос», полные терпимости, уважения, понимания языковой, религиозной, культурной обособленности польского народа. «С тем большим уважением следует припомнить смелую и независимую позицию Алексея Толстого, который в трудную историческую минуту для поляков последовательно и часто выступал в защиту их национальной самостоятельности» (143).

Статья Ф. Селицкого «Русские революционеры XIX века в междувоенной Польше» (1970, II, 149—166) больше относится к истории русского революционного и общественного движения. В ней рассматривается противоречивый и сложный процесс восприятия в Польше в 1920—1930-х годах наследия Герцена, М. Бакунина, П. Лаврова, Л. Тихомирова, П. Кропоткина, Г. Плеханова. Специальный раздел статьи, посвященный Герцену, воспроизводит атмосферу сложной борьбы вокруг его имени и наследия, в которую в это время включились представители разных политических и литературных направлений, от А. Брюкнера и В. Ледницкого до Я. Кухажевского и Ю. Пилсудского.

Русская литература конца XIX—начала XX века затрагивается в журнале почти исключительно с точки зрения польско-русских связей. Одной из центральных в этом отношении является статья Ф. Селицкого «Polonica в произведениях

² Со статьей Б. Бялокозовича перекликается и работа В. Стохеля «Январское восстание в белорусской литературе» (1972, I, 83—93).

³ В переработанном виде названные работы Б. Бялокозовича вошли в его книгу «Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku» (W-wa, 1971).

Горького» (1971, III, 135—152), по своему содержанию значительно более широкая, чем это обозначено в заглавии. Автор рассматривает не только польские мотивы и отражения в произведениях Горького, но и проследживает их генеалогию, что приводит к выяснению многих польских знакомств (в том числе с А. Дробыш-Дробышевским и Ф. Держжинским), связей и увлечений писателя, отношения Горького на разных этапах его жизненного и творческого пути к полякам и Польше. Ф. Селицкий обобщил разрозненные ранее материалы, установил неизвестные факты и тем самым обосновал возможность постановки особой проблемы о польских связях Горького и их отражениях в его творчестве, что несколько позднее и было сделано автором в специальной монографии.⁴

Дополнением к статье Ф. Селицкого о Горьком является заметка Г. Маркевича «Максим Горький как читатель Богдана Залеского» (1972, I, 139), представляющая собою раскрытие до сих пор непрокомментированного польского мотива из повести «В людях». Приводимый в повести стишок о царе гуннов Атилле («В сталь закован по безлюдью...»), как установил Г. Маркевич, взят из неизвестного русского перевода поэмы Б. Залеского «Дух степей». Этот перевод до сих пор не найден, хотя судьба наследия Б. Залеского и обследована Ф. Селицким, изложившим результаты своих разысканий в статье «Богдан Залески в русских переводах», сопровождающей заметку Г. Маркевича (141—142).

Г. Гальская в статье «Пшибышевский и русская литература» (1972, IV, 79—89) сделала, в частности, ряд существеннейших наблюдений относительно влияния Достоевского на Пшибышевского, основанных главным образом на материале эпистолярного наследия польского писателя за 1879—1927 годы. Сравнивая роль Достоевского в творчестве Жеромского и Пшибышевского, Г. Гальская пишет: «Насколько в отношении Жеромского „достоевщина“ является чем-то второразрядным — Жеромский сам по себе великий писатель, а общественный и национальный характер его искусства придает ему соответствующую степень — то в отношении „пшибышевщины“ „достоевщина“ является тем, что может сегодня хоть частично возратить Пшибышевскому не столько славу писателя, сколько обратить внимание на него как на творческую личность и побудить к размышлениям над его ролью в культурном процессе минувшей эпохи» (89).

Статья Ф. Селицкого «Мережковский в междувоенной Польше» (1973, III, 105—127) содержит богатейшие сведения о переводах, театральных постановках и откликах критики. Процесс восприятия Мережковского был сложен и противоречив. Ф. Селицкий совершенно правильно отмечает, что «отношение поляков к нему часто было двойственным либо совсем недоброжелательным. Предопределяла это прежде всего проповедуемая им идеология. Именно из-за нее этот писатель сегодня у нас почти совсем забыт, хотя объективно следует признать, что он занял видное место в истории польско-русских литературных и культурных отношений» (127). Еще менее признания завоевал в Польше М. Арцыбашев, в 1923 году поселившийся в этой стране и развернувший там активную антисоветскую деятельность. Ф. Селицкий в статье «Михаил Арцыбашев в Польше» (1974, VI, 131—137) сумел дать четкую оценку послереволюционной деятельности этого писателя-эмигранта и в результате рассмотрения откликов польской печати о нем прийти к выводу, что «ни Арцыбашев-прозаик, ни драматург, ни публицист не нашел признания среди подавляющего большинства поляков, ибо он принадлежал к тому культурному и политическому течению предреволюционной России, которое было им попросту чуждо» (137).

Касаясь польско-русских литературных связей предреволюционной поры, следует в заключение назвать статью З. Кмечика «Польская печать в Одессе в 1906—1919 гг.» (1973, III, 141—151). Это первая серьезная работа, раскрывающая историю и судьбы таких изданий, как «Życie Polskie», «Głos Polski», «Nowiny Polskie», «Kurier Odeski», «Dziennik Odeski» и др. Автор знакомит с их содержанием и направлением, определяет роль этих изданий, часто кратковременных, в литературно-общественной жизни того времени.

Рассмотренными работами и ограничивается круг статей, посвященных XIX веку. Они ценны содержащимися в них новыми материалами, постановкой ряда вопросов, ранее наукой не затрагивавшихся, целенаправленностью разысканий в сфере литературных взаимосвязей.

Статьи по советской литературе в журнале «Przegląd Humanistyczny» появляются редко, значительно реже, чем по литературе классической, хотя, казалось бы, что в журнале, обращенном к широким кругам научной общественности, проблемы современной литературы должны занимать более заметное место. За пять лет журнал напечатал всего лишь семь исследований, посвященных литературе социалистического реализма и ее польским связям. Среди них есть статьи, затрагивающие важнейшие проблемы развития советской литературы. Таковы, например, статья Б. Вялоковича «Ленин и русская литература» (1970, II, 1—16), открывающая номер журнала, выпущенный к столетию со дня рождения В. И. Ленина, или работа Ф. Неуважного «Маяковский и Ленин» (1970, II, 45—59), в которой рассма-

⁴ F. Sielicki. Maksym Gorki w kręgu spraw polskich. W-wa, 1971, 204. s.

тривается отношение Ленина к Маяковскому и анализируется ленинская тема в творчестве поэта революции. В этом же номере, в котором помещена чуть ли не половина всех статей по советской литературе, напечатана и работа Л. Язукевич-Оселковской «Проблема человека и времени в творчестве Алексея Толстого и Константина Федина» (1970, II, 111—123). В ней рассматриваются философско-этические вопросы, которые «несомненно свидетельствуют о непреходящей общечеловеческой ценности» произведений этих писателей: личность и история в связи с темой любви в творчестве Алексея Толстого, человек и время в контексте проблемы искусства в творчестве Константина Федина. Статьи А. Дравича посвящены литературе военной и послевоенной. В одной из них анализируется «Повесть о жизни» К. Паустовского и определяется ее место среди произведений автобиографической прозы в русской и советской литературе (1972, II, 109—128).

Современная советская лирическая проза анализируется в статье Р. Раджука (1974, XI, 131—143). Автор считает, что «главным и, вероятно, решающим фактором» популярности лирической прозы в современной литературе является четкая позиция автора по отношению к изображаемым явлениям окружающей действительности. Кроме названных работ, посвященных различным проблемам советской литературы, журнал опубликовал содержательное (в двух статьях) исследование Т. Шишко «Советская литература на страницах „Robotnika“» (1972, V, 133—146; 1973, VI, 67—86). Это единственная работа, касающаяся сферы взаимосвязей польской и русской литературы в послереволюционный период. В ней рассматриваются материалы по советской литературе в газете «Robotnik», много сделавшей для ее пропаганды, и прослеживается эволюция издания в связи с его восприятием литературой социалистического реализма.

Советская часть литературоведческого отдела журнала небогата, но немногочисленные статьи, ее составляющие, интересны с точки зрения выбора тематики, постановки вопросов и новых материалов, вводимых в круг исследования. Однако все же еще раз следует заметить, что советская литература занимает в журнале место непропорционально малое даже по сравнению с другими разделами русской литературы, и надо надеяться, что теперь, когда журнал стал ежемесячным, эта непропорциональность будет ликвидирована.

В отделе критики журнал, как правило, рецензировал в год четыре-пять книг, посвященных русской литературе. С увеличением периодичности эта цифра в 1974 году изменилась и возросла до 15. Ограниченность возможностей отдела — здесь печатаются отклики на работы по всем разделам мировой культуры и истории — не позволяла, да и сейчас не позволяет создать общей картины движения научной мысли в той отрасли мировой литературной науки, которая занимается русской литературой. Среди трудов по русской литературе журнал естественно прежде всего должен был обратить внимание на работы польских русистов. За пять лет появились рецензии на монографии Е. Славенцкой, Б. Бялоковича, Ф. Селицкого, Я. Орловского, Е. Кухарской, на ряд коллективных трудов. Это не так мало, но и не включает многих крупных явлений польской русистики. Видимо, при современном уровне развития науки рецензия не может удовлетворить потребности читателя в информации и переход от рецензии к обзору вполне закономерен. Основная задача сейчас не столько подробнейший анализ одной книги — это сделает сам специалист, к ней обратившийся — а информация о состоянии разработки отдельных проблем, создание общей картины положения дел в той или иной отрасли науки.

Из работ советских авторов за пять лет в журнале отрецензированы книги А. Днепров, А. Хватова, Л. Ершова, С. Шешукова, К. Приймы, С. Лупшова, Е. Наумова, посвященные советской литературе. Надо сказать, что в этом отношении журнал сосредоточился главным образом на работах по советской литературе. Обращение к трудам по другим периодам истории русской литературы эпизодично. Почти совершенно не обращается журнал к русистике других стран. Работы по истории взаимосвязей в разделе критики не выступают на первое место, их касаются даже меньше, чем исследований по русской литературе. Конечно, далеко не все и не всегда главное рецензируется в журнале, но тем не менее он дает представление о целом ряде отдельных явлений в области польской и советской русистики.

Богатый информационный материал сосредоточен в разделе «Хроника». В нем печатаются обзоры периодических изданий, полностью или частично посвященных русской литературе. Среди них главное внимание уделяется, конечно, советским периодическим научным изданиям. «Przegląd Humanistyczny» регулярно публикует подробные обзоры содержания журнала «Русская литература» (1971, II, 198—210; 1972, VI, 160—170; 1973, VI, 136—146), принадлежащие В. Скрунде, а также «Вестника Московского университета» (1970, I, 181—186; 1971, IV, 177—184; 1972, V, 186—191; 1973, V, 201—205; 1974, V, 184—188), написанные Б. Бялоковичем (в 1970 году) и В. Скрундой. Эти работы служат своего рода путеводителями по крупнейшим советским периодическим изданиям, посвященным изучению русской литературы, и дают характеристику напечатанных в них исследований достаточно подробную для того, чтобы результаты их могли быть использованы польским

литературоведением. Не столь регулярно, но все же довольно часто появляется в журнале другой тип обозрения, посвященный не одному научному изданию, а ряду периодических или серийных изданий. Автором «обзоров» советских научных журналов является Э. Салони (1970, V, 151—154; 1972, I, 168—172; VI, 156—160; 1973, V, 198—200). В них в краткой форме сообщается о работах, публикующихся в журналах «Вопросы языкознания», «Научные доклады высшей школы», «Вестник Ленинградского университета», «Известия Академии наук СССР». Таким образом, польский журнал достаточно регулярно и подробно сообщает читателю о советских научных изданиях, печатающих исследования по русской литературе и частично по русскому языку. К сожалению, эта довольно полная картина советского литературоведения несколько нарушается отсутствием информации о журнале «Вопросы литературы», одним из крупнейших литературоведческих изданий, несомненно представляющем интерес для польского читателя.

Обзорные статьи, появляющиеся в журнале «Przegląd Humanistyczny», различны по типу и объему содержания. Некоторые представляют собою хроникальные статьи: о выступлениях советских полонистов в Варшавском университете (1971, VI, 199—204), об организованной Комитетом славяноведения ПАН научной сессии, посвященной изучению славянских литератур в неславянских странах (1972, IV, 175—182), о московском симпозиуме Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (1973, I, 174—176), о деятельности Института славяноведения и балканистики (1973, III, 195—198), об изучении восточнославянских литературных связей в Варшавском университете (1973, IV, 176—178), о Варшавском съезде славистов (1974, I, 149—152), о Втором Международном конгрессе русистов в Варне (1974, I, 154—156), о научных конференциях в Ополе и в Ольштыне (1974, II, 163—165; XI, 178—180) и др. Специальные обзорные статьи посвящены дискуссии о положении русистики на страницах журнала «Nowe drogi» (1974, XI, 165—174) и деятельности Отдела восточнославянских литератур Отделения славяноведения ПАН (1974, XI, 174—178).

В целом раздел хроники содержит очень большое количество информационных материалов о русской литературе и касается важнейших явлений советской, польской и международной русистики, хотя в силу характера издания и не может охватить весь круг этих явлений. Тем не менее польский исследователь и рядовой читатель получают обширную и регулярную, хотя и сравнительно лапидарную информацию о международной русистике, необходимую для нормальной работы литературоведения и удовлетворения нужд педагогов, переводчиков, лекторов, исследователей.

Весь комплекс материалов, публикуемых в журнале «Przegląd Humanistyczny», свидетельствует о постоянном и постепенно возрастающем интересе издания к русской литературной теории и истории. Особенное внимание проявляет журнал к области взаимосвязей польской и русской литератур, для изучения которой публикуемые на его страницах исследования являются важным шагом вперед по пути к созданию систематической истории отношений литератур двух братских народов. Не являясь центральной, русская литературная тематика в журнале тем не менее представлена интересными исследованиями, включающимися в общую систему изучения русской литературы и ее международных связей.

Ю. К. БЕГУНОВ

АМЕРИКАНСКАЯ АНТОЛОГИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *

В последнее время в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Англии наблюдается заметный интерес к литературе Древней Руси. О новых исследованиях «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» мы уже писали в нашем недавнем обзоре.¹ В США и Канаде продолжают выходить в свет сборники и монографии, посвященные отдельным памятникам или проблемным вопросам истории литературы Древней Руси. «Слову о Лазаревом воскресении» (XII век) посвятил свою книгу Д. Р. Хитч-

* Medieval Russia's epics, chronicles and tales. Edited, translated and with an introduction by Serge A. Zenkovsky. Vanderbilt university. Revised and enlarged edition. New York, E. P. Dutton and co inc., 1974, 526 pp.

¹ Ю. К. Бегунов. «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении, «Русская литература», 1974, № 2, стр. 226—232. Добавим пропущенные нами новый перевод «Слова» на английский язык С. Монаса в журнале «Delos» (1970, № 6) и статью Р. О. Якобсона «Сокол в мифе» («Южнославянский филолог», кн. XXX, св. 1—2, 1973, стр. 125—134).

кок (1974). О русском исихазме и духовном мире писателя XV века Нила Сорского написал исследование Г. Малони (1973); некоторые вопросы происхождения русского исихазма рассматривает в сборнике своих статей Д. Мейендорфф (1974). Проблемам Второго югославянского влияния в России посвятил свою книгу И. Талев (1973). В. Тумишш исследовала и критически издала знаменитый Ответ царя Ивана IV протестантскому пастору Яну Роките (1971), а Э. Кинан опубликовал спорное исследование о переписке Ивана Грозного с Курбским (1971).² А. Кадич вместе с голландским ученым Т. Экманом издал книгу о жизни и творчестве русско-хорватского писателя XVII века Юрия Крижанича (1974). Древнерусским традициям в старообрядческой литературе XVIII—XIX веков посвятил свою книгу Р. Крамме (1970). Сборник русских духовных стихов издал недавно С. А. Зеньковский (1974). Общие вопросы поэтики и стилистики древнерусской литературы нашли отражение в сборниках трудов ведущих «древников» США — Р. О. Якобсона (1966—1972) и Г. Бирнбаума (1974). Весьма важными для изучения поэтики и стилистики Древней Руси были доклады на VII Международном съезде славистов Р. Пиккьо («Модели и образцы в литературной традиции средневекового православного славянства») и Р. Попа («О характере и степени влияния византийской литературы на оригинальную литературу южных и восточных славян»).

В 1974 году в США и Канаде вторым изданием вышла в свет антология произведений русской литературы XI—XVII веков в переводе на английский язык, составленная профессором Вандерbiltского университета в г. Нэшвилле С. А. Зеньковским. По сравнению с первым изданием 1963 года³ антология значительно расширена за счет включения многих известных повестей и рассказов из Повести временных лет, Новгородской 1-й летописи, Галицко-Волынской летописи, Жития Феодосия и замечательных памятников Древней Руси: Поучения Владимира Мономаха, Моления Даниила Заточника, Житий князей Александра Невского и Довмонта-Тимофея, Слова о Житии великого князя Дмитрия Ивановича, Хождения Афанасия Никитина за три моря, стихотворного послания Ивана Фуникова, Повести о Сухане, поэтических произведений Симеона Полоцкого. Всего в антологии насчитывается 76 произведений (в первом издании их было 60). В конце книги добавлен «Краткий словарь русских терминов» (стр. 523—524). Как и в первом издании, имеется вступительная статья «Введение. Литература Средневековой Руси» (стр. 1—40), вводные замечания к каждому переводу и подстрочный реальный комментарий. Книга снабжена несколькими иллюстрациями и тремя географическими картами.

Большинство переводов на английский язык выполнены С. А. Зеньковским мастерски — с учетом мелодики и ритмики древнерусской художественной речи, с пониманием ее синтаксиса и специфической фразеологии. Среди лучших переводов отметим переводы «Слова о полку Игореве», «Слова о погибели Русской земли», Поучений Серапиона Владимирского, Моления Даниила Заточника, Жития Александра Невского, Задонщины, Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича. Труд переводчика был сопряжен с большими трудностями: приходилось заботиться не только об адекватности смысла и стили переводимых текстов, но и учитывать имеющуюся богатую традицию конъектурную критику текстов древнерусских произведений в современной науке. Каждый перевод древнерусского текста — это ведь своеобразное прочтение его текста, вклад в его понимание и освоение современным читателем.

Заслуживает быть отмеченной твердая научная позиция составителя антологии в отношении аутентичности знаменитой переписки князя А. М. Курбского и царя Ивана Васильевича Грозного, оспариваемой отдельными скептиками в США (Э. Кинан). В указанной рецензии мы уже отмечали, что большим достоинством антологии С. А. Зеньковского является то, что он строит свои переводы на прочном научном фундаменте с учетом последних достижений советской филологической науки в изучении истории текстов и издания памятников древнерусской литературы. Такой подход сохранен и в отношении памятников, дополнительно включенных во второе издание антологии. Так, рассказы Новгородской 1-й летописи младшего извода о войне новгородцев с суздальцами (под 1169 и 1170 годами), об избрании архиепископа Мартирия (Мантурия) (под 1193 годом), повесть о битве на Калке (под 1224 годом), а также известия под 1128, 1143, 1156, 1157 годами переведены по изданию 1950 года А. Н. Насонова,⁴ Поучение князя Владимира Мономаха к детям — по последнему академическому изданию 1926 года первого тома «Полного собрания русских летописей»,⁵ Житие князя Александра Невского переведено по из-

² E. L. Keenan. The Kurbskii-Groznyi Apocrypha. Cambridge, Mass., 1971. Убедительную критику взглядов Э. Кинана см.: Р. Г. Скрябин и др. Мифы и действительность Московии XVI—XVII веков (ответ профессору Эдварду Л. Кинану). «Русская литература», 1974, № 3, стр. 114—129.

³ См. нашу рецензию в «Известиях АН СССР» (серия литературы и языка, 1964, т. XXIII, вып. 5, стр. 441—444).

⁴ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. и с предисловием А. Н. Насонова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950.

⁵ Полное собрание русских летописей, т. I, вып. 1. Изд. АН СССР, Л., 1926.

данию 1955 года Псковской 2-й летописи⁶ с использованием текста, опубликованного в «Изборнике».⁷

Основой для перевода на английский язык Жития князя Довмонта-Тимофея послужили Синодальный и Строевский списки Псковских 2-й и 3-й летописей, изданные А. Н. Насоновым.⁸ Ритмизированный перевод Моления Даниила Заточника основан на Кирилло-белозерском списке XVII века, опубликованном в 1954 году М. Н. Тихомировым,⁹ дополнения даются по изданию 1932 года Н. Н. Зарубина.¹⁰ Перевод знаменитого «Хожения за три моря» Афанасия Никитина использует издание этого произведения в серии «Литературные памятники».¹¹ Остроумная стихотворная пародия Ивана Фуникова (1607 год) переведена из монографии И. И. Смирнова.¹² Повесть о богатыре Сухане переведена по изданию 1956 года В. И. Малышева.¹³ Для перевода на английский язык виршей Симеона Полоцкого основой послужили издания этих текстов в «Истории древней русской литературы» Н. К. Гудзия и в «Избранных сочинениях» Симеона Полоцкого.¹⁴

В антологии используются и прежние переводы на английский язык древнерусских текстов: Э. Гаррисона и Х. Миррлесс, С. Х. Кросса, Д. Феннела, Л. Винера, В. Морфилла, Н. Зернова; при подготовке нового издания антологии профессору С. А. Зеньковскому помогали его ученики Д. Л. Армбрюстер, Д. Хадра, Р. Паттерсон, Р. Бови. В основу переводов некоторых текстов положены старые, дореволюционные издания. Так, «Житие великого князя Дмитрия Ивановича» переведено по тому VI «Полного собрания русских летописей» (1853), «Урядник соколиного пути» — по «Собранию писем Алексея Михайловича», изданному П. И. Бартеневым (1856).

Заметим, что не всегда старые издания памятников были удовлетворительными и подходили для перевода. Например, «Слово о законе и благодати» Илариона переведено по изобилующему ошибками изданию 1844 года А. В. Горского, а не 1963 года Н. Н. Розова.¹⁵ Включенный в антологию перевод Л. Винера двух «Слов» Кирилла Туровского основан на устаревшем издании XIX века, а не на критическом издании их текста И. П. Ереминым.¹⁶

При переводе апокрифа «Слово о Лазаревом воскресении» можно было бы учесть публикацию М. В. Рождественской,¹⁷ а при переводе «Слова о полку Игореве» — последнее критическое издание его текста.¹⁸

Недостатком второго (как и первого) издания хрестоматии С. А. Зеньковского является распределение материала по весьма условной схеме: «Литературная школа Киевской эры» (XI—XIII века), «Эпиконы Киевской школы» (середина XIII—XIV век), «Эра Московитского орнаментального формализма» (XV—начало XVII века), «Увидание средневековых образцов и начало барокко» (XVII век). Экстравагантные заголовки не отражают сущности исторического развития древне-

⁶ Псковские летописи, вып. II. Под редакцией А. Н. Насонова. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 11—16.

⁷ «Изборник». (Сборник произведений литературы Древней Руси). Сост. и общая ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. Изд. «Художественная литература», М., 1969, стр. 328—343 («Библиотека всемирной литературы»).

⁸ Псковские летописи, вып. II, стр. 16—18, 82—87.

⁹ М. Н. Тихомиров. «Написание» Даниила Заточника. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. X, 1954, стр. 270—279.

¹⁰ Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Приготовил к печати Н. Н. Зарубин. Изд. АН СССР, Л., 1932 (Памятники древнерусской литературы, т. III).

¹¹ Хожение за три моря Афанасия Никитина. 1466—1472. Под ред. Б. Д. Грекова и В. П. Адриановой-Перетц. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948. Второе, дополненное и переработанное, издание вышло в 1958 году.

¹² И. И. Смирнов. Восстание Болотникова. 1606—1607. Госполитиздат, М., 1951, стр. 541—543.

¹³ В. И. Малышев. Повесть о Сухане. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 135—139.

¹⁴ Н. К. Гудзий. История древней русской литературы. Изд. «Просвещение», М., 1966, стр. 503; Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. Подготовка текста И. П. Еремина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 7—8, 15.

¹⁵ Н. Н. Розов. Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. «Slavia», Praha, 1963, гоc. XXXII, seš. 2, s. 141—175.

¹⁶ И. П. Еремин. Литературное наследие Кирилла Туровского. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XI, 1955, стр. 342—367; т. XII, 1956, стр. 340—361; т. XIII, 1957, стр. 409—426; т. XV, 1958, стр. 331—348.

¹⁷ М. В. Рождественская. К литературной истории текста «Слова о Лазаревом воскресении». «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XXV, 1970, стр. 47—59.

¹⁸ Слово о полку Игореве. Вступительная статья Д. С. Лихачева. Сост. и подгот. текстов Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. Прим. О. В. Творогова и Л. А. Дмитриева. «Советский писатель», Л., 1967, стр. 43—56 (Библиотека поэта, большая серия).

русской литературы: например, в Киевской Руси существовала не одна, а множество литературных школ; литературу Северо-Востока XIII—XIV веков вряд ли можно называть «эпигонской», литература эпохи возвышения Москвы и образования Русского централизованного государства не заслуживает обвинения в «орнаментальном формализме». Весьма спорной представляется нам датировка «Повести о Фроле Скобееве» XVII веком — это все же произведение конца первого десятилетия XVIII века.

Вступительная статья к антологии (стр. 1—40) должна была бы содержать не пересказ некоторых литературных фактов, а историко-литературный и эстетический анализ художественных творений Древней Руси, раскрывающий их своеобразие перед американскими читателями.

В книге встречаются и неточности. Так, произведения торжественного красноречия Илариона и Кирилла Туровского отнесены в раздел «гомилетики и дидактики», «Слово о погибели Русской земли», памятник ораторский, сочетающий «славу» и «плач», — к «воинским повестям», «Моление Даниила Заточника» — к «эпистолярным произведениям», «Повесть о новгородском белом клобуке» — к «идеологическим сочинениям». Неточен термин «vaig» для обозначения беличьей шкурки, имевшей хождение в денежном обращении Киевской Руси (стр. 523); правильно: «векша» или «виверица» (в 1 «ногате» — 24 «векши»); одна верста не равна одному поприщу, поприще — 2/3 версты или 360 сажень (стр. 523). Встречаются и неточности в датировках. Так, Великие Миней-Четы митрополита Макария составлялись не в 1550—1570 годах, как указано в антологии (стр. 526), а между 1530-ми годами и 1554 годом. Вряд ли имеет смысл точно называть год написания «Слова о полку Игореве» (1186 год) и «Задонщины» (1386 год), «Поучение» Луки Жидята не было самым старым произведением русской литературы, 1261 год не открыл начало московской ветви династии князя Рюрика, анты в IV веке еще не основали государства на берегах Днепра (см. стр. 525) и т. д.

Наши некоторые критические замечания не могут изменить общего положительного впечатления от рецензируемой книги. Выход ее в свет — свидетельство растущего интереса широкой американской общественности к достижениям нашей страны в области культуры.

Второе издание «Средневековой русской эпики, хроник и повестей» С. А. Зеньковского несомненно принесет пользу всем тем, кто хочет изучать на Западе культуру Древней Руси.

Г. М. ПРОХОРОВ

СНОВА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ КАРАМЗИН *

(ЕЩЕ ОДНА ГИПОТЕЗА ОБ АВТОРЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»)

Клаус Трост (г. Вюрцбург) опубликовал в VII номере журнала «Anzeiger für slavische Filologie» за 1974 год статью «Карамзин и „Слово о полку Игореве“». К вопросу о подлинности „Слова“. Кратко изложив историю первого издания «Слова», историю мнений и споров о его подлинности (стр. 128—133), К. Трост высказывает здесь собственную гипотезу — о том, что «Слово» было написано Н. М. Карамзиным. На чем же она основывается?

В «Слове о полку Игореве» К. Трост усматривает черты карамзинского «нового слога». Какие именно? Отсутствие союзов *дабы, зане, ибо, колико, поелико, понеже*, преобладание в синтаксисе сочинения над подчинением, применение анафоры, аптитезы, инверсии, аллитерации, ритмизованность прозы. Автор указывает, что в таком несомненно древнерусском памятнике, как «Русская правда», союз «а» встречается 57 раз, а союз «и» — 14, в «Слове» же союз «и» употреблен 83 раза, союз «а» — 55 и союз «нъ» («но») — 6. Всего 34% сложных предложений «Слова» связаны союзами, 2,5% — относительными местоимениями, остальные 63,5% являются бессоюзными. И у Карамзина в «Острове Борнгольме» почти то же самое количество (63,9%) бессоюзных сложносочиненных предложений. Для классицизма же обычные 46%. В «Задонщине» картина иная: там 77% предложений связано при помощи союзов и относительных местоимений и лишь 23% случаев бессоюзного паратаксиса (сочинения). Союзы *зане, занеже, понеже*, которых избегает «Слово о полку Игореве» и равно Карамзин, встречаются в «Задонщине». В предшествующие «Задонщине» времена в Древней Руси были употребительны союзы *ибо, дабы, поелико, колико*, тоже не находимые ни в «Слове», ни у Карамзина. По употреблению бес-

* Klaus Trost. Karamzin und das Igorlied. «Anzeiger für slavische Filologie», VII, 1974, S. 128—145.

союзного паратаксиса близок к «Слову» говор Дорофеева, поселка Московской области, зарегистрированный в 1929 году (61%).

К. Трост приводит несколько примеров сходства ритмической организации фраз «Слова» и предложений Карамзина из сочинений до 1795 года, чтобы исключить возможность влияния «Слова» на стиль Карамзина. Примеров этих немного, их можно все воспроизвести.

«С л о в о»

К а р а м з и н

1а. Были вечи Трояни,
минули лета Ярославля...

V₁-prät—N_{nom}—Adj_{pass}

2а. Уже снесся хула на хвалу;
уже тресну нужда на волю;
уже врѣжеса дивь на землю.

Adv—V_{аог}—N_{nom}—Prät—N_{акк}

3а. Что ми шумить,
что ми звенить...

4а. Бишася день,
бишася другой:
третьяго дни къ полудню падоша
стязи Игоревы.

5а. Дети бесови кликомъ поля
прегородиша,
а храбрии Русичи преградиша
чрълеными щиты.

6а. уныша бо градомъ забралы,
а веселие пониче...

7а. Уже бо Сула не течеть серебреными струями...

с — с — с

1б. видел много чудного,
слышал много удивительного;

V_{prät}—Adv—Adj_{gen}

«Остров Борнгольм» (1793)

2б. Никогда жаворонки так хорошо
не певали;
никогда солнце так светло не сияло;
никогда цветы так приятно не пахли!

Adv—N_{nom}—Adv—Adv—Neg—V_{prät}

«Бедная Лиза» (1792)

3б. Что есть жизнь человеческая?
что бытие наше?

«Сиенра-Морена» (1793)

4б. Пришла мрачная осень,
пришла скучная зима:
лесное уединение сделалось для меня еще
несноснее.

«Наталья, боярская дочь» (1792)

5б. Под этим высоким вязом ты часто сиживал с Юлией;
часто бегивал с нею по этому лугу.

«Евгений и Юлия» — «Детское чтение» (1789)

6б. прошло красное лето;
златая осень побледнела...

«Остров Борнгольм» (1793)

7б. В самом севере, среди высоких мшистых скал...

с — с — с — с

«Остров Борнгольм» (1793)

Примеры эти призваны показать сходство в ритмической организации фраз «Слова» и предложений Карамзина. В примерах 2, 3 и 4 вдобавок к этому видим одинаковое использование анафоры, в примерах 5 и 6 — инверсии, а в примере 7 — аллитерации.

Особенностью карамзинской прозы является грамматическая рифма, дактилические окончания предложений, частое помещение притяжательных прилагательных за определяемым словом. Это все, пишет К. Трост, обнаруживается равным образом и в «Слове о полку Игореве». Как и в повестях Карамзина, написанных в 1790-е годы, в «Слове» положение причастий нормализовано. Столь обычного для древнерусской литературы дательного самостоятельного, равно как и именительного самостоятельного, в «Слове» нет.

К. Трост считает, что одной из целей, которую преследовал Карамзин, «пзговтавливая» «Слово», является стремление опровергнуть утверждение, что русский язык с самого начала был в тесном союзе с церковнославянским. Об этом свидетельствует тот факт, что Карамзин в 1803 году указывал в качестве контрпримера «Слово о полку Игореве».

Иоиль Быховский, в котором А. А. Зимин видит автора «Слова», не мог, по мнению К. Троста, им быть по той простой причине, что ему остался чужд якобы заметный в «Слове» карамзинский «новый слог».

В принципах композиции и поэтики «Слова» К. Трост также находит влияние стиля Карамзина, точнее — влияние Оссиана, прошедшее через Карамзина. Так, сама ритмическая проза «Слова» в сочетании с применявшимся к нему в XVIII веке названием «поэма» или «песнь» идет от оссиановских ритмико-поэтических поэм. Признаков византийской словесной орнаментики, равно как и реликтов древнейшего языка, «Слово», пишет К. Трост, полностью лишено.

Ориентализмы «Слова», на взгляд автора статьи, могут быть объяснены проживанием Карамзина в Симбирске и оренбургских степях бок о бок с татарами, говорящими на тюркском языке кипчакской группы. На включение же их в «Слово» могло повлиять то обстоятельство, что Екатерина II покровительствовала тюркологии. Seriously исследовать вопрос о возможности влияния на «Слово» живого татарского языка конца XVIII века К. Трост предоставляет тюркологам.

Интерес к древнерусской литературе и культуре, напоминает К. Трост, был характерен для русского преромантизма. К 1795 году у Карамзина уже развились исторические интересы; он проживал в это время в деревне, и трудно сказать, что именно делал. Материалом для создания «Слова» ему могли послужить летописи. Вслед за Мазоном К. Трост считает, что источниками при написании «Слова» должны были быть Лаврентьевская, Ипатьевская, Иконовская и Радзивилловская летописи, историография XVIII века и собранная к этому времени народная поэзия. Классифицировать «Слово» просто как подделку, стилизацию или плагиат К. Трост считает невозможным, потому что сам Карамзин полагал, что поэт вообще — «искусный лжец» и блажен тот, кто обманывается вместе с ним; таким образом, «Слово» надо рассматривать как органическое для литературы XVIII века произведение; решающую роль в его создании сыграли три отличительных свойства Карамзина: знание древнерусской литературы, знание Оссиана и литературный талант.

Таково, коротко говоря, содержание статьи Клауса Троста.

Она вызывает много недоуменных вопросов и возражений. Первое — по поводу сопоставления «Слова» с «Русской правдой». «Русская правда», конечно, памятник несомненно древнерусский, но памятник иного, чем «Слово», жанра. Синтаксис и лексика свода законов и не могут быть такими же, как в историческом «слове». Что же касается «Задонщины», то в ее стилистике и лексике мы вправе ожидать и действительно находим обильные следы второго южнославянского влияния, которых не может еще быть в «Слове». К. Трост не согласен с утверждением, что «язык „Слова“ во всех отношениях оказывается архаичнее языка „Задонщины“ — памятника, созданного в конце XIV века».¹ Пусть попробует по-настоящему доказать свое мнение. И разве высокий процент бессоюзного паратаксиса в «Слове» не служит свидетельством древности произведения? Ведь, «как известно, для синтаксиса сложного предложения старшей поры древнерусского языка характерным являлось простое следование одного предложения за другим».² А что применительно к «Слову о полку Игореве» доказывает процент бессоюзного паратаксиса в говоре одного из поселков Московской области в 1929 году? Это трудно понять. Писал ли Карамзин тем же самым языком, что говорят жители этого поселка в XX веке? Или, может быть, К. Трост полагает, что разговорная речь русских в XII веке, в отличие от XX, была обильно насыщена подчинительными союзами *ибо, дабы, зане, поелико, колико, понеже*? Почему К. Трост не сопоставил синтаксис «Слова о полку Игореве» хотя бы с синтаксисом летописей и хотя бы в той их части, где повествуется о конце XII века? Наиболее близка «Слову» Ипатьевская летопись, но разве так часты в ней эти слова? «Повесть временных лет» все-таки ближе по жанру к «Слову», чем «Русская правда», — часты ли эти слова в «Повести временных лет»? Оказывается — исключительно редко: *понеже* встречается в этом громадном памятнике всего 23 раза, *зане* — 11 раз, *колико* — 8, а *поелико* — ни разу;³ самое частое там слово — союз «и» (3842 раза), союзы же «а» и «но» несравнимо более редки (соответственно 442 и 154 раза).⁴

Вообще для того только, чтобы получить право выдвинуть свою гипотезу, К. Тросту следовало предварительно сравнить синтаксис ряда так или иначе жанрово родственных «Слову» литературных произведений домонгольской Руси; и если бы оказалось, что во всех случаях сложноподчиненные предложения с союзам берут там верх над сложносочиненными бессоюзными, т. е. если бы оказалось, что это — признак эпохи, только тогда можно было бы продолжать рассуждения на эту тему. Но мы знаем, что это совершенно неверно. Что же касается анафоры, то неужели этот прием более характерен для карамзинского «нового слога», чем, скажем, для фольклора? Два примера с инверсией (столь в русском языке разнообразной!) и один с сомнительной аллитерацией тоже несколько не убедительны.

Но даже если бы примеры были подобраны лучше, положение не изменилось бы: семь примеров (пусть 10, 20), когда речь идет о «Слове о полку Игореве», принципиально не убедительны. Чтобы иметь право назвать свою мысль гипотезой,

¹ См.: «Вопросы литературы», 1967, № 3, стр. 169.

² А. Н. Котляренко. Сравнительный анализ некоторых особенностей грамматического строя «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 179.

³ Эти данные любезно сообщены мне О. В. Твороговым, составителем неизданного еще «Словника» «Повести временных лет».

⁴ См.: О. В. Творогов. О применении частотных словарей в исторической лексикологии русского языка. «Вопросы языкознания», 1967, № 2, стр. 116.

К. Тросту следовало бы интерпретировать *всю* ритмическую структуру «Слова» в сопоставлении с русской домонгольской, с одной стороны, и карамзинской ритмической прозой, с другой. Допустим на минуту, что результат сопоставления говорил бы в пользу мысли К. Троста, тогда перед ним должны были бы, мне кажется, встать в полном объеме иные проблемы — проблемы соотнесенности «Слова о полку Игореве» с «новым слогом» и творческой личностью Карамзина. Как известно, более двух третей русского словаря того времени осталось в произведениях «нового слога» без употребления; почему же К. Трост обращает внимание только на небольшое количество подчинительных союзов? Языковыми установками Карамзина и его сореформаторов (некоторым из них он уступал в новаторстве) были легкость, ясность, понятность и приятность слога.⁵ Неужели «Слово» отвечает этим *основным* признакам «нового слога»? Как же быть тогда с многочисленными темными местами этого произведения, которые были поняты уже после смерти всех современников его находки и первого издания?

Необходимо было бы также, чтобы связать «Слово» с Карамзиным, подвергнуть перосмыслению все данные и выводы, собранные и сделанные Л. А. Дмитриевым в его статье «Н. М. Карамзин и „Слово о полку Игореве“».⁶ Не говорю уж о том, что К. Тросту надлежало бы уже теперь знать эту работу. Возможно, его мысль пошла бы тогда иным путем; по крайней мере, он не стал бы уверенно говорить о том, что Карамзин принимал участие в подготовке первого издания «Слова», и видеть загадку в том, что он не назван в числе издателей в его предисловии (стр. 129). В силе остается сделанный на основании внимательнейшего анализа всех имеющих отношение к делу фактов вывод Л. А. Дмитриева, что «никакого ни прямого, ни косвенного участия в первоначальной работе над „Словом“ А. И. Мусина-Пушкина, А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского Н. М. Карамзин не принимал».⁷ В трактатке отдельных мест «Слова» Карамзин расходился с издателями. Но это было позже, в первом десятилетии XIX века, когда он уже работал над своей «Историей...» и обращался для сличения печатного текста «Слова» с рукописью в мусин-пушкинское собрание.⁸ В 90-х же годах XVIII века, по крайней мере в то время, когда он писал свою статью в «Spectateur du Nord», Карамзин, судя по всему, был поверхностно знаком лишь с одним из списков перевода «Слова».⁹

Вряд ли возможно также говорить о хорошем знании Карамзиным древнерусской литературы, в частности летописей, уже в 90-е годы XVIII века. Это знание пришло к нему позже, в период работы над «Историей...», когда он находил так радовавшие его рукописи Лаврентьевской, Троицкой и Волынской (Хлебниковской) летописей. Зная уже «Слово» по оригиналу и читая новонайденные летописи (в 1785 году они еще не были открыты!), Карамзин *обнаруживал* сходство в их языке. В 1814 году К. Ф. Калайдович записал: «Н. М. много слов, находящихся в песни Игоревой, встречается в найденной им Волынской летописи».¹⁰ Волынская летопись была найдена в 1809 году.¹¹ В 1794—1799 же годах, в период «Аглаи», «Аонид», «Московских ведомостей», «Моих безделок», в активнейший для него период светской жизни, — в этот период Карамзин был довольно далек от древнерусской литературы, культуры и рукописной книжности.

К. Трост пишет, что мы не должны доверять тому, что нам кажется вероятным или невероятным, должны лишь следовать показаниям беспристрастного анализа. Так! Но поскольку речь идет о *человеке* (я имею в виду сейчас Карамзина), мы обязаны то новое, что хотим ему предположительно приписать, согласовать с уже существующими нашими о нем представлениями. К. Трост, впрочем, и делает такую попытку, ссылаясь на поэтическую декларацию Карамзина: «Что есть поэт? искусный лжец, Ему и слава и венец»;¹² поэтому читатель вправе самообманываться. Но ведь одно дело — «ложь» поэтического творчества и читательского сопереживания поэту, другое дело — изготовление произведений не поэтически, а *прозаически*, так сказать — в деловом плане, относимых к другой эпохе. Когда приобретенный А. Ф. Малиновским в 1815 году список «Слова» оказался подложным, Карамзин классифицировал его именно как подлог («Когда бог дозволит мне возвратиться в Москву, посмотрю на купленное Алексеем Федоровичем Малиновским

⁵ См.: В. Д. Левин. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в. (Лексика). Изд. «Наука», М., 1964, стр. 171—179.

⁶ «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XVIII, 1962, стр. 38—49.

⁷ Там же, стр. 45.

⁸ Там же, стр. 41—45.

⁹ Там же, стр. 39.

¹⁰ Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина, ч. II. М., 1866, стр. 125.

¹¹ Там же, стр. 48—50.

¹² Н. М. Карамзин. Полное собрание стихотворений. «Советский писатель», М.—Л., 1966, стр. 95 (Библиотека поэта, большая серия).

Слово о полку Игореве: это любопытный подлог),¹³ а не как соучастие «достойного быть обманутым» читателя в ловкой поэтической лжи. Хотя К. Трост полагает, что Карамзин «творил» «Слово», не считая это свое творчество подлогом, он однако же допускает мысль, что спустя годы, в 1803 году, Карамзин ссылался для обоснования своих предствлений о древнерусском языке на это свое *собственное* произведение как на древнерусское. Но возможно ли в таком случае считать Карамзина обманщиком лишь в сфере поэзии?

Я могу себе представить, что Дионисий Суздальский в XIV веке был инициатором и, может быть, даже соучастником переделки летописного рассказа о татарском нашествии (на мысль об этом наводят особенности рукописи Лаврентьевской летописи), потому что Дионисий — мы это знаем — *обманывал* князя, исходя из политических расчетов: так, в 1379 году он обещал князю, чтобы выйти из-под ареста, не ходить в Константинополь, но тут же бежал туда, оказавшись на свободе. Но я *не могу* представить себе, чтобы Карамзин, во-первых, подделал, сам изготовил произведение «XII века» и, во-вторых, использовал его затем как источник для своей «Истории...». Бывают люди принципиально, по своим жизненным установкам, честные, порядочные, благородные. Карамзин — первый тому пример. Он сам немного стеснялся обширности своих примечаний к «Истории...», думая, что их никто читать не станет, но не мог не документировать строжайшим образом того, о чем он писал, и эти его примечания — а в них и находятся выписки из «Слова о полку Игореве» — имеют непреходящую ценность великолепного свода источников по русской истории. Он мог ошибиться, но не солгать.

Тем более невозможно представить его себе запальчивым лжецом, прибегающим к обману в азарте спора (я имею в виду трактовку К. Тростом ссылки Карамзина на «Слово о полку Игореве» в 1803 году в рассуждениях о языке). Карамзин, как известно, не считал для себя возможным отвечать в печати своим противникам и критикам. Будучи сам неизбежно честным автором, он не мог представить себе и чужого обмана, в частности Макферсонова, продолжая, несмотря на все разоблачения, по-прежнему считать Оссиана северным Гомером.

Пушкин, как известно, поверил мистификации Мериме. Но в подлинность «Слова о полку Игореве» и в то, в частности, что Карамзин не мог быть его автором, он верил не по простодушию и доверчивости, как полагает К. Трост. Пушкин считал, что у Карамзина, как и у всех его современников, не хватило бы поэтического таланта, чтобы написать «Слово»: «Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт... Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства».¹⁴ Таким образом, мнение Пушкина о Карамзине как о возможном сочинителе «Слова» прямо противоположно Тростову.

Клаусом Тростом нарушены основные правила всякой научной работы — полнота и корректность аргументации. Если ученый сомневается в традиционной дате изучаемого им памятника, он должен прежде всего доказать, что эта традиционная дата не годится. Он должен опровергнуть все данные, говорящие в пользу этой традиционной даты, и показать, что новая дата и новый предлагаемый автор *во всех отношениях* более подходят изучаемому произведению. Ю. М. Лотман и А. В. Соловьев блестяще показали, что «Слово о полку Игореве» ни в каких отношениях не подходит для XVIII века. К. Трост даже не упоминает об их работах. Заградывается естественное подозрение: знает ли он вообще с достаточной полнотой литературу о «Слове», да и о Карамзине? Непонятно, каким образом можно вновь и вновь выдвигать «гипотезы» о принадлежности «Слова» литературе XVIII века, как будто не существует к тому никаких научных препятствий?

На объявленную автором тему следовало бы, чтобы убедить читателей в самой ее возможности, писать не статью, в которой всего-то своего — жалкая горсть невыразительных примеров, а книгу, за которой стояли бы — и были бы нам доступны — сводные материалы широких статистических наблюдений. Хотя бы это! Но чтобы беспристрастно подойти к вопросу, и тема должна быть иной, нежели «Карамзин и „Слово о полку Игореве“»: желанный или нежеланный автору вывод должен был бы тогда сам упасть ему в руки, как созревший плод. Теперь же автор обрекает себя на то, чтобы подбирать материал к уже высказанному тезису. Не делать этого было бы легкомысленно, делать же, на мой взгляд, еще легкомысленней.

Хочется верить, что в работе К. Троста проявилось именно легкомыслие, а не тенденциозность. Так или иначе, произвести какое-то впечатление его статья может только на совершенно неподготовленного читателя.

¹³ Там же, стр. 132. Еще в 1791 году в «Московском журнале» (ч. III, стр. 218) Карамзин писал: «Самая гражданская честность обязывает нас не присваивать себе ничего чужого: ни делами, ни словами, ни молчанием».

¹⁴ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 501.

НОВЫЕ ГЕРЦЕНОВСКИЕ МАТЕРИАЛЫ *

В силу различных причин сравнительно большое число ценнейших рукописных материалов по истории русской литературы, как известно, оказалось за пределами нашей страны. Некоторые из этих материалов увидели свет уже давно и прочно вошли в научных обиход. Другие изданы в последнее время; в качестве примеров можно назвать дневник Д. Ф. Фикельмон — первоклассный источник для изучения пушкинской эпохи,¹ автограф Н. В. Гоголя,² ряд писем М. М. Стасюлевича к Э. Золя³ и многочисленные письма И. С. Тургенева, главным образом к семейству Виардо.⁴ Важное место среди этих публикаций занимают два выпуска архивных материалов, относящихся к А. И. Герцену. Это цикл его писем к дочери Ольге, появившийся стараниями А. Звигильского в Париже, и сборник «Вокруг Александра Герцена», выпущенный группой французских и швейцарских исследователей, — очередной том трудов исторической секции факультета общественных наук Женевского университета.

Судьба рукописного наследия Герцена освещалась в нашей научной литературе неоднократно. Здесь отметим лишь, что к настоящему времени значительная его часть сосредоточена в советских архивах, но множество материалов находится в Англии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Италии, Польше, Чехословакии, США, в государственных и частных собраниях, причем немало их и по сей день остается у потомков Герцена, проживающих за границей.

К семейным архивам внучки Герцена Жанны Амфу-Моно, а также его правнуков, и восходят материалы, помещенные в первой из рецензируемых книг. Это 28 писем Герцена к дочери Ольге, в замужестве Моно (1850—1953), из которых одно адресовано и его сыну Александру, три — дочери Наталье и два — воспитательнице Ольги, другу семьи Герцен — Мальвиде фон Мейзенбург. В качестве приложения напечатаны письмо Герцена к будущему мужу Ольги, впоследствии видному историку Габриэлю Моно (единственное выявленное письмо к этому адресату) и два письма к Терезине Феличи, с 1868 года — жене А. А. Герцена (других писем Герцена к ней не обнаружено).

Публикуемый эпистолярный цикл невелик, во всяком случае по сравнению с известным нам фондом герценовских писем к Ольге, который насчитывает более ста номеров. Однако пополнение это все же весьма значительно, например для 1867, 1868, 1869 годов (соответственно 7, 6, 11). Характерно, что вновь публикуемых писем 1869 года почти вдвое больше, чем их было напечатано в тридцатитомном собрании сочинений.

Все эти письма в той или иной мере посвящены воспитанию и образованию Ольги, продиктованы стремлением научить ее достойно жить и прежде всего — неустанно трудиться. Едва ли не самая постоянная их тема — русский язык, на изучении которого Герцен настаивал с необычайной решительностью. «То, что ты не знаешь русского языка, — восклицал он, например, в письме от 15 апреля 1869 года, — сущее бедствие. Целый мир, неизведанный, странный, полудикий, которому суждено великое будущее, остается тебе недоступен, как, впрочем, и большинству европейцев».⁵ Не внося чего-либо принципиально нового в наши представления о Герцене и его семье, письма эти заключают в себе, однако, немало важных данных биографического характера, которые не могут оставить равнодушными герценоведов.

Текст писем подготовлен с большой тщательностью. Сомнение вызывает лишь обращение «Chrolga» в письме от 14 июля 1867 года. Изредка встречаются опечатки — на стр. 33, 40, 45. Письмам предпослано введение, содержащее подробные сведения о происхождении издаваемых материалов и обстоятельную их характеристику. Наконец, каждое письмо сопровождается комментарием, лаконичным, но весьма информативным и точным. В книге воспроизведены портреты Герцена и его дочери Лизы, принадлежащие кисти Н. А. Герцен (Таты), и несколько редких семейных фотографий, предоставленных А. Звигильскому г-жей Амфу-Моно.

* Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Introduction et Notes par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1970, 91 pp.; Autour d'Alexandre Herzen. Documents inédits publiés par Marc Vuilleumier, Michel Aucouturier, Sven Stelling-Michaud et Michel Cadot. Genève, 1973, 349 pp.

¹ N. Kauchtschischwili. Il Diario di Dar'ja Fedorovna Ficquelmont. Milano, 1968.

² «Harvard Library Bulletin», vol. XX, 1972, № 3, pp. 236—254.

³ «Cahiers Naturalistes», № 47, 1974, pp. 1—32.

⁴ Об этом см.: Т. П. Голованова, Л. Н. Назарова. Новые работы французских славистов о Тургеневе. «Русская литература», 1973, № 3, стр. 221—229.

⁵ Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga, p. 71.

Сборник «Вокруг Александра Герцена», в основном, построен на материалах, некогда находившихся у внука Герцена Николая Александровича (1873—1929), видного юриста, профессора Лозаннского университета. В 1967 году материалы эти были приобретены Публичной и Университетской библиотекой в Женеве. Автографы Герцена среди них сравнительно мало, преобладающую их часть составляют письма, ему адресованные. Однако значение их трудно переоценить: во многих из них отразились связи Герцена с международным революционным движением, в других — его отношения с западноевропейскими писателями и мыслителями, приведен в сборнике и ряд иных весьма примечательных документов.

Книга распадается на несколько неравных по объему и различных по самому своему типу разделов. Наиболее обширный из них, подготовленный Марком Вюилемье, в свою очередь содержит несколько эпистолярных циклов. Открывается раздел письмами к Герцену деятелей итальянского Рисорджименто — Джузеппе Мадзини и его сподвижников Леопольдо Спини и Антонио Мордини, а также благодарственным письмом к нему от комитета по сбору средств в пользу итальянских эмигрантов, проживавших в Ницце. Попутно отметим, что письмо Мадзини от начала ноября 1849 года, хранящееся в парижской Национальной библиотеке, было уже опубликовано по-русски в полном собрании сочинений и писем Герцена под редакцией М. К. Лемке, равно как и помещенное там же письмо к Герцену французского публициста, деятеля революции 1848 года Теофиля Торе (отклик на книгу «О развитии революционных идей в России»). Хотя эти и им подобные материалы давно известны, их вторичное издание следует признать вполне целесообразным: в нашем распоряжении оказываются теперь собственно герценовские документы, а не их интерпретация, какой бы совершенной она ни была.

В свою публикацию М. Вюилемье включил также письмо к Герцену немецкого революционера-эмигранта Мозеса Гесса, письмо французского публициста, участника революционных событий 1848 года Симона Бернара, письмо президента Женевского кантона Джемса Фази и, что особенно ценно, письма самого Герцена к Луи Блану и Виктору Гюго, обнаруженные в Национальной библиотеке. Центральное же место в этой публикации занимает переписка Герцена с Карлом Фогтом.

Видный участник немецких революционных событий, эмигрировавший в Швейцарию и посвятивший себя естественным наукам, К. Фогт был одним из самых близких и верных друзей Герцена, который высоко ценил его «светлый ум» и «светлый нрав». Переписка их продолжалась около двух десятилетий и охватывала широкий круг вопросов и дел — общественно-политические события, жизнь европейской эмиграции, литературные повести, натурализацию Герцена в Швейцарии, которой Фогт всемерно содействовал, наконец, воспитание и образование Саши (А. А. Герцена), испытывшего на себе влияние Фогта и его семьи. Всего в этой связи приведено 77 эпистолярных текстов (и два деловых документа). Правда, в полной мере новыми являются из них лишь 38 — одно письмо к К. Фогту, письмо к его матери Луизе Фогт и письмо к его отцу доктору Филиппу Вильгельму Фогту, а также 35 писем К. Фогта к Герцену. Прочие письма были уже напечатаны, в подлиннике или в русском переводе; однако и в данном случае возразить что-либо трудно: объединение всех выявленных к настоящему времени звеньев этой переписки позволяет отчетливее представить себе содержание и характер эпистолярного общения Герцена и Фогта, что особенно существенно для зарубежного читателя, далеко не всегда располагающего собраниями герценовских сочинений и писем.

Публикации М. Вюилемье предшествует статья, с большой и, быть может, даже чрезмерной обстоятельностью освещающая отношения Герцена с названными выше корреспондентами. Кроме того, все письма сопровождаются комментариями, в целом весьма полезными, хотя в них и попадаются отдельные погрешности и ошибки, вызванные главным образом тем, что М. Вюилемье, по собственному признанию, не владеет русским языком. Так, неверно указаны отчества А. Ротчева, Н. Утина, М. Михайлова, А. Ковалевского, неточно транскрибированы фамилии Мельгунова, Николадзе, Комиссарова и т. п. Заметим также, что в числе работ о Микеланджело Пиенто, на наш взгляд, следовало упомянуть посвященный ему этюд М. П. Алексеева в сборнике «Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver» (Рим, 1962).

Раздел, подготовленный Мишелем Окутюрье, заключает в себе материалы, очень различные по своему характеру. Основную его часть составляют письма к Герцену представителей польской политической эмиграции — Й. Лелевеля и Ст. Ворцея, А. Гуровского, Х. Дембицкого, Л. Мирославского, Й.-Б. Островского, Р. Рачинского, Й. Цверцякевича, В. Чарторийского, Т. Лапинского. Публикация эта расширяет наши сведения о круге польских корреспондентов Герцена и отношении к нему как к революционному деятелю, мыслителю и публицисту в этой весьма разнородной среде, хотя и не содержит (говоря словами самого исследователя) «подлинных открытий».

Существенный интерес представляет опубликованная в том же разделе и с исключительной полнотой прокомментированная дарственная надпись Герцену на книгу Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома»: «Александр Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения от автора». Книга эта (точнее — шесть

извлечений из журнала «Время» в одном переплете), по справедливому предположению М. Окутюрье, могла быть вручена Герцену в июле 1862 года во время пребывания Достоевского в Лондоне.

Однако наибольшую ценность имеет все же, как нам кажется, замечательное письмо Герцена к сыну от 1 января 1859 года, которое сам он назвал своим «нравственным завещанием». В письме этом получили выражение некоторые особенно дорогие ему мысли о будущем его детей. «Во всем мире, — писал, в частности, Герцен, — у вас нет ближе лица как Огарев — вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. Это моя первая заповедь. Где бы вы ни были, случайно, средоточие вас всех дом Огарева». И далее: «Если возможно воротиться в Россию — возвратиться — там ваше место».⁶

Заслуживают внимания и другие матерпалы, напечатанные М. Окутюрье: письмо А. А. Герцена к отцу от 18 мая 1859 года и особенно письмо к А. А. Герцену Н. П. Огарева, в котором он предлагал «милому Саше» вступить с ним в «десятилетнюю переписку», полезную для обоих — «ради науки и дружбы».⁷ Как выясняется, именно к этому письму Огарев приложил стихотворение, известное в печати под названием «Юноше. (Подражание Полоню)». И отмеченное обстоятельство, и заглавие, данное этому стихотворению во вновь обнаруженной рукописи («Саше»), с неоспоримостью свидетельствуют о том, что первоначально оно было посвящено и адресовано А. А. Герцену. Знаюка русской вольной поэзии заинтересуют и черновые варианты стихотворения, приведенные Мишелем Окутюрье: они дают возможность в какой-то мере проследить творческую историю этого поэтического текста на ее раннем этапе.

В сборнике помещены также две публикации, принадлежащие Свену Стеллингу-Мишо. Приведенные в них письма к Герцену Чарльза Годфри Леленда и Томаса Карлейля проливают дополнительный свет на связи Герцена с деятелями американской и английской культур. Завершается книга публикацией любопытного письма к Герцену его французского знакомого Эжена Ралле, имя которого до сих пор не встречалось на страницах герценовской переписки. Подготовил эту публикацию Мишель Кадо, автор фундаментального исследования «Образ России во французской интеллектуальной жизни» (Париж, 1967).

Итак, рецензируемые издания нельзя не приветствовать: они обогащают герценоведение новыми текстами, новыми сведениями, новыми именами, способствуя его дальнейшему развитию. Остается лишь пожелать, чтобы разработка архивных материалов по истории русской литературы и общественной мысли, хранящихся за рубежом, продолжалась и впредь, и притом столь же серьезно и умело.

Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ

МОНОГРАФИЯ О «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА», ИЗДАННАЯ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ *

По сравнению с большим списком посвященных Горькому работ литературоведов социалистических стран — Чехословакии, ГДР, Польши, Румынии, Болгарии — горьковедческая литература Франции, Англии, Италии, ФРГ представляется довольно бедной. Так, если за последние двадцать лет в ГДР появилось свыше тридцати специальных работ, касающихся наследия Горького, то в западногерманской славистике можно насчитать едва ли десяток исследований, включая сюда и общие курсы истории русской и советской литературы.¹

Изучение творчества Горького на Западе встречало и продолжает встречать препятствия идеологического характера, так как даже для наших недоброжелателей очевидно, что писатель принадлежит к новому, социалистическому этапу развития русской и мировой литературы.

Понятно поэтому, что выход в свет новых исследований о Горьком, написанных учеными несоциалистических стран, не может не привлечь заинтересованного внимания советских литературоведов.

⁶ Autour d'Alexandre Herzen, p. 291.

⁷ Там же, стр. 297—298.

* Н. Imendörffer. Die perspektivische Struktur von Gor'kij's Roman «Zijn' Klima Samgina» (Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, Slavistische Veröffentlichungen, Bd. 41). Berlin—Wiesbaden, 1973, IX, 176 S.

¹ Библиографические сведения см.: Е. Czikowsky, I. Idzikowski, G. Schwarz. Maxim Gor'ki in Deutschland. Bibliographie 1899 bis 1965. Berlin. 1968; Н. Pohrt. 1. Bibliographie slawistischer Publikationen aus der DDR 1946—1967. Berlin, 1968; 2. Bibliographie slawistischer Publikationen aus der DDR 1968—1972. Berlin, 1974.

Ниже пойдет речь о работе молодой исследовательницы Хелены Имендерфер «Перспектива в структуре романа Горького „Жизнь Клима Самгина“». Работа была защищена как диссертация в 1970 году в Независимом университете Западного Берлина и затем с небольшими изменениями издана в виде книги.

Название монографии выдержано в терминологии структурализма. Однако содержание книги шире рамок, очерченных ее заглавием. В ней затрагиваются серьезные проблемы творчества Горького, которые не позволяют автору ограничиваться структурными построениями в собственном смысле слова.

К достоинствам рецензируемой книги надо отнести и то, что автор подходит к горьковскому слову с подлинной любовью и искренне заинтересован в выяснении научной истины.

Почти треть исследования занимает обширное введение. Оно включает в себя подробный очерк истории изучения «Жизни Клима Самгина» в нашей науке и обзор высказываний западной критики об этом романе. Советский специалист по творчеству Горького с интересом познакомится с тем разделом введения, где изложены результаты новейших зарубежных работ по теории романа. В конце книги приведен список привлеченной автором литературы вопроса.

Основательность вводной части свидетельствует, что автор придает общим соображениям не меньшее значение, чем своей непосредственной теме. Очевидно, не будет лишним несколько задержаться на теоретических предпосылках исследования Х. Имендерфер.

История восприятия романа Горького на Западе была сложной. Даже советская критика, как известно, не смогла вначале прийти к единодушному мнению о «Жизни Клима Самгина». Еще труднее было объективно оценить роман за рубежом, где имели определенный вес белоэмигрантские суждения и где вообще знали творчество Горького недостаточно хорошо. Чем бы ни объяснялись прежние отрицательные отклики на «Жизнь Клима Самгина», их, как пишет исследовательница, «в настоящее время можно считать несобоснованными и весьма устаревшими» (стр. 5).

Высокие художественные достоинства романа Горького ныне редко подвергаются сомнению. Но споры вокруг этого произведения не прекращаются. При этом само по себе признание литературной значительности романа не всегда, по наблюдениям Х. Имендерфер, говорит об объективной позиции того или иного западного исследователя. Автор книги упрекает, например, Ю. Рюле, первого западногерманского литературоведа, подчеркившего выдающиеся литературные качества романа, в чрезмерной «полемичности» (стр. 5—8, 28), что, с нашей точки зрения, может означать только тенденциозность.²

Что касается советской критики и литературоведения, то Х. Имендерфер отмечает, что всякое высказывание о «Жизни Клима Самгина» всегда затрагивало у нас не только вопросы эстетики, но и в первую очередь вопросы идеологии. В этом она видит исторически обусловленную особенность советской литературной науки. Автор считает, что современные советские исследователи, посвятившие роману Горького интересные монографии (И. С. Нович, Л. Я. Резников, Н. Н. Жегалов), все еще недостаточно внимательны к художественному тексту как таковому.

Методика объективного научного исследования, по мнению автора, состоит в тщательном стилистическом анализе, при котором в центре внимания оказывается непосредственно текст произведения и его внутренние связи, а всякий «духовно-исторический фон» по возможности исключается из поля зрения исследователя. Нетрудно заметить в этой позиции влияние формалистических теорий, но Х. Имендерфер близка не столько к формалистам, сколько к крупному немецкому теоретику литературы В. Кайзеру, который утверждал, что «произведение словесного искусства живет само по себе и в самом себе».³ Точка зрения В. Кайзера объяснялась в значительной степени его протестом против так называемой «истории духа», распространенного в немецком буржуазном литературоведении идеалистического взгляда на развитие общества, взгляда, который принимал реакционные и националистические формы. Коль скоро Х. Имендерфер стремится освободить свой метод от остатков «духовно-исторической» концепции, за нее можно только порадоваться. Однако когда она, так сказать, вместе с водой выбрасывает и ребенка, отказываясь — по крайней мере, в своих теоретических посылках — от изучения связей романа Горького с современной ему историей русского общества, невозможно признать правоту и убедительность ее методики. Ведь и В. Кайзер, как нам кажется, совсем не имел в виду отрыв произведения от любых внешних связей. «Мы сомневаемся, — писал он, — чтобы возможно было при помощи нескольких изолированных рабочих подходов, каждый из которых затрагивал бы одну какую-либо „сторону“ произведения искусства, прийти к пониманию произведения как целостности и единства».⁴ Подход к «Жизни Клима Самгина» как к стилистической

² Имеется в виду работа: J. Rühle. *Literatur und Revolution*. Berlin, 1960.

³ W. Kayser. *Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft*, 11. Aufl. Bern—München, 1965, S. 387.

⁴ Там же, стр. 234.

«структуре» как раз и является таким «изолированным» подходом, хотя надо сказать, что термин «структура» понимается в монографии свободно и охватывает также и собственно содержание романа.

Советское горьковедение ставит своей задачей рассматривать «Жизнь Клима Самгина» именно всесторонне, сознавая, что «редкостью широки и глубоки связи романа с эпохой, с историей и современностью, с жизнью и всем творчеством самого писателя, со всей русской и мировой литературой».⁵ Не всегда, разумеется, исследователям удастся осуществить на практике столь всеобъемлющий анализ романа Горького, но мнение Х. Имендерфер, что они не располагают «полем для постановки новых проблем» (стр. 27), несправедливо.

Внимание автора книги сосредоточено на проблеме повествовательной перспективы. Немецкая исследовательница признает, что проблема перспективы гораздо старше структурализма. Она возникла вместе с первыми попытками построить теорию романа (стр. 42). Понятие перспективы ввел в литературоведение тот же В. Кайзер, заимствовав его из живописи. Сознвая многозначность и некоторую расплывчатость термина, которым не был удовлетворен и сам В. Кайзер, исследовательница обращается к понятию повествовательной ситуации (стр. 49—50). От чего лица ведется повествование, чем отличается позиция писателя от «я» рассказчика — вот составные части этого понятия, т. е. в сущности исследовательница ставит вопрос об авторской точке зрения, вопрос не формальный и не структуралистский.

Для «Жизни Клима Самгина» проблема авторской позиции несомненно одна из ключевых и в то же время крайне трудно решаемых. Критикуя своих предшественников, Х. Имендерфер все же отмечает, что советские исследователи занимались этим вопросом интенсивнее, чем на Западе, и добились значительных результатов (стр. 51).

Основную роль в повествовательной ситуации романа играет фигура Клима Самгина. Изучение «отношения... действительности к сознанию героя» — так определяет исследовательница цель своей работы (стр. 59).

Этой теме посвящены две из трех больших глав, составляющих книгу. В первой главе рассматривается такой тип отношения сознания героя к окружающей действительности, когда личность Самгина выступает на передний план и происходящие события воспринимаются читателем сквозь ее переживания (стр. 63—117). Во второй главе подобраны случаи, когда Самгин изображен лишь как свидетель событий, показанных Горьким если и в связи с поступками героя, то все же без его явных «комментариев» (стр. 118—136). Тем не менее личность центрального персонажа остается для Х. Имендерфер главным объектом изучения.

Понятие повествовательной ситуации, взятое как «ключ» к содержанию романа, сужает возможности исследования произведения Горького. Нет надобности уподоблять роман некоей геометрической фигуре и выискивать в нем непременно один-единственный центр. Еще А. В. Луначарский считал, что «Жизнь Клима Самгина», наряду с признаками «романа о воспитании личности», носит черты исторической хроники.⁶ Такие авторитетные исследователи, как, например, И. С. Нович, вообще считают историю, революцию, а не эволюцию одного характера двигателем сюжета.

Подтверждение того, что внутренняя жизнь Самгина занимала писателя в первую очередь, исследовательница находит в якобы резком отличии мира, нарисованного Горьким в романе, и реальной исторической действительности. «В литературном произведении, — пишет Х. Имендерфер, — мы имеем дело с изображенным миром, который подчинен особым закономерностям». Эта мысль не вызвала бы возражений, если бы дальше автор не прибавила: «Законы мира научно-достоверных объектов не распространяются на мир литературного произведения» (стр. 58).

Безусловно, мир, созданный Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина», — особый «романный» мир, который находился с реальной действительностью России 1870—1910-х годов в отношениях более сложных, чем отношение фотографии к оригиналу. В этом легко убедиться, в частности, обратившись к историческому комментарию к роману.⁷ Но из того же комментария совершенно очевидно, что ничто иное как «мир объектов», т. е. история русского общества со всей своей динамикой и трагизмом, была для Горького-романиста материалом «насквозь живым».⁸

И действительно, вопреки некоторым теоретическим установкам исследовательницы, горьковский текст, над которым с большим старанием работала Х. Имендер-

⁵ И. Нович. Художественное завещание Горького «Жизнь Клима Самгина». Изд. 2-е, доп., «Советский писатель», М., 1968, стр. 13.

⁶ А. В. Луначарский, Собрание сочинений в восьми томах, т. II, изд. «Художественная литература», М., 1964, стр. 197—198.

⁷ И. Вайнберг. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Историко-литературный комментарий. Изд. «Просвещение», М., 1971.

⁸ А. В. Луначарский, Собрание сочинений в восьми томах, т. II, стр. 175.

фер, заставляет ее отступать от изучения сугубо «романной» обстановки, зависящей от самгинского сознания. Сам главный герой предстает не только как «сознание», но как живой индивидуальный характер, человек со своими особенностями внешности и поведения (стр. 105 и сл.). Анализ стилистической среды, в которой живет этот образ, приводит исследовательницу к тому же выводу, который был сделан А. В. Луначарским: Самгин является в высшей степени «художественным типом», соединяя в себе социально-историческую типичность и неповторимый набор личных человеческих качеств.⁹ Правда, Х. Имендерфер не занимается Самгиным как «типом». Однако, подчеркивая его позицию наблюдателя событий, его неспособность «овладеть действительностью», разлад между его мыслями и поступками, автор книги по сути дела прослеживает характерные черты русского буржуазного интеллигента предоктябрьских лет, русского образованного обывателя (стр. 115—117, 134). Тип обывателя и его поведение в революции остаются и в наши дни актуальной общественной проблемой для многих стран. Об этом можно было бы сказать гораздо больше, чем говорит исследовательница.

Внимание к фигуре Самгина не означает для Х. Имендерфер поэтизации или какой-то «реабилитации» этой личности. Текст романа дает достаточно поводов считать, что отношение Горького к своему персонажу было критическим и что события романа рассматриваются в «двойной перспективе» — с точки зрения Самгина и с точки зрения писателя («рассказчика» — как осторожно формулирует Х. Имендерфер, хотя отделять в романе Горького автора от повествователя едва ли есть основания). Скрупулезный стилистический анализ, результаты которого изложены в третьей главе монографии (стр. 137—170), позволил выявить и мимолетные «вмешательства» автора, незаметные при беглом чтении, и разоблачающий эпитет, и многозначительные контрасты между поведением Самгина и окружающих его лиц.

Но все же порою хотелось бы видеть более широкий подход к изучению текста. Так, показывая, что вослицание ареста, проходящего мимо окна, за которым стоит Клима, «Гляди — Лазарь воскрес!» — представляет собой косвенную авторскую оценку Самгина, исследовательница не задерживается на смысле этого восклицания, на литературных и бытовых ассоциациях, связанных с ним.

Более внимательное отношение к истории читательского восприятия романа, изучение литературной традиции, на фоне которой воспринималась «Жизнь Клим Самгина», способствовали бы углублению повествовательной перспективы романа — как она представляется Х. Имендерфер. Считая, что при структурном анализе произведения важно учитывать схему: автор — текст — читатель (стр. 59, 137), исследовательница уделяет читателю слишком мало места в своей книге. Более того, «субъективное читательское восприятие» расценивается даже как помеха в изучении романа (стр. 29).

По-своему стремится немецкая исследовательница решить вопрос о «насмешке» в «Жизни Клим Самгина». Вслед за своей советской предшественницей М. Г. Петровой она тщательно проверяет наличие в тексте элементов сатиры. Однако ей мешает слишком нормативное отношение к термину. Х. Имендерфер ждет от сатиры обязательной карикатурности письма, плакатного упрощения. Она слишком решительно, на наш взгляд, отвергает мысль А. В. Луначарского о «сокровенном сатирическом элементе» романа (стр. 151 и сл.).¹⁰ Исследовательница настаивает, что «скрытая авторская насмешка» (по определению М. Г. Петровой)¹¹ — это ирония, а не сатира (стр. 161). Думается, впрочем, что этот вопрос не принципиален. Важно, что Х. Имендерфер безошибочно улавливает в романе и показывает читателю своей книги тончайшие оттенки иронической интонации, скрытой под внешне «объективным» тоном повествования. Такой стилистический анализ романа «Жизнь Клим Самгина» не только полезен немецкому читателю, недостаточно хорошо знакомому с исторической обстановкой, в которой создавался роман, но и поучителен для советских литературоведов.

Стремление не выходить за пределы текста в его слишком узком, почти грамматическом понимании затруднило работу Х. Имендерфер над избранной ею темой. Но умение филологически читать русский текст и свободное владение русской и зарубежной литературой о Горьком являются бесспорными достоинствами этой исследовательницы. Ценность монографии о «Жизни Клим Самгина» — особенно для западных славистов и для научной молодежи, интересующейся творчеством Горького, — заключается также в объективном и доброжелательном тоне, в котором Х. Имендерфер пишет о советском литературоведении и русской советской литературе.

⁹ Там же, стр. 187 и сл.

¹⁰ Там же, стр. 176.

¹¹ М. Г. Петрова. Проблемы образной характеристики в романе «Жизнь Клим Самгина». В кн.: О художественном мастерстве М. Горького. Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 272.



Х Р О Н И К А

ЧЕСТВОВАНИЕ А. Н. РАДИЩЕВА В ЛЕЙПЦИГЕ

Известный в ГДР писатель Макс Вальтер Шульц знаком советскому читателю прежде всего как автор романа «Мы не пыль на ветру». В новейшем, вышедшем недавно (летом 1974 года) романе под названием «Триптих с семью мостами» («Triptychon mit sieben Brücken»), являющемся в какой-то степени продолжением первого, есть такой эпизод: герой романа, Рудд Хагедорн, беседует на маленькой площади в центре Лейпцига, где воздвигнут памятник великому немецкому поэту Гете, с советским профессором русской литературы. Последний огорчен, что в Лейпциге рядом с памятником Гете не стоит памятник молодому Радищеву. Молодой собеседник профессора, видимо, не слышал даже фамилии Радищева. Сарбатов (такова фамилия профессора) видит в этом известную односторонность национальной культурной пропаганды в Европе. Автор романа не дает ответа на поставленный им вопрос: эпизод встречи с советским профессором в ткани романа понадобился ему совсем для других целей. Но примечателен тот факт, что известный писатель ГДР, директор Института литературы, ставит в художественном произведении вопрос о необходимости увековечить память о пребывании А. Н. Радищева в Лейпциге.

Действительно, в городе, где учился и жил четыре года (1767—1771) великий русский просветитель, писатель и революционер, до сих пор не было даже мемориальной доски, хотя давно известно, где именно размещалась русская студенческая колония, а имя Радищева всегда упоминается в обзорах и статьях, посвященных истории Лейпцигского университета и русско-немецким культурным связям. В мае 1967 года в связи с 200-летием поступления Радищева в Лейпцигский университет здесь состоялась научная конференция в честь одного из самых выдающихся выпускников юридического факультета. Материалы, в которых много говорилось о лейпцигском периоде в жизни и творчестве будущего писателя, были опубликованы в 1969 году под названием «А. Н. Радищев и Германия. Статьи о русской литературе конца XVIII века» (A. N. Radischev und Deutschland. Berlin, 1969). Все это свидетельствует о том,

что память о Радищеве в Лейпциге жива.

3 ноября 1974 года состоялось торжественное заседание общественности города Лейпцига, посвященное 225-летию со дня рождения А. Н. Радищева. Организаторами выступили городской комитет культурбунда ГДР (организации художественной и научной интеллигенции), совет города Лейпцига и Лейпцигский университет им. Карла Маркса. Заседание было приурочено к открытию Дней советской книги в ГДР, проводящихся ежегодно Министерством культуры и общественными организациями. В зале старинной ратуши в Лейпциге, в праздничной атмосфере собралось около 100 человек. Среди них: К. Хепке, заместитель министра культуры ГДР, В. Кутузов, первый секретарь посольства СССР в ГДР, Г. Кынин, генеральный консул СССР в г. Лейпциге, В. Ежов, член коллегии Государственного комитета при Совете Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Кроме того, присутствовали Э. Барт, секретарь горкома СЕПГ, доктор Р. Герке, советник по делам культуры совета города Лейпцига, профессор Х. Рихтер, первый секретарь райкома СЕПГ университета им. Карла Маркса, и профессор Х. Мёле, первый проректор университета. На торжествах присутствовала также группа советских искусствоведов и литераторов, среди них литовский писатель Й. Авижюс, украинский В. Козаченко и главный редактор «Литературного обозрения» Ю. Суворцев.

Вступительное слово произнес доктор Рольф Раквиц, председатель горкома культурбунда. Он рассказал о богатой революционными и культурными традициями истории Лейпцига, особо остановившись на русско-немецких связях, отметив неоднократное пребывание В. И. Ленина в Лейпциге и выпуск первых номеров ленинской «Искры» в тайной лейпцигской типографии.

С докладом «А. Н. Радищев, его время и мы» выступил профессор Лейпцигского университета, докт. фило-софск. наук Эрхард Хексельшнейдер. Он дал обзор жизни и творчества писателя, подчеркнул прежде всего революционность идей великого просветителя. Докладчик особенно выделил зна-

чение лейпцигского периода для дальнейшего жизненного пути писателя. Студенческие годы были для Радищева временем серьезной и интенсивной учебы: здесь он приобретал способность к научному анализу и начал выкатывать в прогрессивные идеи французского Просвещения. Столкновение студента Радищева с гофмейстером Бокумом явилось для него началом борьбы с властью и произволом. Докладчик обстоятельно проанализировал знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» и значение высказанных здесь идей для последующих поколений.

Во время торжественного заседания выступил камерный ансамбль физиков университета, исполнивший музыку Генделя, Л. Бетховена и современного композитора Г. Кохана. Члены студенческого поэтического театра им. Луиса Фюрнберга читали отрывки из «Жития Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествия из Петербурга в Москву».

После чествования участники радищевских торжеств собрались на Хайнштрассе 8, одной из самых оживленных улиц в центре города. В старинном доме, где ныне находится пекарня, в студенческие годы жил и работал вместе со своими друзьями А. Н. Радищев. Напротив дома — аптека, где в XIX веке работал известный немецкий прозаик Теодор Фонтане. Слово предоставляется доктору Р. Герке, со-

ветнику по делам культуры совета города. Упомянув о славном прошлом этих мест, он подчеркивает, что город и университет чтут память первого русского революционера, славного студента Лейпцигского университета. Город и университет будут прилагать все усилия, чтобы память о Радищеве жила в Лейпциге, чтобы о нем знали и помнили многочисленные туристы и гости города. Потом наступает долгожданный момент: Р. Герке и В. Ежов открывают мемориальную доску, созданную лейпцигским скульптором Хансом Йоахимом Ферстером. Раздаются аплодисменты. На гранитной плите золотыми буквами написаны на немецком языке слова:

«АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ

1749—1802

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ,
ПРОСВЕТИТЕЛЬ, РЕВОЛЮЦИОНЕР

ЖИЛ В 1768—1771 гг. В ЭТОМ ДОМЕ»

Итак, к памятным местам ГДР, связанным с историей русской и советской литературы, прибавилось еще одно. После музеев, посвященных жизни и творчеству А. М. Горького в Херингсдорфе и Бад-Зарове, после мемориального музея М. В. Ломоносова в городе Фрейберге (где он учился) теперь и Лейпциг обладает памятным местом об одном из выдающихся русских писателей.

ЭРХАРД ХЕКСЕЛЬШНЕЙДЕР

(Лейпциг)

150-ЛЕТИЕ «ГОРЯ ОТ УМА»

В ноябре 1974 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, в связи со 150-летием создания комедии «Горе от ума», состоялась научная конференция, посвященная А. С. Грибоедову. Открывая конференцию, доктор филолог, наук Н. И. Прутков подчеркнул непреходящую жизненность идей, воплощенных в образе Чацкого, бессмертные пьесы, символически изобразившей вечную борьбу разума и косности. Чацкие появляются всегда, когда происходит крутая смена эпох и поколений. Чацкие — самые первые весники нового века. Изобразив в комедии романтика декабристского толка, Грибоедов в то же время гениально уловил великий процесс сближения передовой русской интеллигенции с народом.

Однако, и это явилось основной темой доклада канд. филолог. наук С. А. Фомичева «Грибоедов. Итоги и

проблемы изучения», конкретное содержание комедии до сих пор вызывает споры, начавшиеся вслед за выходом из печати в декабре 1824 года альманаха «Русская Талия», где были напечатаны отрывки из «Горя от ума». Открытая публицистичность пьесы, прямо откликнувшейся на злобу дня, принесла произведению Грибоедова моментальное и массовое признание, сопровождалось злобными выпадами рутинеров. Она же, эта публицистичность, казалась в то время многим, даже весьма пронзительным критикам нарушением законов искусства в угоду сиюминутной славе. Но «мысль главная» комедии становилась все ошутимее с ходом времени. Вскоре после появления пьесы осветлилась трагическим отблеском декабристского восстания, и стал различим пророческий смысл ее драматического конфликта. Вместе с тем комедия Грибоедова была вовлечена

в острые споры о характере и способах развития русского общества: в самом заглавии ее, «Горе от ума», было сконцентрировано противоречие, обнаруженное эпохой кризиса просветительских идей, затянувшегося в России почти на целое столетие.

Докладчик отметил, что после фундаментальных работ Н. К. Пиксанова, М. В. Нечкиной, В. Н. Орлова изучение Грибоедова стало утрачивать конкретность. Для создания новых концепций необходимо обобщение накопленного фактического материала в виде источниковедческих работ. Первоочередной задачей является академическое издание сочинений Грибоедова, подводящее итог текстологическим и атрибуционным спорам.

Сложным связям комедии «Горе от ума» с литературным движением эпохи было посвящено большинство докладов конференции.

Доктор филолог. наук Я. С. Бплинкис в докладе «„Горе от ума“ и путь Пушкина в 1820-е годы» поставил вопрос о принципиально разном отношении Пушкина и Грибоедова к проблеме «личность и общество».

В докладе «Грибоедов и Мольер» доктор филолог. наук И. З. Серман проследил соотнесенность «Горя от ума» с традицией «русского Мольера» (пьесы А. А. Шаховского, М. Н. Загоскина, Ф. Ф. Кокوشкина) и критическими спорами 1810-х годов. Траговка Альцеста как «злого насмешника» сложилась под влиянием критики Мольера в трактатах Руссо и особенно А.-В. Шлегеля, которого, в частности, повторил и Пушкин в своих замечаниях на «Горе от ума». Образ Чацкого открыто полемичен по отношению к сложившейся традиции. Грибоедов сознательно сделал героя, типологически близкого Альцесту, носителем передовых идей, а его конфликт с фамусовской Москвой получил социальный смысл.

Доктор филолог. наук Е. А. Маймин, посвятивший свой доклад проблеме «Русский разностопный ямб и стиль „Горя от ума“», полемизировал с практикой изучения стиха Грибоедова лишь в рамках истории комедии. Сравнительное изучение басенного стиха, особенно стиха басен Крылова, и стиха комедии Грибоедова показывает, что в них много внутренне сходного — прежде всего в принципах приближения стиховой речи к живой, с ее интонационным движением, выразительными паузами и пр. В «Горе от ума» драматург раскрывает все возможности избранного размера, достигая в стихе максимальной художественной выразительности благодаря глубокой мотивировке ритмических переходов содержанием речи. Грибоедов заложил основу устойчивой традиции использования ямба в стихотворной комедии, настолько прочную, что после «Горя от ума» даже александровский стих

Мольера русские переводчики стали передавать вольным ямбом.

В сообщении канд. филолог. наук М. Г. Альтшуллера «Грибоедов и Кюхельбекер» автор «Горя от ума» был охарактеризован как участник движения «младодархайстов». Анализируя критические статьи Кюхельбекера 1820-х годов, докладчик показал, что выраженные в них идеи «славян-романтиков» (в отличие от «классиков-беседчиков») являются отражением и развитием мыслей Грибоедова о существующем разрыве дворянства с народом, о народной поэзии и исконном русском языке, — мыслей, в частности, пронизывающих и «Горе от ума».

Канд. филолог. наук В. А. Западот в докладе «О роли „цитат“ в художественной системе „Горя от ума“» отметил, что «чужие» тексты и принципы поэтики являются не только свидетельством литературной преемственности, но и художественным приемом. Докладчик классифицировал цитаты, реминисценции, поэтические штампы, взятые Грибоедовым из произведений предшественников. Явные, т. е. выделенные автором, цитаты служили Грибоедову средством прямой характеристики персонажей. Скрытые цитаты намекали современникам на хорошо известные литературные образы и ситуации; за счет этих ассоциаций обогащалась характеристика действующих лиц. Большую роль в структуре комедии играют «чужие» (например, характерные штампы трагедии в комической ситуации) либо традиционные приемы поэтики: функционально значимые рифмы, «трудный стих» и т. п.

Представление об общественных связях Грибоедова существенно уточнял доклад канд. филолог. наук С. В. Свердиной «Грибоедов и его комедия в кругу польских изгнанников». Грибоедов, введенный в польскую колонию Булагриним, особенно часто встречался с представителями ее демократического крыла — Мицкевичем, Л. Ордынским, Н. Малиновским, Малевским. Ими была предложена кандидатура врача для посольства, выпускника Виленского университета А. К. Семашко (1804—1844), о котором Грибоедов неоднократно упоминал в своих письмах. Мицкевич и его друзья явились для Грибоедова живым воплощением изгнанничества, жизненным подтверждением его многолетних раздумий на эту тему, также отразившихся и в «Горе от ума». В их среде он находил идейное и нравственно-психологическое взаимопонимание, что стало особенно важно после событий на Сенатской площади.

Сообщение Ю. П. Фесенко было посвящено проблеме разноречивых критических и сценических интерпретаций образа героини комедии «Горе от ума». Образ Софьи, по мнению докладчика, может быть понят только с учетом соотнесенности ее с другими женскими образами, что подчеркнуто драматургом

при помощи стилистических и сюжетных параллелей.

В судьбе Софьи по-своему конкретизируется основная мысль комедии о необходимости бескомпромиссного выбора в борьбе за право быть личностью. С одной стороны, Софья стремится сама, наперекор воле отца, решить свою судьбу. С другой стороны, пытаясь использовать фамусовское общество как орудие против Чацкого, она становится орудием в руках этого общества.

Исторических судеб грибоедовских героев — в литературе и на сцене — касались доклады канд. филолог. наук А. В. Архиповой и доктора искусствоведения Ю. А. Головащенко.

А. В. Архипова посвятила свой доклад Достоевскому как интерпретатору Чацкого. Чуткий художественный гений и одновременно создатель теории «почвенничества», Достоевский увидел в «Горе от ума» узел проблем, характеризующих дворянскую оппозицию самодержавию в России. Противник революционных преобразований, Достоевский в 60—70-е годы резко отрицательно оценивал Чацкого как идеологический тип декабриста. Отмечая искренность этих людей и наличие у них высоких идеалов, Достоевский тем не менее упрекал их за узость и ограниченность целей, их оторванность от народа, подражание Западу и отсутствие патриотизма. Размышления о роли образованного дворянства в современном обществе приводят, однако, писателя в романе «Подросток» и в речи о Пушкине к выводам о всемирно-историческом значении типа русского интеллигента, хотя и образованного на европейский манер, но любящего Россию и стремящегося понять идею всечеловеческого единения и братства, носителем которой Достоевский считал русский народ. В это время он рассматривает образ Чацкого как первое литературное воплощение типа «русского скитальца», представителя людей «не успокаивающихся и не примиряющихся».

Доклад Ю. А. Головащенко был посвящен проблемам сценической интерпретации «Горя от ума». Наиболее интересные спектакли по пьесе Грибоедова были проанализированы докладчиком как вехи исторического развития русского театра. Так, спектакль «Горе от ума» в Малом театре середины XIX века был одним из ярких проявлений русской режиссерской мысли, в то время сказывавшейся прежде всего в искусстве выдающихся актеров. Осуществляя постановку грибоедовской комедии в 1906 году, Московский Художественный театр стремился представить на сцене «кусочек живой жизни». Мейерхольд в своих сценических редакциях пьесы (1928, 1935) понял и выявил созвучность пьесы новой революционной эпохе. Опыт сценических интерпретаций «Горя от ума» показывает, что классическая пьеса должна быть прочитана современно, при этом

Чацкий, проповедник идей свободы в общечеловеческом плане, не должен утратить признаки русского национального характера.

Исчерпывающим по материалу был доклад П. С. Краснова «Иконографии Грибоедова». Он содержал подробный анализ портретных набросков рукой Пушкина, из числа которых докладчик исключил зарисовки на черновике стихотворения «Признание», как не имеющие никакого отношения к Грибоедову. Были уточнены датировки рисунка П. Каратыгина, сделанного во время репетиции «Горя от ума» в театральном училище (май 1825 года), и эскизного портрета, приписываемого Горюнову и исполненного в Москве в 1823—1824 годах для А. Всеволодского. Основное внимание П. С. Краснов уделил истории портрета, послужившего оригиналом для распространенной гравюры Н. И. Уткина. Ему удалось установить, что эта до сих пор не обнаруженная акварель принадлежала кисти известного портретиста Е. Эстеррейха. Долгое время считавшаяся оригиналом пастель И Робльера является лишь поздней копией с той же акварели Эстеррейха.

Особый цикл составили на конференции доклады, посвященные вопросам текстологии «Горя от ума».

Об опыте работы Н. К. Пиксанова, используя материалы из архива ученого, сообщил канд. филолог. наук А. Л. Гришунин в докладе «Из истории изданий „Горя от ума“». Докладчик остановился на характеристике подготовленного Н. К. Пиксановым по заданию Академии наук Полного собрания сочинений Грибоедова (1911—1917), которое впервые опровергло скептический взгляд на возможность определения стабильного текста «Горя от ума». Исследование Жандровского и Булгаринского списков позволило Н. К. Пиксанову создать научную основу для решения вопроса о подлинном тексте комедии. Новым явился сам синтетический тип издания, оснащенного библиографическим аппаратом и подробными объяснительными статьями. Грибоедоведческие труды Н. К. Пиксанова, а также его коллекции пзданий и списков комедии, библиографических материалов остаются базой для подготовки изданий произведений Грибоедова академического типа.

Иную точку зрения на конференции отстаивали грузинские исследователи канд. филолог. наук К. С. Тугуши и канд. исторических наук И. К. Ениколопов. Представив критический обзор грузинских списков «Горя от ума», принадлежавших Д. Г. Эристави, А. А. Иоаннисиани, Сулханишвили и М. А. Евиколопову, К. С. Тугуши высказала предположение, что они связаны с неизвестным авторизованным протографом. В докладе И. К. Ениколопова «К проблеме канонического списка „Горя от ума“» была поставлена под сомнение датировка 1828 го-

дом редакции, зафиксированной в Булгаринском списке. Авторские же исправления в Жандровском списке, по мнению докладчицы, не имели окончательного характера. Выразив убежденность в том, что Грибоедов продолжал работать над текстом комедии до последних дней жизни, И. К. Епиколопов предложил отказаться от канонизации отдельных списков пьесы и в целях установления окончательного текста подвергнуть филологической критике всю совокупность списков «Горя от ума».

Подробную характеристику Булгаринскому списку дала в прениях сотрудник «Библиотеки поэта» Д. М. Климова. Она указала, что его нельзя считать авторизованным в буквальном смысле слова. По крайней мере три слоя правки в нем сделаны не рукой Грибоедова; принадлежность ему отдельных исправлений также вызывает сомнение. Это обстоятельство, однако, не умаляет значения данного списка как источника текста, ибо здесь зафиксирована последняя воля поэта, поручившего Булгарину издать комедию; рукописная копия комедии, действительно, сохранила следы подготовки к печати.

В Большом зале Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР к юбилейной конференции была развернута выставка фондов Рукописного отдела, библиотеки и музея. На выставке были представлены многочисленные списки комедии «Горе от ума», рукописи Грибоедова, иконографические материалы, издания комедии. Особую витрину составляли материалы из коллекции Н. К. Пиксанова, в их числе автограф комедии Грибоедова и Катенина «Студент», тетрадь с лекциями М. Чаадаева «Основы философских знаний» (этот курс московский профессор И.-Т. Буле читал специально для Грибоедова и братьев Чаадаевых), бесцензурное издание «Горя от ума» 1830-х годов, выполненное в одной из армейских типографий.

В решениях конференции содержалось предложение подготовить сборник новых материалов и исследований о Грибоедове, а также была отмечена необходимость создания академического собрания сочинений Грибоедова, правительственное постановление об издании которого остается невыполненным с 1945 года.

В. П. СТЕПАНОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩА

29 января 1975 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР состоялось заседание, посвященное итогам собирательской работы Древлехранилища ИРЛИ. Со вступительным словом выступил доктор филолог. наук Л. А. Дмитриев. Он отметил, что 25 лет назад, в 1949 году, в *Усть-Цильме* В. И. Малышевым была приобретена первая рукопись, положившая начало Древлехранилищу. Говоря о результатах деятельности по собиранию рукописей в 1974 году, Л. А. Дмитриев назвал следующие цифры: Древлехранилище пополнилось 432 рукописями: 116 рукописей XV—XX веков приобретено экспедициями, 316 рукописей XV—XX веков приобретено у коллекционеров. Л. А. Дмитриев подчеркнул большую личную роль В. И. Малышева в деле собирания рукописей.

Мл. научн. сотр. Н. В. Понырко рассказала об экспедиции в Тарногский район Вологодской области. Экспедиция 1974 года была первой археографической экспедицией Древлехранилища в Вологодскую область. Тарногский район, граничащий с Архангельской областью, в археографическом отношении обследован еще не был. Экспедиция 1974 года принесла значительные результаты: Н. В. Понырко привезла 49 рукописей, содержащих большей частью литературные памятники. Самая старшая из привезенных рукописей — пролог — датруется концом XV—началом XVI века,

вторая по старшинству рукопись — сборник XVI века.

Из рукописей XVII века следует отметить «Сказание о Гришке Отрепьеве». Основная часть рукописей относится к XVIII веку, среди них находятся такие известные произведения, как «Повесть об Азовском сидении», отрывки «Повести о царице и львице» и «Повести о Петре Златые ключи». Одной из самых интересных находок является список XVIII века «Истории о гишпанском министре Вильгельме и детех ево». Это произведение до сих пор было известно в единственном неполном списке, по которому и было опубликовано П. Н. Берковым и В. И. Малышевым под названием «Повесть о Карле и Софии», данным издателями. Благодаря находке стало известно авторское заглавие повести, и ученые теперь располагают полным списком произведения. Н. В. Понырко отметила, что книгописная манера, характерная для рукописей XVIII—XX веков, обнаруженных в Тарногском районе, близка книгописной манере рукописей Красноборского и Северодвинского собраний Древлехранилища.

О поездке за рукописями в Латгалию сообщил ст. научно-техн. сотр. Г. В. Маркелов. В 1973 году в Древлехранилище Пушкинского дома было образовано новое территориальное собрание Латгальских рукописей. Впервые археографическое обследование Латгалии предпринял В. И. Малышев в 1945 году,

позднее в этот район проводились экспедиции сотрудниками ИРЛИ и БАИ. В 1972—1973 годах отсюда было привезено 80 рукописей XVI—XX веков. В результате экспедиции 1974 года, в которой приняли участие Г. В. Маркелов и аспирант ИРЛИ А. Н. Розов, Латгальское собрание пополнилось 29 рукописями. В основном это сборники литературно-исторического содержания, имеются и певческие рукописи. Докладчик отметил, что большинство рукописей принадлежит местной книгописной традиции, причем расцвет ее приходится на XIX вк. Итоги экспедиции 1974 года подтвердили необходимость археографических поисков в этом районе.

О поездке за рукописными книгами на Северную Двину и в верховья Пинеги рассказал мл. научн. сотр. В. П. Бударгин. Археографическое обследование сел и деревень, расположенных по берегам Северной Двины, началось в 1960 году. За 15 лет поисков в Дрвнлехранилище сосредоточилось 693 рукописи, которые составили Северодвинское собрание, второе по величине собрание хранилища. Летом 1974 года В. П. Бударгин и ст. научно-техн. сотр. И. И. Гумницкий продолжили археографическое обследование Верхнетоемского района Архангельской области. Основные приобретения были сделаны в селе Нижняя Тойма. Так, именно в Нижней Тойме археографы приобрели 77 листов рисунков и прорисей, принадлежавших местному художнику В. И. Третьякову. Среди них находятся рисунки неизвестных художников конца XVIII—начала XIX века, образцы творчества самого В. И. Третьякова и художника конца XIX века П. И. Бурмагина. После экспедиции на территории Верхнетоемского района Архангельской области не осталось «белых пятен» для археографов, находки этой экспедиции позволяют расширить представления о книжности на Северной Двине.

Мл. научн. сотр. ЛОИИ Е. К. Пнотровская также посвятила свой доклад поискам рукописей на Северной Двине летом 1974 года. После работы экспедиции Северодвинское собрание Дрвнлехранилища увеличилось на 16 единиц хранения. Самая старшая рукопись — певческая рукописная книга конца XVII века — содержит Литургию Иоанна Златоуста. Большинство привезенных рукописей относится к концу XIX века: уставы, святцы, апокрифические тексты. Особый интерес представляют рукописи местной писцовой традиции конца XIX века.

В своем выступлении канд. филолог. наук О. А. Белоброва охарактеризовала лицевые рукописи, поступившие в Дрвнлехранилище в 1974 году. Из общего числа рукописных материалов, пополнявших Дрвнлехранилище, 20 наименований представляют собой лицевые рукописи, с миниатюрами в красках, рисунками, гравюрами, прорисями для икон и миниатюр и т. п. Изобразительный

рукописный материал из приобретенной 1974 года относится к XVII—XX векам. Докладчица отметила, что имеются рукописи XVII века, украшенные в более позднее время: Псалтирь XVII века, украшенная в XVIII веке, Евангелие XVII века, украшенное в XX веке. В семи лицевых рукописях XVIII века наибольший интерес представляют светские аллегорические изображения, например символ науки в «Алхимии», входящий к гравюре. О. А. Белоброва указала, что на материале XVIII века видно влияние гравировального искусства на миниатюры. Самое большое количество лицевых изображений относится к XIX веку — это рукописи богослужебные и нотные; XX век в находках 1974 года представлен двумя лицевыми рукописями. Поиски и находки 1974 года указывают перспективы изучения лицевых рукописей.

Канд. филолог. наук Ю. К. Бегунов выступил с обзором коллекции И. Н. Заволоко. Ценность коллекции определяется тем, что в ней содержатся оригинальные старообрядческие произведения. По данным описи, к XVI веку относится 1 рукопись, XVII веку — 5 рукописей, XVIII веку — 24 рукописи, XIX веку — 81 рукопись, XX веку — 55 рукописей. В собрании И. Н. Заволоко содержится автограф Филиппа, основателя филипповского согласия старообрядцев, материалы по истории прибалтийского старообрядчества, редкие и малоизвестные материалы старообрядческих соборов XIX века, древнерусские повести, произведения ораторской прозы и др. Докладчик рассказал об археографической и общественной деятельности И. Н. Заволоко.

Канд. филолог. наук Г. М. Прохоров сообщил о коллекции В. В. Величко. В. В. Величко коллекционировал книги, иконы, фарфор, монеты. В настоящее время материалы его коллекций находятся в разных музеях СССР. В состав собрания рукописей входили богослужебные книги, книги для чтения, документы. Докладчик подробно остановился на обзоре четырех книг. Наиболее древними являются «Рай книга» 1511 года, «Слова» Григория Богослова первой четверти XVI века, Житие Иоанна Дамаскина XV века. Интересным беллетристическим произведением XVIII века является авантюрный роман «Анисимыч, или Новый Дон-Кихот». Документы в собрании В. В. Величко в основном относятся к XVIII—XIX векам и являются ценными источниками для изучения социально-экономической истории России этого периода.

Доктор истор. наук А. И. Копанев рассказал о новых поступлениях документальных и деловых бумаг в Дрвнлехранилище. Документальные материалы содержат ценные данные для историков. Например, актывые материалы XVII века семьи Шестаковых характеризуют исто-

рию рода Шестаковых, их экономическое и социальное положение. Земельные и судебные акты охватывают взаимоотношения помещиков и крестьян. В заключение докладчик выразил надежду, что документальные материалы привлекут внимание специалистов по социально-экономической истории России и историков общественной мысли.

После докладов состоялись прения. В них приняли участие И. Н. Заволоко

и Ф. Я. Шолом; выступавшие говорили о необходимости собирания рукописей, о важности сохранения культурных ценностей прошлого для создания культуры будущего. В конце заседания Л. А. Дмитриев зачитал приветственное письмо В. И. Малышеву от участников совещания.

М. Ф. АНТОНОВА

СИМПОЗИУМ РУСИСТОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В рамках большой литературоведческой конференции русистов, богемистов и словакистов в Праге (Карлов университет, 23—24 апреля 1975 года), посвященной знаменательной дате 30-летия освобождения Чехословакии, большое место занимала русистика.

На пленарном заседании выступили с докладами М. Грала (Прага) и В. А. Ковалев (Ленинград). Первый дал общий обзор развития советской литературы за послевоенные десятилетия, ее проблематики, идейно-художественных тенденций, новаторских поисков; второй говорил о движении советской критической мысли в 70-е годы, о типах литературоведческих и литературно-критических работ, о сближении и взаимообогащении литературной критики и литературоведения.

Работала секция русистики. С докладами и сообщениями выступили ученые Праги, Братиславы, Брно, Оломоуца, Москвы, Варшавы.

Основные тенденции развития советской литературы о Великой Отечественной войне проанализировал П. Ф. Юшин. Б. Бялокозович осветил состояние и перспективы польских исследований советской военной прозы. М. Заградка остановился на основных этапах изображения Великой Отечественной войны в советской прозе. Удачно связала вопрос о традициях изображения войны в древнерусской литературе с характеристикой отдельных сторон советской военной прозы Е. Фойтикова. В. Зайцев обрисовал эволюцию советской поэмы, начиная от классики 40-х годов («Киров с нами», «Дом у дороги») и кончая произведениями последних лет. В целом на симпозиуме удалось осветить существенные вопросы русской советской военной прозы и поэзии.

В докладах П. Ф. Юшина и Р. Паролека были поставлены большие методологические проблемы построения курса истории советской критики и сравнительного изучения литературного процесса в советских национальных литера-

турах. С. Матгаусерова рассказала о трех десятилетиях советской литературоведческой медиэвистики, Я. Буриан проследил брненскую литературоведческую русистику за 1945—1975 годы. Современным актуальным задачам чешской русистики посвятил свое выступление В. Саго.

Различным вопросам русской советской литературы уделили внимание В. Доскочилова («Концепция времени в советском романе 20—30-х годов»), М. Генчиова («Повесть, новелла и роман в советской литературе 20-х годов для детей и молодежи»).

Несколько докладчиков коснулись тем, связанных с классической литературой, — русской народнической поэзии (Б. Нейман), поэтики русского реалистического романа XIX века (М. Егличка), восприятия романов Тургенева в Польше (А. Семчук).

Разнообразные содержательные доклады представили словацкие ученые И. Слимак («Творчество М. Горького в Словакии после 1945 года»), О. Марушиак («Советская литература в оценке словацкой литературной критики»), О. Ковачичова («Переводы из древнерусской литературы в Чехии и Словакии»), Э. Панова («Тридцать лет исследований словацко-русских литературных связей»), С. Леснякова («Русская классическая и советская литература в словацких переводах 1945—1975 гг.»), Д. Слободник («Рецепция советской поэзии в словацкой литературе 60-х годов»), М. Мольнар («Украинская литература в словацких переводах после 1945 года»).

В сущности это была первая проведенная в Праге за последние годы специальная международная научная конференция русистов. Можно рассматривать конференцию как успех в деятельности чешских и словацких русистов. Непосредственные встречи ученых Праги с советскими учеными взаимно полезны и обещают в дальнейшем новые систематические и более обширные контакты русистов братских социалистических стран.

В. А. КОВАЛЕВ



НОВЫЕ КНИГИ

- Анисимов И.** Живая жизнь классики. Очерки и портреты. [Вступит. статья и коммент. В. П. Балашова]. Изд. «Советский писатель», М., 1974, 519 с.
- Антюхин Г. В.** Никитинские места. Центрально-Черноземное книжное пзд., Воронеж, 1974, 39 с.
- Бгажба Х. С.** Этюды и исследования. [Сборник историко-литературных и языковедческих работ]. Изд. «Алашара», Сухуми, 1974, 258 с.
- Брюсовский сборник.** [Ред. коллегия: В. С. Дронов (отв. ред.) и др.]. Ставрополь, 1974, 143 с. (М-во просвещения РСФСР, Ставропольский гос. пед. инст.).
- Бухштаб Б. Я. А. А. Фет.** Очерк жизни и творчества. Изд. «Наука», Л., 1974, 135 с.
- В мире Пушкина.** Сборник статей. Изд. «Советский писатель», М., 1974, 599 с.
- В творческой лаборатории Чехова.** [Сборник статей. Ред. коллегия: Л. Д. Опульская и др.]. Изд. «Наука», М., 1974, 367 с. (Инст. мировой лит-ры).
- Вантенков И. П.** Бунин — повествователь. (Рассказы 1890—1916 гг.). Изд. БГУ, Минск, 1974, 159 с.
- Верховская М. М.** Русская литература и рабочий вопрос. (Из истории реализма XIX в.). Учебное пособие для студентов-филологов. Рязань, 1973 [вып. дан. 1974], 229 с. (М-во просвещения РСФСР, Рязанский гос. пед. инст.).
- Вопросы истории и теории литературы.** [Сборник статей, вып. 12. Ред. коллегия: Э. С. Дергачева (отв. ред.) и др.]. Челябинск, 1974, 88 с. (М-во просвещения РСФСР, Челябинский гос. пед. инст.).
- Вопросы романтизма.** [Сборник статей. Ред. коллегия: Н. А. Гуляев (отв. ред.) и др.]. Калинин, 1974, 137 с. (Калининский гос. ун-в.).
- Вопросы русской и зарубежной литературы.** [Сборник статей. Ред. коллегия: С. Я. Чумаков (пред.) и др.]. Пермь, 1974, 144 с. (М-во просвещения РСФСР, Пермский пед. инст., Глазовский гос. пед. инст. им. В. Г. Короленко).
- Вопросы русской литературы.** Республиканский межведомственный научный сборник, 1 (23). [Ред. коллегия: ... М. А. Назарок (отв. ред.) и др.]. Изд. «Вища школа», Львов, 1974, 123 с.
- Вопросы русской, советской и зарубежной литературы.** [Сборник статей, т. 2. Отв. ред. Г. Е. Гюбиева]. Хабаровск, 1973 [вып. дан. 1974], 162 с. (М-во просвещения РСФСР, Хабаровский гос. пед. инст.).
- Вопросы языка и литературы народов Сибири.** Сборник научных трудов. [Ред. коллегия: Е. И. Убрятова (отв. ред.) и др.]. Новосибирск, 1974, 218 с. (Сибирское отделение АН СССР, Инст. истории, филологии, философии).
- Гегузин И.** Влюбленный в песню. Очерк о жизни и деятельности выдающегося собирателя и исследователя донских казачьих народных песен А. М. Листопадава. [Ростов н/Д.], 1974, 160 с.
- Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Записки Отдела рукописей,** вып. 35. Изд. «Книга», М., 1974, 285 с.
- Древнерусское искусство. Рукописная книга.** [Сборник статей, 2]. Изд. «Наука», М., 1974, 343 с. (АН СССР, Инст. истории искусств М-ва культуры СССР).
- Историко-литературный процесс. Проблемы и методы изучения.** [Сборник статей. Под ред. А. С. Бушмина]. Изд. «Наука», Л., 1974, 274 с. (Инст. русской лит-ры).
- Историко-филологические исследования.** [Литературоведение и история]. Сборник статей памяти академика Н. И. Коррада. [Ред. коллегия: Б. Г. Гафуров и др.]. Изд. «Наука», М., 1974, 466 с. (АН СССР, Отделение литературы и языка, Инст. мировой лит-ры).
- Кругляшова В. П.** Жанры несказочной прозы уральского горнозаводского фольклора. [Учебное пособие по спецкурсу для филологических факультетов]. Свердловск, 1974, 168 с. (М-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Уральский гос. ун-в. им. А. М. Горького).
- Кузин Н.** Поэзия рабочего Урала. (Литературно-критические очерки). Изд. «Современник», М., 1974, 126 с.
- Кучкин В. А.** Повести о Михаиле Тверском. Историко-текстологическое исследование. Изд. «Наука», М., 291 с. (АН СССР, Инст. истории).
- Лермонтов и литература народов Советского Союза.** [Сборник. Ред. коллегия: К. В. Айвазян и др.]. Изд. Ереванского ун-в., Ереван, 1974, 456 с. (Ереванский гос. ун-в., Инст. мировой лит-ры).
- Материалы и исследования по фольклору Башкирии и Урала.** [Сборник. Вып. 1. Ред. коллегия: Л. Г. Бараг (отв. ред.) и др.]. Уфа, 1974, 286 с. (М-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Башкирский гос. ун-в. им. 40-летия Октября).
- Москвичева Г. В.** Жанры русского классицизма. [Из лекций по спецкурсу, ч. 2]. Горький, 1974, 192 с. (М-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Горьковский гос. ун-в. им. Н. И. Лобачевского).
- Музей А. Н. Радищева, с. Радищево (Пензенская область).** Очерк-путеводитель. Приволжское книжное пзд., Пенза, 1974, 103 с.
- Народные песни.** Записаны О. А. Славяниной. [Вступит. статья З. И. Власовой]. Прюкское книжное пзд., Брянск, 1973 [вып. дан. 1974], 134 с.
- Народные песни Воронежской области.** [Сборник]. Под ред. С. Г. Лазутина. Изд. Воронежского ун-в., Воронеж, 1974, 143 с.

- А. И. Островский.** Новые материалы и исследования. В двух книгах. Изд. «Наука», М., 1974, 640 с. (АН СССР, Инст. мировой лит-ры, Литературное наследство, т. 88, кн. 1).
- Павлович С. Э.** Пути развития русской сентиментальной прозы XVIII века. Под ред. А. В. Западова. Изд. Саратовского ун-ва, Саратов, 1974, 225 с.
- Петрунина Н. Н., Фридлиндер Г. М.** Над страницами Пушкина. [Сборник статей]. Изд. «Наука», Л., 1974, 166 с.
- Писатели о литературном языке.** [Сборник]. Изд. «Знание», М., 1974, 63 с.
- По страницам русской и зарубежной литературы.** [Сборник статей]. Ташкент, 1974, 221 с. (Ташкентский гос. ун-в. им. Лепшина, научн. труды, вып. 474).
- Полтавцев А. С.** Философское мировоззрение Л. Н. Толстого. Изд. «Вища школа», Харьков, 1974, 153 с.
- Проблемы взаимодействия литературных направлений.** Материалы Всесоюзной конференции литературоведов. Днепропетровск, октябрь 1972. [Ред. коллегия: Л. Я. Потемкина (ред.) и др.]. Днепропетровск, 1974, 94 с. (М-во высшего и среднего специального образования СССР, Днепропетровский гос. ун-в. им. 300-летия воссоединения Украины с Россией).
- Проблемы изучения русской литературы XVIII века. От классицизма к романтизму.** Постоянно действующий межвузовский республиканский тематический научный сборник, вып. 1. [Памяти проф. Л. И. Кулаковой. Научный ред. В. А. Западов]. Л., 1974, 164 с. (Научно-методический центр по русской литературе XVIII в., М-во просвещения РСФСР, Ленинградский гос. пед. инст. им. А. И. Герцена).
- Проблемы реализма русской литературы начала XX века.** Сборник трудов. [Отв. ред. Ф. Х. Власов]. М., 1974, 159 с. (М-во просвещения РСФСР, Московский обл. пед. инст. им. Н. К. Крупской).
- Проблемы художественного метода в русской литературе.** Сборник научных статей. [Ред. коллегия: А. Ф. Захаркин (отв. ред.) и др.]. М., 1973 [вып. дан. 1974], 157 с. (М-во просвещения РСФСР, Московский гос. заочный пед. инст., кафедра русской литературы).
- Пушкин на литературной эстраде.** Сборник статей [о работе чтеца над пушкинскими произведениями]. Изд. «Искусство», М., 1974, 120 с.
- Пушкинский Петербург.** Автор-составитель А. М. Гордин. Научн. ред. [и автор вступит. статьи] М. П. Алексеев. Изд. «Художник РСФСР», Л., 1974, 107 с.
- А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, М. Ю. Лермонтов. Жанр и стиль художественного произведения.** [Сборник статей. Ред. коллегия: А. К. Бочарова (отв. ред.) и др.]. Рязань, 1974, 216 с. (М-во просвещения РСФСР, Рязанский гос. пед. инст.).
- Робинсон А. Н.** Борьба идей в русской литературе XVII века. Изд. «Наука», М., 1974, 407 с. (Инст. мировой лит-ры).
- Русская литература XX века. Дюктябрьский период.** [Сборник статей, вып. 5. Ред. коллегия: Н. М. Кучеровский (отв. ред.) и др.]. Тула, 1974, 145 с. (Тульский гос. пед. инст. им. Л. Н. Толстого).
- Русская литература 1870—1890 годов.** [Сборник статей, 7. Ред. коллегия: ... И. А. Дергачев (отв. ред.) и др.]. Свердловск, 1974, 139 с. (М-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Уральский гос. ун-в. им. А. М. Горького).
- Русское искусство первой четверти XVIII века. Материалы и исследования.** Под ред. Т. В. Алексеевой. Изд. «Наука», М., 1974, 234 с. (АН СССР, Инст. истории искусств М-ва культуры СССР).
- Сидельников В.** Писатель и народная поэзия. Изд. «Современник», М., 1974, 191 с.
- Смирнов Ю. И.** Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. Изд. «Наука», М., 1974, 263 с. (АН СССР, Инст. славяноведения и балканистики).
- Стариков Д.** Перечитывая классику. Наблюдения. Размышления. Poleмика. Изд. «Советский писатель», М., 1974, 374 с.
- Томский университет им. В. В. Куйбышева.** Сборник трудов молодых ученых. [Вып. 3, литературоведение]. Изд. Томского ун-ва, Томск, 1974, 203 с.
- Устюжанин Д.** Маленькие трагедии А. С. Пушкина. Изд. «Художественная литература», М., 1974, 95 с.
- Филологический сборник.** [вып. 13—14. Ред. коллегия: Х. Х. Махмудов (отв. ред.) и др.]. Алма-Ата, 1974, 381 с. (М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Казахский гос. ун-в. им. С. М. Кирова).
- Чернышевская Н. М. Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко. Воспоминания, заметки, материалы.** [Послесл. Е. С. Шаблюковского]. Изд. «Дніпро», Киев, 1974, 112 с.
- Чуковский К.** Несобранные статьи о Н. А. Некрасове. Калининград, 1974, 102 с. (М-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Калининградский гос. ун-в.).
- Чуприна И. В.** Нравственно-философские искания Л. Толстого в 60-е и 70-е годы. Изд. СГУ, Саратов, 1974, 317 с.
- Эстетические взгляды писателя и художественное творчество.** [Сборник статей. Ред. коллегия: ... В. А. Михельсон (отв. ред.)]. Краснодар, 1974, 172 с. (М-во выс-

шего и среднего спец. образования РСФСР, Кубанский гос. ун-в., научные труды, вып. 183).

- Язык и слог Островского-драматурга. К 150-летию со дня рождения. 1823—1973.** [Сборник статей. Ред. коллегия: Г. Г. Мельничко (отв. ред.) и др.]. Ярославль, 1974, 108 с. (М-во просвещения РСФСР, Ярославский гос. пед. инст. им. К. Д. Ушинского, сб. науч. трудов, вып. 126).
- Ямпольский И. Середина века. Очерки о русской поэзии. 1840—1870 гг.** Изд. «Художественная литература», Л., 1974, 350 с.
- Алешкин А. В. Петр Кириллов. Очерк творчества.** Мордовское книжное изд., Саранск, 1974, 155 с.
- Андроникова М. И. От прототипа к образу. К проблеме портрета в литературе и кино.** Изд. «Наука», М., 1974, 200 с. (АН СССР, Инст. истории искусств М-ва культуры СССР).
- Анипкин Ю. Д. С. Н. Сергеев-Ценский. К 100-летию со дня рождения.** Изд. «Знамя», М., 1974, 64 с.
- Белоусов Р. Из родословной героев книг.** [Изд. «Советская Россия», М., 1974], 303 с.
- Бондарев Ю., Михалков С. Литература — народу.** Изд. «Советская Россия», М., 1974, 36 с.
- Бровман Г. Труд. Герой. Литература. Очерки и размышления о русской советской художественной прозе.** Изд. «Художественная литература», М., 1974, 335 с.
- Боробьева Н., Хитарова С. На новых рубежах, О многонациональной прозе наших дней.** Изд. «Советский писатель», М., 1974, 222 с.
- Воспоминания о Николае Островском.** [Сборник]. Изд. «Молодая гвардия», М., 1974, 447 с.
- Выходцев П. С. С думой о Родине. (Советская литература и воспитание современника).** Изд. «Современник», М., 1974, 285 с.
- Гальперин Ю. Литературные вечера. [Радиовстречи с писателями].** Изд. «Искусство», М., 1974, 167 с.
- Героическое в литературе периода Великой Отечественной войны.** [Сборник статей, 2]. Киров, 1974, 108 с. (Марийский гос. пед. инст. им. Н. К. Крупской).
- Гизатов К. Национальное и интернациональное в советском искусстве.** Под ред. М. Мусина. Татарское книжное изд., Казань, 1974, 255 с.
- Голоса времени. Сборник литературно-критических статей.** [Ред.-сост. З. Анчиполовский]. [Центрально-Черноземное книжное изд.], Воронеж, 1974, 223 с.
- Дядя Степа — Михалков.** [Сборник]. Изд. «Детская литература», М., 1974, 113 с.
- Иванова Л. В. Величие подвига. (Современная художественная проза о Великой Отечественной войне).** Изд. «Знание», М., 1974, 64 с.
- Камысов Р. Герой нового мира. (В аспекте казахско-русских лит. связей 30-х гг.).** Изд. «Наука», Алма-Ата, 1974, 168 с. (АН КазССР, Инст. литературы и искусства им. М. О. Ауэзова).
- Коган А. Павел Шубин.** Изд. «Советская Россия», М., 1974, 124 с.
- Лазарев Л. Военная проза Константина Симонова.** Изд. «Художественная литература», М., 1974, 239 с.
- Леонов Б. Биография подвига. [О современной прозе 1941—1945].** Изд. «Современник», М., 1974, 160 с.
- Михалков С. Моя профессия.** Изд. «Советская Россия», М., 1974, 254 с.
- Наполова Т. Живое дыхание современности. Размышление о прозе 60-х—начала 70-х гг.** Приволжское книжное изд., Саратов, 1974, 272 с.
- О Леониде Вышеславском. Литературно-критические материалы.** [Сборник]. Изд. «Радяський письменник», Киев, 1974, 139 с.
- Орлов С. Свидетели живые.** Изд. «Советская Россия», М., 1974, 176 с.
- Орлова Н. Н. Аркадий Гайдар. Очерк творчества.** Изд. «Просвещение», М., 1974, 110 с.
- Осетров Е. И. Муза в березовом перелеске. Стихи и дни Н. Рыленкова.** Изд. «Советский писатель», М., 1974, 264 с.
- Парнов Е. И. Фантастика в век НТР. Очерки современной научной фантастики.** Изд. «Знание», М., 1974, 192 с.
- Проблемы реализма в литературах народов Советского Востока. Материалы совещания 16—19 окт. 1972 г.** [Ред. коллегия: М. А. Дедашзаде (отв. ред.) и др.]. Изд. «Элм», Баку, 1974, 247 с.
- Прозаические жанры фольклора народов СССР. Тезисы докладов на всесоюзной научной конференции 21—23 мая 1974 г. г. Минск.** [Ред. коллегия В. К. Бопларчик (отв. ред.) и др.]. Минск, 1974, 223 с. (АН БССР, Научный совет по фольклору, Инст. мировой лит-ры, Инст. русской лит-ры, Инст. этнографии, Инст. искусствоведения, этнографии и фольклора).
- Пудожгорский В. Путешествие в прекрасное. (О рассказах К. Паустовского).** Вологда, 1974, 87 с. (М-во просвещения РСФСР, Вологодский гос. пед. инст.).
- Рецептер В. Э. Литература и театр.** Изд. «Знание», Л., 1974, 32 с.

- Современные проблемы литературоведения и языкознания. [Сборник статей]. К 70-летию со дня рождения акад. М. Б. Храпченко. [Ред. коллегия: Н. Ф. Бельчиков (отв. ред.) и др.]. Изд. «Наука», М., 1974, 495 с. (АН СССР, Отделение литературы и языка).
- Усачев В. Журналист первого призыва (П. П. Бажов). Изд. «Казахстан», Алма-Ата, 1974, 112 с.
- Шубин Э. А. Современный русский рассказ. Вопросы поэтики жанра. Изд. «Наука», Л., 1974, 182 с. (Инст. русской лит-ры).
- Бабаян А. С. А. М. Горький в армянской литературе. Библиография. [В двух вып. Вып. 1. 1899—1936]. Ереван, 1974, 176 с. (Ереванский гос. унив., Кабинет литературных связей).
- Библиография литературы об А. Н. Островском. 1847—1917. Составитель К. Д. Муратова. Изд. «Наука», Л., 1974, 286 с. (Инст. русской лит-ры).
- Литературоведческие и методические работы в изданиях пед. институтов РСФСР. 1948—1968. Библиографический указатель, [вып. 4. Русская литература XIX в., ч. II]. Л., 1974, 86 с. (М-во просвещения РСФСР, Ленинградский гос. пед. инст. им. А. И. Герцена).
-

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*

Корректоры *Э. В. Гришина, Э. В. Коваленко и Н. Э. Петрова*

Сдано в набор 15/V 1975 г. Подписано к печати 4/VIII 1975 г. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Печ. л. 16 = 22,40 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,90. Тип. зак. № 336. М-21494. Тираж 14785.

Ленинградское отделение издательства «Наука», 199164, Ленинград В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12